

ЖЕ О В Ы Е
М И Р

4

1950

4

ЖЕ О В Ы Е
М И Р

1950

НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXVI

№ 4

Апрель, 1950 г.

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ДМИТРИЙ ОСИН — На Красной площади, стихотворение	3
ЕВГ ЛЕВАКОВСКАЯ — Московская повесть	5
С. МАРШАК — Новые стихи	147
НАЗЫМ ХИКМЕТ — Стихи поэта коммуниста. Перевёл с турецкого О. Савич	150
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
Ю. КАПУСТО — Хлебоборбы	154
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ	
ИЗ ПИСЕМ УЧЕНОГО	186
ЗА МИР, ЗА ДЕМОКРАТИЮ!	
ПАБЛО НЕРУДА — Наш долг. Перевела с испанского В. Кутейщикова	199
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
Е. УСИЕВИЧ — Заметки о поэтике Маяковского	203
К. ЗЕЛИНСКИЙ — Расцвет литератур социалистических наций	220
Книжное обозрение	
<i>Литература и искусство</i>	253
В. Гольцев. Садриддин Айни и его воспоминания — В. Азарев. Стихи остаются в строю — С. Евгенов. Искатели черного золота. — Г. Ленобль. Слабая книга — Н. Москвин. Щедрая схема — Б. Галанов. Книга об американской школе — П. Пустовойт. Две книги о Николае Островском — В. Николаев. Очерки Ивана Рябовъ — А. Могиланский. Об издании романа «Тысяча душ» — А. Дьяков. Начало прозрения — А. Нечасев. Русские богатыри — В. Розанов. Румынские писатели о совет- ской литературе.	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР“
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<i>История. Международные отношения</i>	
Член-корреспондент Академии наук СССР С. Бахрушин. Новые страницы истории Сибири. — Профессор И. Галкин. Исторические корни агрессии германского империализма — Я Макаренко. Разоблаченный миф. — В. Матвеев. Враги прогресса. — Л. Славин. Уолл-стриг и его дела.	283
<i>География</i>	
Доктор географических наук Э. Мурзаев. Самая южная советская республика	293
<i>Медицина</i>	
Профессор И. Кочергин. Успехи советской хирургии.	295
<i>Химия</i>	
Академик С. Вольфович, В. Охотников. Книга о великом русском учёном	297
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ (Март 1950 года)	300

НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

ДМИТРИЙ ОСИН

★

Так хорошо её суровое убранство,
Гранит брусчатки,
Снег и тишина.
И кажется,
Что все свои пространства
Ей, не жалея, отдала страна.

Высоко в звёздном небе
Флаг полощет —
Как будто пламя рвётся на древке.
И осеняет Кремль в огнях
И площадь,
И купола дворцов,
И башни вдалеке.

И отблески огнистые,
Алея,
Бегут по стенам в иное седом,
И вниз —
По чётким граням мавзолея,
По ёлочкам—в наряде молодом.

Всё тот же он, что был,
Всё так же неизменен
Над ним, в тиши,
Часов державный бой.
И спит в сени знамён недвижно Ленин,
И бережёт Москва
Его покой.

Гудит, звенит,
Рокочет, не стихая,
Она вокруг весь день,
Всю ночь без сна.
А здесь снежинки кружатся, порхая,
И медленная бродит тишина.

Но в дни торжеств,
Убранством расцветая,
Как море, площадь закипает вновь.
И движутся колонны, затопляя
Её разливом шумным до краёв.

И солнце разгорается светлее,
И даже в стужу —
Жарко от знамен.
И Сталин —
Целый день на мавзолее,
И за районом вновь идёт район.

И радостно мне чувствовать, Отчизна,
Что русский я,
Что Родина моя —
Советская страна,
И к зорям Коммунизма
Ведёт она
Все страны, все края!

А в мавзолее тишина немая.
Венки у стен.
И чутко Ленин спит,
Как гулу океанскому, внимая
Всему, что вновь на площади кипит.

И пушек слышит он салют победный,
И пенье труб фанфарных золотых,
И марш полков,
И гул трибун приветный,
И звон литавр,
И всплески волн людских,

И самолёты,
Что почти без звука
Пронесются и исчезают вдруг,
И голос верного соратника и друга,
И музыку, гремящую вокруг...

Опять куранты бьют.
Снежок порхает.
И вновь заря в седой дали встаёт.
И никогда Москва не затихает,
Весь день, всю ночь
Гудит, звенит, зовёт.



МОСКОВСКАЯ ПОВЕСТЬ

ЕВГ. ЛЕВАКОВСКАЯ

★

Глава первая

Светофор открыл круглый красный глаз. Григорий резко затормозил, остановив машину почти у самого въезда на просторную площадь Свердлова. Пешеходы торопливо пересекали дорогу. Григорий взглянул на светофор, нервно поглаживая баранку. Но красный глаз горел попрежнему предостерегающе-строго.

— Поспокойней, друг! — откинувшись на мягкую спинку, сказал себе Григорий. С детства у него сохранилась привычка думать вслух. — Поспокойней, дружище! Этак ты до боя патроны израсходуешь.

Опустив стекло, он посмотрел на площадь, величественную громаду Большого театра, прямые перспективы улиц.

Прошёл первый весенний дождь, пахло талым снегом. По высокому чистому небу проплывали последние облака, солнце вспыхивало мгновенной радугой на влажном асфальте, вдоль тротуаров бежали неслышные в городском шуме ручейки. Пушистые лимонные мимозы в цветочных киосках подтверждали, что зима кончилась и весна вошла в город.

Площадь осталась позади. Григорий подумал, что зелёный цвет, открывший ему путь, — цвет надежды. Минут через двадцать он будет на заводе, через два—три часа решится судьба его рационализаторского предложения. Предложение должны принять. Сухая сборка, несомненно, оправдывает себя, директор добьётся демобилизации Григория и возьмёт его к себе на завод... Хорошо бы!

Воронин говорит, что это вполне возможно. После окончания института и до ухода на финский фронт Григорий успел немного поработать в подшипниковой промышленности. А уж Воронин-то знает обстановку.

Подъехав к заводу, Григорий круто развернулся, поставил машину и, на ходу обдёргивая гимнастёрку, быстро пошёл к серым колоннам проходной.

Через окна маленького кабинета Воронин видел всё своё хозяйство. Цех повторялся перед ним на голубом листе миллиметровки с бумажными модельками станков. Прихрамывая — в детстве он болел костным туберкулёзом, — Воронин подходил к окну, к другому, отмеривал взглядом расстояние между станками и снова перекальвал и поворачивал модельки, выкраивая лишние метры площади, — цех должен быть просторным и красивым!

— Здорово! — приветствовал он Григория. — Значит, сухая сборка сегодня обсуждается на парткоме завода. Вот смотри, — он снова обратился к голубому листу, — если все конвейеры переведём на сухую сборку, в цехе освободится много места. Тогда смазку поставим

рядом со складом сбыта, там будем и упаковывать, и коридор освободится от ящиков, людям дышать будет свободнее.

Григорий оглядел знакомую миллиметровку, модельки и помрачнел.

— Что? Всё-таки тесновато, думаешь? — спросил Воронин.

— Я не о том, Дмитрий Петрович. А что, если не пройдет мое предложение, если оно не годится, если никакой сухой сборки не будет?

— Не будет? — рассеянно повторил Воронин. Он отколол одну модельку, и хрупкий бумажный кубик-станок покойно улёгся на его большой тёмной ладони. — Кавказская кровь тебя мучает. А ты попробуй поспокойней, а?

— Дмитрий Петрович, я не шучу! Ты подумай, я даже на заводе не работаю. Скажут люди: «Кто такой Григорий Сванидзе? Военный приёмщик? Военный приёмщик. Ну и принимай себе. А чего ты с какими-то изобретениями лезешь? Что ты в этом деле понимаешь?».

— Очень может быть, что и скажут, — прищурясь, улыбнулся Воронин.

Григорий густо покраснел, как будто ему на самом деле уже сказали эти обидные слова.

— Да что я тебя, как девочку, уговариваю! — прикрикнул на него Воронин. — Ты что, и на финском так же жался? Скажут! Скажут! А у тебя что — сказать нечего? Доказывай своё! Защищай! Ты институт кончил, ты советский инженер, чего тебе ещё надо? Мне другое обидно, — Воронин с сожалением приколол к миллиметровке последний кубик. Ему очень нравился этот бело-голубой, по-новому распланированный макет его большого хозяйства. — Мне обидно, почему это не я придумал. Просто ведь, кажется. Это потому, наверно, что я уж двенадцать лет в цехе. Привык и к керосину и к сырости. А ты — свежий человек. Пришёл, заметил — не понравилось. Поломал голову — и придумал. На свежий глаз, может быть, и я бы придумал, правда?

— Конечно, придумал бы, — быстро согласился Григорий и поглядел на часы.

— Да. Пора. — Воронин бережно прикрыл газетами свою миллиметровку. — Вот пустим пробную ванну, а к осени переведём цех на сухую сборку и начнём с тобой по-настоящему дела вершить. Когда демобилизуют, пойдёшь ко мне старшим инженером?

— Не может этого быть! — покачал головой Григорий и невольно улыбнулся, с восторгом чувствуя, как передаётся ему спокойная уверенность Воронина. «В самом деле, почему бы нет? Проект сухой сборки признают толковым, примут, меня демобилизуют, и стану я снова инженером. А принимать подшипники для военного ведомства будет кто-нибудь другой. Тот, кто не придумывает сухой сборки, спокойно спит по ночам и не тратит всего свободного времени на изобретательство...»

Вопрос о сухой сборке стоял вторым, но Сванидзе с Ворониным пришли в приёмную ещё до начала заседания парткома. Около окна стоял и курил лысый человек с оттопыренными ушами — главный технолог завода. Говорили, что он не одобряет предложения Сванидзе, и Григорий не мог подавить в себе неприязненного чувства, увидя эти оттопыренные уши.

Нагнувшись к Воронину, Сванидзе хотел спросить, не знает ли тот, с чем именно не согласен главный технолог, но в эту минуту через приёмную быстро прошли директор завода Малько и высокий, с гладко зачёсанными назад прямыми светлыми волосами человек. Григорий заметил резко очерченный профиль, суховатую складку в углу рта.

— А это наш Тарас! — тепло проговорил Воронин, когда за прошедшими закрылась дверь парткома.

— Такой молодой? — удивился Григорий.

За последние месяцы Григорий много слышал о секретаре партийного комитета завода Сергее Николаевиче Тарасове. Не то чтобы Григорию рассказывали именно о нём, нет. Но создавалось впечатление, что любое из заводских дел так или иначе касалось секретаря парткома, которого и рабочие и инженеры любовно называли «наш Тарас». Но Григорию он представлялся почему-то обязательно немолодым.

— Да уж не так молод, — стал вспоминать Воронин. — На завод он пришёл лет двадцати, десять или одиннадцать лет пробыл в кузнице, потом — на парработе. Закончил комвуз. Лет тридцать восемь ему есть... Он Малько в партию принимал.

Главный технолог пошёл вслед за директором. Заседание, видимо, уже началось. Григорий ещё раз просмотрел свою докладную, хотя в этом не было никакой необходимости. Знал он её чуть не наизусть.

Дверь открылась. Воронина и Сванидзе пригласили на заседание.

Стульев у покрытого сукном стола нехватило, так как были вызваны коммунисты сборки и начальники других цехов.

Тарасов просматривал протокол, постукивая по столу пальцами.

Григорий посмотрел на Тарасова, на директора, которого впервые видел так близко, и не мог отделаться от чувства своей зависимости от этих людей — они решат сегодня судьбу его проекта. И не только судьбу сухой сборки, а и его — Григория — судьбу.

У Малько было лицо добродушного русского парня. Плотный, широкоплечий, он сидел, как мальчишка, обхватив ногами ножки стула. Проходя мимо него, Григорий увидел директорские подмётки, рябые от стального мусора, как у всех рабочих.

— Продолжаем, товарищи! — Тарасов постучал карандашом по пепельнице. Григорий подсел к столу. — Второй вопрос у нас — сборка. По проекту, предложенному военным приёмщиком товарищем Сванидзе, коммунистами сборочного цеха разработан новый технологический процесс сборки, смазки и упаковки подшипников. Партийный комитет очень интересуется этим предложением. Кроме экономических выгод, оно может помочь нам ввести в цехе новые культурные условия труда.

Слово предоставили Григорию, он встал.

— Начну с освещения существующего положения... — прочёл Григорий первую строчку докладной и понял: хорошие пять страниц можно опустить — существующее положение отлично известно всем присутствующим. — Конечно, все здесь знают сборку, — Григорий оглядел комнату, — а всё-таки нельзя привыкнуть к некоторым вещам. Все ли, например, знают, что были случаи, когда рабочие сборки болели экземой от керосина?

Главный технолог пожал плечами.

За это движение Григорий обозлился на технолога, перестал его бояться и спокойно изложил сущность проекта.

— Керосиновое болото можно и необходимо уничтожить — и перевести цех на сухую сборку, — заканчивал он своё выступление. — Всё подсчитано, — Григорий подчеркнул ногтем последнюю цифру, — и вполне осуществимо. Все детали подшипника будут на конвейере подползать к сборщице уже отмытыми, чистыми и сухими. В новых, облегчённых условиях труда нормы выработки неминуемо повысятся.

Григорий сел и сразу почувствовал, что взгляды большинства присутствующих обращены на него. Всего неприятней было встречаться глазами с главным технологом. Ушастый человек поглядывал на него устало и равнодушно, словно говоря: как надоело! Придёт на завод такой новичок и, пока не обломается, обязательно играет в новатора.

От унылого всезнающего выражения его лица Григорий поёжился и подумал: а может быть, всё, что кажется ему, Сванидзе, новым, давно известно и отвергнуто, — этот многообразованный человек найдёт сейчас неоспоримые формулы и аргументы?

Главный технолог встал неторопливо, опираясь обеими руками на стол, и, глядя на парторга, сказал:

— Возможно, что с точки зрения политической вы этот вопрос продумали хорошо. Конечно, улучшение условий труда политически очень важно, — он потёр переносицу, как будто поправляя пенсне, — но вот с технической стороны вопрос, мягко говоря, не подготовлен. Инициатор предложения, с которым мы только что имели случай познакомиться, вряд ли хорошо осведомлён о положении на заводе, ибо, насколько мне известно, он не работает не только на нашем заводе, но и вообще в подшипниковой промышленности. Он — военный приёмщик. Я совершенно не сомневаюсь, что он хороший военный приёмщик...

«Вот она, началась беседа по существу! — с горечью подумал Григорий, насторожённо оглядывая лица сидящих. — Разве не бывает так, что предложение рассматривают недостаточно внимательно лишь из-за недоверия к его автору? Бывает, конечно».

Но, пожалуй, ещё больше, чем упоминание о военном приёмщике, Григория возмутило равнодушие, сквозившее в бесстрастно льющейся речи главного технолога, полнейшее равнодушие ко всему, о чём он говорил.

«Равнодушие — одно из худших человеческих свойств, глухая стена между человеком и миром, — думал Григорий. — Равнодушные — мертвецы среди живых. Люби или ненавидь, утверждай или протестуй, но не говори же ты так равнодушно, словно не просиживали мы с Ворониным ночей над этими чертежами, словно руки работниц не стоят того, чтоб о них ещё раз подумать!»

Ну вот! А теперь пошли пространные рассуждения о выполнении плана, об опасности его срыва и несвоевременном риске новаторских проектов. Как будто план — это только сегодняшний день и час. План — это мост в завтра. Ботинки ребёнку, и то покупают на рост.

А вот опять — «военный приёмщик». Да он больше говорит об авторе проекта, чем о самом проекте. Может, он проекта попросту не смотрел?»

— Кроме документов военного приёмщика, я имею ещё советское подданство и партийный билет, — не стерпел Григорий. — Это настолько же мой завод, как и ваш.

— Да, да, конечно! — вежливо согласился главный технолог. — А вы, простите, вообще.. инженер?

— Да, я инженер, — коротко и зло ответил Сванидзе.

Главный технолог указывал на неточности, замеченные им, лениво, словно брал их наугад из длинного ряда ошибок.

— ...ну, хотя бы вопрос с охлаждением. Заменитель керосина, по словам товарища Сванидзе, годен только в горячем растворе. Из промывочной ванны кольцо выходит на конвейер горячим. Для остывания нужно пять — восемь минут, скорость конвейера — метр в минуту. Следовательно, работника может начать сборку лишь в восьми метрах от ванны? Прикажете в два раза удлинить цех?

Он коротко улыбнулся директору. За столом зашевелились. Но Григорий уже сам улыбался технологу в лицо и вскочил, едва дождавшись разрешения Тарасова.

— Мне даже неудобно говорить,— извинился Григорий, но голос у него окреп, и все поняли, что именно теперь-то ему и стало удобно говорить,— но неподготовленным пришли не мы, а товарищ главный технолог. С охлаждением был поставлен эксперимент. Кольцо «К-19», среднее из колец этого потока, остывает настолько быстро, что работница может собирать ролики через минуту. А интенсивное охлаждение получается потому, что кольцо выходит из ванны мокрым—и первую свою температуру отдаёт не только воздуху, как рассчитывает главный технолог, а и воде, которая испаряется на поверхности кольца. Далее...

Григорию не хотелось глядеть в холодные, теперь злые глаза главного технолога. Он то и дело оборачивался либо к Тарасову, либо к Малько.

За Сванидзе выступали коммунисты сборки. Директор слушал каждого из выступавших с жадным вниманием, словно за столом он был самый молодой, которому нужно у всех учиться. Но стоило ему откашляться перед выступлением, как в большой комнате воцарилась такая тишина, что Григорий сразу понял: директор — из тех молодых, которые не только учатся, но и учат.

Малько встал, оперся полусогнутыми пальцами на стол и сверху вниз оглядел всех присутствующих. Григорию теперь было хорошо виден его крупный лоб с мощными надбровными дугами и орден Ленина на тёмном сукне пиджака.

— В таких случаях принято говорить — вопрос ясен,— неторопливо начал Малько.— Но мне, товарищи,— директор чуть повысил голос,— он совершенно неясен. С проектом военного приёмщика товарища Сванидзе я знаком, знаком и с конкретными предложениями коммунистов сборки по этому проекту. И мне совершенно неясно,— кулак Малько мягко, но тяжело опустился на стол,— как мог главный технолог завода так выступить сегодня, как он выступил.

Григорий почувствовал, что кровь возвращается к его похолодевшим щекам. Он покосился на главного технолога — оттопыренные уши его медленно розовели.

— Моё мнение: предложение может и должно быть проведено в жизнь. А что касается второй части вопроса, — Малько сел, старательно смахивая с зелёного сукна невидимую соринку, — то главному технологу придётся всё-таки активнее заботиться о нуждах завода. А может быть... может быть, заводу стоит позаботиться о главном технологе...

Григорию очень хотелось услышать, что скажет Тарасов. Не потому даже, что Григорий боялся за судьбу своего предложения — после выступления директора он перестал бояться. Ему просто хотелось знать, что думает секретарь парткома о его изобретении.

Тарасов сидел, положив локти на стол, пристально глядя на свои тесносплетённые пальцы.

— Так.. — тихо протянул он, когда Малько кончил. Не то он соглашался с директором, не то окончательно решал что-то своё. — Так! — уже громко повторил Тарасов.

Подняв голову, он посмотрел прямо на Сванидзе, и Григорий поразился, какие яркие, необыкновенно чистого синего цвета были у парторга глаза. С возрастом цвет глаз у большинства людей почему-то теряет свою определённую, а у Тарасова глаза были ясные, незамутнённые, как у ребёнка.

«Глядя в такие глаза, не солжёшь, — подумал Григорий. — Сам не захочешь, да и его не обманешь».

Григорий ожидал услышать мнение Тарасова о возможности принятия его предложения, но секретарь парткома заговорил о великом значении творческой мысли вообще и только потом, как-то очень просто сумев выделить основное зерно предложения, рассказал, как надо организовать работу по-новому.

Тарасов, выступая, то и дело обращался непосредственно к Сванидзе, и Григорий с трудом удерживался, чтобы не кивать в ответ. Его бесконечно радовало, что секретарь парткома говорил уже не о том, годен или негоден проект, а только о возможно быстром претворении его в жизнь. «Значит, был об этом разговор у них с Майко!»

И, как бы отвечая его мыслям, Тарасов обратился ко всем присутствующим:

— А о сухой сборке на заводе уже говорят, товарищи! Рабочие интересуются, торопят. Это плохо. Плохо характеризует нас, хочу я сказать. Рабочие уже болеют за этот проект, а мы только сегодня его обсуждаем. Значит, застоялся воздух! Значит, приходится сознаться — понадобился свежий глаз, чтоб заметить наши промахи. Плохо! — жёстко подчеркнул Тарасов и добавил: — Но, конечно, его благодарить надо, — он кивнул на Сванидзе, — а не палки в колёса ставить...

«Наверно, к себе он ещё требовательнее, чем к другим, — подумал Григорий, — вот почему и любят его».

— Напомню вам, товарищи, слова Владимира Ильича из статьи его «Великий почин»: «Коммунизм, — выделил это слово Тарасов, — коммунизм начинается там, где появляется самоотверженная, преодолевающая тяжёлый труд, забота рядовых рабочих об увеличении производительности труда.» На пороге коммунизма стоим, товарищи, а мне кажется, у некоторых из нас появляется иногда этакая успокоенность: дескать, основное сделано, а что не доделано — по инерции дойдёт. По инерции ничто не дойдёт. И с керосиновым болотом, грязными сапогами, руками неумелыми и ленивой совестью, — синие глаза сверкнули в сторону ушастого человека, — мы к коммунизму ближе не станем! — закончил Тарасов.

— Это не первая схватка у Майко с технологом, но, кажется, последняя, — сказал Воронин Григорию, когда они вышли из парткома.

— Ты слышал? — перебил его Григорий. — Даже на сухом протокольном языке это звучит прекрасно: «график внедрения мероприятия в жизнь!» Ты разберись только. Мероприятие внедряется в жизнь. Будто новое подразделение идёт в бой. Внедряется в жизнь — переделывает, улучшает эту жизнь!

— Все изобретатели немножко поэты. Пойдём из этой коптилки (они остановились в курительной), я ведь не курю, — сказал Воронин.

К концу дня он хромал заметней. Он взял Григория под руку. Григорий с удовольствием ощущал, как доверчиво опирается на него товарищ, и улыбался про себя: «Поэт? А разве сам Воронин не колдует, как поэт, над своими бумажными кубиками? Разве не мог бы он найти себе работу поспокойней и поменьше утомлять свою укороченную ногу?»

Они вышли из заводоуправления. Шёл мелкий тёплый дождь. Ночь была тёмная и тихая. Беловатый туман заволакивал посёлок, но и сквозь туман свежо и мощно пахла сытая влагой земля.

— Только на улице и замечаю, как я пропах керосином, — сказал Воронин, стоя под каменным козырьком парадного и с удовольствием вдыхая влажный тёплый воздух.

Григорий протирал ветровое стекло машины.

— Садись-ка, Дмитрий Петрович, отвезу тебя домой,—предложил он.

— Хорошо бы, я своим обещал пораньше вернуться. Только знаешь, сегодня, кажется, не выйдет. Надо, пожалуй, ещё ненадолго в цех забежать...

— У тебя каждый день не выходит! — Григорий засмеялся.

— Вот поглядим, как у тебя будет выходить. Завод, брат, живой. Как ты к нему, так и он к тебе.

Подняв воротник, Воронин решительно зашагал под дождём. У проходной он обернулся, помахал Григорию. Отсалоутовав ему перчаткой, Григорий полез в кабину.

В кабине было сухо и уютно. Тяжёло переваливаясь на малом газу, «зис» полз по дорожке. Шины шипели на мокром песке. До шоссе Григорий вёл машину с подфарниками; выбравшись на асфальт, включил фары и дал газ.

В стекло, обрызганное косыми струями дождя, всплывали огни встречных машин. Разгораясь на миг ослепительным блеском, они мгновенно пропадали слева, и фары снова освещали только чёрный мокрый асфальт. Григорий с удовольствием ощущал молчаливую покорность машины. Мерцали циклопы глаза светофора, красные огоньки, и улицы были похожи на реки с лунными дорожками.

А всё-таки жаль, что Дмитрий Петрович именно сегодня не пошёл пораньше домой и не позвал Григория. Ему очень хотелось провести сегодняшний вечер в доме Ворониных.

Ольга Михайловна — жена Воронина — работала в отделе кадров завода с тех времён, когда завода, собственно, ещё не было, а были только котлованы. Ольгу Михайловну называли живым справочником. У неё была прекрасная память, и если б кто-нибудь надумал писать историю завода, стенограмма беседы с Ольгой Михайловной могла бы стать основой такой истории. Всех кадровых работников завода она знала в лицо, знала детей их, знала, о ком прежде всего нужно хлопотать перед дирекцией насчёт получения квартиры. Но если б она и не была сейчас в отделе кадров и в завкоме, всё равно рабочие, наверно, ходили бы к ней «советоваться» по всевозможным вопросам. Её любили. Знакомя Григория с женой, Воронин сказал полусерьёзно:

— Женитьба на Ольюньке — лучшее, что я мог придумать. Теперь, если кто из рабочих меня и не знает, товарищи говорят ему: «Да это ж муж Ольги Михайловны» — и кончено. Половина авторитета завоёвана...

Маленькая, с круглой, аккуратно причёсанной на прямой пробор, головкой, Ольга Михайловна была похожа на девочку. Григорию показалось: сними она свои роговые очки — от серьёзности не останется и следа. Но как раз без очков он и увидел пересекающиеся морщинки под глазами, а сами глаза стали вдруг немного усталыми. «Добрые и вместе с тем строгие глаза матери», — подумал Григорий.

Однажды прошлым летом Воронин привёз Григория к себе на дачу в Загорянку, где заводской жилищно-строительный кооператив выстроил в сосновом лесу целый посёлок.

На даче Дмитрий Петрович тотчас переоделся и отправился со своим четырнадцатилетним сыном плотничать — они достраивали сарай.

Мальчика звали Климент.

Ольга Михайловна пояснила, что хотела бы привить сыну любовь к биологическим наукам и заинтересовать его образами таких людей, как Тимирязев, Мичурин.

— Для себя я, конечно, не мечтаю о каких-нибудь интересных опытах, гибридах, но мне доставляет удовольствие вырастить растение, содержать его в порядке и знать, что ему хорошо. Пойдёмте, я покажу вам свой цветник.

Надев очки, Ольга Михайловна опять стала похожа на девочку.

— Посмотрите, посмотрите только, какие рожицы! — говорила она, опустившись на колени и осторожно поворачивая к Григорию цветки анютиных глазок.

Весь цветник Ольги Михайловны, собранный в один букет, стоил бы в московском киоске никак не больше тридцати — сорока рублей. И анютины глазки были обыкновенные анютины глазки, но Ольга Михайловна с такой убеждённостью и восторгом говорила Григорию о них, как о живых существах, что он как бы в самом деле разглядел на жёлтых с коричневым цветках простодушные доверчивые рожицы.

Григорий провёл у Ворониных целый день. Вечером пили чай на пахнущей свежим тёсом, ещё не застеклённой веранде.

Дмитрий Петрович, сероглазый, загорелый, поглаживая усы, удовлетворённо оглядывал свой по-хозяйски обработанный участок.

Солнце опустилось за лес. Земля глубоко вздохнула прохладой. Ольга Михайловна ушла в комнаты и, вернувшись, поставила перед мужем валенок. Григорий подумал, что у Воронина наверно часто побаливает нога и все об этом забывают, кроме жены. А вот жена помнит. И всегда будет помнить.

Впервые, может быть, с детских лет Григорий ощутил в тот вечер, как много верного, неубывающего счастья даёт семья.

К сожалению, часто бывать у Ворониных не пришлось. Не мог же Григорий заполнять собой каждый свободный день Дмитрия Петровича.

Сегодня Григорию особенно хотелось пойти в какой-нибудь семейный дом и чтоб ему были там рады, как желанному гостю; хозяйка, зная его привычки, налила б ему до черноты крепкий чай и порадовалась его успехам.

Но такого дома у Григория не было. Не было все долгие годы с тех пор, как он уехал учиться из Тбилиси в Москву и, едва успев получить диплом, попал в авточасть на финский фронт. После финской войны командующий соединением, в котором служил Григорий, оставил его в своём управлении и дал ему комнату под Москвой в военном городке.

Дождь перестал, посветлело. Вдоль шоссе уже тянулись дачного вида строения. Из-под пробки радиатора вырвалась струйка пара. Григорий забыл подлить на заводе воды.

Он свёл «зис» на обочину и пошёл к первому попавшемуся домику. Через низенькое окно Григорий увидел комнату, кровать со взбитыми пухлыми подушками, квадратный стол и зеркальный шкаф. Женщина, очевидно, примеряла платье. Она поворачивалась перед зеркалом и перед сидевшим за столом мужчиной. Она была некрасива. Платье подчёркивало её длинное туловище и короткие ноги. Но мужчина глядел на неё с таким обожанием, что Григорий почувствовал: человек этот — богач. Подойдя к женщине, мужчина расправил какие-то завязочки на её воротнике.

Григорий взял воды в соседнем домике. Уже подъезжая к станции Выстрел, где он жил, он вдруг вздохнул:

— Когда же у меня так будет?

Глубокий рубец на нижней челюсти, оставшийся от тяжёлого ранения под Выборгом, не портил лица Григория. Женщинам нравились

тёмные южные глаза, предупредительная мягкость этого сдержанного и красивого человека.

Вероятно, это большое счастье — настоящая любовь. Но всем ли она даётся? Творчество — вот что никогда не обманет. Найди себе в жизни эту золотую жилу — в медицине, в искусстве, в строительстве или в зелёном мире растений — и будешь силен и будешь счастлив. Есть же слепцы, которые проживут жизнь, не ощутив гордой радости созидания, преобразования мира!

Григорий прибавил газ, не притушив фар перед встречной машиной. Слепелённая, она свернула к обочине. Он улыбнулся своему озорству. Внедрить в жизнь! Что ж, внедрим! А потом его демобилизуют. Начальник отпустит. Не может же он не понять, что золотая жила для Григория — не в военном управлении, а в лаборатории, в цехе. Он инженер, он хочет и должен прокладывать в промышленности новые трассы. Сколько есть ещё в мире такого, что можно придумать, открыть! Вокруг каждого человека падают ньютоновские яблоки. Надо заметить их, открыть тайну их падения.

Утром Григорий проснулся с великолепным ощущением бодрости. За стёклами сверкали влажные острия сосновых игл. Таяло. С крыши сарая мальчишки пускали голубей, и они кувыркались в лучах уже тёплого весеннего солнца.

Григорий сделал гимнастику, зашил белыми нитками носок и оделся, с удовольствием ощущая, как аккуратно всё на нём подогнано.

Все было хорошо: и оттепель, и обнажившиеся плети дикого винограда — сколько, однакож, скрыто в них мощи и цепкости.

Больше всего на свете хотелось сейчас же позвонить на завод, узнать, что там и как. Но Григорий побоялся надоедать Воронину: у Григория — одна сухая сборка, а у того — план. Он заставил себя выпить чай, помыл стакан и тарелку, прибрал комнату, тщательно загнав мусор под шкаф.

— Куда же ты пропал? — закричал Воронин, когда через полчаса Григорий всё-таки позвонил. — Малько сказал, если дело выйдет, будет ходатайствовать через наркомат, чтобы — к нам. Приезжай. Сходим в лабораторию.

Григорий поехал в Москву на автобусе, собираясь после завода побродить по городу.

В 1933 году Григория направили из института на практику на завод. Тогда и завязалось его настоящее знакомство с Москвой. Началось оно с молодой заводской окраины. Город наступал на окружавшие его пустыри. Бараки вырастали здесь быстро. К оконным стёклам низеньких домов изнутри жались фикусы, герани, темнозелёные лимоны в глиняных горшках, кастрюлях и консервных банках.

Земля между домиками была ещё деревенская: с козым горошком, вмятинками собачьих следов и куриными перьями. Ближе к заводу высились многоэтажные дома, и в ясную погоду видны были башни Симонькова монастыря за пустыми бойницами. А внизу, с набережной Москвы-реки, начинался уже настоящий город, прочно одетый в асфальт.

Григорию нравилась Москва-река. Впервые он увидел её в ледоход и с удовольствием бродил по набережной, подставляя лицо весеннему ветеру.

В эти беспокойные мартовские дни даже Москва-река почему-то напоминала Григорию древние, ещё не укрощённые реки. Особенно хороша бывала она в сумерки, когда воздух густел, а небо склонялось низко к земле. Тёмные волны, сталкиваясь, вскипали мгновенной пеной — памятью каких-то давних могучих разливов. Проплывали послед-

ние сизые льдины. Они торопливо переваливались с волны на волну, спеша догнать большой лёд, давно уплывший за черту города, в талые, притихшие поля.

Побродив по Москве, Григорий возвращался в свою холостую, ещё не обжитую комнату умиротворённый и бодрый, как после беседы со старшим, мудрым другом.

В вестибюле испытательной лаборатории швейцар поглядел на следы, которые оставил на полу Дмитрий Петрович. Обычно Воронин извинялся за свои, в масле и керосине, рабочие ботинки. Но сегодня он был зол. Они с Григорием молча прошли по коридору, Воронин заглянул в зал, где на стендах испытывались подшипники, и знаками — стелды шумели — показал Григорию дорогу.

В металлургической лаборатории было чисто и тихо, как в больнице. Голубели бесшумные огоньки газовых горелок, химики в белых халатах копошились над своими колбочками и ретортами. Блистали мозаичные плитки пола.

Григорий улыбнулся, заметив сердитый взгляд, брошенный Ворониным на чистеньких лаборанток.

— Понимаешь, не могу больше терпеть, — сознался Воронин, — хочу наших работниц скорее высушить. Ведь бывает так: годы живёшь — ничего, а потом дня не вытерпеть.

— Завтра или послезавтра мы дадим вам точный состав заменителя, — сказала заведующая лабораторией, — почти всё готово.

— Я пятый раз прихожу, а вы меня всё завтраками кормите!

Воронин не хотел кричать, но после заводского шума голос не сразу применялся к тишине.

— Нам заменитель этот, как хлеб, нужен. Не просыхает цех от керосина, понимаете?

— Всё это нам известно, товарищ Воронин, — повысила голос заведующая лабораторией, — сборочный цех всегда так работал, два дня весны не сделают. Мы тоже не боги.

— Чем дольше люди в таких условиях работали, тем скорей надо выручать. Вас бы к нам на месяцок!

— Если б вы боги были, он бы на вас не надеялся, а то ведь вы химики! — примиряюще улыбнулся Григорий.

Заведующая лабораторией поглядела на него и смягчилась:

— Вы уже знаете, наверно, состав годен только с горячей водой. Даю слово, завтра получите.

— Дмитрий Петрович, когда ты успел? Я думал, мы заказывать идём, а у тебя уж всё готово. Значит, ты ещё до обсуждения проекта состав заказал? — спросил Григорий, едва они вышли из лаборатории. — Ведь могли же не утвердить.

Воронин улыбнулся. Злость его прошла.

— Видишь ли, у нас, конечно, бывают недосмотры, но чтобы не подержали хорошее дело, этого у нас не бывает

Во дворе Дмитрия Петровича окликнул высокий, красиво сложенный парень. Он был в брезентовых — от спецовки — брюках, тапочках на босу ногу и голубой футболке, плотно обтягивающей его широкие, хорошо расправленные плечи. Непринуждённая лёгкость движений, округлость мышц выдавали физкультурника. У него были светлые, почти золотые на солнце волосы, и поэтому сразу бросились в глаза тёмные, густые, сросшиеся на переносице брови.

«Какое суровое лицо!» — подумал Григорий, но парень вдруг улыбнулся беззаботно и весело, щедро обнажая ровные, белые, не слишком

крупные зубы, и Григорий сразу увидел просто мальчика, высокого, сильного мальчика.

— Дмитрий Петрович, а я опять норму перевыполнил!— ещё не доходя, крикнул парень.

Воронин познакомил его с Григорием, и недовольство, промелькнувшее было на лице парня, когда он увидел, что начальник сборки не один, тотчас сменилось выражением заинтересованности.

— Виктор Куприн!— представился он, крепко пожимая руку Григорию.— Это вы для нашей сборки сухую ванну придумали?

— Ванна-то мокрая. Сборка сухая,— рассмеялся Григорий. Как приятно было ему лишний раз убедиться, что ванной на заводе интересуются!

— Перевыполнил норму, говоришь? Ну, так и надо,— сказал Дмитрий Петрович.— Тебе нельзя плохим работником быть. Во-первых, отец и дед твой и прадед с металлом дружбу вели, а во-вторых, тебя сам Павел Гаврилыч учил. Ты Павла Гаврилыча Симочкина ещё не знаешь?—спросил Воронин Григория.—Ну, ничего, узнаешь. Большой мастер. Знатный мастер.

— Меня учил, а вот Катюшу свою не выучил,— сказал Виктор и прищурился, видно вспомнив о чём-то не очень приятном.

— Позволь, друг, позволь!— возмутился Воронин.— При чём же тут Павел Гаврилыч? И Катюша вовсе не плохая работница была. А ушла— так что ж,— Дмитрий Петрович вздохнул,— сам знаешь, у нас в сборке работёнка не из лёгких. Посиди-ка целый день в керосине. Руки не просыхают. Я Катюшу не оправдываю конечно, всё-таки лёгкой работой соблазнилась, но и осудить не могу. Да тем более, ведь не на плохое дело пошла. Может, из неё хорошая медсестра выйдет.

— А вот Павел Гаврилыч осуждает,— горячо сказал Виктор.

— А ты, наверно, подзуживаешь старика: вот, мол, единственная племянница от завода откололась, а старик того не понимает, что просто ты ревнуешь Катюшу, и хочется тебе, чтоб она поближе была,— посмеялся Воронин.— Погоди, я объясню Павлу Гаврилычу твои расчёты. Медольно ему девочку пилить.

Виктор мгновенно залился нежным, как у девушки, румянцем.

— Вот сухую сборку введём, она и вернётся,— сказал Григорий, чтобы выручить этого необычайно симпатичного ему парня.

— А ты, давай, драку свою бросай. А то к Катюшину возвращению как раз носа не досчитаешься,— Воронин разглядывал лицо Куприна.— Синяки-то только-только прошли.

— Не совсем ещё!— Виктор, смеясь, прищурил левый глаз. На гладком веке голубела лёгкая тень — Боксирую,— пояснил он Григорию.— А Дмитрий Петрович вот бранит. Я уж на соревнованиях выступал,— с мальчишеской гордостью торопливо добавил он.

— Ну, прощай пока,— решительно сказал Воронин,— а то, ты знаешь, я с тобой без всякого толку с большим удовольствием и час и два могу проболтать.

— Какой-то чистый он весь, молодой!— от души сказал Григорий, когда они расстались с Куприным.

— Не пьёт, не курит, здоровый,— на последнем слове Воронин чуть помедлил.— Большое дело здоровье.

— А что за Катя?— спросил Григорий, с удовольствием узнавая новых и новых людей из этого огромного коллектива.

— Катя — племянница Павла Гаврилыча. Живёт у него. А работает в нашей подшефной больнице. Из этой подшефной больницы ка-

кая-то фельдшерница вела у нас кружок первой помощи. Вот она Катюшу и сманила.

— Как ты знаешь всех своих людей!— с хорошей завистью сказал Григорий.

— А как же? Станок — попроще конструкция, и то знать нужно, если хочешь с ним дела делать. А как же с человеком работать, не зная?

Дмитрий Петрович задумался. В самом деле, во многих семьях знал он уже не одного-двух работников завода, а чуть не весь род до третьего колена.

Вот, хоть бы семья Куприных. Сначала Дмитрий Петрович познакомился с Ионой Куприным — отцом Виктора. Завод готовили к пуску, и Иона приехал из деревни наниматься в кузнецы. Было ему тогда не меньше пятидесяти, Виктору — лет десять, а младшему братишке его и пяти, кажется, не было. С машинами Иона быстро поладил, но уж когда требовалось поработать молотком, на Иону собирались глядеть.

А старик любил, как он выражался, «показать работу». Отковав деталь, он легонько, не торопясь, отставлял молот, словно в нём и весу особого не было, и если рядом случался кто-нибудь из молодёжи — а тогда весь завод был, можно сказать, молодёжным — Иона, между прочим, сообщал:

— В нашей деревне старики не запомнят, чтоб в роду Куприных не было кузнеца И детей своих я кузницей поднял. Восемь человек! Конечно, не легко далось. Время другое было. Старшим приходилось и милостыньку просить...

Да, восемь человек детей! И между прочим, факт этот в завкоме чуть не прозвали. Совершенно случайно в очередном списке многодетных матерей Ольга Воронина прочла имя бабушки Настасьи, жены Ионы — её все в посёлке называли бабушкой — и сейчас же послала делегацию с подарками. Дмитрий Петрович тоже ходил поздравлять стариков. Бабушка была и смущена и горда:

— А мы и сами не вдруг вспомнили. Маленькие дети — на виду, а взрослые расползлись по разным городам, их и не видно.

Дети у Куприных действительно разъехались далеко. Старшей дочери пятый десяток, живёт в Ленинграде, техник-фармацевт. Сын Василий, первый из рода Куприных получивший высшее образование, — директор завода в Ижевске. Двое младших — ещё при стариках.

Выдачу пособия по многодетности Иона справил пышно, но как только выпил, так и начал с Павлом Гавриловичем, старым своим другом, вечный их спор: кто нужнее — кузнец или токарь, и зачем Павел Гаврилович уговорил Виктора сменить дедовскую специальность и стать токарем. Вот теперь он — Иона — уже пенсионер. На заводе работать не может, тяжело. Несколько месяцев в году, правда, в колхозной кузнице работает. Не для денег. Денег хватает. А просто чтобы руки не остывали. Но, конечно, это уже не то. Нет сейчас кузнеца в роду Куприных!

Дмитрий Петрович терпеливо мирил стариков, убеждая, что в кузнице ли, в автоматнo-токарном ли важно, чтоб парень с металлом дело имел. Вся сила в металле!

В том же корпусе, что и Куприн, живёт Аня Гусева, теперь она инженер цеха мелких серий. А пятнадцать лет назад к Ольге в отдел кадров пришла девчонка лет четырнадцати, не больше, бедно одетая, с большим деревянным баулом. Ольга расспросила её. Оказалось, родители в деревне, а Аня решила стать слесарем, приехала в город, живёт у тетки и хочет работать. Поступила в ФЗУ, стала учиться...

В большой сером корпусе на втором этаже окна открыты, слышно, как играют на рояле. Это играет Серёжа Ковалёв, молодой начальник автоматного цеха. Он кончил институт в Одессе. Там у него отец — крупный профессор. Но не нужно думать, что благодаря такому родству Серёжа получал какие-нибудь скидки в учёбе.

Дмитрий Петрович ухмыльнулся, вспомнив, как совсем недавно Сергей Фёдорович, уже будучи начальником цеха, жаловался на отца: «Понимаете, меня постоянно донимали однокурсники: «Тебе — что! Если не поймёшь, отца спросишь». И один-единственный раз я действительно решил обратиться к отцу. Он посмотрел на чертёж, на меня и сказал: «Уж если ты не понимаешь такой простой вещи, то бесполезно тебе вообще что-либо объяснять».

«Что ж, возможно, профессор Ковалёв и был прав, в такой строгости воспитывая сына, — подумал Воронин. — Сын получился хороший, хватка крепкая. Это у него в цехе работают и Павел Гаврилович и Виктор. Красное знамя держит цех. Теперь, правда, если сухую сборку введём, то — посмотрим...»

— Да! — удовлетворённо вздохнул Дмитрий Петрович, когда они, выйдя в сквер, остановились против длинного ровного ряда жилых корпусов. — Из кадровых рабочих навряд ли есть кто-нибудь, кого бы я не знал. Большая семья! — он с удовлетворением погладил свои седоватые усы. — Хорошо, когда есть такая семья. Ну, прощай пока, Григорий Константинович. Я найду ещё и к Ионе и к Павлу Гаврилычу — насчёт деталей к ванне посоветоваться. Умные старики! Всё знают.

Григорий возвращался с завода усталый и счастливый.

В трамвае Григория прижали к окну. Боясь выдавить стекло, он оперся на раму. Возле кондукторши сидела девушка в берете с хвостиком. Григорий попросил её передать деньги. Девушка взглянула на него большими светлыми, совершенно отсутствующими глазами и, не глядя, протянула ему билет.

Григорий заметил аккуратную штопку на нитяной перчатке. «О чём-то крепко задумалась», — решил он и отвернулся к окну. Потом, снова взглянув на девушку, он подумал, что у неё очень чёрные густые ресницы, поэтому и глаза кажутся такими светлыми.

Трамвай шёл медленно. Григорий думал о заводе и, пожалуй, проехал бы свою остановку, если б его не толкнула та же девушка. Неся в одной руке распухший от книг портфель, а в другой какой-то свёрток — повидимому тоже книги, — она решительно протискивалась к выходу.

Григорий сошёл вслед за ней. Ему показалось забавным, как она, скользя на влажных булыжниках, вперевалочку, словно гусыня, перебежала площадь. Девушка свернула в переулок, чуть не попав под машину, груженную открытыми ящиками со свежим хлебом. Машина поехала к булочной, где Григорий часто брал хлеб. То ли скользко было, а шофёр резко притормозил, то ли просто отломилась железная задвижка у борта, но Григорий увидел, что кузов вдруг накренился, борт открывается и весь хлеб вот-вот полетит в грязь.

Девушка уже поровнялась с машиной. Она вскрикнула, выронила свои книжки и, вытянув руки, бросилась вперёд. Григорий, кажется, тоже крикнул. Ему показалось, что сейчас, сию минуту эти кованные железом ящики полетят на голову девчонки!

Ни один ящик не упал — прохожие успели поддержать борт машины, однако Григорий отчётливо видел, что первыми протянулись именно руки девушки.

«Вот чертёнок! Ведь ей могло череп проломить!» — подумал он, улы-

баясь и покачав головой, подобрал её портфель и свёрток и стал в сторону.

— Эх вы, москвичи!— весело рассмеялась девушка, обращаясь к шофёру и толстяку в белом халате, вылезавшему из кабинки. — Чуть было весь хлеб свой не рассыпали!

Но весёлость её мгновенно пропала, и она огляделась растерянно.

— Вы наверно ищите свои книги?— Григорий подал девушке её портфель и свёрток.

Даже не поблагодарив его, она первым делом ощупала свёрток — нет, книги не успели промокнуть.

— Честно говоря, никак не думал, что у вас так развиты рефлекссы,— сказал Григорий.— Я ехал с вами в трамвае. Вы мне показались очень рассеянной.

— Нельзя же, чтобы хлеб в грязи валялся,— пожалала плечами девушка.— Но вы правы, я действительно рассеянная. А сегодня тем более. Я провожала свою подругу. Мы много лет с ней дружили.

— Далеко провожали?

— Далеко,— вздохнула девушка — Этого города ещё и на карте нет. Города на карте нет, а техникум в городе уже есть. Занятно, правда?

Она впервые внимательно посмотрела на Григория, почему-то покраснела и попрощалась, торопливо поблагодарив его.

А Григорию захотелось, чтобы эта нагруженная книжками, немного смешная, но чем-то привлекательная девушка не ушла, не затерялась в толпе.

Он попросил разрешения проводить её и почувствовал, что девушка сразу насторожилась. Григорий сделал движение удержать её. Она отступила. Он опустил руку.

— У вас наверно есть родные? Позвольте мне с ними познакомиться,— просто сказал Григорий.— Вы знаете, я в Москве совершенно один. У меня здесь почти нет знакомых.

Он назвал себя.

— Меня зовут Кира Стародумова,— сдержанно представилась она, подумав всё же дала свой адрес, но, видимо, тут же и раскаялась в этом.

Григорий записал адрес на каком-то удостоверении. Когда он поднял глаза, девушки уже не было.

Маленькая семья Стародумовых жила в Лосиноостровском, в покосившейся бревенчатой даче с потемневшей от времени террасой и жестяным петушком-флюгером. Максим Лаврентьевич, отец Киры, ещё до революции окончивший университет, работал архивариусом в московском древнехранилище. Жена его умерла от тифа в двадцать третьем году. Кира не помнила матери. Жившая в мезонине одинокая некрасивая фельдшерница Анна Ивановна помогала Максиму Лаврентьевичу растить девочку.

Когда Кира выросла, её школьные приятели чувствовали себя хозяевами на даче. Максим Лаврентьевич особенно поощрял дружбу дочери с мальчиками, считая, что это поможет ей выработать мужественный характер.

С первых классов Кира подружилась с Алёшей Маркиным. Алёша был старше её на два класса. Отец Алёши — рабочий Замоскворецкого трамвайного парка — погиб в Октябрьские дни в бою за Крымский мост. Мать в годы разрухи поехала за хлебом и не вернулась. Алёша остался обузой для тётки — своей единственной родственницы.

На Максима Лаврентьевича произвёл большое впечатление рассказ о героической гибели Алёшиного отца, а потом и сам мальчик понравился ему. Максим Лаврентьевич долго и тщательно обдумывал, как бы поделикатнее, не обидев тётки, сообщить ей о своём желании усыновить мальчика.

Но разговор прошёл значительно легче, чем он ожидал. Тётка охотно согласилась передать Максиму Лаврентьевичу свои права на ребёнка.

— Я так понимаю, раз имеешь детей, ни в какие там забастовки, битвы нечего ввязываться,— говорила она по адресу Алёшиного отца, собирая немногочисленные вещи племянника.— А теперь, сами видите! Известное дело, без отца, без матери — сирота!

Максим Лаврентьевич с Алёшей долго молча шли до трамвайной остановки. Стемнело.

— Вы не беспокойтесь,— сказал вдруг Алёша.— Я уже с будущих каникул подрабатывать буду. Я уже пробовал Я могу грузить капусту. Картошку не могу, а капусту — могу. Потому что картошка — мешками, а капусту по кочешку перекидать можно.

Так Алёша поселился у Стародумовых.

Максима Лаврентьевича радовало, что у Алёши ещё в первой степени обнаружилось пристрастие к гуманитарным наукам.

Однажды, в отсутствие Алёши, Максиму Лаврентьевичу понадобилась чистая тетрадка. Максим Лаврентьевич порылся в Алёшином столе. Чистой тетрадки он не нашёл, зато нашёл много исписанных.

Да, несомненно! Все стихи, которые Алёша читал ему, как произведения своих одноклассников, принадлежали Алёшиному перу. А Максим-то Лаврентьевич ещё радовался, что Алёша попал в класс, где так любят литературу, и пророчил будущее его товарищам. Очень легко пророчить будущее чужим сыновьям!

Он всё собирался серьёзно поговорить с мальчиком, предупредить его, что путь писателя труден и тернист, но так и не успел.

Алёша кончил девятилетку, когда Максиму Лаврентьевичу исполнилось пятьдесят пять лет. В этот день бледный от волнения Алёша торжественно положил на стол журнал «В помощь сельскому библиотекарю», в котором был напечатан его первый очерк, вынул из кармана сто рублей и поставил бутылку шампанского.

— Это мой первый гонорар,— сказал Алёша,— но я уже получил предложение постоянно сотрудничать в журнале Я просто не знал, что полагается покупать, кроме шампанского, и решил принести деньги. Тем более, у нас, кажется, не плачена страховка за дом? — Алёша старался говорить непринуждённо, но в каждом слове его Максим Лаврентьевич чувствовал гордость мужчины, который уже встал на ноги.

Захмелев с непривычки, Максим Лаврентьевич настойчиво допрашивал Алёшу, чувствует ли он в себе силы стать писателем.

Алёша молчал. Разве он мог рассказать, как его мучают замыслы? Существуют интересные люди, происходят волнующие события. И, кроме него — Алёши, никто о них не знает, познакомить других людей с ними может только он один. Пока он этого не сделает, образы будут мучить его, как невыполненное обещание.

Но конечно, о таких вещах может говорить только большой писатель, а если так скажет Алёша, это будет смешно.

Окончив школу, Алёша поступил в Литературный институт Союза писателей. Ему дали персональную стипендию. На втором курсе Алёшу приняли в кандидаты партии.

Его и Максима Лаврентьевича теперь заботило одно — в какой вуз пойдёт Кира. И для обоих совершенной неожиданностью оказалось решение самой Киры — во что бы то ни стало идти работать.

— Всё я продумала, — заявила она им. — От учёбы отказываться я вовсе не собираюсь. Сейчас мне девятнадцать. Проработаю я год-полтора. Всё это время буду усиленно заниматься по программе исторического факультета. Может быть, мне даже удастся сдать экстерном за первый курс. Работать я поступаю, правда, секретарём, но в Институт истории...

— Ты думаешь, что это приблизит тебя к истории? — язвительно спросил Алёша.

Кире стало немного грустно. Не могла же она объяснить им истинную причину своего желания идти работать. Тогда они ни за что не разрешили бы ей это. А ведь всё очень просто — отец старик уже, работает на половинной ставке. Алёше осталось полтора года до окончания института. Он должен думать только о занятиях и о творчестве, не размениваться по мелочам. Его надо сейчас полностью освободить от мысли о зарплате, а уж потом он поможет Кире, и она наверстает своё.

После происшествия с машиной и неожиданного знакомства с военным, Кира приехала домой несколько сконфуженная. Заранее возмущаясь, она с уверенностью представляла себе, что если этот военный появится, Анна Ивановна непременно занесёт его в разряд «женихов». Для Анны Ивановны все Кирины знакомые делятся на «женихов» и «неподходящих». Вот приятель Алёши, студент литературного института Боря Савицкий, который сидит сейчас у них в столовой, — «неподходящий», потому что молод, потому что студент, да ещё литературного института, потому что на левой руке у него все пальцы гранатой оторвало. А Кире в Савицком по-настоящему и нравится только одна эта рука.

Когда Кира вернулась домой, было уже совсем темно. Она сразу прошла в свою комнату и позвала Алёшу. Поглядев на грудку принесённых Киной книг, он покачал головой.

— Опять для кружка? Ты к каждому занятию готовишься, как к зачёту.

— Это и есть зачёт! Это же моя комсомольская нагрузка, — живо откликнулась Кира. — Ты подумай, после целого рабочего дня пожилые семейные женщины приходят на занятия, потому что хотят правильно разобраться в газетах, в том, что происходит в мире. Я же обязана на каждый их вопрос ответить и исчерпывающе и интересно. Им, наверно, не легко выкроить этот час. Вот смотри, я иллюстрации подберу.

— Кирик, ты какая-то взвинченная, — присматриваясь к Кире, тихо сказал Алёша, — как будто какой-то огонёчек в тебе зажёгся.

Кира густо покраснела. Она и сама чувствовала — что-то её беспокоит. Она только не определила ещё окончательно — что. «Да, надо же рассказать Алёше про встречу с военным!» И решив так, Кира мгновенно ощутила: вот он, «беспокоящий огонёк!»

Кира рассказала Алёше всё точно, как было: если что-нибудь плохо, неправильно, он сразу почувствует.

Но Алёша выслушал её без всякого удивления.

— Ну и что же тут удивительного? Приезжий человек. Может, у него действительно в Москве — ни души.

— Значит, ты не видишь ничего неудобного в том, что я дала ему наш адрес? — повторила Кира, испытующе глядя на Алёшу.

Алёша даже возмутился:

— Да я просто не узнаю тебя, Кирик! Что мы, в чужой стране, что ли, живём?

— А может, меня и в своей за это не похвалят.

— Да что ты, в конце концов, беспокоишься? Все приезжие так заняты. Может быть, военный этот и не придёт, — попробовал успокоить её Алёша.

Кира вспыхнула, поблагодарила Алёшу и сказала, чтобы он шёл в столовую: ему с Савицким хорошо, до зачётной сессии ещё далеко, а ей надо к кружку готовиться.

Алёша ушёл. Кира уселась за свой столик, зажгла настольную лампу, обложилась книгами и сразу почувствовала себя спокойней — наверное так чувствует себя солдат, успевший окопаться. Завтра на кружке она будет говорить о положении в Европе. Война... Вся Европа горит в огне...

Приклеив к конспекту вырезанную из газеты карту Европы, Кира начала закрашивать страны, уже подпавшие под власть гитлеровской Германии.

Густая тень подползла к советским границам. Да, так будет наглядно!

Отчего же всё-таки так тревожила её встреча с этим военным? Кира ниже опустила голову, как будто кто-то мог подглядеть, что она опять краснеет. Прекрасно она знала, что её беспокоит, и нечего было морочить Алёше голову. Её тревожит, не уронила ли она себя в глазах этого военного, дав ему адрес.

Глава вторая

Приходя на работу, Кира отпирала свой стол с гордым чувством хозяйина — всё в полном, ею самой установленном порядке. В правом углу — книжки с адресами научных сотрудников и аспирантов, скоросшиватели, любимые перья «лягушка» и свой дырокол. В левом — стенограммы заседаний и её собственные конспекты по истории.

Перед заседанием бюро секции Кира волновалась, как будто ей самой нужно было выступать, а не только записывать чужие выступления. В эти дни учёный секретарь Ольга Арсеньевна до поздней ночи не отпускала Киру домой, потому что девушка по одному слову тотчас подавала ей нужный материал, хотя бы он несколько месяцев тому назад был подшит в дело. В такие дни Кира уходила с работы счастливая. Она чувствовала себя хозяйкой на земле.

Сегодня не было ни сессии, ни заседания. Кира разослала повестки и взяла стенограмму лекций о восстании лионских ткачей.

Материалы о лионских ткачах, строго говоря, были отнюдь не к спеху, но Кире самой хотелось почитать об этом восстании. Кира испытывала острую зависть к участникам великих событий. Ну почему она живёт самой обыкновенной жизнью? Как бы она хотела выдержать трудные испытания! Она вошла в готовую, кем-то завоёванную жизнь, а всё, что она делает, так мало, так просто.

— Кира, а зачем вам понадобился Лейденский папирус? — с любопытством спросила Ольга Арсеньевна.

Кира покраснела. Уходя к машинисткам, она забыла на столе свою тетрадку, и Ольга Арсеньевна читала теперь её последние выписки о восстании рабов в Египте.

«За две тысячи лет до нашей эры какой-то знатный египтянин писал с отчаянием: «...Рабы становятся господами рабов... Золото и лазурит,

серебро и малахит, сердолик и бронза, камень из Ибхама.. висят на шее у рабынь. Тот, кто не мог раньше себе сделать саркофаг, владеет ныне гробницей... Нет конца шуму. О, если бы земля замолкла и прекратился бы шум и не стало бы больше смятения!..»

— Зачем же вам всё-таки Лейденский папирус? — повторила Ольга Арсеньевна.

— А почему бы мне не интересоваться Лейденским папирусом?

— Но это же специальная область. Почему именно папирус?

— Не одним же папирусом я интересуюсь! Вот — про древнюю Монголию, вот — про Китай. И Плутарха я читала, — Кира, как будто оправдываясь, перелистывала свою тетрадь. — Я собираюсь через год, когда брат мой кончит институт, поступить на исторический факультет, а пока я самостоятельно занимаюсь. Может быть, экстерном... — Кира подумала: «Как, наверно, смешно Ольге Арсеньевне, что такая девчонка хочет быть историком».

Но учёной секретарше это, очевидно, не показалось смешным.

— Кира, какую работу вам поручило бюро комсомола? Ах, да. — вспомнила она, — вы ведёте кружок текущей политики с домашними хозяйками и техническим персоналом. Я слышала — не плохо, интересно ведёте. Но вам это, наверно, трудновато — и учиться, и работать, и кружок много времени отнимает? Это может плохо отразиться на занятиях. Может быть, вам поручить полегче комсомольскую работу?

— Нет, нет, — живо отозвалась Кира. — Пожалуйста, не меняйте. Вы знаете, я уже привыкла к ним. И потом... Я никогда не вела кружка. Мне хочется попробовать, какой из меня педагог выйдет.

Ольга Арсеньевна внимательно поглядела в открытые серые глаза Киры и почему-то засмеялась.

— Ну-ну, пробуйте! — сказала она. — А я скажу, чтоб вас понемножку на научно-вспомогательной работе использовали. Это тоже рано или поздно придётся пробовать.

После городского шума и давки в пригородном поезде деревянный вокзальчик Лосинки встретил Киру беззаботной дачной тишиной.

На тонких веточках молодых берёз набухали почки. Талая земля упруго поддавалась под ногами. Большой важный грач вперевалку ходил по обочине. Наверное, искал прутик для гнезда.

На дворе стучал топор — Алёша колот дрова. Кира подошла к Алёше и села на круглые поленья.

— Не упади! — Алёша, прищурившись, взмахнул топором и по топище вогнал его в упругую древесину. — Рассказывай, что у тебя случилось! — Движение вправо, влево — и Алёша с удовольствием разломил полено пополам, вдыхая свежий запах древесины.

— Алёша, ну почему ты всегда заранее знаешь, что у меня есть новости?

— По походке. Ты идёшь и ничего не видишь. Не видишь даже, что садишься на смолу. Я пошутил, не бойся, — засмеялся Алёша.

В сумерках Максим Лаврентьевич растопил печь-голландку, вечера были ещё холодные, Анна Ивановна уехала на дежурство. Они остались втроём у раскрытой дверцы по-зимнему горячей печи.

— Максим Лаврентьевич! — крикнула соседка. — Вас спрашивает какой-то военный.

Максим Лаврентьевич удивлённо поднял голову. Оборвав себя на полуслове, Кира переглянулась с Алёшей, и сердце у неё замерло.

Григорий рассчитывал, что в субботний вечер вернее застанет хозяев дома, но в нижнем этаже дачи было темно. Когда открывшая ему ка-

литку женщина позвала Стародумова, Григорий ожидал, что на крыльце покажется не старый ещё человек — ведь девушке было не много лет,— и удивился, увидев сухого, чисто выбритого старичка. В трамвае Григорий спокойно назвал бы его дедушкой.

Старик несколько растерянно поздоровался и пригласил Григория в комнаты. Там уже зажгли свет. Около изразцовой печки сидели молодой пареньёк и Кира. Не часто встречающееся имя девушки Григорий запомнил. В её прозрачных глазах Григорий прочёл теперь откровенное замешательство.

— Здравствуйте! — сказал он просто, подходя к Кире, как будто они были давно знакомы. — Я бы раньше приехал, но никак выбраться не мог... — Григорий ждал, что Кира что-нибудь скажет, но она молчала, и он почувствовал себя неловко. — Вы простите, вы, наверно, отец Киры, а вы брат? Меня зовут Григорий Константинович Сванидзе. Я просил вашу дочь познакомить меня с её семьёй, — уже с усилием говорил Григорий, с досадой думая: «Пожалуй, не следовало мне приходить».

Максим Лаврентьевич понял только то, что гость чрезвычайно обескуражен, и в свою очередь растерялся, почувствовав, что он, хозяин, не очень-то гостеприимен. Он захлопотал вокруг Григория и быстро помог ему отделаться от смущения.

— Вот по чему я соскучился! — Григорий протянул руки к печке. — Живой огонь! Я его ни разу не видел в Москве.

— Да вы присаживайтесь! — Максим Лаврентьевич придвинул к огню ещё один стул.

Кира осталась стоять.

— Можно? — Григорий подбросил берёзовое полешко.

Огненные языки притаились на миг, потом сразу с нескольких сторон жадно лизнули нежную белую кору. Потрескивая, как можжевеловик, полешко запылало.

Пламя ярко осветило синеватый шрам на подбородке Григория.

— Крепко вас поцарапало! — сказал Алёша — Здоровая, наверно, рана была? На финском? Расскажите, как там дрались.

Он смотрел на Григория заинтересованным, немного восторженным взглядом, каким всегда смотрят юноши на взрослых бывалых мужчин.

Григорий улыбнулся. От шрама улыбка у него была чуть-чуть кривая, как будто он и хочет улыбнуться, и не решается.

— Знаете, товарищи, — серьёзно сказал Григорий, — очень трудно рассказывать о войне в мирной обстановке. Самое страшное на войне, по-моему, вовсе не страх смерти. К страху смерти люди привыкают и почти перестают его ощущать. Если бы этого не происходило, то в первых же боях все сошли бы с ума. Быт войны! Вот к чему трудно привыкнуть. Я не о себе, конечно, говорю, я по самому роду службы в привилегированном положении. Авточасть. А вот пехота .

Алёше гость казался почти пожилым — тридцать наверняка есть, а для Максима Лаврентьевича Григорий не многим отличался от Киры и Алёши. Только пережить ему пришлось побольше и одинок, наверно, очень, если так охотно беседует с чужими людьми.

А гостю было двадцать шесть лет, хоть и выглядел он старше.

— А у вас в Москве никого нет? — участливо спросил Максим Лаврентьевич.

— Из родных — никого. Да и знакомых мало, а то бы, может быть, я и не решился так напрашиваться. А не похожи дети у вас, — поглядев на Киру и Алёшу, добавил Григорий.

— Собственно, Алёша не родной мой сын, — нехотя пояснил Максим Лаврентьевич.

Тогда Григорий уже с большим любопытством посмотрел на Алёшу, но расспрашивать постеснялся.

За чаем Максим Лаврентьевич спросил Григория, как нравится ему Москва.

Григорий задумался.

— Не знаю даже, сумею ли я объяснить вам, москвичам, моё чувство. Вы здесь всегда живёте. Наверно, для вас Москва — обыкновенный город. А для нас, людей моего возраста, выросших в других краях, Москва всегда представлялась средоточием всего лучшего, что есть в стране. Я привык думать, что здесь всё: и люди, и искусство, и производство, и человеческие отношения — должно быть выше, лучше, красивей. Я привык считать Москву образцом. Мне посчастливилось попасть сюда. Что же должен я чувствовать?

Представьте, вы полюбили женщину по письмам, по фотографиям и вдруг встретились с ней. Вы будете искать в ней хорошие качества, которыми наделили её в своём воображении. Иногда вам будет больно, потому что у неё неминуемо обнаружатся хоть маленькие, но недостатки. Но если достоинств окажется больше, любовь ваша останется при вас, и вы — счастливый человек!

Вот и я счастлив. Вот я и радуюсь каждому красивому дому, который нахожу в Москве, каждому доброму слову, какое скажет москвич. Да мало ли в Москве чудесного, великого, такого, чего больше нигде не встретишь! А Красная площадь! А Ленинская библиотека, Третьяковская галерея, Художественный театр, московские заводы?.. Эх, — он засмеялся, — богатые вы, москвичи!

Мне кажется, в Москве не найдётся человека, который разрезал бы кожаное сиденье в метро, потому что такой поступок портит моё представление о людях Москвы. Вот почему я захотел познакомиться с вашей дочкой и её семьёй. Мне понравилось, как она по-хозяйски вела себя на улице.

Григорий говорил увлекаясь, и акцент его усилился.

— Мне хотелось бы узнать, запомнить Москву по людям, по улицам, по камням.

— Молодой человек, — сказал Максим Лаврентьевич, — вы будете знать Москву. Я покажу вам церковь, в которой венчался Пушкин, дом, который описан в «Войне и мире», как особняк графов Ростовых, башни Симонова монастыря и остатки пруда, у которого плакала бедная Лиза. Я помню этот Симонов монастырь, когда он стоял ещё на краю города. Знаете ли вы, молодой человек, что в тысяча девятьсот пятом году в те края возили расстреливать революционеров? Там погиб лучший друг моей молодости!

Кире казался немного смешным торжественный тон отца, к тому же он рассказывал о Москве так, словно отчитывал Григория за какую-то провинность. Но гость слушал внимательно, даже жадно.

— Симонов монастырь? Я и не знал, что этот район имеет такое прошлое. Я же часто бываю там. Можно сказать, работаю, — с удовольствием поправился Григорий, — на заводе. Если б вы знали, какой интересный этот завод! Строго говоря, это целый город...

— Я знаю, о каком заводе вы говорите! — обрадовался Алёша. — Я был там. Раза три, наверно, был с институтской бригадой. Только это, конечно, не то. Чтобы хорошо написать о таком заводе, надо очень хорошо, изнутри его знать. Если бы кто-нибудь из заводских меня туда

повёл, — Алёша с надеждой поглядывал на Григория, — познакомил бы с заводским народом...

— Алёша учится в литературном институте, — пояснил Максим Лаврентьевич. — Он печатается уже, — добавил он.

— Показать вам завод? — оживился Григорий. — Конечно, можно. Вот подождите немного. Там товарищи одно очень интересное дело начали. Сделаем его, тогда уж всё вместе можно посмотреть.

Прежние сомнения и тревоги нахлынули на Григория: «Сделаем... А вдруг не сделаем? Может, чем по гостям ходить, лучше бы посидеть да проверить ещё раз все расчёты?».

Кире стало досадно — гость явно устал или соскучился, но Григорий, ощутив неловкость молчания, тотчас извинился:

— Дело это, прямо будем говорить, и меня очень близко касается. Как вспомню о нём, так всё другое забуду...

Они хорошо, оживлённо беседовали ещё часок. Когда Григорий ушёл, Кира почувствовала, что устала. Устала и рада: всё благополучно обошлось, и теперь этот человек, наверно, будет у них бывать. Видимо, отец прав, он очень одинок. Только поэтому он, наверное, и подошёл к ней на улице...

— Кирик, он мне очень понравился! — горячо сказал Алёша, проводив Григория и заперев за ним калитку. — А вы как думаете, Максим Лаврентьевич?

Максиму Лаврентьевичу гость тоже понравился, но шёл двенадцатый час, а Максим Лаврентьевич привык ложиться рано. Он только одобрительно кивнул.

Кира с Алёшей долго сидели на крыльце.

Тихий ветерок осторожно трогал ветви.

— Человек должен многое в жизни пережить, а не только видеть, — сказал Алёша, думая о ранении Григория и о финской войне. — И, смотри, совсем не портит его этот шрам. Он очень красивый, правда? Рядом с таким человеком мы — северяне — кажемся какими-то линияльми.

— А я люблю север, — Кира медленно и глубоко вдохнула свежий, ещё холодный воздух. — Север люблю и зиму люблю. Я бы на зимовку поехала, на какую-нибудь такую землю, которую надо ещё завоевать, устроить. Мне хочется первой лыжню прокладывать.

— Кирик, а ведь во всяком деле можно лыжню прокладывать. Просто мы часто ещё не догадываемся, в каком направлении нужно идти. Завершённых дел на земле нет и быть не может... А военный этот на-верняка придумал какое-нибудь усовершенствование. Ты заметила, как он тепло говорил об изобретательстве?

— А как ты думаешь, он ещё придёт к нам? — спросила Кира.

— Ну что ты! Конечно, придёт! — забеспокоился Алёша. — Он же обещал меня на завод свести. Тебе холодно? Дай-ка я тебя укуроу.

Обняв Киру, Алёша прикрыл её полкой пиджака.

Глава третья

В своём кабинете Воронин поставил второй клеёнчатый диванчик. Григорий проводил в цехе целые дни, а частенько и ночевал. Отпуска оставалось две недели. Хорошо, если ванна после пробы никаких изменений не потребует. А если?.. Переделывать некогда.

— Не видал тебя сегодня! — вернувшись с обеда, приветствовал Дмитрий Петрович Григория. — И могу констатировать, что худеешь ты не меньше, чем на килограмм в сутки. Что так?

— Мало хорошего, Дмитрий, — Григорий устало пригладил жёсткие волосы. — Видишь, друг, как получается. Был сегодня в управлении. Начальник наотрез отказывается отпустить. Говорит: я тебя в часть pošлю. Можешь там изобретать, а о демобилизации и думать брось.

— Уж будто выше твоего начальника никого не найдётся! — пожал плечами Воронин.

— А ты знаешь, я иногда совершенно забываю, что нахожусь на заводе на птичьих правах, — вдруг весело улыбнулся Григорий — Сегодня, когда состав из лаборатории принесли, меня твой мастер назвал по имени-отчеству. — Он замолчал, взъерошил свои густые чёрные волосы и вдруг жалобно посмотрел на Воронина. — Волнуюсь я, Дмитрий Петрович... Как вспомню, что сегодня проба, сердце, как у мальчишки, замирает...

— Я сегодня утром ещё раз всё пересмотрел, пересчитал — по-моему, в полном порядке. Чудак ты, темперамент твой тебя подводит! — Воронин спокойно и ласково посмотрел на друга. И вдруг спохватился: — Извини, дружище, чуть не забыл, я ведь шёл сказать тебе — у проходной в сквере тебя какой-то паренёк в очках спрашивает, забыл фамилию, просил тебя вызвать.

— Эх, и я забыл! Вот не во-время-то! Это Алёша. Я ведь, кажется, рассказывал тебе о нём. Чудесный парень, кончает литературный институт. Молодой писатель. Он очень хочет осмотреть завод и познакомиться с тобой. Сделай милость, пойдём вместе. Ты вели кому-нибудь показать ему завод.

— Твой паренёк, оказывается, не один, с ним девушка, — сказал Воронин, когда они подходили к скверу.

— Да нет, что ты... Я же Алёшу одного приглашал, — нахмурился Григорий. — Как, в самом деле, некстати! Ни о чём, кроме ванны, думать не могу.

А Кира уже узнала и весело окликнула Григория. Воронин посмотрел на друга и заметил, что он смущён, но сказать ничего не успел — Григорий уже знакомил его с гостями.

— Кира, у меня ведь пропуск только на Алёшу, — сразу же предупредил её Григорий.

— Так я и не прошу, — опешила Кира. — Я просто проводила Алёшу и хотела снаружи посмотреть завод. Я подожду его здесь.

Алёша сразу заметил, что Сванидзе озабочен «Может быть, занят, — подумал он, — и с Кирой как-то неудобно получилось, будет здесь сидеть одна, ждать».

— Я сейчас, Кирик! Мы, очевидно, не во-время. Григорий Константинович, вы не беспокойтесь, мы приедем в другой раз, — вежливо сказал Алёша, пряча в карман приготовленный для пропуска паспорт.

Григорий покраснел.

— Алёша, друг, это вы не беспокойтесь! У меня сегодня такой день. Трудный день Дмитрий Петрович даст вам провожатого. А я посижу в сквере часок с Кирой. Ладно? Может, у меня голова проветрится.

Воронин молча кивнул и, прихрамывая, повёл Алёшу к проходной.

— У вас занятные глаза, Кира. Совершенно прозрачные, как горные озера, — сказал Григорий, думая: «Хватит ли четырёх атмосфер?» Кира не сразу отозвалась.

— Скажите, Григорий Константинович, почему с Алёшей вы можете разговаривать на серьёзно интересующие вас темы, а со мной нет? — помолчав, сказала она. — Неужели это только потому, что он литератор, а я пока ещё только секретарь?

— Кира, а верно говорят, что некоторые женщины не прощают мужчине неудач? — Григорию был виден угол крыши испытательной лаборатории. «Неужели всё-таки придётся потерпеть эту самую неудачу? Скорее бы уж — так нет, проба назначена на двадцать четыре ноль-ноль»

— Неверно это!

Кира тоже смотрела на завод. Все здания, корпуса были для неё безлико серы. Григорий казался злым, неинтересным, а спотыкающаяся их беседа — того хуже. Уехать — Алёша рассердится. Вот беда!

— Неверно, — после долгого молчания повторила она. — Это глупо, может быть, но я бы даже хотела, чтоб у близкого мне человека случились какие-нибудь неприятности. Он сразу убедился бы, что я не обуза, а опора.

— Вы, пожалуй, могли бы столкнуть «близкого» в реку, лишь бы иметь удовольствие самой его спасти, — засмеялся Григорий.

— Григорий Константинович, — вдруг просто, по-хорошему сказала Кира, — я ведь вижу, вам не до меня, а вы меня, как говорится, занимать стараетесь. Не нужно! Вы чем-то важным озабочены, ну и думайте о своём, а я просто так посижу, на завод посмотрю.

— О ванне думаю, Кирочка, — облегчённо сознался Григорий.

— А что это за ванна? — нерешительно спросила Кира. — Только если нельзя рассказывать, так вы не рассказывайте...

— Отчего же нельзя? — Григорий обрадовался — ведь ему только о ванне и хотелось говорить. Он охотно в нескольких словах рассказал о сухой сборке и о назначении ванны. — Это, собственно, такой ящик... Вот смотрите!

Оглянувшись на сторожку, Григорий сломал ветку и, одним движением ободрав с неё листочки, принялся чертить на песке. Рукав гимнастёрки его оттянулся, и Кира невольно подумала, что у него, должно быть, очень сильные руки.

— Сюда заливается раствор. Создаётся своеобразный душ, перед сборкой смывающий с детали подшипника грязь и смазку. Не знаю только, ох не знаю, хватит ли четырёх атмосфер?

Объясняя Кире чертёж на песке, Григорий подумал, что она действительно уяснила себе принцип действия ванны, а не поддакивает из любезности. Если технически неграмотная девушка легко поняла, значит принцип действия прост, и не мог, никак не мог Григорий ошибиться в расчётах такой несложной машины.

Молодец Кира, что поняла.

— До пуска ещё далеко, -- весело сказал Григорий, опуская рукав. — Пойдёмте куда-нибудь в кино на семь тридцать?

— А Алёша? — напомнила Кира. — Нет, уж давайте подождём его.

Выписав Алёше пропуск, Воронин задумался, кому бы порекомендовать этого не очень желанного сегодня гостя.

Дмитрий Петрович позвонил Куприным. На счастье, Виктор оказался дома, но он только что отработал смену, и, видно, ему не хотелось возвращаться на завод.

— В Парк культуры с Катюшей хотели поехать, Дмитрий Петрович. Надо ещё побриться успеть..

— Да что тебе брить-то! Мне бы твою бороду! — засмеялся Воронин. — Давай, давай выручай, а то мне сегодня не до гостей. Пробную ванну пускаем.

— Тогда услуга за услугу! — оживился Куприн. — Я уж парк отставляю, а вы мне на ванну взглянуть дадите!

— Договорились.

Повесив трубку, Виктор прокричал «ура» и тотчас сам прикрыл себе рот — мама, кажется, хотела заснуть, ей нездоровится последнее время. Он на цыпочках вошёл в её комнату. Она лежала, но не спала. Поджав ноги, она едва занимала половину постели. Виктору вдруг стало тревожно: что-то мама такая маленькая, старенькая стала и похварывает.

— Мама, как твоя голова? — спросил он, опускаясь на колени у её изголовья. — Что это, мне кажется, ты раньше вроде больше была. Похудела, что ли?

— Не я больше была, а ты вырос, сынок, — сказала она, поправляя свой по-деревенски завязанный под подбородком ситцевый платочек. — Ты обо мне не тревожься. Мои годы такие.

— Мама! Может, зайдёт Катюша. Ты скажи ей, что меня Воронин вызвал. Мы с ней завтра в парк ходим.

Мать смотрела на близко склонённую к ней голову сына. Как быстро время идёт. Давно ли... А уж теперь вон какой вырос. Голова золотая, как у подсолнечника, а брови густые. У всех Куприных такие... Она вдруг вспомнила покорные глаза Катюши и сказала строго:

— Катюшу-то... Ты смотри! Береги её.

Виктор посмотрел удивлённо, густо покраснел, но ответил, не опуская глаз:

— Это ты зря, мама! Я не из таких!

Мать улыбнулась, десятки морщинок мгновенно сбежались к её усталым глазам, а лицо стало чуть лукавым и добрым. Маленькой грубой рукой она оправила воротничок Викторовой майки.

— Знаю, знаю, сынок! Ты не балованный. Ну иди. Я Катюше скажу. Виктор поцеловал мать и пошёл на завод.

Очень занимала его эта ванна. Не сама по себе — говорят, сконструирована она довольно просто. А вот как это получается, что десятки людей пройдут мимо и ничего не заметят, а кто-нибудь один останется и скажет: «Друзья-товарищи! Что же мы с вами смотрим? Ведь можно сделать так и так... Гораздо лучше будет».

И тогда сразу все увидят, что действительно очень просто сделать лучше. Как в детских загадочных картинках «Где охотник?». Долго видишь только картинку и хитросплетение линий, а как покажут тебе охотника — удивишься, как же это раньше его не видел.

Но самое большое удовольствие, конечно, самому найти!

Алёша с первого взгляда не очень понравился Виктору. Он, как многие очень здоровые, сильные люди, относился к людям физически слабо развитым с недоверием: ему всё казалось, что у них что-нибудь болит или они чем-то недовольны.

Заметив издали Алёшины очки, Виктор подумал, что знакомый Сванидзе вдобавок ещё и плохо видит, и решил наскоро показать Алёше два—три цеха.

Завод начинался со склада. Уложенные в стеллажи длинные штанги напоминали стволы молодых сосен, только вместо живой коры рука Алёши ощутила жёсткий холод металла.

Когда они проходили по складу, потолок дрогнул, и огромный мостовой кран, гудя, двинулся к стеллажам.

— Кузня стали просит! — коротко пояснил Виктор.

В кузницу дневной свет проникал через стеклянный потолок косыми лучами. Тускло поблёскивали ослепшие на день круглые глаза прожекторов, а внизу, в длинных зевах нефтяных печей, металось оранжевое пламя.

Печи питались из-под земли нефтью и сжатым воздухом. Кузнец нагревал стальные штанги до цвета огня и тотчас вкладывал их в могучие челюсти ковочного «Аякса». «Аякс» откусывал кольца — первый грубый остов подшипника. Он выплёвывал их нежно-розовыми, дрожащими от жара. Они туманились, медленно остывая на песке.

С каким вниманием смотрел Алёша на это рождение детали! Как хотелось ему шаг за шагом проследить её путь из цеха в цех!

— Вы всё, всё мне покажите! — восторженно попросил он своего провожатого.

Но, к его большому огорчению, Куприн, снисходительно усмехнувшись, сказал:

— Да разве так, с ходу всё покажешь? Этак нам с вами придётся две смены по заводу ходить, — и быстро повёл его дальше.

Не прошло и получаса, как Алёша понял — Куприн прав. Завод слишком огромен, чтобы составить себе представление о нём при таком беглом знакомстве. Немало цехов занималось только обработкой колец, тех самых колец, рождение которых Алёше удалось увидеть. Другие цехи готовили сепараторы — внутреннюю часть подшипника. Отходы этих цехов — вырезные металлические ленты — были похожи на кружево. Специальные цехи готовили разных размеров шарики и ролики. Они назывались цехами «начинки».

От цеха к цеху сталь голубела, становилась нежнее в цвете, глаже в поверхности. Вместе со сталью светлели и помещения.

Сначала Виктор без всякой охоты вёл Алёшу по цехам, но посетитель с такой жадностью ловил и старался записать каждое слово Куприна, с таким уважением оглядывал и прикасался ко всему, к чему мог прикоснуться, что, в конце концов, Виктор сам оживился, с удовольствием глядя на свой завод глазами свежего человека.

— Ведь и в самом деле, товарищ писатель, сколько здесь труда! А посмотрите, как умно всё придумано. Конечно, когда каждый день здесь работаешь, как будто перестаёшь всё это видеть.

Алёша смотрел, записывал и даже не заметил, что его впервые в жизни без иронии назвали писателем.

После шлифовки сверкающее, как зеркало, кольцо ехало на электрокаре в последний, сборочный цех. Кольцо «начиняли» шариками или роликами, сепаратором — вторым маленьким кольцом, и рождался подшипник — гибкий, вёрткий сустав всех машин.

— Вот и всё! Вот вам и подшипник! Возьмите на память, — Виктор положил на ладонь Алёши крохотный — меньше гривенника — подшипничек. — А есть ведь и двухметровые в диаметре!

Алёша сжал в руке прохладное тельце подшипника, почти отсутствующими глазами глядя на своего провожатого. И Виктор подумал, что он всё-таки был прав: хлипкий этот паренёк, наверное, устал, и надоели ему машины. Подумав так, Виктор сразу почувствовал себя тоже усталым и чем-то обиженным. Ему даже захотелось взять обратно маленький подшипник, как будто он был живым существом и попал в плохие руки.

— Ну, пойдёмте! — почти грубо сказал Виктор и первый пошёл из цеха. Алёша покорно побрёл за ним.

Его снедало любопытство. Как узнать, что думает этот молодой парень, каждый день вставая к одному и тому же станку? Если судить со стороны, это, должно быть, однообразно. А ведь у парня лицо изменилось, когда он рассказывал про работу своего станка. Очевидно, он любит этот станок.

Но как же разглядеть истинную сущность труда этого человека? Не во время же короткой прогулки по заводу? Это всё равно, что с самолёта грибы искать. Надо попросить Григория Константиновича. Эх, если бы удалось устроиться в заводскую многотиражку!

Кира не заметила, как подошли Алёша, Воронин и какой-то высокий молодой человек

Конечно, этого не могло быть в действительности, но Алёше показалось, что она похорошела за эти два часа. Отдохнула, что ли?

— Алёша! Григорий Константинович говорит, что некоторые подшипники делаются с точностью до нескольких десятых толщины человеческого волоса! — живо обернулась Кира.

— Вот! — Алёша разжал ладонь с крошкой-подшипником.

— Так смотрите, не обманите, товарищи начальники, — Виктор поглядел на Григория и Воронина, — я на пробу приду. Ну как, здорово устали? — прощаясь, спросил он Алёшу. — Больше, пожалуй, не захотите цехи осматривать?

— Как? Почему же не захочу? — Алёша растерянно поправил очки. — Я хотел бы бывать здесь систематически. Конечно, было бы отлично, если б я мог что-нибудь тут делать, стенные газеты или в многотиражке что-нибудь. Я бы мог принести хорошие рекомендации! — с достоинством добавил он.

Виктор живо взглянул на Алёшу, на блокнот с записями, который так и остался зажатым в Алёшиной руке, и ему стало неловко, словно он незаслуженно обидел этого сдержанного, но уж никак не равнодушного к заводу паренька.

— Вы не сердитесь на меня, — вдруг от души сказал он. — Я, может, немножко поторопился с вами сегодня, но вот Дмитрий Петрович скажет, честное слово, за один раз всего не осмотришь. Вы приезжайте другой раз прямо ко мне. Я вам всё, что знаю, расскажу, а если разрешат — опять по цехам пойдём. Ладно?

Алёша тоже внимательно посмотрел снизу вверх в глаза Виктора, кивнул и улыбнулся.

— Вот и хорошо!

— Ну что ж! Я думаю, что дело человеку всегда найдётся, была бы охота, — одобрительно сказал Воронин, поглаживая свои усы.

— Вот и спасибо! — обрадовался Алёша. — Вы мне тогда через Григория Константиновича... Только сообщите. А то самому как-то неудобно людей от дела огрывать. Спасибо вам, мы не будем вас больше задерживать. Поехали, Кирик!

В одиннадцать часов Воронин и Григорий вышли из кабинета в цех. Третья смена не работала. Было тихо, темно. Горели только дежурные лампы да примелькавшиеся надписи «Берегись замыкания проводов», «С огнём осторожней». Прохаживались пожарные в тяжёлых, похожих на пробковые поясах.

Григорий оглядывал и щупал простенькие на вид детали ванны-конвейера.

Виктор тихо стоял в сторонке, внимательно следя и за ванной и за Сванидзе.

Виктор слышал однажды рассказ отца о том, как он, будучи совсем ещё молодым, случайно попал на Гужоновский завод, увидел машины и того, кто мог эти машины построить, разобрать, изобразить на бумаге их стальные внутренности и свободно читать голубые свитки чертежей, увидел инженера.

— Ни перед кем навтыяжку не стоял, — рассказывал отец, — а перед ним стал. Сколько пользы такие люди обществу приносят!..

Теперь уж старший брат Виктора был инженером, и сам Виктор привык работать рука об руку с инженерами. И так пристально следил он за Сванидзе, потому что пытался разгадать, где же тот рубеж, за которым человек не просто использует полученные им знания, но и прибавляет ко всему, что было раньше известно, нечто своё, творческое.

Виктор думал: «Ну хорошо, я теперь токарь. Можно даже сказать, не плохой токарь. Но ведь пока я делаю только то, чему учил меня Павел Гаврилыч. Это, конечно, хорошо, хоть мне ещё далеко до Павла Гаврилыча, но ведь нужно стремиться и самому что-то для людей придумать...»

— Четыре атмосферы. . хватит? — выпрямился Григорий.

— А вот сейчас и выясним, хватит или нет, — сказал Воронин.

Кто-то бежал по коридору. Хлопнула дверь.

— Чего тебе? — обернулся к дежурному Воронин.

— Звонил директор. Просил его обождать. Идёт к нам.

Почти бесшумно на толстых каучуковых подошвах вошёл в цех директор. От слабого освещения на крупно вылепленном лице его легли резкие тени, и он показался Григорию старше, чем при первой встрече.

Малько поздоровался с Ворониным, с Григорием и посмотрел на Виктора:

— А это кто? Что-то знакомое лицо как будто.

Виктор шагнул к свету.

— Я Куприн. Из автоматно-токарного.

— Ионы-кузнеца сын? — откровенно обрадовался Малько. — То-то я смотрю, брови знакомые. Мне, брат, эти брови на всю жизнь запомнились. Когда я в кузнице начальником пролёта был, то уж, откровенно сказать, не знаю, кто кого больше побаивался: я его или он меня. Я-то ещё желторотый был, а на его работу глядеть из других цехов приходили... Привет передавай! — кивнул он Виктору и подошёл к ванне. — Ну, всё готово?

— Да, можно начинать. Включай пар! — крикнул Воронин.

Эхо неожиданно гулко прокатилось по пустому цеху.

Запустили мотор. Машина дрогнула, загудела. Поначалу через неплотно прикрытую дверцу ящика-ванны хлынула на брюки Григория горячая вода мыльного цвета. Григорий ударом кулака плотно закрыл крышку и сам начал загружать на конвейер первые кольца. Они медленно уползали в ванну. Малько засёк время. И Григорию, и Дмитрию Петровичу, и Виктору показалось, что прошли не две минуты, а долгие часы, пока они силились увидеть сквозь стенки — хватает ли сил у душа отмыть цепкий вазелин. Все молчали. Ванна гудела громко и тревожно.

— Пошли! — вдруг крикнул Воронин. — Пошли, голубчики! Чистельские! С лёгким паром!

Подкидывая на руках, он перекладывал с конвейера на чистую бумагу выползавшие горячие кольца.

Горка колец росла. Приняли с конвейера последние. Григорий оставил машину и погладил её тёплую стенку. А Малько, вынув из кармана чистый платок, взял остывшее колечко, протёр его глянцевитые бока и, держа за кончики, показал Григорию попрежнему чистую ткань.

Григорий, устало и счастливо улыбаясь, смотрел на директора с чувством, совершенно тождественным тому, какое испытал на фронте, когда, впервые вернувшись с выполнения опасного задания, докладывал командиру, что задание это выполнено.

Глава четвертая

Сарайчик был почти полон, да и силы Максима Лаврентьевича пришли к концу, но ему во что бы то ни стало хотелось самому допилить последний кубометр дров. Хоть бы ребята болтали, а то, как назло, молчат, и так явственно слышно в тишине его натужное, свистящее дыхание.

— Максим Лаврентьевич! — уже несколько раз просительно окликал его Алёша. — Теперь моя очередь.

Максим Лаврентьевич молчал и ожесточённо пилил. Из-под старой кепки его выползла крупная капля пота. Кира, кашлянув, взглянула на Алёшу.

— Довольно, отец! — строго сказал Алёша, мягко, но решительно оттеснив Максима Лаврентьевича. — Идите отдыхать! А ну-ка, Кирик!

Пила забегала, запела в их руках, душистым дождиком посыпались опилки, и полешки одно за другим мягко падали на утопанный земляной пол.

Максим Лаврентьевич покорно сел на бревно. Обычно Алёша называл его по имени-отчеству, но если уж назвал строго «отец!», лучше ему не перечить. Что ж, видно, Максим Лаврентьевич и в самом деле стал стар, если без него дело у ребят идёт спорее.

Вместе с усталостью прошла и досада. Максим Лаврентьевич с удовольствием слушал ритмичное пенье пилы, рассматривал свой двор и сад — как дорог всё же человеку кусок земли, возделанный его руками! Вот яблони полагаются через восемь метров сажать, но такие слабые и жалкие были они, так далеко одна от другой дрожали на ветру, что Максим Лаврентьевич сжалился и посадил их через четыре метра: когда, мол, они ещё разрастутся! Да и жизнь неустойчива, придётся ли дожить... А жизнь-то оказалась очень устойчивой, и яблони урожай дают хороший, и тесно им, бедняжкам, из-за его неверия.

Анна Ивановна, со свету вбежав в сарай, не сразу увидела Киру.

— Ну вот, допилилась! Неужели я бы не смогла? Скорей переоденься!

— Порвала, что ли? — Кира схватилась за подол.

Максим Лаврентьевич надел пенснэ.

— Не о гвоздь ли, Кирик?

Максим Лаврентьевич давно говорил Алёше про этот гвоздь в стене сарайчика, но Алёша забыл, и теперь ему было неприятно.

— Сейчас забью, — сказал он с досадой.

Анна Ивановна оглядела всех троих.

— Какие гвозди? Григорий Константинович идёт! — произнесла она значительно. — Не может же Кира выйти к нему в таком виде...

Сидя у окна своего мезонина, Анна Ивановна издали увидела Григория. По правде говоря, она просидела тут с шитьём всё утро, чтобы успеть к его приходу привести Киру в порядок. Если ей сказать заранее, она может ещё обидеться, заупрямиться... совершенно непонятно на что!

«Какая странная эта теперешняя молодёжь! Они никак не хотят понять, что счастье само не свалится им в руки».

— Ну что в самом деле, Анна Ивановна! — сердито покраснела Кира. — Почему я должна переодеваться? Почему вы не велите Алёше надевать новую рубашку?

Максим Лаврентьевич, поправив пенснэ, тоже недоумённо поглядел на Анну Ивановну. Григорий Константинович так часто бывал у них, стал, можно сказать, своим человеком в доме — и вдруг наряжаться

для него. Да он ещё подумает, что его здесь за чужого считают, обидеться может.

Кира вышла к Григорию, как была, в стареньком платье, растрёпанная, осыпанная и пропахшая свежими опилками.

Все в доме знали уже, что на заводе проба удалась. Но Григорий показался Кире каким-то растерянным.

Он действительно был растерян.

Да, проба прошла, и первый день он, как мальчишка, улыбался каждому встречному. Но очень скоро им овладело странное сосущее чувство неудовлетворённости. Несложный механизм, изобретённый Григорием, оторвался от него, зажил самостоятельной производственной жизнью, не нуждаясь в Григории. А что, если никогда больше не придёт к нему ни с чем не сравнимая радость творчества, когда даже несчастья бессильны над тобой и всё, решительно всё кажется несущественным, кроме той задачи, которую ты решаешь всем напряжением своего существа?

После обеда Максим Лаврентьевич усадил Григория за шахматы.

«Надо спросить Алёшу, так ли тяжело даются ему его писания?» — думал Григорий, рассеянно переставляя фигуры на шахматной доске. Времени на размышления хватало: Максим Лаврентьевич играл плохо, хоть и старательно.

— Говорят, уже подписан приказ о переводе моём в часть, — не прерывая игры, разговаривал Григорий с Алёшей. — Конечно, это лучше, чем управление, но всё-таки не завод.

— Скажите, а есть на заводе женщины-инженеры? — спросил Максим Лаврентьевич. — Я полагаю, что женщине непосредственно руководить производством всё-таки трудно.

Кира недовольно покосилась на отца — пора бы ему расстаться с такими отсталыми взглядами. «Ну, ничего! Сейчас ему Григорий Константинович ответит».

Но, к её удивлению, Григорий Константинович кивнул и сказал:

— Да, да. Вы совершенно правы.

А Григорий даже не расслышал толком, что сказал Максим Лаврентьевич. Он просто торопился сделать ему мат — уж очень неинтересной была игра, и хотелось поболтать с Кирой. Совершенно неожиданно было для него услышать сердитый Кирина голос:

— Вот уж не ожидала, что вы считаете нас неспособными руководить производством.

Алёше показалась забавной Кирина злость.

— Но, Кирик, в конце концов вся история... — начал он, подзадоривая её.

Кира перебила его:

— А матриархат?

— Ох, Кирик, это было так давно, что не знаю даже, было ли это! Григорий от души засмеялся.

Кира не сумела быстро и остроумно ответить Алёше, и ей стало неприятно, что в присутствии Григория Константиновича она оказалась в смешном положении.

— Я замечаю, Алёша, что при Григории Константиновиче ты относишься к женщинам особенно критически, — холодно заметила она.

— Не сердитесь, Киричка, — обернулся к ней Григорий и вдруг осёкся. Только сейчас он заметил, что она, низко опустив голову, слишком внимательно рассматривает свои туфли.

Григорий почти подбежал к дивану.

— Кирочка, извините меня! Я просто не расслышал вас. Максим Лаврентьевич, — обернулся он к Кириному отцу, — вы ошибаетесь. Я уж не стану говорить о работницах — в сборочном цехе работают почти исключительно женщины, но ведь на заводе много и инженеров-женщин. Есть там, например, такая Анна Васильевна Гусева. Говорят, на заводе нет станка, какого бы она не знала. В бюро рабочего изобретательства два её изобретения зарегистрированы.

Григорий посмотрел на Киру. В углу большого дивана она казалась ему сейчас очень маленькой и усталой. Ведь какую нагрузку несёт эта девочка!..

— Не обижайтесь! — тихо повторил он. — Я, оказывается, совсем не могу вас обижать.

— Григорий Константинович, ваш ход, — передвинул, наконец, свою ладью Максим Лаврентьевич.

Раздумывая над доской, он не обратил никакого внимания на разговор Киры с Григорием, не видел, с какой укоризной поглядела на него появившаяся в дверях Анна Ивановна.

— Сейчас, Максим Лаврентьевич! — рассеянно ответил Григорий и побрёл к доске, думая, прошла ли у Киры обида и почему его тревожит это обстоятельство.

Он выиграл партию. Но потихоньку поглядев на Григория, Кира увидела, что он смотрит на неё, что шахматы сейчас совсем ему неинтересны, и простила Григорию всё. Наверно, он это почувствовал, потому что тотчас улыбнулся Кире.

Как благодарна была ему Анна Ивановна за эту улыбку! Она стояла в дверях, счастливая и взволнованная, как будто это ей улыбался, боялся её огорчить, о ней думал сейчас этот красивый черноволосый человек.

— Дай бог, дай-то бог! — шептала она.

По воскресеньям к приходу Григория на столе появлялись домашние коржики. Анна Ивановна узнала, что он любит крепкий чай, и наливала ему первому. Её бесконечно удивляла слепота Максима Лаврентьевича и Алёши, не замечавших, какое таинство совершается на их глазах: среди тысяч себе подобных двое людей находят друг друга. Они и сами ещё этого не понимают, но скоро увидят, поймут!

Однажды в воскресенье, после обеда, Анна Ивановна всё же решила поговорить с Максимом Лаврентьевичем, выбрав, как ей казалось, самый подходящий момент: ему посчастливилось достать птичий навоз, и он удобрял свою любимую клумбу.

Анна Ивановна начала издаലെка. Вчера какой-то бродяжка выманил у Максима Лаврентьевича пятнадцать рублей. Анна Ивановна не могла ему этого простить — ведь теперь в особенности каждую копейку надо было беречь для Киры. И она стала журить за вчерашнее.

— Говорят, в Гастроном живую рыбу привезли, — попытался Максим Лаврентьевич переменить тему.

Но Анна Ивановна остановила его властным движением:

— Не отвливайте! Ведь он обобрал вас. Вы верите каждому встречному, и у вас постоянно выманивают деньги!

— Позвольте! Но не могу же я, впервые видя человека, предполагать, что он плут. Вот если он теперь придёт, я уже буду знать, что он жулик.

— Теперь он уже больше не придёт!

Считая разговор исчерпанным, Максим Лаврентьевич снова с удовольствием принялся за свою клумбу.

Анна Ивановна рассердилась:

— У вас дочь — невеста. Вы должны беречь деньги для неё! Вы считаете себя интеллигентным, тонким человеком! Неужели вы не понимаете, накануне какого события стоит сейчас ваша дочь? Ведь это же совершенно несомненно, что они любят друг друга и он вот-вот сделает ей предложение. Не сегодня-завтра произойдёт самое прекрасное событие в её жизни, а вы и не замечаете ничего! Посоветовались бы со мной. Я ведь тоже кое-что пережила. Я — опытная женщина.

— Милостивая государыня! — Максим Лаврентьевич снял и снова надел пенсэ, что было признаком крайнего возмущения. — Вы пошлая женщина, милостивая государыня! Я почёл бы себя несчастным, если б моя дочь наивысшей целью своей жизни ставила брак.

И, не взглянув на неё, ушёл в дом.

— Он что-то про рыбу говорил? Пойти взглянуть, — растерянно сказала Анна Ивановна, полными слёз глазами глядя в сад, и вздохнула: — Ну что, ну что он понимает?

Кира, стоя у открытого шкафа, проверяла пуговики на блузке.

— Неужели ты уже всё сделал, папа?

Максим Лаврентьевич, не отвечая, прошёл к себе и лёг на диван. Он сердился на себя, на Киру за то, что она, наверно, слышала эти постыдные рассуждения.

«Какая нестерпимая женщина! Почему люди, не сумевшие устроить свою собственную жизнь, убеждены, что могут прекрасно распорядиться чужими судьбами? Этот Григорий Константинович... в самом деле может заподозрить... — Максим Лаврентьевич покраснел от обиды.

— Папа, Анна Ивановна дома? — спросила за дверью Кира. — Я на них ножниц найти не могу.

«Не слыхала», — с облегчением подумал Максим Лаврентьевич и ответил сердито:

— Не знаю!

Как все одинокие старики, Максим Лаврентьевич не любил думать, что дочь может от него уйти. А иногда на него нападал страх, что она не встретит никого по душе, не выйдет замуж. И тогда.. господи, неужели она, так же, как Анна Ивановна, будет в сорок шесть лет крутить бесполезные папилюбки, и крашенные реденькие брови будут жалко и некстати чернеть на бесцветном лице?

«Ну и пусть! Пусть даже так, — Максим Лаврентьевич заворочался, скрипя диванными пружинами. — Пусть даже так, но никто не смеет предположить, что моя дочь стремится... что она имеет виды... В конце концов, какое право имеет этот военный так думать? Да никакого! Уж если на то пошло, я — глава семьи. Вот откажу ему сегодня от дома — и никаких!»

Послышался скрип калитки, Алёшин смех и шаги. Максим Лаврентьевич потихоньку выглянул из-за занавески. Алёша что-то возбуждённо рассказывал, а Григорий на ходу обдёргивал гимнастёрку. Даже то, что Алёша обращался с гостем, как с родным, не понравилось в эту минуту Максиму Лаврентьевичу. Один в комнате, он тоже оправил свои пиджачок. Григорий подошёл к окну и легонько постучал:

— Здравствуйте, Максим Лаврентьевич! Извините, что опоздал. За дробью вашей ездил. Я на машине. Собирайтесь-ка!

— Благодарствую! — Открыв окно, Максим Лаврентьевич взял тяжёлый полотняный мешочек и положил его в сторону. — Прошу, заходите!

Григорий посмотрел на неразрезанный мешочек, на Максима Лаврентьевича, опять растерянно поправил складки под ремнём, не понимая, чем же он провинился. И пошёл от окна к крыльцу медленно и молча.

Григорию давно хотелось порадовать чем-нибудь Киринога отца. Узнав, что старик заядлый охотник, он решил отвезти Максима Лаврентьевича в деревню Силково, куда тот частенько ездил. Охота, кажется, уже запрещена. Ну пусть с Алёшей хоть по лесу погуляет, а Григорий покажет Кире Химкинский речной порт.

— Что с вами, Григорий Константинович? — поразился Алёша, поджидавший Григория у крыльца. — Почему вы сразу так... погасли?

Максим Лаврентьевич поглядел на понурюю спину Григория, и ему стало неловко. «Может быть, всё выдумывает эта вздорная женщина?»

Недовольный собой, он крикнул Кире, чтобы она одевалась, и сам стал натягивать высокие болотные сапоги.

На всякий случай сняв со стены двустволку и патронташ, уже довольный и добрый, он вошёл в Кирину комнату.

— Ну-с, молодёжь, готовы? Почему ты едешь в шёлковой блузке? Надела бы лучше ту, потеплее, — посоветовал он дочери.

Кира сердито вздохнула, взглянув на отца, — не объяснять же, что такой разговор неуместен.

Весело посвистывая, Максим Лаврентьевич спустился в сад, по пути прибрал лопату, и когда они вышли на улицу, решил даже, что Анна Ивановна, в сущности, не плохая женщина, только крайне, крайне бесцеремонная.

В машине он уступил Кире место рядом с Григорием, сам сел с Алёшей сзади и тотчас заговорил на самую, по его мнению, приятную для Григория тему: о его подшипниках.

— Нет такой машины, где не было бы подшипника, — сказал Григорий, тщательно прикрывая боковое стекло, чтобы на Киру не дуло. — Подшипник — сустав всякого механизма. Говоря техническим языком, подшипник переводит трение скольжения в трение качения, а это даёт огромную экономию. Представьте, что вагоны надо было бы тащить по рельсам без колёс. Так вот подшипник заменяет в механизме колёса. Сотни соприкасающихся частей машины, вместо того чтобы тяжело ползти, легко катятся на различных колёсиках — подшипниках...

— Григорий Константинович, извините, пожалуйста, я должен записать это для очерка.

Григорий улыбнулся, а Максим Лаврентьевич терпеливо ждал, пока Алёша записывал.

Выехав за черту города, Григорий дал полный газ. Все притихли, бездумно наслаждаясь быстрым движением.

— Вы знаете, Григорий Константинович, я первый раз в жизни еду на легковой машине. Это, оказывается, очень приятно, — сказал после долгого молчания Алёша.

— Сколько ещё приятного есть в жизни, друг! — улыбнулся Григорий.

Максим Лаврентьевич тревожился, пройдёт ли машина по просёлку, но машина прошла, и Григорий благополучно высадил Максима Лаврентьевича и Алёшу у первой избы.

За полями на красном предвечернем небе чернел близкий лес. Плотная деревенская тишина стояла вокруг. Отдельные звуки — собачий лай, звонкие удары топора — не нарушали, а лишь подчёркивали спокойное безмолвие полей. Зеленел яркий, как болотная ряска, поток озими. Уже высокие зелёные побеги ржи смело прокладывали себе путь к тёплому солнцу.

Тяжёлая земная кора и слабенький язычок побега — какие неравные силы! А гриб? Задумался ли кто-нибудь, какая титаническая сила нужна грибу, чтоб приподнять, раздвинуть и землю, и слежавшуюся хвою,

и палый лист? Сколько сурового труда тратит зелёный народец, завоёвывая своё место под солнцем.

— Прямо грешно им, бедным, не помочь, — Григорий оглядел поле, как цех чужого завода. В этом «производстве» он ничего не понимал, но, несомненно, и здесь кто-то не спит ночей, придумывая, как бы зелёным росткам лучше жилось и работалось.

Выйдя из машины и увидев лес, Максим Лаврентьевич сразу оживился:

— Ах, как чудесно здесь весной, когда тетерева токуют! Выйдешь за огороды, прислушаешься, а в лесу шелест, шорох, как будто шумукается кто-то, перебегает от дерева к дереву: «Чу-чу-чу! Чуф-ши-и...» Весь лес кипит! Григорий Константинович! А может, я всё-таки подстрелю что-нибудь? — вдруг просительно обратился он к Григорию.

Тот засмеялся.

— Я в лесу не хозяин. Только уж если будете без машины возвращаться, прячьте ваши жертвы.

— Пошли, Алексей! — окончательно решился Максим Лаврентьевич.

Они с Алёшей быстро зашагали по направлению к большому лесу. На обратном пути, доведя машину до рощи, закрывавшей деревню от шоссе, Григорий предложил Кире немного пройтись.

Земля была мягка и душиста, буйно пробивалась сквозь палую листву молодая трава, белела шёлковая кора берёз, и ландыши развесили на стройных зелёных стеблях ослепительно белые бубенчики.

Солнце спряталось. В роще сразу потемнело, а в небе стало светлей. С негромким, глухим покрякиванием, часто хлопая короткими широкими крыльшками, над деревьями пролетела небольшая длинноносая птица.

— Вальдшнеп! — удивился Григорий. — Что же это он так запоздал? Давно бы уж ему пора обзавестись подругой.

— А может быть, он летит по каким-нибудь другим делам? — предположила Кира.

За последний месяц она очень привыкла к Григорию. Алёша готовился к зачётам, и они частенько оставались одни.

Григорий посмотрел на Киру и вдруг рассмеялся:

— Нет, он всё-таки, наверно, летит по этим делам, — сказал он. — А вы знаете, Кира, я очень привязался к вашему дому. Если мне придётся уехать, я буду скучать без вас.

«С большой буквы «вас» или с маленькой?» — хотела пошутить Кира, но почему-то сдержалась.

Возвращались они молча. Григорий раздвигал перед ней свисающие на тропку молоденькие ветви. Кира видела, как бережно принаравливает он свои большие шаги к её походке.

— Смотрите, здесь прошёл пожар, — показал Григорий.

Опалённая хвоя молодых сосёнок была оранжевой, как лисий мех. Чернели обугленные стволы и земля, покрытая золой. С поля порывами набегал лёгкий свежий ветер, но безжизненная хвоя горелых деревьев не отвечала ему. Ветер бежал дальше к живому лесу и там шелестел вволю длинными сосновыми иглами и самыми высокими веточками берёз, нежными и тонкими, как паутина.

Казалось, на этой мёртвой чёрно-рыжей опушке никогда ничего больше не вырастет. Сердце Киры сжалось.

— Пойдёмте отсюда... — попросила она.

Медленно ведя машину, Григорий видел краем глаза Киру профиль и удивлялся, как мог он не увидеть при первой же встрече, что Кира

красива. Да что там при первой. Он довольно долгое время не замечал этого.

Почти всю дорогу они легко, нестеснительно молчали. Кира по-детски ахнула от восторга, когда, притормозив на повороте, Григорий круто повернул баранку и перед ними открылся дворец — Речной вокзал. Голубовато-серые тонкие колонны и террасы, освещённые изнутри, стлали мягкие тени. Звезда на далёкой вершине шпиля казалась спустившейся из тёмного, полного звёздной пыли неба.

Они поужинали в полупустом зале. К ним бесстрашно подошёл большой сытый кот. Кира дала ему крылышко цыплёнка. Всё казалось ей необыкновенным: прозрачное здание, пронизанное прохладой близкой воды, и даже этот кот — хозяин полупустого зала, и чёрная вода в высоких распахнутых окнах.

— Пойдёмте посмотрим на водохранилище, — предложил Григорий.

Сводя Киру по ступенькам, он поддержал её за локоть и не выпустил её.

Широкая освещённая лестница полого спускалась вниз. Они дошли до самой последней черты, где кончалась пристань.

Пристань тоже была пуста. Эта ночь принадлежала им двоим. Луна стояла высоко. Отблеск её на чёрной воде был похож на стаю золотых рыбок. Всё было необычным и значительным.

Молчание, такое лёгкое и дружелюбное в машине, теперь становилось душным. Кире казалось — она слишком громко дышит. Всё в ней замерло в каком-то напряжённом, томительном ожидании. А Григорий молчал.

— Почему это ранней весной ни одной лягушки в лесу нет, а потом они сразу появляются уже большие? — с отчаянием спросила Кира.

— Ну зачем вам лягушки? — Григорий заглянул Кире в лицо. — Они ютают и просыпаются. Кира... — гортанным шёпотом он сказал что-то ласковое нерусское и резко, почти грубо обнял Киру.

Она слышала тяжёлое дыхание, и ей нехватало воздуха.

Григорий тотчас выпустил Киру и быстро отошёл к парапету. Минута одиночества на скамейке показалась Кире долгой и оскорбительной.

— Кирочка! — не оборачиваясь, позвал Григорий.

Кира подошла к нему — перед ними медленно проплывал пароход, очерченный цепью сверкающих огней.

По большой светлой лестнице они поднялись к рассеянным огням вокзала, прошли мимо прозрачных балюстрад к машине, ожидавшей их, как большой верный пёс. Григорий стал опять спокойным, заботливым, и Кира почувствовала близость такого огромного, никогда ещё не пережитого счастья, когда страшно сказать слово, пошевелиться, вздохнуть, когда всё кругом замерло и на земле и в тебе самой совершается чудо.

— Подождите! — она остановила Григория и снова обернулась к вокзалу. — Подождите минутку, мне хочется запомнить всё это!

Он благодарно взглянул на неё.

Они ещё раз посмотрели на прозрачное здание, звезду на шпиле, тёмное небо, глубоко вдыхая властный запах воды...

Простившись с Кирой у её калитки, Григорий медленно поехал домой. Ему совсем не хотелось спать. Он улыбался, вспоминая, сколько раз, засидевшись допоздна у Стародумовых, дожидался он потом на станции первого утреннего поезда. Кире он говорил, что ночует у товарища.

Как она беспокоилась, что он опоздает, и не знала, удобно ли предложить переночевать. И хорошо, что беспокоилась, и хорошо, что не

предлагала. Взрослый мужчина, он-то замечал все любопытствующие взгляды соседей. Ни одна подозрительная улыбка не должна коснуться Киры. Пусть всё будет, как у самых лучших людей, он ничего не хочет упустить — теперь у него есть невеста, потом должна быть свадьба, настоящая свадьба, чтобы люди веселились, уважали и думали: вот бы и мне так!

Охотники вернулись с последним поездом. Максим Лаврентьевич виновато нёс свой тщательно застёгнутый ягдташ.

Кира с удивлением посмотрела на отца, когда Максим Лаврентьевич велел спрятать дичь от кошек. При чём тут какие-то кошки?

Алёша заснул мгновенно, поставив к печке насквозь промокшие полуботинки. Кира постояла над ним — спит ли?

Максим Лаврентьевич, напевая «Взвейтесь, соколы...», вынимал стреляные гильзы. Кира села возле него на диван, отодвинула патронташ, по-детски просунула голову к нему под руку и сказала строго и тихо

— Папа, я выхожу замуж.

— Как?.. Как?. Постой, что ты сказала? Когда?

Мгновенно отодвинулся мудрый лесной мир, и нахлынули отцовские сомнения и тревоги.

Максим Лаврентьевич гладил Кирину голову. Ни он, ни она, ни один человек на земле не знал, с радостью или со страхом нужно ждать им будущего. Кира тепло дышала в худые стариковские колени, её мохнатые ресницы вздрагивали под его ладонью

Максим Лаврентьевич вспоминал свою свадьбу — тогда он не так волновался, нет! Он был уверен, что будет вполне счастлив. Но с тех пор он прожил долгую жизнь.

— Ты молчишь, папа, ты не рад? — Кира подняла голову. — Он тебе не нравится?

Максим Лаврентьевич вспомнил сильные руки Григория, уверенно лежавшие на руле, и крепко поцеловал дочь в оба глаза.

— Нет, Кирик, он хороший! Мне кажется, ты с ним будешь счастлива.

Максим Лаврентьевич долго не мог уснуть, слушал, как скрипят половицы.

В комнате Киры горел свет. Максиму Лаврентьевичу вдруг показалось, что она плачет. Подойдя к двери, он прислушался, заглянул потихоньку. Нет, Кира спала.

В воскресенье Григорий не приехал. Кира впервые обнаружила, что скрип калитки можно слышать из самых отдалённых уголков сада.

Анна Ивановна ходила с красными глазами, но Кира ни за что, ни при каких условиях не разрешала ей говорить о том, что так волновало сейчас Анну Ивановну

Через четыре дня Кира получила письмо. Григорий называл её «моя любимая» — никто никогда ещё Киру так не называл. Он писал, что его часть неожиданно перебросили на запад, и просил извинить его, что не смог даже заехать попрощаться. Он будет писать ей. Он приедет при первой, самой первой возможности...

Письмо было ласковое, очень ласковое. Но ведь Кира ждала Григория, он сам был ей необходим, и поэтому письма показалось так мало, что Кира расплакалась.

Она и сама не знала, почему согласилась показать письмо Анне Ивановне. А Анна Ивановна, прочтя его, наоборот, вздохнула облегчённо, словно с неё свалился тяжёлый груз. Она улыбнулась заплаканной Кире:

— Девочка моя, надо уметь ждать. Это большое счастье, когда есть кого ждать, — добавила она.

По вечерам Кира ожесточённо занималась математикой. Математика трудно давалась Кире. Именно поэтому она сейчас за неё и взялась.

— Ничего! Вот ещё десяток корней извлеку, и вся дурь из головы выйдет, — шептала Кира, грызя карандаш.

Все спали. На улице играла гармонь. Пелли и смеялись девушки.

Но дурь выходила не надолго. Видение прозрачного дворца, золотой ряби и смуглой большой руки на её локте преследовало Киру.

Однажды на работе её позвали к телефону, может быть в десятый раз за этот день.

Кира не сразу узнала изменённым расстоянием голос Григория. В трубке шумело, трещало. Григорий говорил издали, повторяя фразы, как в телефонограмме:

— Родная моя, я уже на новом месте, на новом месте. Мы перебрались западнее. Немного западнее.

Трещала мембрана. Кира молчала. Неужели он больше ничего не скажет?

Он сказал:

— Подожди меня, Кирочка. Скоро я приеду. Пожалуйста, скучай обо мне.

— Кто это вам звонил, Кира? — поинтересовалась Ольга Арсеньевна, когда Кира нехотя опустила трубку.

— Знакомый, — сказала Кира и покраснела.

— Приятный голос у вашего знакомого.

Глава пятая

Кира ждала Григория с поездом, а он приехал ночью на мотоцикле, оглушив и ослепив тихую улицу треском мотора и огненным глазом фары.

Сколько раз она представляла себе, как хорошо это будет, а всё-таки вышло ещё лучше, когда, перебежав половину дорожки, она встретила его раскрытые руки и прижалась к холодной коже пальто. Целуя, Григорий прикрыл Киру полой—было тепло, и близко билось его сердце.

— Отец спит? Не буди его, — прошептал Григорий.

Они осторожно вошли в комнату. Кира зажгла настольную лампу, достала из буфета хлеб, молоко. Похудевший, пыльный, Григорий не отрывал от неё глаз.

— Пойдём, — он отставил стакан, — поставим в сад мой мотоцикл.

Кира придержала калитку, Григорий ввёл в сад мотоцикл, держа его «за рога».

Смутно мерцали звёзды душистого табака, приторно пахли левкой, клубились сиреневые кусты.

— Мне не хочется уходить из сада, — сказала Кира. — Давай зажжём маленький костёрчик.

Они взяли из-под навеса хворост и пошли в конец участка, где Максим Лаврентьевич сохранил нетронутым кусочек леса.

Незаметно выросла из темноты купа деревьев, кто-то легко пронул Киру за босую ногу. Это были тоненькие глянцевиные на ощупь веточки ив. Какой-то зверёк испуганно прошуршал в прошлогодних листьях. Григорий расстелил на траве кожанку, нащупал мягкий можжевелевый куст и, отломив ветку, зажгёт спичку.

Пламя на миг притихло, потом можжевельник вспыхнул. Он трещал, как бенгальский огонёк, искры улетали высоко в темноту. Ночь отодвинулась. Плакучая берёза удивлённо свесила к огню длинные ветви. Вышел из мрака старый ивовый куст и покраснел на свету, дрожа остренькими листьями, а за рябым берёзовым стволом толпился орешник. Огонёк шуштал в мягкой хвое, тронул сырую от росы траву, испугался и запрыгал опять по сухому хворосту. Блестящие и выпуклые божьи коровки со всех сторон торопливо ползли в костёр.

Григорий молча держал Киру за руки. По глазам его Кира понимала, как нужна она ему. Григорий положил лицо в её ладони. Впервые она увидела так близко его крепкий, упрямый затылок и блестящие волосы. Как просто всё и необычайно! Пришёл из огромного мира человек, согрел ладони твои своим дыханием — вот я весь! Делай со мной, что хочешь! И хоть руки затекли, ты боишься шевельнуться: только бы не потревожить его, только бы угадать, как лучше ему и удобней.

Костёр погас. Кончилась короткая летняя ночь, земля вступала в серовато-голубой, всегда немного таинственный час рассвета. Легкий туман прикрыл спящие дома и сады. Было прохладно и тихо, только на востоке с каждым мигом светлело и ширилось тёплое розовое небо.

— Вот начинается наш день, — сказал Григорий. — Не твой и мой, а наш...

Кира положила для него подушку на Алёшином диване в столовой — Алёша ночевал в городе. Прощаясь у дверей своей комнаты, она чуть помедлила. Кире показалось, Григорий хочет обнять её. Но он только посмотрел на Киру долго и ласково и поцеловал её руку бережно, словно это была бог весть какая драгоценность.

Проснувшись утром счастливый и отдохнувший, Григорий выпрыгнул через окошко в сад. Было поздно — солнце высушило цветы и траву. Григорий подошёл к раскрытому Кириному окну. Натянув на себя одеяло и плед, Кира спала. Ночь была прохладная. Наверно, продрогла, глупенькая, в одном платье, а не сказала. Григорию было видно только ухо её, маленькое, розовое, как цветок. Почему он раньше не замечал, какие маленькие у неё уши?

Тихонько подтянувшись на руках, Григорий сел на подоконнике. Улыбаясь дню, солнцу, счастью своему, он смотрел, как белое пёрышко прицепилось к шершавой оконной раме, а дождавшись ветерка, вползло в комнату. Ветер был свежий, смолистый. В столовой уже ходили. Кажется, Максим Лаврентьевич и Анна Ивановна. Григорий прогнал с окна толстую мохнатую пчелу — сейчас он сам разбудит Киру. Разбудит и покажет ей бумажку о демобилизации, она же ещё не знает, что всё решено: он остаётся на заводе и в часть поедет только оформить документы.

Оглянувшись, Григорий увидел блестящие Кирины глаза.

— С добрым утром, родная моя! — распахнул он руки, готовый обнять и Киру, и комнату её, всю вселенную. — С добрым утром, с нашим днём!

— С добрым утром, милый! Пойди послушай, что там мальчишки кричат, — улыбаясь, попросила Кира.

Григорий соскочил с окна, чтобы дать ей одеться, но, прислонившись к нагретой солнцем бревенчатой стене, слушал не шум на улице, а мягкие шорохи за спиной. А мальчишки кричали, часто повторяя одно слово, и оно вдруг дошло, врезалось в мозг. Короткое слово.

Не веря ещё, всё ещё не веря, Григорий бросился к забору. Остановил прохожего. Прохожий посмотрел на него:

— Да! Разве вы не слышали радио? Война.

На ходу застёгивая гимнастёрку, Григорий подбежал к окну и впрыгнул в Кирину комнату. Уже одетая, Кира прибирала постель. По испуганному взгляду её и ещё по тому, что вдруг стало холодно щекам, Григорий понял, что, наверно, он очень бледен. Он сказал чужим, резким голосом:

— Началась война... Кира, я должен ехать... Проводи меня немножко. Скорее! Я могу опоздать в часть.

Торопливо отстегнув нагрудный карман, он вынул из партбилета бумагу о демобилизации и порвал её на мелкие клочки.

— Что ты рвёшь? — растерянно спросила Кира. Она ещё не могла осознать, что встреча их, и планы, и намерения — всё это осталось бесконечно далеко, в мирном времени.

— Так, ненужную бумажку. Родная моя, Кирочка, скорее.. — умоляюще повторил Григорий.

В комнату без стука вошёл Максим Лаврентьевич, руки у него тряслись, за его спиной всхлипывала Анна Ивановна.

— Вы понимаете, мы с Анной Ивановной не хотели вас будить. Ждали вас за столом. Потому и радио выключили...

— Пора! — Григорий встал, оглядел Кирину комнату и пошёл в столовую.

Большими шагами обойдя празднично накрытый стол, он сбежал в сад. Шумевшие за воротами мальчишки молча и серьёзно бросились помогать ему открывать калитку и выкатывать мотоцикл.

Григорий повернулся к своим.

— Это я выключил радио. Я не хотел вас будить... — повторял Максим Лаврентьевич, словно что-нибудь менялось от этого. — Дорогой мой, — прошептал он вдруг, потянувшись к Григорию.

— Максим Лаврентьевич, родной, близкий человек, — сказал Григорий, и в дрогнувшем голосе его прозвучали те немного гортанные нотки, которые Кира слышала впервые там, в Химках. — Я уезжаю сейчас. И, наверно, на фронт. Я хочу, чтоб вы помнили меня и были спокойны. Нам всем теперь нужно быть спокойными и сильными. Мы не пропустим их. Берегите Киру. Поцелуйте меня, как отец сына...

Григорий крепко обнял лёгкое стариковское тело.

— Я с тобой, — сказала Кира. — Возьми меня с собой.

Взявшись за руль, Григорий уже нажал стартер, машина дрогнула, завелась.

— Садись на заднее седло. Не шевелись на поворотах. Крепче держись за меня.

Мальчишки смотрели на Киру с сочувствием, а на Григория с надеждой.

На всю жизнь запомнилась Кире пустая дорожка к дому, у раскрытой калитки сторбленная фигурка отца. Он стоял растерянный, как будто никому не нужный, как будто его судьба уже никого не интересовала.

Машина тронулась. Григорий отнял ноги от земли и дал газ. На шоссе Кире показалось — они почти летят. Так бы и лететь в эту войну, только не отрываться от него...

— Всё, дорогая! Дальше нельзя.

Резко затормозив, Григорий поставил машину на подножку. Кира встала шатаясь, у неё кружилась голова. Они были уже на краю Москвы.

— Это Кутузовка. Ты доедешь отсюда до центра.

Кира посмотрела на Григория: как он может говорить о чём-то, когда происходит это странное, противоестественное — они расстаются.

— Всё, дорогая... — тише повторил Григорий. Быстро подойдя к Кире, он обнял её, сказал, чтоб не разлучалась с Алёшей, он близорукий, вряд ли его возьмут. Просил помнить и ждать — он напишет, он вернётся...

Бесконечно нежно, но требовательно Григорий провёл руками по её плечам, по рукам, в ладонях, в пальцах унося память о ней. И Кира открыто и доверчиво смотрела ему в глаза, принимая первую его ласку.

Больно, как тогда в Химках, Григорий прижался к её губам.

— Всё, девочка моя.

А она? Она даже не поцеловала его. Она просто выпустила его из рук. Обдав Киру пылью и дымом, с рёвом рванулся мотоцикл. Развёрнутой пружиной уходило за горизонт шоссе. Наверное, шли по нему машины, но для Кире была только одна, непостижимо быстро от неё удалявшаяся. Вот она стала уже точкой. Вот!.. Нет, слава богу, показала опять... Ещё видно... Где же? Сейчас, сейчас она его найдёт!..

Тяжёлое облако прикрыло солнце, серая тень растеклась по земле. Шоссе было пусто.

Как трудно заставить себя повернуться к нему спиной! Кира повернулась. Перед ней лежала Москва, подёрнутая странной бессолнечной дымкой. Мутное солнце без лучей плыло над городом, и на него можно было смотреть не мигая.

На каждом шагу чувствуя свои бесполезно повисшие, пустые руки, Кира медленно пошла к Москве.

Глава шестая

— Ну, улицу, кажется, нашёл, — Воронин оглядел деревянные, обвитые вьюнком и диким виноградом дачки. — Теперь дело за домом. Там, где самая густая сирень. Григорий в гости приглашал. Вот тебе и гости! Хоть бы письмом от него плучить, связь наладить...

Тишина зелёной дачной улочки с непривычки почти оглушала. На своей даче Дмитрий Петрович не был давно. В этом году молодые вишни там цвели первый раз. Ягоды уж, наверно, воробьям достанутся...

Как только началась война, Оля с Климом переехала в город, и Дмитрий Петрович был благодарен ей за это. Хоть и вышли приказы заклеить окна, и утром первый взгляд падал на эти отвратительные бумажные кресты, перечеркнувшие мирную жизнь, всё-таки никак не думалось, что в заводском городке, который Воронин сам же строил, его жене и ребёнку может угрожать опасность. Так хотелось быть вместе. Чтoб и семья была рядом и завод.

Странное дело, но спокойно и уверенно Дмитрий Петрович чувствовал себя теперь только на заводе, в цехе, в своём кабинетике. Завод работал напряжённо. Воронин перестал ночевать дома задолго до того, как руководящих работников перевели на казарменное положение. Окна кабинетика не были перечёркнуты: просыпаясь, Дмитрий Петрович тотчас видел свой цех. Знакомые люди, знакомый шум, знакомая работа давали ощущение незыблемой уверенности и силы: «Да, господа фашисты, цех работает так же, как раньше! А скоро он будет работать лучше, чем раньше, потому что мы переведём первый конвейер на сухую сборку! Вот так».

Дмитрий Петрович из-за своей укороченной ноги никогда не был в армии, но ему казалось, что в бою солдатом владеет именно то чув-

ство гневной, неисчерпаемой энергии и силы, которое не покидало его самого после митинга, состоявшегося на заводе в первый день войны.

Когда начался митинг, собравшиеся вышли на улицу, но люди всё подходили и подходили, и Дмитрию Петровичу показалось, что и улица становится тесной. Пришли все рабочие заводского городка и те, что приехали из дальних районов Москвы. Пришли молодые и старые, пенсионеры, давно уступившие место у станков детям своим и внукам, и ремесленники — мальчишки и девочки в синих форменках, с начищенными бляхами поясов.

Старик Иона Куприн пробрался к Воронину и стиснул его руку в своей огромной ладони.

— Ну как, Иона? — спросил Дмитрий Петрович.

— А так. Сдюжим, — сказал Куприн, поглаживая бороду. — А вот не слышал ли, Дмитрий Петрович, как там, в кузнице? Не нужен ли народ? Я бы пошёл...

За Ионой, как маленькая лодочка за большим кораблём, пробилась сквозь толпу Катюша. Воронин не видел её давно, пожалуй с тех пор, как она ушла работать в подшефную больницу. Невысокая, загорелая и тугая, как орешек, девушка посвежела, поправилась. Всё-таки, что ни говори, работа в цехе не легка, особенно для женщин. А сейчас тем более придётся гайки подвинтить.

— Пришла, изменница! — пошутил он, пожимая крепкую руку Катюши. — Небось, как трудная минута, так к заводу бежишь. И правильно!

— Я обратно в цех хочу, Дмитрий Петрович, возьмёте? — краснея, попросила Катюша. — Я уж в больнице говорила, что всё равно в цех вернусь. Меня обещали отпустить, как только замену найдут. А учиться тогда, после войны будем... — улыбнулась она.

— Приходи, — сказал он серьёзно, — скоро на первый конвейер перейдёшь, там и керосина не будет.

— Ой, что вы! — устыдилась Катюша. — Вы на сухую сборку молодых сажайте. А я и с керосинсм... Какой теперь может быть разговор о керосине!

Они стояли втроем близко к деревянной, наспех сколоченной трибуне. Мимо них медленно и непрерывно шли люди — мощное внутреннее течение в огромном море толпы. Люди поднимались на трибуну, подходили к покрытому кумачом столу, и на столе перед Тарасовым росла гряда заявлений с просьбами: «Отправить на фронт», «Немедленно на фронт», «Зачислить в ряды Действующей армии...»

Оно непреодолимо увлекало за собой, это течение. «Нет в человеке чище, прекраснее желания, чем желание защитить собою свою родину», — думал Воронин.

Дмитрий Петрович знал, конечно, что многие, очень многие из этого потока не будут отпущены на фронт — фронту необходим завод, а заводу тоже нужны люди. И всё же Воронину стало бесконечно больно на миг, что он даже предложить себя не может. Никогда в жизни ещё он не ощущал так болезненно своего увечья.

Но это была минутная слабость. Что ж, он останется на своём месте, но от этого фашистам не станет легче. Он и здесь покажет им, как умеют драться русские.

Мобилизация мало коснулась цеха сборки. Здесь работали преимущественно женщины — физической силы работа почти не требует, необходимы аккуратность, внимание, быстрота и точность движений. Но и в других цехах почти незаметно было убыли рабочей силы. Провожая на фронт брата, мужа или сына, люди стремились в первую очередь занять его опустевшее рабочее место.

Воронину очень хотелось поскорее получить адрес Григория, написать ему, что и его дело не брошено, кончены пробы, испытания, подготовка, скоро пускают первый конвейер. Сухой конвейер!

Воронин давно бы навестил Киру, но Лосинка — не Москва, а пробыть несколько долгих часов вне цеха было теперь преступным расточительством времени. Воскресенья ведь перестали существовать.

Телефона Киры Воронин не знал. Строго говоря, он не знал даже адреса. Заехав на мотоцикле на завод вечером двадцать первого июня, похудевший, усталый и счастливый, Григорий набросал Воронину план — в этой Лосинке множество переулков: легко запутаться. А в воскресенье двадцать второго числа Дмитрий Петрович и Оля собирались в гости к невесте Григория...

— Так вот эта улочка и, кажется, этот дом. Сирень, действительно, густая. — Дмитрий Петрович позвонил и сразу же увидел во дворе Киру.

Обернувшись на звонок, она прищурилась, видно не сразу узнала Воронина. Но узнав, бегом бросилась к калитке.

— Вы получили письмо от Григория? — подбегая, крикнула Кира.

— А вы разве ничего ещё не получили? — опешил Дмитрий Петрович. Он понимал, конечно, что и месяц, и два, и три может не быть писем, но ему вдруг стало забко.

— Получила, получила! — радостно заулыбалась Кира. — Но вы же понимаете, мне хочется скорее получить ещё. Заходите, Алёши нет, а папа будет так рад вам... Вы устали, конечно; сейчас вы сядете удобно в кресло. Как хорошо, что вы пришли!

В самом деле, как хорошо, что пришёл этот Воронин. Кира часто думала: ей было бы легче, если б у неё остались родные Григория, близко знавшие его люди.

Друзьям нашим, тем, с кем мы близки, — уходя, мы оставляем частичку своей души, и Кира хотела собрать всё, что осталось после Григория. А Воронина Григорий очень любил, они вместе делали ванну для сухой сборки.

Давно уже, когда Алёша ходил осматривать завод, а Кира, кажется, впервые осталась с Григорием одна в заводском скверике, Григорий начертил на песке и долго объяснял Кире устройство этой ванны. Она ничего не поняла тогда — она вообще не очень восприимчива к технике, — но сумела сделать вид, будто поняла, и кажется, это исправило Григорию настроение. А чем же ещё могла она помочь ему?

Максим Лаврентьевич так же искренне обрадовался Воронину — он знал его по рассказам Григория и Алёши.

— Вы не хлопчите, пожалуйста не хлопчите, — попросил Дмитрий Петрович Киру, достававшую из буфета чайную посуду. — Я ведь на полчаса, не больше. Мне больше нельзя.

— Ну как, товарищ Воронин? Трудновато? — спросил Максим Лаврентьевич.

— Трудновато! — просто сказал Воронин.

— Но всё же, я думаю... — начал Максим Лаврентьевич.

— Вот наш кузнец Куприн говорит: «Сдюжим», — задумчиво перебил Воронин и вдруг ухмыльнулся в усы, вспомнив могучие плечи и руки Куприна.

Он рассказал Максиму Лаврентьевичу о знаменитом кузнеце.

— И силища же! Этот и сейчас, даром что дед, что хочешь сдюжит. И ребят наплодил подстать себе. Виктора, сына его, забронировали, так парень от злости две нормы даёт, к третьей подбирается. Сейчас сам на новую операцию попросился. Есть у нас там такая узкая опера-

ция, весь цех держит. Ну да ничего, сдюжим! — повторил Воронин слово Ионы.

Пока Дмитрий Петрович не опустился на стул, он даже не чувствовал, как устала и как болит у него нога. Теперь он вытянул её и отдыхал.

— Кира, мне бы так хотелось своими глазами прочитать письмо Григория, — просительно сказал Дмитрий Петрович.

— Конечно, конечно! — Кира убежала куда-то, наверно, в свою комнату.

Бережно подавая письмо Воронину, она чуть покраснела — Дмитрий Петрович увидел, что верхняя часть листка загнута. Он понял: Кире не хотелось показывать то, что принадлежало только Григорию и ей.

Прижав пальцами загнутую часть листка, Дмитрий Петрович несколько раз прочёл вторую половину письма. Оно было коротенькое, видно, наспех написанное.

— А молодец Гриша, ей-богу! — улыбаясь, покачал головой Воронин. — И там о сухой сборке беспокоится. Ничего, дружище, ты теперь знай войой, а сухая сборка тебе будет. Это уж наша забота.

Воронин заботливо переписал в записную книжку номер полевой почты.

Всё время, пока Воронин читал, Максим Лаврентьевич, не отрываясь, глядел на листок. Столько нежности и столько тревоги было в глазах старика, что Дмитрий Петрович подумал: наверно, каждый день эга маленькая семья читает и снова перечитывает письмо его друга. Первое письмо «оттуда». И он порадовался за Григория — любят его здесь!

Словно угадав мысли Воронина, Максим Лаврентьевич вздохнул:

— Тревожусь я за него... И горжусь им.

Почти ревниво Максим Лаврентьевич проследил, как Кира снова унесла и спрятала письмо, и уж потом заговорил с Ворониным о другом: он явно старался занять почётного гостя.

Уходя на кухню за чайником, Кира слышала отдельные фразы: Максим Лаврентьевич рассказывал о ценных документах, имеющихся в древнехранилище. «Ох, этот папка! — с укором подумала Кира. — Теперь только о документах и будет говорить».

Но Максим Лаврентьевич рассказывал вовсе не о документах. Начался разговор с того, что Воронин и он почти одновременно спросили друг друга — а слышал ли собеседник выступление товарища Сталина третьего июля.

Оба слышали: и мягкий стук поставленного стакана, и бульканье воды, и навек запомнившееся обращение: «...Братья и сёстры!.. К вам обращаюсь я, друзья мои!»

И, вспомнив, оба помолчали. У каждого бывают в жизни минуты, вспомнив о которых обязательно нужно побыть наедине с самим собою. Их бережно хранишь в сердце. Их, может быть, даже не часто вспоминаешь, а вспомнив, придирчиво смотришь — не потускнели ли? И с радостью убеждаешься: нет, не потускнели, никогда не померкнут такие воспоминания. Так же они греют тебя и освещают тебе путь в самую суровую непогоду.

Вот с чего начался разговор у Воронина и Максима Лаврентьевича, и, помолчав мгновение, они взглянули друг на друга гораздо теплее, словно убедились, что говорят на одном языке.

Минуту помолчав, Максим Лаврентьевич сказал:

— Какое правительство в современном нам мире могло бы обратиться к народу, как единой монолитной семье? В какой другой стране есть вождь, выражающий думы и чаяния всего народа?

Дмитрий Петрович слушал и удовлетворённо кивал головой.

К чаю Кира позвала Анну Ивановну. Воронин сразу узнал в ней ту самую фельдшерицу — сирену, которая сманила Катюшу с завода. Он не мог отказать себе в удовольствии подшутить:

— А Катюша-то наша в цех возвращается!

— Что ж делать, — нисколько не рассердилась Анна Ивановна. — До медсестры ей ещё далеко, а производственница она, говорят, хорошая. Пожалуй, правильно, если в такое время будет на заводе. На ее место мы кого-нибудь из легко раненных медичек возьмём.

— А что... уже есть? — помолчав, спросил Воронин.

— Нет, но ведь будут, — просто, по-деловому сказала Анна Ивановна.

Дмитрий Петрович уже собрался уходить, когда Кира напомнила ему его обещание узнать, не найдётся ли на заводе какого-нибудь дела для Алёши.

— Вы знаете, он так переживает, — сказала Кира, — его ведь в армию не взяли из-за близорукости.

Дмитрий Петрович сказал, что нужно обратиться в партком, и тут же написал записку Тарасову.

Воронин покинул дом Стародумовых с чувством удовлетворения, странно похожим на гордость, которую он испытывал всякий день, проверяя перед сменой цех и убеждаясь, что всё в порядке.

В этом деревянном домике, где живёт семья Григория, тоже всё в порядке. И так, наверно, в подавляющем большинстве домов, во всех городах и сёлах нашей родины.

Глава седьмая

Тарасов ещё раз проглядел разложенные на столе бумаги Алёши: характеристику литинститута, рекомендацию райкома партии, газетную вырезку — первый Алёшин очерк, напечатанный в заводской многотиражке, и молча взглянул на часы.

«Не подхожу», — с ужасом подумал Алёша.

— Слушайте! Товарищ Тарасов! — решительно сказал он. — Я знаю, вам некогда, но я вас ещё немножко задержу. Вы поймите меня. Из военкомата меня буквально выгнали, когда проверили зрение, — я ведь очень близорук. Просто удивительно, как они узнали, потому что я выучил наизусть все таблицы. Я пережил позорные минуты...

— Никакого позора тут нет.

— Подождите. Есть во время войны решающие участки: фронт и промышленность. На фронт меня не берут, но должен же я работать для войны? Я уже работал на заводе с нашей институтской бригадой, вот мой очерк. — Алёша пододвинул ближе вырезку. — Меня рекомендует Дмитрий Петрович Воронин — вот записка от него.

— Да. Так говорите, все таблицы наизусть выучили? — Тарасов улыбнулся, отодвинул документы и, опершись грудью на руки, сложенные на столе, внимательно поглядел на посетителя.

От улыбки и этого как бы приближавшего движения у Алёши потеплело на сердце, и он подумал, что, кажется, секретарь парткома вовсе не спешит отделаться от него.

— Ну, а если бы вам удалось обойти комиссию и, так сказать, пробиться в армию, ведь на фронте вы могли бы стать обузой? Вы подумали об этом? — мягко спросил Тарасов, и глаза его пытливо наблюдали за Алёшей, и Алёша покраснел. — В такое время, как сейчас, — уже жёстче сказал Тарасов, — ни один человек, а тем более коммунист, не вправе поступать, сообразуясь только со своим личным желанием, хотя

бы и самым благим. Там, где партия может полнее использовать нас, там — наше место.

Алёша решил наконец поднять глаза.

— Я понял, товарищ Тарасов, — тихо проговорил он.

— Вы ведь родственник Сванидзе, — придвигая к себе блокнот, уже совсем другим голосом сказал Тарасов. — Дайте-ка мне его адрес. Надо написать ему, что цех на сухую сборку переведём. Обязательно переведём. И сами ему об этом напишите. Документы ваши я передам. Может быть, и удастся вас устроить. У нас в газете работал писатель, но он ушёл на фронт. А где вы карточки получаете? — спросил Тарасов, записывая номер полевой почты Григория.

— В институте и карточки и стипендию! Я прошу зачислить меня нештатным сотрудником многотиражки, — горячо сказал Алёша, — могу делать все стенновки.

— Уж и все, — усомнился Тарасов, опять взглянул на часы и встал. — Так вы зайдите к вечерку.

Алёша вышел из кабинета взволнованный. Не раз уже с тех пор, как принял его в партию, испытывал он чувство, когда сам поднимаешься в своих глазах, думая о той огромной ответственности, которую возлагает на тебя великое звание члена партии.

Но, пожалуй, сегодня, как никогда, остро ощутил он, насколько необходима и сильна направляющая его мощная рука. И хорошо ему было от этого сознания и больно оттого, что сам он ещё так несовершенно и так нуждается в этой помощи. И он ещё раз поклялся самому себе, что все силы и чувства свои отдаст тому, чтобы быть достойным этого гордого, прекрасного, устремлённого в будущее слова — коммунист.

Выйдя в сквер, Алёша сел на скамейку спиной к ветру и зябко за-сунул руки в рукава — никуда он не пойдёт до вечера.

Алёша с грустью заметил, что тропинка к проходной протоптана прямо по газону. А как берегли раньше эту траву!.. Завод посуровел, золотая надпись с фасада стёрта, на крыше что-то вроде будки, там люди. Наверно, пост. Да, вон и зенитки.

Низко над заводом проплывали тяжёлые облака. Подул холодный ветер, вздымая тучи серой песчаной пыли.

Григорий Константинович рассказывал, что к концу сорок первого года вся пустая земля вокруг завода должна быть засажена деревьями. Уже начали разбивать парк, скверы, а площади и улицы должны были заасфальтировать — тогда бы и пыли не было... И вот не успели... Ему, ещё чужому на заводе, и то обидно, что все эти прекрасные планы отложены, отодвинуты... А как, наверное, больно Тарасову, Воронину. Вся жизнь их связана с заводом. Раньше они завод строили, а теперь уж завод им — отец.

Дождавшись сумерек, Алёша снова пошёл в партком. Тарасов сказал, что Алёшу возьмут в многотиражку. Поглядев на синие губы Алёши, он достал из стола высохший белый пирожок и отдал Алёше свой чай.

— Пей. Потом тебя проводят в редакцию. У них сегодня большая работа должна быть. Токарь Куприн на второй операции снял сто двадцать пять деталей.

Как обрадовало Алёшу это обращение на «ты».

— Я знаю Куприна! — торопливо сказал он. — Я видел его станок.

— Он теперь другие игрушки делает.

Редактор, пожилой, с длинным горбатым носом и тонкой шеей, вылезавшей из воротничка, чем-то напоминал марабу — противную птицу.

— Мне говорили про вас, — встретил он Алёшу. — Тут в комплек-

тах есть кое-что по «второй» операции. Она задерживала нам весь цех. Сегодня Куприн дал сто двадцать пять. Надо об этом написать. Посмотрите материалы и идите в цех. Куприн сейчас там.

В редакцию приходили люди, торопливо спорили, даже бранились, говорили о разных цехах, о станках, часто называя цифру «125».

Замёрзший, усталый, Алёша никак не думал, что ему придётся сегодня, сейчас же писать. Кроме того, он привык работать в тишине на даче и с ужасом чувствовал, что ничего не понимает в этой сутолоке, в этих газетных заметках, и даже фамилия Куприна, отрываясь от знакомого облика Виктора, становится отвлечённой и непонятной, как цифра «125», которую с таким уважением повторяют все эти люди.

Алёше было нестерпимо думать, что он в первый же день не справится, не оправдает доверия Тарасова. Этот человек не просто нравился ему, но уже неразрывно сливался в его представлении с тем огромным и важным, о чём думал он сегодня, выходя из парткома, поэтому не оправдать его доверия было невозможно.

Алёша в смятении чувствовал, что уже пора идти в цех и начинать работу, а он ещё толком и не разобрался, в чём же тут дело.

Он почти вздрогнул, услышав вдруг так запомнившийся ему голос: — Ну, как дела, товарищ внештатный сотрудник?

Едва секретарь парткома появился в редакции, как у всех присутствующих нашлись неотложные дела именно к нему. Алёша не успел ответить, Тарасов отошёл от него, с кем-то переговорил, кого-то попросил зайти попозднее в партком. Алёша думал, что секретарь уйдёт, но, проведив посетителя, Тарасов запер дверь на ключ и вернулся к нему.

— Спасибо, Сергей Николаевич, — кивнул на дверь редактор. — А то как узнают, что вы здесь, отбою не будет.

— Ты в армии не был? Что такое «отбой» не знаешь? — улыбнулся Тарасов. — Отбоя не жди. Нам всем долго отбоя не будет.

Алёша невольно подумал, как неузнаваемо меняет улыбка его лицо. Пока серьёзен, даже сидеть в его присутствии хочется выпрямившись, а улыбнётся — свой кажется, даже на «ты» назвать можно. «Интересно, какой он дома, есть ли у него семья?»

Наверно, Тарасов заметил растерянность Алёши и то, что редактору некогда с ним заняться: пишет завтрашнюю передовую.

— Давай-ка я попробую рассказать тебе своими словами, — просто сказал Тарасов, подсаживаясь к Алёше на клеёчатый диванчик. — Видишь ли, сейчас на заводе открыт новый цех, так называемый «цех номер два». Но он не справляется с заданием, и в помощь ему выделено несколько станков автоматного цеха. На одном из этих станков и работает Виктор Куприн. Что и как делается, ты увидишь сам. Не пугайся, если сразу не поймёшь, не стесняйся спрашивать. А как же иначе, ты же у нас новый человек! Я хочу сейчас обратить твоё внимание только на отдельные моменты. Вторая операция всё время была нашим узким местом. Кроме всего прочего, она требует от человека большого физического напряжения. Деталь весит тридцать килограммов. За смену, при выработке в сто штук, токарь должен поднять и опустить три тонны чугуна. Ты, говоришь, видел Куприна? Так вот, даже такому богатырю это не легко.

— Но самое главное, — помолчав, сказал Тарасов, — ты должен осознать, как важно то, что происходит сейчас там, в автоматном цехе.

Он указал рукой в том направлении, где находился автоматный цех. Алёше подумалось: «Где бы ни находился секретарь, он не только знает, он чувствует, что происходит в автоматном цехе, по-

жалуй, во всех цехах завода». И там в цехах тоже постоянно чувствуют эту направляющую руку, которая и Алёше в первый же день пребывания его на заводе успела помочь.

— То, что происходит в автоматно-токарном, важно не только для цеха,—продолжал Тарасов,—и даже не только для нашего завода. Потому что другие заводы тоже наши, хоть мы и соревнуемся с ними на получение переходящего знамени. И если мы сможем передать им новый, усовершенствованный метод труда, то эта цифра: «сто двадцать пять», которая пока является предельной и которой мы вправе гордиться, умножится в сотни, тысячи раз. Ты понял? — настойчиво спросил Тарасов.

— Понял! — на этот раз горячо и радостно ответил Алёша.

— Ну вот и хорошо. Теперь иди! — сказал Тарасов и быстро поднялся.

— Если понадобится, где вас искать, Сергей Николаевич? — спросил редактор.

— Я сейчас в цехи пойду, а вечером в парткоме. А ты бы отдохнул. Бедь замучился, — почти ласково сказал Тарасов, оглядывая редактора. — У тебя ж теперь помощник есть.

Когда Тарасов ушёл, Алёша поглядел на редактора и подумал, что ошибся: совсем он не похож на марабу, а просто очень устал. И ещё подумал о Тарасове: «Сейчас он пойдёт по цехам, а «вечером» будет в парткоме. Интересно, когда же у него начинается вечер, в два ноль-ноль следующего дня, что ли?»

— Вы в цехе спросите сначала мастера, — посоветовал редактор. — Там есть такой старик, Павел Гаврилович Симочкин, потомственный токарь. И возьмите в столе мой блокнот. Я там кое-что набросал. Используйте. А я, правда, немножко посплю, — сказал он извиняющимся голосом. — Это здорово, что вы пришли, — пробормотал он уже глухо.

Алёша не успел собрать свои листочки, как редактор заснул. Он дышал глубоко и ровно. Морщины его разгладились, рот приоткрылся, лицо стало мальчишески нежным и вопрошающим, тонкая рука свесилась с узенького диванчика.

Алёша прикрыл редактора его плащом, очинил несколько карандашей и, на цыпочках выйдя из комнаты, побежал знакомыми уже переходами в главный коридор завода, откуда светящиеся стрелки указывали путь вниз, к цехам.

В затемнённом цехе освещались только станки. Около них темнели силуэты рабочих. Из мрака потолка выползали чёрные трубки с эмульсией, резиновые жгуты электропроводки; пол, мягкий, как болотная земля, упруго поддавался под ногами. Коротко вспыхивали электролампочки браковщиц, освещая на миг замасленные брюки, грубые ботинки и ряды деталей у станков.

Алёша представился мастеру Павлу Гавриловичу.

Павел Гаврилович оказался маленьким, даже щуплым стариком с глубоко посаженными небольшими, как у медведя, глазками, придававшими лицу его несколько свирепое выражение. Только руки у него были большие, жилистые, властно бравшиеся за станок, за деталь, за плечо мальчика в спецовке, которому он что-то объяснял.

Алёша попросил Павла Гавриловича отвести его сначала к рядовому рабочему, который работает не слишком быстро, и рассказать, что же делается на «второй» операции.

Они остановились около молодого чубатого паренька с густыми, как

у девочки, ресницами. Алёша подумал, что по выходным он и теперь, наверное, гоняет голубей. Фамилия его была Клименков.

Алёша провёл рукой по шершавому боку детали — она была устойчиво тяжела и холодна. Клименков нагнулся, как маленького ребёнка поднял деталь к станку. Мускулы его мальчишески тонких рук вздулись. Алёша внимательно следил за каждым его движением.

Готовые детали стояли в сторонке. Подошла браковщица, проверила их. Потом их увезли на тележке. Алёша ещё раз коснулся ладонью их холодных боков.

Клименков тоже поглядел им вслед. Под его мокрой от пота майкой проступали острые лопатки.

— Ну, а теперь пойдём к Куприну, — торжественно сказал Павел Гаврилович и пошёл, привычно лавируя между станками и людьми.

Станок Куприна плотной стеной окружали люди. Возле станка стоял Ковалёв — начальник автоматного цеха с хронометром в руке и Воронин.

На Куприна смотрели все, он — ни на кого. Виктор только что поставил деталь на станок. Подкручивая болты, он глядел только на стрелку прибора. Укромщённая, она мгновенно замерла на одном делении. Взглянув на хронометр, Ковалёв сделал пометку в блокноте.

Сначала Алёша испугался: не уловить, не понять ему, в чём же туг дело. Торжество человека-умельца останется для него книгой на чужом языке. Он прислушивался к коротким шепоткам за спиной, к возгласам и смотрел, смотрел...

Постепенно он начал постигать разницу в работе двух токарей.

Куприн медленно, даже вяло двигался у станка. Вот, вынимая приспособление для обработки дна, он как бы невзначай стукнул им по металлической ручке. Но когда следующим движением он взялся за ручку, уже ослабленная предыдущим ударом она поддалась первому нажиму.

Вот он пускает резец самоходом — всегда точно на одной и той же минуте операции, а сам, сгорбившись, освобождает мышцы.

Деталь готова. Но, отведя головку с резцами, Куприн сначала подготовил их для следующей и только потом начал вынимать обработанную деталь. За это время станок как раз успел окончательно остановиться.

— Куприн, хватит! — сказал начальник цеха. — Иди спать.

Прислонившись спиной к станку, Виктор медленно обтирал руки тряпкой. Плечи его обвисли, как крылья у птицы, словно вся тяжесть нескольких десятков тонн чугуна сразу легла на них.

Узнав Алёшу, он радостно подмигнул ему:

— Погоди-ка, друг, вот я ещё поплю... Я ещё дам жизни! А какая сводка?

— Отошли наши... — отозвался кто-то.

Рабочие расступились, и он подошёл к Алёше.

— Здорово, приятель! Дмитрий Петрович говорил — ты теперь у нас работать будешь? Вот и молодец!

— Виктор, иди ко мне в кабинет! — крикнул Воронин. — Ложись там. До смены всего пять часов!

— Надо же со знакомым писателем поговорить, Дмитрий Петрович, — улыбнулся Виктор.

В первую минуту Куприн показался Алёше очень похудевшим. Потом Алёша разглядел — это металлическая пыль положила на лицо тёмные тени. Нет, Виктор не похудел. Но в чём-то всё же сильно изме-

нился. Похоже, раньше он, не отрываясь, восторженно и жадно смотрел на мир, а теперь нет-нет да и на себя оглянется. «Что это его тяготит?»

И Алёша откровенно задал Куприну этот вопрос, когда они уселись вдвоём на пустой тележке.

Быстро взглянув на Алёшу, Виктор вдруг улыбнулся широко и радостно, словно давно уже ждал, кто бы задал ему этот вопрос.

— Откуда ты знаешь? Павел Гаврилыч каждый день на меня смотрит, а ведь не догадался.

— А по-моему, это очень ясно видно, — сказал Алёша.

И Виктор, перестав улыбаться, тяжело положил ему руку на колено.

— Тяготит, товарищ Алёша! Вот как тяготит, что иной раз места не найду! Мало я делаю, вот что! — сделал он совершенно неожиданный для Алёши вывод. — Да нет, не в том дело, что я снял сто двадцать пять, а можно бы снять сто тридцать. Надо что-нибудь радикальное придумать. Вон твой Сванидзе придумал же! Да и у нас есть такие, как он. Мало ли... Ну, ладно! — вдруг остановил он себя. — Всякому разговору — своё время. А сейчас... Ты ведь от газеты?

— От газеты.

— Писать о нас будешь?

— О тебе.

— Так вот, товарищ Алёша. Напиши так, чтобы люди поняли, помоги передать людям!.. — взволнованно сказал Куприн.

Алёша несколько опешил:

— Что передать? Рекорд?

— Ну да! Рекорд. Если он только у одного меня останется, это, брат, не рекорд, это звезда — светит, да не греет. Такие рекорды нам не нужны. Надо, чтобы люди переняли... Ты понимаешь?

— Я понимаю, — проговорил Алёша.

Действительно, беседа с Тарасовым, всё, что он увидел в цехе и услышал сейчас от Виктора, заставили его почувствовать, как нужна его статья в многотиражке, и обязательно завтра же. Он уже отчётливо представлял, как толково, доходчиво и горячо должна быть она написана. Алёша посмотрел на Виктора и просто, но требовательно сказал ему:

— Нужно каждое твоё движение, каждую мелочь в твоей работе изобразить так, чтобы люди всё это представили себе. Виктор, помоги мне, я прочитаю тебе, что я записал. Как работал ты и как Клименков — я понял. Уразумел, в чём разница. Слушай, я тебе прочту, а ты поправляй, что не так...

Через час Виктор тряс Алёшу за плечо, так что тот пошатывался, и восторженно повторял:

— Так, в точности так! Ну и молодчина ты, Алексей! Вот это будет статья! Теперь я понял — ты писатель!

— Ну иди спи! Спасибо тебе, — сказал Алёша, протирая усталые, но сияющие глаза.

— Товарищ Куприн! — окликнула Виктора незаметно подошедшая к ним девушка с большой, как у почтальона, сумкой, полной книг и брошюр. — Вам!

Она протянула Куприну две книги в твёрдых переплётах.

— Приходите недельки через полторы, раньше не верну, — сказал Виктор девушке, и она ушла. — Техминимум сдаю. Как войну кончим, обязательно в техникум пойду, — пояснил он Алёше — Молодцы наши библиотекари! Знают — теперь минутки свободной нет. Как до койки добрался, то и конец, так они книгонош по цехам пустили.

Он не сказал Алёше, что и техническая литература нужна ему не «после войны», а сейчас, что, случается, горько он себя казнит за то, что мало времени отдавал учёбе. «Меньше бы по паркам разгуливал в мирное время, больше бы пользы в военное принёс, боксёр!» — частенько корил он себя.

На рассвете Алёша вместе с рабочими пошёл рыть щели и копал долго, с удовлетворением ощущая свою усталость и с упорной яростью выбрасывая рыжую землю.

Когда вечером, после института, Алёша приехал в Лосинку, голова у него кружилась.

— Ну что, голубчик? — встретил его Максим Лаврентьевич. Он всех встречал теперь этим вопросом.

Алёша рассказал коротко. Потом Максим Лаврентьевич поливал ему воду на руки. Впервые в жизни Алёша без стеснения пользовался его услугами, долго мылся, фыркал и, крепко вытираясь поданным полотенцем, первый поднялся на крыльцо.

Пужинав, они подошли к висевшей на стене карте с флажками — красными и чёрными.

Максим Лаврентьевич медленно передвинул на восток красные флажки. Лицо у него было такое, словно не в карту, а в своё тело он вкалывал булавки.

— Отец, а на заводе о войне почти не говорят, — задумчиво сказал Алёша, глядя на красную линию карты. — Там говорят о переналадке станков, о деталях, о плане, о рекордах... Можно подумать, что там о войне и не думают. Но это совсем не так. Сегодня я понял: на заводе тоже фронт. И не легко это даётся... Я очень рад, что попал на завод! Ещё вот что меня поразило, — вспомнил Алёша и рассказал о книгоношах и о том, что Виктор Куприн готовит сдачу техминимума.

— А как же иначе? — тотчас отозвалась Кира.

Как Максим Лаврентьевич, как Алёша, она не допускала и мысли, что война может закончиться чем-нибудь, кроме возвращения вольной, чудесной мирной жизни. Сколько бы ни длилась война, какой бы долгой она ни оказалась, надо помнить: каждый день приближает её конец, и конец этот — наша победа!

Пусть бушует буря и тучи заволокли небо, надо помнить — небо голубое! Кира жадно и бережно собирала все факты, подтверждающие эту простую истину — небо голубое!

Вот Савицкий — его не взяли на фронт из-за беспалой руки — рассказывал, что искусствоведы в МГУ готовятся к зачётам. Изучают живопись XVIII века. Значит, она ещё понадобится, эта живопись.

Алёша видел на стене заводской булочной коряво, наспех написанное от руки объявление: «Нашла прикрепленные к этому магазину продкарточки». А ведь, наверно, не легко сейчас живётся написавшей это объявление, и всё-таки... Неверно, что война развязывает только плохие инстинкты: не всякая война и не во всяком народе.

А второе письмо Григория! Кира часто доставала из сумочки сложенный треугольником клетчатый листок. Ей казалось, он всё ещё сохраняет какой-то особый запах — не то табака, не то пота. Из семнадцати с половиной строчек шесть было посвящено всё той же сухой сборке и ванне, которую Кира так и не успела увидеть.

Эти шесть строчек иногда казались ей дорожке одиннадцати других: у Григория тоже есть крепкий мостик в будущее.

Кира сидела на диване, поджав ноги и зябко закутавшись в платок. Мужчины разговаривали у карты, очевидно забыв про неё. А она думала и слушала их.

— Может быть, тебе нужно пойти на трудовой фронт, Алёша, — размышлял вслух Максим Лаврентьевич. — У нас из древнехранилища многие ушли. Но и в этом случае я советую тебе находить минутки и заглядывать в конспекты, в учебники. Просто, чтоб не забыть: университет был, есть и будет!

— А помнишь, Алёша, как Григорий объяснял принцип вождения машины? — сказала Кира. — Нельзя смотреть прямо под колёса, иначе неминуема авария. Нужно уверенно держать руль, а смотреть за несколько метров вперёд, только вперёд. Вот так сейчас надо жить.

— Скорее всего так вообще надо жить, — согласился Алёша. — Смотреть не за день, а за год, а то и за несколько лет вперёд. Но всё-таки эта война не может долго продлиться.

Максим Лаврентьевич промолчал.

Кире тоже казалось, что война не может долго продлиться. Кира даже иногда опасалась, что война кончится, а она так ничего путного и не делает, ничем не поможет. Если это произойдёт, ей всю жизнь будет стыдно смотреть людям в глаза.

— Я должна пойти на фронт. — Кира в упор поглядела на отца и на Алёшу. — Разве я хуже многих девушек, которые уже там? Когда кончится война, что я скажу людям? Что я подшила пять тысяч бумажек и спряталась в подвал при фальшивой тревоге. Почему вы ничего не говорите мне? Почему вы, мужчины, предъявляете ко мне меньшие требования, чем к себе?

Максим Лаврентьевич молчал. Что он может посоветовать? Она же правильно говорит. Не её вина, что она — девочка!

— Может быть, ты и права, — сказал Алёша, стеля себе на диванчике.

Но Кира прекрасно видела, что он думает только о цехе и о своём очерке. Она молча повернулась и ушла к себе.

Строго говоря, Кира не спрашивала сейчас их совета, она готовила их. Всё уже было решено... Но ничего, они поймут и не смогут не согласиться с ней. Скоро она скажет им, что по существу всё уже сделано. Из института она уходит, и на её место уже взяли какую-то старушку. Райком комсомола дал Кире направление на курсы медсестёр. А потом — на фронт. Прямая, единственно правильная дорога.

Кирина комната, казалось, была последним местом на земле, где ещё сохранялось дыхание мирного времени.

Даже чёрных штор не было на окнах — по вечерам Кира не зажигала здесь огня. После отъезда Григория ей хотелось сохранить свою комнату нетронутой. До его возвращения... Но в первые же дни Кира с горечью убедилась, что комната пуста. В ней не было даже воспоминаний. Ведь Григорий только на пороге поцеловал Кире руку.

Подумать только! В тот самый час, когда они с Григорием жгли костёр в саду, немецкие бомбардировщики уже шли на Киев и пограничники на заставах вступали в неравный бой.

Покой и безопасность бревенчатой комнатки день ото дня всё больше стесняли Киру. Кажется, стройся поблизости траншеи, по бревну бы разобрала свой дом, отдала солдатам на блиндажи и сама бы ушла с ними, чтоб не мучил неотвязный стыд — тебя прикрывают, за тебя умирают, а ты — за кружевными занавесками, на мягкой подушке...

Кире снилась девушка-санитарка, о которой появилась коротенькая заметка в газете: ночь, немцы бьют по мосту, и лошади боятся, не идут, а надо перевозить раненых. И девушка со злыми сухими глазами переводит лошадь через мост раз, два, три... Потом мгновенная вспышка, осыпаются обломки — нет ни моста, ни повозки, ни девушки.

Кира распахнула окно. Было что-то кощунственное теперь в этой тишине и густых душистых волнах белого табака, плывших над землёй. Из мрака на Киру вопрошающе глядели сухие злые глаза девушки-санитарки.

И невозможно было защитить себя обветшалым картонным щитом: «Мы — обыкновенные люди. Нам недоступен такой героизм».

«Нет, не обыкновенные люди! Нет, доступен! Хочу и добьюсь, что будет доступен. Верно ведь, Гриша?»

Григорий не мог ответить. За стеной молчали отец и Алёша. И всё-таки Кира чувствовала — они думают так же. Может быть, к порогу больших решений человек приходит один. Но как радостно принимать решение, к которому приходят миллионы!

Глава восьмая

Когда Кира поступила на курсы медсестёр, Анна Ивановна попросила главного хирурга доктора Агеева, с которым она работала уж четырнадцать лет, разрешить Кире проходить практику в их превращённой теперь в госпиталь больнице. К её удивлению, обычно не слишком любезный, Агеев, познакомившись с Кирой, быстро согласился, обещал даже дать Кире учебники и сказал, чтоб она зашла к нему, как он выразился, «познакомиться».

Кире Агеев не понравился. Её смущали его нагловатые глаза, она сердилась, что не может побороть своего смущения, и отвечала ему почти резко.

— Я бы вам посоветовал перебраться на время учёбы в Москву. Я распорядюсь, вам поставят койку в комнате Анны Ивановны, — сказал Агеев. — Книги я вам достал, вот!

Открыв ящик письменного стола, он вынул два тома курса обучения медсестёр запаса, которые Кира безуспешно пыталась купить, и усмехнулся, глядя, с каким восторгом схватила Кира учебники.

— Медосмотр перед курсами вы прошли?

— Конечно.

— И всё у вас в порядке? Когда уехал ваш жених?

Кира покраснела под его пристальным, беззащитным взглядом.

— Да, я совершенно здорова.

— А скажите, Кира, теперь вы, конечно, скучаете о своём друге, но когда он был рядом, вы, наверно, его изрядно мучили? Капризы, нежелание покориться, да? Все женщины одинаковы, — разговаривая, Агеев откинулся на спинку большого удобного кресла. — Все вы измеряете силу мужской любви не тем, насколько мужчина может быть с вами счастлив, а тем, сколько он в состоянии из-за вас вытерпеть.

Он улыбнулся не то иронически, не то с сожалением. Его светлые наглые глаза на лице с козлиной бородкой стали вдруг почти грустными. Кира подумала — может быть, напрасно её предубеждение против этого пожилого уже и, кажется, заботливо относящегося к ней человека?

— Мне кажется, это какая-то фальшивая теория — теория неудачников, — возразила она.

Слово «неудачник», повидимому, задело Агеева. Он инстинктивно провёл рукой по лысеющей голове, выпрямился и, извинившись занятостью, отослал Киру.

После разговора с Агеевым Кира решила немедленно переехать в город. Ей так хотелось поскорее чем-то пожертвовать, от чего-то от-

казаться. Слова «казарменное положение» приближали её к фронту, к участию в войне.

Алёша и Анна Ивановна давно уже не ночевали дома.

Максим Лаврентьевич теперь оставался один во всей даче. По вечерам он ждал Киру. Вдруг он крепко заснёт и не услышит, как она будет звонить?

А может быть, и не поэтому он не ложился. Просто очень тоскливо было знать, что в соседней комнате пусто и в мезонине никого нет. Случалось и до войны оставаться одному, но тогда почему-то не было так пусто. Возвращаясь с работы, он тотчас надевал войлочные тапочки, чтоб не слышать своих гулких в пустом доме шагов.

Приподняв подушку, Максим Лаврентьевич сунул руку к кастрюльке с кашей, закутанной в старый пиджак, — ещё тёплая. И услышав звонок, заторопился открыть.

Пока Кира раздевалась, Максим Лаврентьевич полистал книги, положенные ею на стол.

— Достала, Кирик? Это те самые?

Он с удовольствием смотрел, с каким аппетитом Кира ест. Проголодалась за день. Хорошо, что к её приходу у него всё готово.

— Те самые. Мне достал доктор Агеев. Папа, он разрешил мне проходить практику в палатах и даже поселиться вместе с Анной Ивановной в больнице. Так что я тоже перехожу на казарменное положение.

Максим Лаврентьевич взглянул на Киру, но, тотчас опустив глаза, стал старательно собирать крошки со скатерти.

— Да, конечно, тебе это будет удобней, — твёрдо сказал он, аккуратно высыпая крошки в пустую тарелку. — Я рад, по крайней мере, что ты будешь с Анной Ивановной. Ну, в выходные дни ты, Кирик, если будет время, приезжай всё-таки. На свежем воздухе побыть...

Голос Максима Лаврентьевича дрогнул. Он опустил голову. Кира увидела его редкие седые волосы вокруг лысины.

Из чёрной тарелки репродуктора мерно ударили Кремлёвские куранты. Как любила она всегда этот миг рождения нового дня! И гудки машин на Красной площади... Ей вспомнилось, как они с Григорием возвращались на машине из Химок. И ещё вспомнилось, какой маленький и одинокий стоял отец у калитки, когда Григорий уезжал от них в последний раз.

— Папа! — Кира всхлипнула, как маленькая, и, подбежав к отцу, уткнулась лицом ему в колени.

Максим Лаврентьевич испугался и, пытаясь утешить её, разволновался сам.

Смолоду бывает почему-то труднее всего признаться именно в самых хороших своих чувствах. Кира долго и сбивчиво объясняла отцу, что ей жалко оставлять его одного в таком пустом, скрипучем доме, что скоро ему будет ещё тоскливей, когда она будет не в Москве, а там, куда должен стремиться сейчас каждый честный человек.

— Ведь правда, папа?

— Правда, Кирик. Мне было бы ещё горше, если б ты думала и поступала по-другому. Кирик, но ведь нужны же сёстры и в Москве, в госпиталях, это же работа для фронта?

— Папа, а как ты думаешь, почему так мало пишет Григорий? Папа, а ты не думаешь... — Кира бормотала, не поднимая головы. Максим Лаврентьевич наклонился, чтоб расслышать. — Ты не думаешь, что он... забыл меня?..

Максим Лаврентьевич подумал, что ослышался. Он рассмеялся от души. Потом покачал головой серьёзно и укоризненно:

— Кирик, нельзя так легко терять доверие. Если ты любишь человека, надо уметь верить в него. Случается и в обычной жизни, что причины того или иного события тебе неизвестны. Само событие поэтому предстаёт непонятным, даже обидным. А узнаешь причины — всё поймёшь, и будет стыдно тебе, что незаслуженно усомнилась в человеке.

Они долго говорили, и первое чувство обиды, возникшее у Максима Лаврентьевича при известии о Кирином переезде, сменилось умиротворением. Не в этом ли радость родителей: увидеть детей достаточно окрепшими для самостоятельной жизни?

Утром Максим Лаврентьевич сам уложил Кирины вещи в чемодан как можно аккуратнее, как будто она уезжала в далёкий путь. Он только попросил её ещё раз — если будет время, конечно, — приехать в выходной Кира обещала.

Но в выходной она не приехала, потому что их группе подошла очередь идти на практические занятия в институт Склифасовского.

Туда же приходили на практику студенты, в большей части студентки медвузов. Они свободнее держались в больницах и поглядывали на будущих сестёр с некоторым превосходством, но Кира им не завидовала — их отделяли от получения диплома, а следовательно, и от фронта, не два месяца, а два—три года. За это время война кончится.

Кира жила теперь с Анной Ивановной. В комнате у них стояли две койки, больничные тумбочки, канцелярский стол, платье висели на стене, покрытые простынёй.

Анна Ивановна привезла из Лосинки свои любимые гравюры: сентиментальную девочку за клавирами и микельанджеловского Давида. Девочка висела над столом, Давид — над постелью.

В свободные вечера Анна Ивановна придиричиво экзаменовала Киру:

— Делай шапку Гипократа! Колосовидную на предплечье! Перелом в верхней трети голени. Какую повязку ты будешь класть? Тесно! На конечности появится отёк!

— У бойцов же не будет таких толстых ног, как у вас, Анна Ивановна.

— Ничего не известно. У мужчин тоже встречаются дряблые жирные тела. И пожалуйста, не жди жалобы раненого. Он может быть и без сознания. Воспитывай в руках чувство повязки.

Воспитывать чувство? До 22 июня слова эти казались Кире несовместимыми. И Кира пришла в ужас, когда на первых же практических занятиях, при всём желании своём помочь, принести пользу, ощутила чувство естественной брезгливости к гнойным, дурно пахнущим ранам, брезгливости ко всем естественным, но затруднённым болезнью, а оттого ещё более нечистым отправлениям человеческих тел.

Может быть, брезгливость эта разделяла Киру и больных, но, как ни старалась она точно выполнить все назначения врача, она понимала: нет, не даёт она больным того успокоения, которое всегда приносит с собой Анна Ивановна.

Больные, как дети! Их не обманешь ни деловитостью, ни частыми улыбками, ни самым внимательным выполнением назначений, если нет ещё чего-то. Даже не определить, что это такое, но вот у Анны Ивановны это есть. Говорят же сёстры: если она ночь проведёт у оперированного, он будет молчать без морфия...

Так, наверное, в каждом деле. На первый взгляд — просто, а попробуй — и окажешься, что одной исполнительности мало. Надо ещё в себе пайти какие-то особые качества. А если их нет? Может быть, можно их воспитать?

Кира повела маленькую войну с самой собой за воспитание в себе новых необходимых черт характера. И странное дело! С этого дня время пошло гораздо быстрее и легче, несмотря на короткие тяжёлые сводки. Время измерялось теперь не цифрами календаря, не встречами с отцом и Алёшей и даже не письмами Григория.

«Это было, когда я первый раз сама положила гипс... В ту ночь тяжелораненый из крайней палаты попросил доктора, чтоб меня оставили дежурить у него на вторые сутки... Это было в тот день, когда у меня на перевязке никто не крикнул», — так запомнились теперь дни.

«Если коротко взглянуть на рану, — писала Кира Григорию, — увидишь гной и гадость. Но если посмотреть пристально, с любовным желанием залечить, заметишь, как наступают здоровые края кожи, как появляются островки живой чистой кровоточащей плоти, и тогда уж будешь видеть только это здоровое, борющееся тело, и рана перестанет быть противной».

Между прочим, эти возрождающиеся островки Кира впервые по-настоящему увидела глазами Кати санитарки.

В один из первых дней пребывания своего в госпитале Кире вместе с Катей довелось переносить в перевязочную раненого.

Катя была ниже Кире, но коренастей и, наверно, гораздо сильнее. Во всяком случае, она, как казалось Кире, несла носилки без особого напряжения, цепко взявшись за ручки своими маленькими крепкими руками. И вся Катя, загорелая, черноволосая, с небольшими блестящими, как мокрая вишня, глазами, будто излучала молодость и здоровье.

Пока больного перевязывали, Катя могла бы отдохнуть, но она, не отрываясь, жадно смотрела на большую рану.

— Смотри! Ты видишь, видишь? — живо прошептала она, сжав Кирину руку. — Ты видишь, сколько хороших свежих кусочков? Это здоровое тело растёт. Это значит — рана хорошо гранулирует! — раздельно произнесла она новое слово, и на щеках у неё от удовольствия появились две ямочки.

Закончив перевязки, Кира с Катей разговорились, сидя на маленьком, одетом в чехол диванчике Кира рассказала, как простились они с Григорием. Катя сочувственно вздохнула, но узнав, что Григорий — инженер и у него есть друг Дмитрий Николаевич Воронин, насторожилась.

— А как фамилия его? Так это твой, Сванидзе? — с невольным выросшим уважением оглядывая Киру, протянула Катя.

— Мой! — с гордостью подтвердила Кира, впервые называя так Григория. Она была счастлива — теперь с Катей можно говорить о Григории. Это не беда, что Катя его никогда не видала. Зато она знает его дело, знает, чем он жил, над чем работал.

Кира с удивлением и радостью чувствовала, что образ любимого, отражённый в представлениях Воронина и Кати, вырастает в её глазах. Эти люди знали Григория таким, каким Кира его ещё не успела узнать, — они работали вместе с ним.

Как важно человеку найти в жизни своё рабочее место! Вот у Анны Ивановны есть страсть улаживать чужие дела. В обыденной жизни смешное, подчас неприятное качество. Но здесь, в госпитале, оно выливается в непрестанную заботу о больных, становится осмысленным и необходимым.

Вечером, медленно согреваясь под бобриковым одеялом, Кира раздумывала о том, как после войны она тоже завоюет себе настоящее рабочее место в жизни. Конечно, она будет заниматься своей любимой

историей. Как интересно уходить мыслью в тысячелетия, в века, исследовать совокупность фактов и событий прошлой жизни человечества! Следить за борьбой классов на протяжении веков. Она ещё мало знает, конечно, но она будет учиться.

— Анна Ивановна, скажите, а вас работа сестры вполне удовлетворяет? — спросила Кира.

— А почему это тебя интересует? Уж не думаешь ли и ты стать профессиональной медицинской сестрой? — подозрительно спросила Анна Ивановна.

Кира засмеялась. Это забавно! Похоже, что Анна Ивановна ревновала Киру к любой её работе. Она считает, видимо, что Кира должна думать и болеть сейчас только о Григории. Нечего сказать, похвалил бы он Киру за это!

— Нет, серьёзно, Анна Ивановна, у вас, например, сразу наладилась с больными такая связь или вам тоже пришлось в себе что-нибудь вырабатывать? — спросила Кира, вспомнив свои первые нелёгкие шаги в госпитале.

Анна Ивановна задумалась. Пожалуй, даже трудно вспомнить сейчас, как всё это происходило. Анну Ивановну всегда тяготила неистраченная женская нежность. Ей казалось — пошли ей судьба мужа, детей, она была бы счастлива вложить в семью все силы, ни о чём другом не думать и не заботиться. Но в жизни она всегда оказывалась третьей, лишней. Здоровые не привязывались к Анне Ивановне и не требовали от неё жертв. Только больным стала она действительно нужна.

Но быть медсестрой Кире — неподходящее занятие. И, между прочим, работа сестры совсем не такое простое дело, чтоб заниматься им несколько месяцев, и потом отмахнуться. Кто испытал хоть раз счастье — спасти человека от смерти, от страданий, увидеть на лице его улыбку облегчения и знать — это ты помог ему, — тому захочется вновь и вновь пережить это прекрасное чувство. От этого не отмахнёшься.

— Наверное, в каждой специальности можно найти счастье, — сказала Кира, думая об истории. — Если, конечно,любишь своё дело и сумеешь всю себя ему отдать. Но почему вы думаете, что это может помешать семейному счастью?

— Потому что человеку дано определённое количество сил, и если ты отдашь их чужим, у тебя ничего не останется для дома.

— Нет! Нет и нет! — упрямо отмахнулась Кира от этих унылых, серых слов. — Кто и где измерил силы человека? А доброты и нежности разве так мало в человеческом сердце, чтобы их нужно было отмерять чайными ложками?

— В молодости мне тоже казалось, что у меня хватит любви на весь мир и весь мир меня полюбит, — вздохнула Анна Ивановна — Пиши почаще Григорию Константиновичу и посылай ему свои фотографии. За всеми вашими большими планами, как вы все не бережны к вашему собственному маленькому личному счастью! Вы думаете, оно всегда само будет падать к вам в руки?

— Я совсем не думаю этого. Но что толку посылать ему фотографии-бумажки? Когда меня раненые просили бессменно дежурить, я ему написала...

Анна Ивановна засмеялась.

— Кирик, ты — ребёнок! Ну зачем ты пишешь ему о таких пустяках! Пиши о себе, о чувстве. Он любит тебя такой, какая ты есть. Я опытная женщина...

— Вы — совершенно неопытная женщина, — уверенно заявила Кира. — Я даже удивляюсь, как вы дожили до ваших лет, до такой степени не нажив опыта. Неужели вы не понимаете, что и я и чувства мои — всё теперь как раз в этих «пустяках»?

— Кирик, да ведь я только и хочу, чтобы ты была счастлива, — миролюбиво сказала Анна Ивановна. — Дай бог, чтоб всё было хорошо.

— Анна Ивановна! А вы знаете, внешность Григория как-то расплывается в моей памяти, — после долгого молчания грустно созналась Кира — Вспоминаю голос, отдельные движения, а вот всего его иногда уже не могу вспомнить. Я стараюсь поступать так, как, мне кажется, поступил бы он. Это мне очень помогает.

— Дай бог, чтобы всё было хорошо! — вздохнула Анна Ивановна.

Кира проснулась от резкого воя. Босиком, в рубашке, испуганная, она открыла дверь — беготня, неожиданно громкие ночью голоса, звонки.

— Анна Ивановна! — позвала пробежавшая мимо их комнаты сестра. — Воздушная тревога!

Анна Ивановна, уходя, крикнула Кире:

— Сейчас же беги в подвал!

У Киры сжалось сердце.

Накинув платье и сунув босые ноги в тапочки, Кира побежала вниз, просто потому, что внизу больше шумели: наверно, делали что-то нужное.

Сёстры вели ходячих больных в убежище. В хирургической палате, где лежали тяжелораненые, кто-то ругался. Прошёл доктор Агеев и, заметив Киру, приказал ей идти в подвал. Кире показалось, что спокойней и уверенней всех распоряжается больничный завхоз Бобриков. Она подбежала к нему.

— Я совершенно свободна. Скажите, что нужно делать?

Вдруг недалеко что-то огромное ударилось о землю. Дрогнуло здание. Люди замерли. Звякнули и тотчас стихли стёкла.

— Бомбят! — крикнул кто-то из парадного. — Свет! Проверьте свет! — Кира опрометью бросилась на улицу, как будто там-то в ней и нуждались.

Под козырьком парадного толпились сёстры, сторожа, санитары. Василий Иванович Бобриков, стоя под открытым небом, в яростном восторге кричал:

— Ага! Поймали, ведут, ведут!

Ужасающе близким казалось небо, полосатое, пришитое к земле красными стежками трассирующих пуль. Мгновенно вспыхивали и гасли большие белые звёзды, гуще, гуще... Заметались и тесно сплелись жадные щупальцы прямых лучей, и на их сплетении, как на огромной ладони, возник пойманный белый крест. Один самолёт был пойман!

Не помня себя от гнева и злобной радости, Кира перебежала с места на место, не сводя глаз с этого ползучего белого креста на родном московском небе.

Что-то прошипело и ударилось о козырёк парадного.

— Осколки! — крикнул Бобриков. — Товарищи! В парадное!

Скоро всё стихло, только голубые лучи недоверчиво шарили ещё по небу, тупо упираясь в лохматые облака. Раздался странно спокойный, размеренный голос: «Опасность воздушного нападения миновала. Отбой... Опасность воздушного нападения...»

Шумно переведя дыхание, люди оживлённо заговорили, как будто поздравляя друг друга, что вот были здесь, под открытым небом — и ничего.

Хлопнула дверь. На крыльцо вышла Анна Ивановна и сердито крикнула:

— Сёстры и санитарки! Почему не с ранеными? Почему свободные сёстры не в палатах?

— Ладно, Анна Ивановна, не сердитесь! — крикнул Василий Иванович. Видно, он ещё был возбуждён и не мог говорить тихо. — Целы будут и раненые и сёстры. Отбили немца!

Кире нравился Бобриков. Плечистый, плотный, лет сорока, может быть сорока пяти, он ходил в штатском, а держался подчёркнуто по-военному, говорил: «Точно», «Есть», «Разрешите выполнять» и делал повороты на левом каблуке и правом носке. Военские привычки Бобрикова казались особенно уместными теперь, когда больница превратилась в госпиталь.

Говорят, Бобрикова привёл с собой в больницу хирург Ладейщиков. Они вместе были в медсанбате на финском фронте; Ладейщиков был много моложе Василия Ивановича, но Бобриков относился к нему с огромным уважением, любовно и почтительно называя Ладейщикова «наш комбат».

Анна Ивановна говорила, что ценит Бобрикова за его самоотверженное отношение к работе, и в самом деле, в дни прибытия раненых, да и вообще, когда бы это ни потребовалось, Василий Иванович готов был и шофёра заменить, и электропроводку исправить, и раненых в перевязочную носить, что было особенно ценно при его большой физической силе.

— Не сердитесь! Отбили фашистов! — торжествующе крикнул ещё раз Бобриков, и Анна Ивановна сразу смягчилась.

Взявшись за руки, как дети, Кира и Катя побежали вверх по лестнице.

Кира всякий раз удивлялась, какие сильные у Кати руки. Да пожалуй, не только руки. У неё и характер крепкий. Захотела учиться на медсестру — и добилась, чтобы её приняли в больницу. И с какой настойчивостью она, как пчела, добывает себе от каждого хоть крупицу знаний и опыта. И ведь не всегда и не всем есть время отвечать на бесконечные Катини расспросы, подчас с ней говорят не очень любезно, но Катя этим нисколько не смущается, снова и снова добывается ответов и всё записывает в толстую клеёнчатую тетрадь с большим заголовком «Практика».

Катя хоть и моложе Кире, но юность у неё была суровее, и привычки к коллективу у неё больше. Она умеет и другим помочь и без ложного самолюбия попросить помощи. Наверно, завод её этому научил...

— А что, если он на завод сбросил? — входя в отделение, вдруг спросила Катя.

Кира заметила, как Катя побледнела, и сама испугалась: в самом деле — вдруг на завод?

Тогда они опять побежали вниз, в канцелярию. Катя позвонила на завод. Телефонистка сказала:

— Всё в порядке.

Катюша сразу порозовела.

— Катя, я буду скучать по тебе, когда ты уйдёшь от нас, — искренне сказала Кира.

— А ты отпросись как-нибудь да приезжай к нам. Я тебя с дядей моим — Павлом Гаврилычем познакомлю. Дядя у меня знаменитый, — с гордостью добавила Катюша. — С Виктором познакомлю, — улыбнулась она, и на её щеках появились две ямочки.

Виктора Кира увидела гораздо раньше. На следующий день в сумерках он вместе с Алёшей приехал в госпиталь.

Как и Григорию при первой встрече, Виктор показался Кире хмурым, даже угрюмым. Он наскоро поздоровался с Кирой, нетерпеливо оглядываясь на каждый стук двери. Но едва Виктор увидел Катюшу, усталое лицо его залилось такой счастливой, сверкающей улыбкой, что Кира и Алёша тоже невольно улыбнулись.

Впрочем, Виктор сейчас же перестал улыбаться и встретил Катю сдержанно, даже грубовато. Они поздоровались за руку и вышли в сад.

— Ну, когда ж ты приедешь, Катюша? — Виктор остановился перед ней, словно преграждая путь. — В цехе народ нужен.

«Цех — цехом, но и я по тебе скучаю. Отлучаться мне теперь некогда, и я очень по тебе скучаю», — так поняла Катюша его слова.

Она была Виктору едва по плечо: разговаривая, запрокидывала голову, и Виктору были видны обе Катины ямочки.

— Ты как с Кирой невежливо обошёлся, — упрекнула его Катя, — а ведь она невеста того самого Сванидзе, который нам сухую сборку придумал.

«Нам с тобой так хорошо, а она — одна, её надо пожалеть», — таков был для Виктора истинный смысл слов Кати, и он сконфузился.

— В самом деле, как же это я?

Они вернулись к Кире и, как хозяева, гостеприимно пригласили её почаще приезжать к ним на завод.

Алёша во время бомбёжки был на заводе. По его словам выходило, что именно на заводе-то и было всего страшней.

— Жилые дома стоят напротив завода, — рассказывал он Кире и Анне Ивановне. — Завод — это же объект, фашисты и били специально по нему, это все говорят. И всё-таки, когда началась бомбёжка, жители посёлка бросились к заводу. В цехах рабочие отказывались идти в убежище. Я даже записал — вы можете себе представить! — цехи выдали программу! Вот смотрите, я принёс осколок. — Алёша положил на стол неровный, зазубренный кусок металла. — Когда я поднял его, он был ещё тёплый. Ведь такой может убить, правда, Анна Ивановна?

Анна Ивановна сходила к Ладейщикову за разрешением, и Алёша остался ночевать в комнате, где жили Анна Ивановна и Кира. Когда они легли, Алёша, сгорбившись над столом, долго писал в своей толстой тетради. Писал и перечёркивал и снова писал, не в силах выразить и боясь забыть всё прекрасное, что обнаружилось вчера в людях.

Люди выросли, а слова остались те же, маленькие, непокорные. Измучившись, Алёша погасил свет и распахнул окно — его раздражал больничный запах.

Свежая ночная тишина вошла в комнату. Слепые громады зданий вставали на пустом небе. Хоть бы один огонёк! Как хорошо было раньше усталому, встав от стола, найти в темноте сонного города освещённое окно и убедиться, что не один ты не спишь на земле.

Ни одного огонька!

Сняв ботинки, Алёша неслышно подошёл к шкафу, где лежал полуценный на завтра хлеб Киры и Анны Ивановны, и обменял Кирина паёк на свой, побольше. Лёг на постеленный ему на полу тюфячок и мгновенно заснул.

Глава девятая

Утро было такое тихое, так спокойно зеленела на солнце ещё густая листва больничного парка, что Кира читала Алёшины записки, как книгу о других людях, других временах.

«...Земля закуталась во мрак, такой надёжный и плотный, что, казалось, — его можно потрогать. И вдруг где-то в глубине встревоженного неба зажглась огромная слепящая звезда-ракета. Она вырвала из мрака очертанья зданий, расстелила по земле предательские тени, ударила холодными отблесками в стёкла цехов.

Из чёрной щели убежища на заводской сквер вылезли две маленькие фигурки. Холодный луч заиграл на их форменных металлических пряжках. Мальчики стояли, подняв к небу освещённые бледным немеркнущим светом лица, и, как замороженные, глядели на красные трассы пуль.

Мальчики стояли, крепко схватившись за руки. Наверно, им было страшно, и, чтобы подбодрить себя и товарища, один сказал:

— Ни черта! Моя шлифовочка стоит.

Другой подхватил тотчас:

— И мой монтажный не качается!

Вдруг красный хлыст стегнул по ракете.

— Попал, попал! — в восторге закричал, запрыгал, захлопал в ладоши мальчик поменьше ростом.

Растрелянная ракета заплакала огненными слезами и погасла. Завод погрузился в спасительную темноту. К мальчикам подошёл дежурный и уважительно, как взрослых, попросил их уйти в убежище...»

— Кира, зачем ты читаешь? — сердито спросил проснувшийся Алёша.

Надев очки, Алёша свернул и спрятал рукопись в книжку.

— Алёша! А ты не думаешь попробовать напечатать что-нибудь в настоящей газете? Ведь всё-таки писатель не тот, кто только пишет, но тот, кого и читают. В конце концов, ведь пока ты не вынес своё произведение на суд народа, ты не можешь быть окончательно уверен, хорошо оно или плохо, — сказала Кира.

— Почему ты думаешь, что я не надеюсь? Ты не думай, что я так себе, совсем бессильный, близорукий мечтатель. Я ведь упорный. Может быть, у меня внутри — не много, но уж будь спокойна, я добьюсь уменя хоть это небольшое рассказать людям. Ты, конечно, можешь спросить — нужно ли это кому-нибудь? Не знаю, но мне самому это необходимо. Если я не напишу обо всём, что вижу и чувствую, у меня, кажется, сердце лопнет. Но, Кирик, ох, Кирик! — Алёша, обняв себя за локти, большими шагами ходил по комнате. — Я только теперь понимаю, как преступно не ценили мы время, как мало мы работали. Мы вели себя так, как будто у нас впереди долгие годы. Но мы не можем жаловаться, что нас не предупреждали... Нас на каждой лекции по истории партии предупреждали.

— Ты говори, я слушаю, — Кира доставала банку с молоком, стаканы.

— Я просто с ужасом вспоминаю сейчас, сколько времени уходило зря. И в результате вот мы, мы с тобой, например, постыдно мало знаем. Я недавно просматривал формуляры в заводской библиотеке Ты знаешь, каких авторов я нашёл на карточке слесаря инструментального цеха Глебова? Решетников, Слепцов, Герцен, Огарёв. Конечно, это наша гордость. Но, Кира, я-то так и не удосужился прочесть Решетникова! А это уже позор. Это просто дисквалификация! Чтобы претендовать на понимание и изображение такого слесаря, я должен итти хоть на два

шага впереди его, я должен иметь возможность заглянуть ему прямо в лицо.

«Слушайте, слушайте! Говорит Москва, — прервал их знакомый баритон диктора. — Передаём сводку Советского Информбюро... Наши войска оставили город...»

Опустив глаза, Кира и Алёша прослушали сводку.

— У меня недавно был с папой хороший разговор о доверии. — Кира медленно протянула руку и выключила радио. — Если знаешь человека, надо уметь верить ему. Пусть тебе даже будут непоняты иногда поступки его, нельзя легко терять веру в человека. Пройдёт время — и поймёшь. Правда, Алёша?

Взглянув на часы, Кира быстро уложила в клеёнчатую сумку халат, учебник, тетрадки.

— Я совсем забыла, с чего у нас начался разговор, — потёрла она лоб. — Ах, да! Почему тебе не попробовать напечатать. Давай позвоним Ольге Арсеньевне, она связана с газетами и журналами. Ну, в крайнем случае откажет! Сейчас ещё рано звонить, но мы выйдем вместе и по дороге зайдём на телеграф. Идёт?

Алёша в раздумье поглядел на Киру и вдруг блаженно улыбнулся, забыв на миг о войне, о фашистах, обо всём. Начать печатать не отзывы о чужих произведениях, а свои! Сойтись наконец лицом к лицу с многомиллионным судьёй твоей души, мыслей твоих и желаний!

Они добрались до коренастого темнотенного телеграфа.

— Удобно ли звонить в такое время? Ещё рано, — уже перед автоматом сказал Алёша.

— Теперь всё удобно! — вздохнула стоявшая за ними в очереди пожилая женщина.

Ольга Арсеньевна действительно не удивилась звонку.

— Я уже на практике, Ольга Арсеньевна, — торопливо рассказывала Кира. — Кончаем курсы, экзамены — и на фронт.

Женщина в очереди нетерпеливо переминалась с ноги на ногу, но услышав про фронт, вздохнула и, снова запасшись терпением, прислонилась к стене.

— Кира, ты эгоистка, — возмущённо прошептал Алёша. — Ты об очерке, об очерке скажи!

Кира сказала и, выслушав ответ Ольги Арсеньевны, вышла из будки.

— Ты позвонишь в отдел литературы и искусства газеты «Известия». Попросишь заведующую отделом. Скажешь, что Ольга Арсеньевна сама не читала, но просит прочесть то, что ты принёс...

Вечером Алёша вошёл в «Известия». Какой весёлый, прозрачный, с огромными иллюминаторами под крышей, похожей на палубу, был раньше этот дом! Вечерами он светился, словно в него на ночь заперли солнце.

Поднявшись мимо вахтёра, спросить заведующую отделом, положить на стол свои листочки... Как трудно оказалось сделать всё это!

На следующий день Алёша слушал сводку, сидел на лекциях, ужинал, но он не жил. Он ждал. Впервые понял он, какая пытка нести кому-то на суд свою работу, в которую вложено всё самое лучшее, и, как тебе кажется, самое верное, что только есть в тебе самом

Ну а если ему откажут? Это-то он представлял себе легче всего! Откажут ещё и ещё раз. Что ж, хотя бы ему отказывали всегда и всюду, он всё равно не может не писать, он должен писать.

Алёша спустился в полуподвальный буфет института. Теперь тут было пусто. Половина студентов — на фронте. Да и сам Алёша, разве бы он остался, если б смог попасть на фронт?

На буфетной стойке под стеклянным колпаком сохли салатки из почерневшей свёклы. В углу, постелив на скатерть газету, Савицкий что-то клеил, осторожно прикасаясь щетиной кисточки к поверхности клейстера в стакане.

— Вы слышали, Москву начали эвакуировать? — спросила буфетчица.

— Не может быть! — поразился Алёша.

— Алёша, — не поднимая головы, мрачно сказал Савицкий, — подожди, я склею рубль, будем завтракать. — Он бросил кисточку и клей, разгладил своей беспалой култышкой склеенный папиросной бумагой рубль, поднёс его буфетчице: — Надеюсь, теперь он вам подойдёт, миледи!

Буфетчица опасалась, что рубль держится плохо, пока он мокрый. Савицкий покорно понёс его на ладони сушить в солнечном луче у окна.

— Чем ты думаешь сегодня кормить ежа, мой юный друг? — спросил он Алёшу, и тот охнул, потому что в тревогах об очерке он совсем забыл про ежа.

Несколько дней тому назад Алёша проходил мимо арбатского зоомагазина и по привычке зашёл туда — он всегда заходил в магазин посмотреть на зверей. Но от зверей остался лишь запах. Лишь над одной клеткой висела рукописная карточка «пять рублей», и подойдя, Алёша увидел ежа.

Маленький ёж был явно голоден. Он тревожно бегал по пустой клетке, встал на короткие задние лапки, опершись передними на краешек миски, заглянул в неё — миска была пуста. Алёша наклонился, ёж посмотрел на него круглыми чёрными бусинками, иглы на голове его стали дыбом, он сделался похож на взъерошенного хмурого человечка.

— Это просто удивительно: как в такое время мог попасть к вам этот ёж? — спросил Алёша у продавщицы.

Она нетерпеливо пожала плечами и, прислушавшись, бросилась к двери:

— Боже мой, кажется, опять тревога?.. Нет, слава богу!

Разумеется, ей не было никакого дела до ежа, и смешно было обвинять её в этом. Скорее Алёша чувствовал себя виноватым, но он понял, что, кроме него, никто не купит этого ежа, и заплатил в кассу той же продавщице пять рублей.

Перекатывая лопаточкой колючий шарик в Алёшин портфель, продавщица вдруг облегчённо вздохнула:

— Как я рада, что вы его купили! Он быстро привыкнет, не нужно только его пугать. Купите ему граммов сто мяса, а потом он будет ловить мышей. Может быть, это и глупо в такое время, но мне действовало на нервы, что этот проклятый ёж сидит здесь голодный. Вы помните, как раньше здесь бывалолюдно, сколько детей, какой щебет? Боже мой, что же будет, что же будет?..

Ёж поселился в общежитии, где теперь ночевали только Савицкий и Алёша.

Высушив рубль, Савицкий получил салат, они сели за один столик.

— А Кира эвакуируется? — спросил Савицкий.

— Слушай! — Алёша выпрямился и оставил салат. — Неужели это правда? Наверно, это просто бегут какие-нибудь паникёры. Ну, я понимаю, дети, но...

— Это правда, Алёша, — тихо и просто сказал Савицкий. — Я знаю, уже эвакуировались некоторые учреждения. Нет, не только музеи. Да какого чёрта! Ты на карту-то смотришь?

— Я не допускаю, не допускаю и мысли, — раздельно сказал Алёша, — что фашисты могут... Воздух — что! Воздух — он и есть воздух, но по земле...

Буфетчица напряжённо прислушивалась к их разговору, Алёша замолк на полуслове. Они вышли в институтский садик.

— Я тоже не допускаю, — сказал Савицкий, с ненавистью глядя на свою круглую, как ракетка пинг-понга, ладонь, — но клянусь, Алёшка, отдал бы полжизни за пять пальцев. Ну что я сейчас? Ни на фронт, ни к станку. Бегаю по этой окаянной крыше, на которую ни одна зажигалка не падает... Давай сюда, красотка Долорес! — громово крикнул он почтальонше и забрал у неё институтские газеты.

Прочли сводку.

Взглянув на уголок «Сегодня в номере», Савицкий крикнул с восторгом:

— Что ж ты мне ничего не сказал?

Алёша прочёл свою фамилию.

Всё замерло в нём, руки его дрожали. Да! Его очерк «Люди одного завода»! Конечно, вычеркнули про собаку и про голову Горгоны, но всё равно... Миллионы людей сейчас читают то, что он написал. На заводе читают и Виктор Куприн и Тарасов...

Алёша улыбался, счастливый. Но вдруг поглядел на Савицкого, и ему стало почему-то неловко.

— Что ты чувствуешь? — серьёзно спросил Савицкий. — Зачем ты стесняешься? Ты же должен быть очень счастлив сейчас.

Алёша хотел переменить тему разговора. Савицкий мягко и сильно взял его за руку:

— Ты не смей стесняться, Алёша, радуйся! Хочешь, я скажу, почему ты не хочешь радоваться при мне? Ты думаешь: «Вот меня уже напечатали, а его ещё нет. И когда напечатают — неизвестно. Может быть, ему немного завидно, неприятно...»

Алёша быстро и мучительно покраснел, потому что Савицкий сказал правду.

— Ну, вот видишь, — улыбнулся Савицкий. — А зачем ты так плохо обо мне думаешь? Неужели ты думаешь, что я могу не радоваться заслуженной удаче товарища? Я могу. Я многое могу... Я не могу только терпеть, Алёшка, что ребята — на войне, а я — тут! — Он с тоской и неприязнью оглядел полный солнца садик, похожий на маленький залив, оставшийся во дворе дома от зелёной реки бульвара.

Сторожиха приоткрыла дверь, чтоб они услышали звонок.

— Лекция! — проворчал Савицкий. — А аудитория-то какова? Десять девок, один я...

Невысокий рыжеватый заведующий учебной частью подозрительно покосился, встретив их в коридоре. Едва пропустив его, Савицкий захотел басом:

— Знаю, чего он боится! Он прочёл очерк и боится, что ты уйдёшь из института в газету. А каждый уходящий из института — его личный враг, потому что если уйдут все — институт закроют, и ему придётся идти на фронт! У него — все десять пальцев.

— Ты врешь, Боря, — примиряюще сказал Алёша. Сегодня ему ни о ком не хотелось думать плохо. Что бы ни было, газета была с ним. Аккуратно свернувшись во внутреннем кармане пиджака, она грела ему сердце.

— Итак, товарищи, — обождав, пока сядут опоздавшие, повторила преподавательница, — возвращаемся к князю Всеволоду Большое Гнездо...

Лекции Алёша не досидел. Его вызвали. Звонили из «Известий». Заведующая отделом предложила ему немедленно поехать на завод. Пусть напишет очерк о ремесленниках, о новых рабочих. Надо бы к завтрашнему номеру. Только успеет ли товарищ Маркин? Около десяти могут объявить тревогу, а там — комендантский час...

— Эх, хорошо бы хоть несколько экземпляров на завод привезти! — пожалел Алёша. — Хоть бы Куприну и Павлу Гавриловичу. У Тарасовато есть...

— Я украду в библиотеке и читальне, — предложил Савицкий. И украл.

С какой радостью понесут и Куприн и Клименков домой эти газеты! Алёша, улыбаясь, спрыгнул с трамвая на ходу и, поражённый, остановился: «Когда же это? Ведь я только два дня здесь не был», — пробормотал он, как будто для того, что случилось, недостаточно было одной минуты.

В только что отстроенном сером жилом корпусе исчезла середина. Не разрушилась, а просто исчезла. Здание стало похоже на перевёрнутую арку. Как много места, оказывается, занимал этот корпус! Он загораживал огромный кусок неба, и теперь это небо, воздух вошл в пролом, и непривычный сквозной ветер гулял по улице, разнося тяжкий едкий запах.

Алёша повернулся к посёлку и опять увидел небо, грузно осевшее меж развалин. В пятом корпусе срезало угол, открылись комнаты четырёх перекошенных этажей, с кроватями, диванами, фотографиями на стенах. С третьего этажа по наклону медленно сползло пианино. На земле вокруг огороженной кучи кирпичного мусора шумели пожарные и дети, какая-то женщина плакала.

— Разойдись! — крикнул пожарный.

Пианино дрогнуло, накренилось и грохнулось оземь. Жалобный звук лопнувших струн задрожал в воздухе, поднялась белая туча едкой известковой пыли, и Алёша понял, откуда этот тяжёлый запах тлена погибших зданий.

— Когда это? — спросил Алёша старуху, подбирающую с земли картошку.

— Это, — старуха кивнула на серый корпус, — третьёгодни, а то — вчера.

И опять пошла, медленно нагибаясь вокруг неглубокой пыльной ямы. Алёша вспомнил — здесь была овощная палатка.

«Была... Серый корпус был...» — Алёша непривычно выругался.

Плечом вперёд, словно преодолевая чьё-то сопротивление, хмурый и злой, Алёша вошёл в проходную. Оставил одну газету в автоматнотоканном.

Его окликнули.

— Какого чёрта! — сердито заговорил незнакомый Алёше рабочий — Напиши ты, почему в столовке мисок опять нехватает? Стал ругаться — война, говорят. А если ещё год война будет, тогда из ладони будем есть или как?

Алёша записал на ходу про миски и прошёл к Павлу Гавриловичу, который теперь обучал ребят из ремесленного.

— Что же это, Павел Гаврилыч, дома-то? — голос у Алёши дрогнул.

Старик пристально поглядел на него и понял, что не про одни дома спрашивает Алёша.

— А ничего! Всё равно ничего у них не получится.

— Да ведь прут, Павел Гаврилыч.

— Лягушка ела-ела быка да издохла. Я и сам, признаться, — Павел Гаврилович отлянулся, — не знаю ещё, как это будет... Но только всё равно у них не получится — это вот я твёрдо знаю.

Наверно, приведи он все доводы, какие Алёша и сам мог кому угодно привести, они не произвели бы сейчас на Алёшу того впечатления, как эти бездоказательные спокойные слова: «Знаю, что ничего у них не получится» — и всё тут.

— Там бабы картошку собирают.

— Не пропадать же картошке. А про миски ты напиши. Сейчас небось в сборку побежишь? — улыбнулся Павел Гаврилович.

— Зачем? — насторожился Алёша.

Павел Гаврилович удивлённо поднял брови.

— Да ты в уме ли, парень? Сегодня сухую сборку пускают. На три дня раньше плана.

— Почему же редактор меня туда не послал? — с отчаянием вскричал Алёша, наскоро запихивая в карман свой блокнот.

— Не ты же один в газете! Может, начальник твой и не знает, что ты сборке родственник? — резонно предположил мастер. — Катюшу мою на сухой конвейер Дмитрий Петрович сажает, — тихо сообщил он Алёше.

Павел Гаврилович и радовался, что племянница его будет работать теперь в хороших условиях, и почему-то стеснялся открыто показывать эту радость — не весь цех ещё на сухую сборку переводят. Не подумали бы люди, что Катюша по знакомству попадает на первый конвейер, хотя не её ж одну переводят, а Катюша ведь передовой считается...

Павлу Гавриловичу захотелось высказать всё это Алёше, но Алёши и след простыл. Уже привычно лавируя между людьми и станками, он бежал в сборочный цех.

Первый поток опробовали на три дня раньше срока. За час до пуска Воронин вспомнил, что он уже третьи сутки не спит и не бреется. Тревоги, бомбёжка — всё это было за стенами цеха и не касалось его. Его касалось сейчас только опробование первого потока, и он подготовил его.

Проведя рукой по щеке, Воронин взглянул на часы и насколько мог быстро пошёл в парикмахерскую заводоуправления. Он нарочно пошёл не внутренним переходом, а по улице, чтобы вдохнуть хоть немного свежего воздуха. Дмитрий Петрович увидел небо и с удивлением подумал, что почти отвык от этого просторного синего неба с розоватыми на закате облаками.

К первому потоку вызвали несколько лучших работниц сборки. Когда Дмитрий Петрович, побритый, освежённый, вернулся в цех, работницы уже запихивали под фартук, на живот, на грудь мятые ворохи вощёной бумаги. Они всегда поступали так: бумага хоть немного защищала платье, не пропуская керосинную сырость.

Взглянув на округлившуюся, как шарик, Катю, Дмитрий Петрович рассмеялся:

— Не нужно теперь бумаги!

Он увидел на лицах женщин недоверие.

Воронина не покидало чувство удивительной лёгкости. Он смотрел на постепенно собиравшихся в цехе гостей ясными глазами спокойного, совершенно уверенного в себе человека.

Но работницы нервничали — Воронин чувствовал. Поэтому он нарочно остался рядом с ними.

С другой стороны сборочного стола стояли Тарасов, Малько, завкомовцы, редактор многотиражки. В последнюю минуту из-под чьего-то локтя вынырнул и протискался вперёд Алёша. Он был бледен, то и дело поправлял очки, и боялся взглянуть на Воронина. А тому как раз хотелось дать Алёше почувствовать, что волноваться не надо, для него — Воронина — это уже не опробование, а показ.

Пустили мотор. Сразу стало очень тихо. Дрогнул и тронулся, вначале пустой, конвейер. Негромко стукнув, выпали из ванны и поползли к работнице первые кольца. Дмитрий Петрович смотрел на её лицо. Взяв в руки тёплую чистую деталь, женщина растерялась, пальцы её, привыкшие к ощущению керосинового жира, беспомощно скользнули по чистому металлу. Часть колец и сепараторов несобранными ползла по столу. Работница глянула им вслед, покраснела и заторопилась.

Сидевшая рядом с ней Катюша с каким-то ожесточением придвинула обратно к себе уползавшие было детали. Она собрала подшипник, но многие привычные в работе движения теперь стали не нужны — не нужно вытирать на ходу руки, и волосы можно поправить просто ладонью. И Катюша тоже покраснела.

— Ничего, ничего! — вполголоса сказал Воронин, остановил на минутку ленту и сам собрал несколько подшипников. — Смотрите, насколько легче теперь работать!

Снова пустили ленту. Конвейер заработал ритмично. Его остановили, когда детали в загрузке кончились. За три часа на потоке была собрана дневная норма.

Гости разошлись. Воронин захлопнул дверь кабинета, где на стенах ещё белели приколотые модельки станков, над перестановкой которых они с Григорием столько думали.

Дмитрий Петрович торопился домой. Для такого праздника он решил даже переночевать дома. Он давно не видел Ольги. Теперь он расскажет ей о всех треволнениях последних дней.

Вдруг он увидел, что работницы с первого потока всё ещё в цехе.

— Ну что? — посмеиваясь, он подошёл к ним. — Говорил, бросайте бумагу!

Женщины окружили Воронина.

Пожилая сборщица медленно вытащила из-за фартука сухой шуршащий лист.

— Ты прости нас, Дмитрий Петрович, мы решили тебя на минуту задержать. Поговорить хочется. Мы знаем, ты своих, наверно, неделю не видал, — сказала она. Воронин удивился её серьёзному, почти торжественному тону. — Я постарше всех. Я прямо скажу: ведь до сегодняшнего дня от меня в постели, и то керосином несло. Нас семьсот женщин в цехе, и каждая тебе от самого сердца спасибо скажет.

— Товарищ Семёнова, да что ты! — растерялся Дмитрий Петрович. Он вынул руки из карманов, не знал, куда их девать, и вся весёлость его сразу пропала. Ему даже стыдно стало, то ли оттого, что раньше сухую сборку не ввели, то ли оттого, что благодарят его, а он тут, можно сказать, и ни при чём — Что ты, товарищ Семёнова! Это ж, к стыду моему, не я и предложил. Это предложение инженера Сванидзе, Григория Константиновича. Он на фронте теперь...

— И ему спасибо, и тебе спасибо! — строго повторила женщина.

...Воронин с трудом поднялся на третий этаж, так мучительно болела у него нога. Позвонив, он облокотился о перила. Он не мог думать сейчас ни о чём, кроме постели: только бы лечь, только бы отдохнула и

хоть немножко успокоилась нога. Он едва нашёл в себе силы приласкать сына, обнять жену.

— Ну как, Митенька? Всё в порядке? — впуская мужа в квартиру, уже спрашивала Ольга Михайловна.

Его ждал накрытый стол. Ольга Михайловна и Клим сэкономили изрядную часть декадного пайка, лишь бы отметить день пуска.

— Оленька, я только на минутку лягу, — глухим, извиняющимся голосом сказал Воронин, — а потом всё по порядку расскажу.

Когда через минуту она принесла из кухни на настоящем русском масле — так, как он любил, — жареную картошку, он уже спал.

Клим растерянно посмотрел на мать. Тревога, даже испуг отразились на ещё по-детски откровенном лице мальчика. Ольга Михайловна тихонько поставила на подставочку сковороду, посмотрела на спящего мужа, потом перевела глаза на сына, улыбнулась и медленно покачала головой:

— Нет, милый, у него — всё в порядке, иначе бы он не уснул.

Алёша нарочно ушёл из сборки вместе со всеми посторонними — до него ли сейчас Воронину? «Как прекрасно он держится, но какое измученное у него лицо. Можно представить себе, чего стоил Дмитрию Петровичу этот пуск конвейера тремя днями раньше срока. Но сколько же дадут заводу эти три дня! Ах, если б можно было обо всём подробно написать Григорию Константиновичу! Но ведь это будет очерк, а не письмо, а говорят, на фронт можно писать не больше трёх страничек».

Алёша всё же решил послать Григорию письмо в двух вариантах. Какой-нибудь да дойдёт!

В редакции Алёшин очерк уже читали. Больше всего обрадовал Алёшу звонок Тарасова. Он очень серьёзно благодарил Алёшу и сказал, что пришлёт ему новый материал. Алёша сел в уголке и принялся, положив на колени папку, обрабатывать заметки для многотиражки.

За последнее время он привык работать в шуме и спешке. Иногда казалось, что это даже лучше, чем тишина. По крайней мере сразу видно — в тебе нуждаются, тебя торопят, работа твоя необходима.

Получив от Тарасова материал, Алёша собрался ехать в «Известия», но кто-то сказал, что зенитчики вышли на крышу, «готовность — номер один». Наверное, сейчас объявят тревогу.

Завыла сирена, почти одновременно ударила с крыши пушка — «тёща». Алёша уселся обдумывать свою заметку, испытывая злобное удовлетворение: «Вот вы там летаете — а завод всё равно работает, и я тут пишу!»

Вторая тревога началась, когда он уже входил в «Известия». Заведующая отделом повела Алёшу вниз, где печаталась газета. У машин стояли письменные столы. Во время налётов здесь работали сотрудники.

Алёша первый раз в жизни увидел типографские машины — живое, бьющееся сердце газеты. Они занимали много места, в подвале было тесно, жарко и шумно.

— Садитесь здесь, — заведующая отделом уступила Алёше место за своим столиком. Она, стоя, правила и тут же сдавала машинистке Алёшины листочки.

— А можно ли так написать? — Алёша показал ей черновик последнего абзаца.

— Хорошо. Так и пишите.

И Алёша написал: «Слушай, фронт! Сейчас в Москве ночь. На заводах работает вторая смена...»

Внезапный страшный удар обрушился на дом. Алёша явственно ощутил, как дрогнула стена, посыпалась пыль. После удара наступила оглушающая тишина. Ничего не слыша, Алёша оглянулся — нет, машины работают. Сбившись на середину подвала, люди молча смотрели на стену: тёмным тонким зигзагом по стене проползла трещина.

Через несколько секунд люди зашевелились, машинистка подняла упавшую машинку.

— Дописывайте! — сказала Алёше бледная заведующая отделом и протянула руку за следующим листком.

На лестнице послышался шум. Четверо спускали в подвал носилки, с трудом поворачивая их на узких лестничных пролётах. На носилках лежал человек. Ослепительно белой была его слишком легко мотавшаяся из стороны в сторону голова. На марле проступали свежие красные пятна.

— Дописывайте! — повторила заведующая.

В шесть утра Алёша вышел на площадь. Покрытая седой пылью разрушения, она была ещё пуста. Асфальт разломан... Всюду противно хрустит стекло.

И вдруг, словно из потаённых недр, вырвался густой могучий голос, каждое утро будивший теперь Алёшу, Киру, всю Москву:

Вставай, страна свободная,
Вставай на смертный бой!

Не было видно репродуктора, не было людей; казалось, сама старая московская площадь зовёт:

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идёт война народная,
Священная война!

И Пушкин с непокрытой головой, выйдя из зелёной аллеи Тверского бульвара, молча прислушивался к грозному зову.

С ранеными, даже самыми молодыми, Кира обращалась почтительно. Её немного разочаровывало, что сами они относились к своему положению без всякого почтения: те, у кого ноги были здоровые, как мальчишки, съезжали по перилам лестниц, в столовой шумели, а случалось, даже заигрывали с санитарками.

Одного лейтенанта секретарь партийной организации госпиталя доктор Ладейщиков вызвал в кабинет, наверно по этому поводу. Кира нарочно задержалась в коридоре. Она ждала, что лейтенант возмутится и заявит врачу, что смешно к ним, фронтовикам, предъявлять здесь в тылу какие-то требования общего распорядка. Но, к удивлению своему, она услышала сердитый голос Ладейщикова и робкий, оправдывающийся — лейтенанта.

Выйдя из кабинета и увидя Киру, лейтенант понял, что она слышала разговор, и сконфузился. Он торопливо вытащил из кармана газету:

— Вот тут про людей одного завода какой-то Маркин здорово написал. Ох и работают же!

Кира просияла. Как удивительно видеть в «Известиях» Алёшину фамилию! Видел ли отец? Как бы переслать ему поскорее.

— Это мой брат написал! — гордо сообщила она.

— В таком случае разрешите вам преподнести, — лейтенант отдал Кире газету: — Я и не знал, что у вас брат — писатель...

— В больнице уже все читали! — восторженно объявила Кире Анна Ивановна. — Доктор Агеев сказал, что такое событие надо отпраздновать. Он зайдёт сегодня вечером.

Счастливая за Алёшу, Кира обрадовалась даже Агееву.

Он явился в новом костюме, с чемоданчиком.

— Будем поздравлять с успехом вашего приятеля. — Агеев вытаскивал из чемоданчика бутылку и кульки. — А вы давно с ним дружите? Он тут, кажется, ночует иногда?

— Да ведь он приёмный сын Кириного отца, совсем ещё мальчик, — заметила Анна Ивановна.

Кире не понравился её успокаивающий тон. Если нельзя оставлять посторонних — другое дело, а не всё ли равно, каков собою Алёша? И сразу стал ей противен богато уставленный закусками стол: и жёлтая водка с янтарными лепестками лимонных корок, и аппетитная розовая ветчина с белыми каёмочками жира, и виноград «шашла».

— Ну, а вы? — Агеев не замечал, а может быть, не хотел замечать строгих Кириных глаз. — Скоро кончите курсы, а потом куда?

— Я уже вам говорила, доктор.

— И, конечно, мечтаете служить в одной части с женихом?

— Откуда вы знаете?

— Ну, кому же это непонятно! А если он вас взять не сможет?

— Я и не думала мечтать об этом, — покраснев, сердито ответила Кира. — При чём тут жених? И потом он же в авточасти! — Но, вспомнив, что перед ней человек пожилой, ничем её не обидевший, Кира спохватилась и заговорила мягче, но больше обращаясь к Анне Ивановне: — Я хочу на передовую. Обязательно на передний край. Я ведь здоровая, молодая. Там мне и место!

— Да вы знаете ли, что там теперь? Может быть, и жених ваш давно... в пехоте, — начал было Агеев, но тут же оборвал себя, весело позвал к столу и сам стал хозяйничать.

Вошёл без стука Алёша и удивлённо остановился. Откинувшись на спинку стула, Агеев стал рассматривать Алёшу, и с каждой секундой выражение неприязни на его лице уступало место добродушной веселости. А когда Алёша без разрешения сел на Кириный стул, оставив её стоять, Агеев рассмеялся, положил ему на тарелку ветчины и налил в рюмку немножко водки.

— За ваш успех!

— Спасибо. Успех-то успех, а я вот почти что предупреждение в институте получил, — уныло сказал Алёша, не спуская с колен портфеля.

— За прогулы? — спросила Кира.

— Нет. Я почти все лекции посещаю. Сегодня, между прочим, сдал зачёт по русской истории. Но это невероятно, прямо на психику действует: вы понимаете, сейчас тратить часы на изучение Всеволода Большого Гнездо. А предупреждение я получил за ежа. — Алёша рассказал историю покупки ежа. — Так вот. Я зашёл в буфет купить ему молока. У меня есть для этого бутылочка из-под перекиси водорода. В буфете сидел завуч, он спросил меня, и я чистосердечно сказал ему, что у нас с Савицким живёт ёж и я покупаю молоко для него. Он сказал, что если бы не моя производственная дисциплина и не творческая активность, он поставил бы вопрос на бюро. Он сказал, что это потрясающе: сейчас, когда миллионы людей проливают свою кровь, заниматься ежами...

— Ну и что же? — сдерживая улыбку, спросил Агеев.

— Вот, — Алёша открыл портфель.

Ёжик развернулся и, как заводной паровоз, бесстрашно побежал по полу, постукивая когтями.

— Разрешаю и ежа! — Агеев поглядел на Киру. — Вот займитесь опекой бездомных зверей. Зачем вам обязательно на фронт? Ну, ну, не сердитесь, Кира, я не буду шутить, но пусть вам ваш товарищ скажет. Алёша, растолкуйте вы ей, что не обязательно всем на фронт. В конце концов, победа и в тылу куётся.

— Да... — Алёша нерешительно поправил очки и подумал: «Как будто бы и правильно говорит этот врач, но почему-то каждое его слово вызывает желание спорить с ним». — Конечно, и в тылу можно работать для фронта.

— Ну вот, а вы, Кира, хоть умны, а этого не понимаете. А вы замечали, Алёша, странное свойство почти всех умных женщин? — посмеиваясь, продолжал Агеев, не сводя с Киры светлых, раздражавших её глаз. — Мужчина исторически привык к наличию у него определённых умственных способностей. Поэтому даже тупые мужчины — между прочим, их не так мало — по традиции ведут себя более или менее осмысленно. Умная же женщина бывает как будто оглушена собственным умом. Она напоминает бедняка, которому свалилось большое наследство, и он, потеряв власть над собой, тратит деньги на пустяки.

— Жить не хочется от такой мудрости. — Алёша медленно подбирал слова, пытаясь не наговорить дерзостей этому доктору. — А ведь настоящая мудрость должна помогать жить!

Агеев смеялся. Глядя на чёрную икринку, прилипшую к его красной толстой губе, Алёша догадался, что Агеев опьянел.

«Погоди, старый чёрт, я тебя сейчас протрезвлю!» — подумал он.

Но Алёша не успел ничего сказать. В дверь постучали. Анна Ивановна вышла и через минуту возвратилась взволнованная.

— Немцы Вязьму взяли.

— Это ещё утром было известно, — хмуро сказал Алёша.

В комнате стало так тихо, что слышалось сопенье ёжика под шкафом в самом дальнем углу.

— Ничего себе! — совершенно трезвым голосом произнёс после долгого молчания Агеев. — От Вязьмы до Москвы...

— Ну, до Москвы! — Алёша свистнул. — Это у нас, тыловиков, от страха глаза...

— Я-то, голубчик, всю финскую прошёл, и в Польше был, и таночки их видел! Это именно у вас, тыловиков, а я-то понимаю, чем это пахнет! — Агеев, заложив руки за спину, ходил из угла в угол. — Молодёжь вы! Вы даже не представляете себе, что такое война. Вам всё подвиги одни мерещатся. А не хотите ли двое суток под огнём пролежать и в штаны испражняться? — визгливо выкрикнул он, вдруг остановившись перед Алёшей, забыв про женщин. Холеное лицо его искажилось брезгливостью и откровенным страхом.

Агеев опомнился, извинился, попробовал пошутить, но веселья так и не получилось. Он попрощался и ушёл.

Скоро объявили вторую за ночь тревогу. Ни Анна Ивановна, ни Кира давно уже не ходили в убежище. Только тушили свет да распахивали окно, чтоб не вылетели стёкла. Предметы, потеряв в сумраке чёткие контуры, тревожно колыхались в слабых отблесках света, беспокойно вспыхивающего в квадрате окна.

Не дожидаясь отбоя, все легли спать. Взошла луна. Ёжик выкатил из-под шкафа пузырьёк и принялся с ним играть в лунной полосе: вскакивал на него верхом, толкал носом, как поросёнок. Грохот зениток его не смущал. А может быть, он думал, что это гром и скоро пойдёт тёплый освежающий ливень?

Кире почему-то захотелось плакать. Она попросила Алёшу:

— Дай ему кусок ветчины. Может быть, он ляжет спать.

На следующий день, в воскресенье, все встали позднее — и завтракали, когда Анну Ивановну вызвали вниз. Она быстро вернулась, ведя Максима Лаврентьевича.

Он бросился к Кире, обнимая и трогая её плечи, руки, голову.

— Жива, доченька моя, Кирик, жива! — Потом он прижал к себе Алёшу, сел на стул, платком вытер с лица не то пот, не то слёзы — и рассказал, наконец, что какой-то паникёр распространил в Лосинке слух, что от ночной бомбёжки в Москве было много жертв и разбомбили госпиталь. — А вчера, действительно, это зарево над городом...

Успокоившись, Максим Лаврентьевич сказал, что принёс раненым книги. Он вытащил из рюкзака томики Пушкина, Толстого, Шолохова, просительно посмотрел на Киру и сказал:

— Кирик, нельзя ли устроить, чтоб меня пропустили в твоё отделение, к раненым? Я сам хочу отдать им книги, поговорить с ними. Ведь сегодня у вас приёмный день?

И когда они шли по коридору госпиталя, он внимательно смотрел на раненых, оценивая каждое приветствие, каждое слово встречного врача или сестры, обращённое к Кире. Он даже спросил у одного легко раненого, доволен ли он сёстрами. Тот отвечал обстоятельно и серьёзно, очевидно принимая Максима Лаврентьевича за врача.

Кира едва сдерживала улыбку.

— Я думаю, папа не столько испугался слухов, сколько решил самолично проверить, как я работаю, — шептала Кира на ухо Алёше, когда после осмотра отделения Максим Лаврентьевич с Анной Ивановной сели пить чай.

Алёша улыбнулся и кивнул головой. Его радовало, что Максим Лаврентьевич, видимо, остался доволен результатами своей «ревизии».

Ежа, завёрнутого в тряпку, Максим Лаврентьевич увёз с собой, обещав выпустить его в сад. Алёша поехал провожать старика в Лосинку. Кира осталась готовиться к зачётам.

Она была очень рада и приходу отца и тому, что ёж, наконец, нашёл своё «рабочее место». «Рабочее место» — Кире очень нравилось это Катино выражение. Жалко, что Кати уже нет. Хорошо бы её познакомить с ютцом. Вообще, хорошо бы как-нибудь всем вместе собраться. Странно подумать, но ведь до конца войны вряд ли удастся это сделать.

Кира вспомнила, как Воронин приезжал в Лосинку и как непривычно было тогда слышать всем, сидевшим за столом, слова Анны Ивановны, что на Катино место возьмут кого-нибудь из раненых медичек. И вот немного времени прошло, а Кира уже видела в госпитале четырёх раненых женщин. Одной, тяжело раненной, пришлось ампутировать руку. Две легко раненные девушки наотрез отказались работать в тылу и ушли на фронт, как только врачи согласились их выписать. Четвёртая — санинструктор Надя Воробьёва — осталась в госпитале.

— А куда же мне идти? — хмуро сказала она, когда ей предложили остаться. — На фронт, в часть ведь не выпишете?

Надя с надеждой поглядела на врачей, хотя, конечно, и сама понимала, что для фронта она больше не годится. Ей оторвало осколком пальцы на левой ноге. Мизинец уцелел, его только поранило, но какая же опора в мизинце? Пока срастались швы, Надя подолгу сидела одна в длинном коридоре, рассматривая свою короткую, в белых бинтах, ступ-

ню. Где-то с краю толстой белой культи ютился жёлтый от нода, такой крохотный и неужный теперь мизинец.

— Отрезали бы уж и его, — с усталой досадой сказала Надя, впервые увидев на перевязке свою ногу.

Киру потрясло, что не отчаяние, не ужас охватили эту девушку при виде своей навек обезображенной ноги, а именно досада. Много же страшного довелось ей видеть там, на фронте, за несколько недель, если собственное ранение казалось ей не слишком заслуживающим внимания.

— Может, всё-таки выпишете на фронт? — настойчиво повторила Надя, когда ей предложили остаться. Она исподлобья пытливо оглядела врачей, Киру, всех, кто был в канцелярии, словно боялась: а вдруг осталась ещё какая-нибудь возможность вырваться отсюда, а она не заметит её, упустит. Встречая сочувственные взгляды, Надя хмурилась и отводила глаза.

— Товарищ младший сержант! — неожиданно строго, почти сердито, как показалось Кире, сказал Ладейщиков. — После вашего ранения ни в первом, ни во втором эшелоне работать вы не можете. Желаете — оставайтесь работать в госпитале, не желаете — демобилизуетесь.

Этот «командирский», как осуждающе отметила про себя Кира, тон неожиданно подействовал на Надю самым благотворным образом. Она мгновенно выпрямилась и, глядя на Ладейщикова, ответила:

— Есть, работать в госпитале. — И пошла оформляться.

Надя Воробьёва была среднего роста, тоненькая девушка. Большие синие глаза её на похудевшем бледном лице казались огромными. Киру удивляли не самые глаза — ничего удивительного в них не было, а выражение глаз: напряжённо сосредоточенное, словно бы Надя с пристрастием, строго смотрела теперь на всё окружающее, переоценивая предметы, события и людей с какой-то новой, ещё не известной Кире точки зрения.

Это же выражение суровой отрешённости Кира замечала иногда на лицах раненых бойцов. Но у мужчин оно бывало реже, оно проходило, и люди опять дурачились и шутили, как дети, если не терзала их физическая боль. И сама Надя переносила боль стически, но беззаботно смеющейся, весёлой Кира её ещё не видела. Наверно, война даёт женщинам всё же много тяжелее, чем мужчинам. И мужчины, побывавшие на фронте, это знают. Недаром бойцы с какой-то особой, постороннему глазу незаметной, предупредительностью обращались с Надей, когда она, неулыбчивая, строгая, сильно прихрамывая, входила в палату.

Однажды Кира не удержалась и задала Наде вопрос, который ей самой казался неуместным, даже смешным.

— Ну а как там, на фронте, очень тяжело?

Но Надя не засмеялась.

— Пойди, промочи ноги, — задумчиво глядя в окно сказала она, — возьми пуд на плечи, пройдишь километров двадцать и обратно. Потом, под этим вот кустом, быстро-быстро маленькой лопаткой выкопай себе ямку, не больше метра, чтобы колени — к подбородку, и ложись в неё часочка на четыре. Это будет твой самый лучший отдых. Выходной, так сказать. А по будням, конечно, кроме того, бои..

Работала Надя очень старательно. Через два часа после того, как Надя приняла первое дежурство, Анна Ивановна сама прошла по палатам и заглянула во все углы. Надя в халате, в белой косынке, из-под которой не выбивался ни один волосок, шла за ней, как дисциплинированный солдат, готовая принять любое замечание. Замечания не последовало.

Когда они вышли в коридор, Анна Ивановна спросила Надю:

— А почему ты не захотела поехать домой?

— Некуда мне ехать. Моя деревня — у противника, — скупое объяснила Надя.

— А что это? — Анна Ивановна тронула что-то розовое, кружевное, уголком торчавшее из Надиного кармана.

Надя смутилась, покраснела и сразу стала похожа на девочку. Анна Ивановна впервые увидела её улыбку.

— Это платочек! — с удовольствием, словно важную новость, сообщила Надя Анне Ивановне. — Вы знаете, иногда так хочется что-нибудь женское поделать. Я ещё на фронте, помню, соскучилась по женской работе. Как попала в госпиталь, так и давай платочек обвязывать. Спасибо, ваша санитарка Катя свой крючок принесла и нитки. А шёлк у меня был. От парашюта. Я сначала думала, бойцы смеяться станут, а им, наоборот, нравится, когда я вяжу. Один сказал: «Ты вяжи. У меня сестра дома тоже вязать любит».

Кира слышала, как Анна Ивановна рассказывала обо всём этом Бобрикову, и удивлялась: ну как такая тоненькая девчушка, почти ребёнок, могла вытаскивать с поля боя взрослых мужчин?

— Неизвестно, откуда силы берутся, Анна Ивановна, — серьёзно сказал Бобриков. — Наверно, заставь сейчас эту Надюшку меня, скажем, метр протащить, может и не протащит. А под огнём — откуда силы берутся! Сам видел: взвалит как-нибудь раненого на плащпалажку и руками и зубами вцепится в неё, сама еле ползёт, а тянет...

Последнее время Кира замечала: Бобриков частенько стал заходить по вечерам во второе хирургическое. Анна Ивановна любила с ним разговаривать. Такой большой, сильный, побывавший на войне человек, — она с большим уважением относилась к тем, кто знал фронт по опыту, а не понаслышке — Василий Иванович мог подолгу обсуждать вопрос, как лучше организовать стирку белья, как сэкономить мыло, как потеснее расставить койки и из чего сделать ширмы для больных, которым всё-таки придётся лежать в коридоре.

Анна Ивановна правильно решила, что всему этому Бобрикова тоже научила война. Ведь там женщин мало, не приходится ссылаться, что пришивание пуговиц например — женское дело. Пришивай-ка сам! Но именно потому, что Василий Иванович умел всё это делать сам, — как иногда хотелось ей избавить его от всех женских забот!

Надя тоже с доверием относилась к Бобрикову. А вот Агеев ей не нравился.

— Удивительно, как это он решился столько закуски оставить, — усмехнулась Надя. Она зашла к Кире после дежурства, когда Максим Лаврентьевич и Алёша уже ушли. — Санитарки и сёстры рассказывали, какой он жадный. Говорят, у него была собака Микса. Так он для неё суп из мышей варил. Ей-богу. Говорят, во всех кладовых мышеловки стояли. Может, это он от страха, что фрицы наступают, расщедрился? — предположила Надя. — Наверно, он трус, этот Агеев. У нас в полку был один такой, на него похожий. Как обстановка тяжёлая, так всем закурить предлагает. А чуть полегчает — газеты на закрутку не допросишься.

Кире стало и смешно и неприятно. Она хотела выбросить оставшиеся продукты. Её во-время остановила практичная Анна Ивановна:

— Зачем это? Лучше сложи на тарелочку да отвези отцу. Я прямо в ужасе, как он теперь без нас питается!

Глава десятая

У ворот военкомата толпились провожающие. Взволнованно и бестолково тесня друг друга, женщины заглядывали в глубину двора, где помещался военкомат, хотя ничего нельзя было рассмотреть через маленькую калитку. Какая-то женщина громко всхлипывала, несколько раз порываясь голосить, но, не поддержанная другими, тотчас умолкала.

Часовой, молодой серьёзный парень, став для верности перед самой калиткой, время от времени повторял громко и наставительно:

— Товарищи женщины! Что будет нужно, вам скажут. Не толпитесь, товарищи женщины!

Пропуская в калитку мужчину, толпа расступалась дружно и услужливо. Киру сначала не пропускали, но она крикнула, что ей — в военкомат. Перед ней тоже молча расступились. Она поправила на плече вещмешок, хотя он и без того висел удобно, показала часовому свой военный билет, повестку и прошла.

В больших комнатах военкомата было тесно и тихо. У столов быстро продвигались молчаливые короткие очереди. Вдоль стен на скамейках сидели люди. Почти все курили. Сизые волны дыма неподвижными пластами лежали в воздухе.

Кира протянула свою повестку и документы военному с усталым лицом и глазами, красными то ли от бессонницы, то ли от дыма. Для Киры остановилось время. Даже страшно стало от чувства огромности события, которое сейчас произойдёт в её жизни: начнётся то величайшее испытание, к которому она так старательно готовилась.

Она пожалела, что не написала прощальной записки Алёше. Каким несчастным почувствует себя он, если даже Кира — девчонка — ушла на фронт. «Ушла на фронт» — какие прекрасные слова!

— Это ошибка, — с усталым раздражением сказал военный. — Нам нужны операционные сёстры, а вы же трёх- или даже двухмесячные курсы кончили.

Он уже протягивал руку к следующему. Широкоплечий парень в ватнике оттеснял Киру.

Она схватилась обеими руками за край стола, как будто от того, что она не даст оттеснить себя, зависела вся её судьба, и сказала громко и очень решительно:

— Товарищ командир! Я прошу направить меня на фронт в первую очередь. Я работала и в операционной. Я могу представить лучшие отзывы врачей.

Военный ещё раз, уже без раздражения, взглянул на Киру и сказал:

— Напишите заявление. А ты посиди, — сказал он парню в ватнике. — Следующий!

Парень шумно вздохнул и, на ходу доставая папиросы, пошёл в угол, где сидели призванные.

Возвращаясь из военкомата, Кира сдёрнула лямки с плеч и сунула мешок подмышку, как обыкновенный свёрток: хоть бы никто не встретил, не догадался! «Что может быть обиднее, глупее в такие дни остаться за бортом? Хорошо ещё, что не успела ни с кем проститься. Собиралась письма с дороги писать! Дура!»

Войдя в комнату, Кира первым делом сунула мешок под кровать.

Алёша сидел у стола. Как всегда, он что-то писал.

— Кирик, мне ваш сторож рассказывал, что ты с ним дежуришь во время бомбёжек на крыше. Скажи, пожалуйста, зачем ты это делаешь?

Кира повесила на вешалку пальто и устало опустилась на кровать.

— Я считаю это глупостью, Кирик!

— Помнишь, ты рассказывал мне о вашем конструкторском бюро, где подшипники испытываются в условиях самых близких к обыкновенным рабочим условиям? — спросила Кира.

— Будут испытываться.

— Ну, будут испытываться. Всё равно.

Алёша подумал: «Пожалуй, это действительно всё равно. Интересная всё-таки у нас страна. Соберёмся что-нибудь сделать — весь мир кричит: невыполнимо! А мы всё-таки сделаем — и на следующий же день перестаем удивляться тому, что сделали, строим десять других проектов, о которых нам опять кричат: невыполнимо! Наверно, так же будет и с войной».

— Ты не слушаешь меня! — рассердилась Кира. — Тебе бы только в себе копать.

— Да разве я в себе копаюсь? — искренно удивился Алёша. — Я сейчас, как фотоплёнка. На мне за день столько снимков отпечатывается, что я еле успеваю их проявлять.

— Послушай же меня, наконец! Пусть ты негатив, а я — сестра! Рабочие условия для меня — фронт. И пока я туда не попала, я, как подшипник, должна испытывать себя, приучать. Вот почему я полезла на крышу.

— Это я считаю глупостью, — уже менее уверенно повторил Алёша, вспомнив, что сам несколько раз лазил с Савицким на институтскую крышу во время тревог. Ему тоже была нестерпима мысль: а вдруг он недостаточно храбр? Всё хотелось проверить себя на самом опасном месте. А где же в Москве найдёшь самое опасное место? Конечно, на крыше.

Кира улыбнулась:

— Не говори только Анне Ивановне ..

По какому-то неписаному, наверно им самим придуманному порядку больничный сторож дед Фёдор вылезал на крышу каждый вечер. Вся больница привыкла к этому, и все считали, что так оно и должно быть.

Кира однажды зашла в маленький домик деда Фёдора. У старика недавно умерла жена. Осиротели сторож и сторожка — веник у порога обломался, полотенце висит мятое, грязное. Только этажерочка в углу блестит свежим лаком, книги и тетради на полках уложены в строгом порядке, толстые, большие внизу, поменьше — сверху. Все книги обвёрнуты в свежие газеты.

Кира удивилась: кто же здесь занимается?

— Это сына моего учебники, — с гордостью произнёс старик. — Он, можно сказать, врач. Ушёл на фронт с третьего курса. Я берегу их, учебники-то! Пыль стираю... Приедет, ведь понадобятся. И корочки, чтоб не пачкались, обворачиваю в газеты...

Кира рассказала Алёше о старике:

— Говорят, дед Фёдор в этой больнице уже тридцать четыре года. Можешь себе представить? И ведь сейчас смело мог бы не работать, аттестат от сына получает и пенсию; а он, говорят, обиделся, когда ему намекнули об отдыхе. Но если б ты слышал, Алёша, как он говорит о своём сыне! Он прочёл мне письмо с фронта. В больнице нет человека, которому он не читал бы его. Письмо всегда с ним. А если б ты видел эти обвёрнутые учебники! Подумать только: сколько лет мечтал этот больничный сторож увидеть своего сына врачом! Наконец, сын его — почти врач. И вот — война...

— Ты должна меня познакомить с ним, Кирик! — Алёшина разбухшая книжка никак не хотела вылезать из кармана. — Честное слово, столько высокого и прекрасного в жизни... Может быть, даже сегодня,

если не будет тревоги, ладно? Я, пожалуй, сегодня у вас заночую, — сказал Алёша. — Мне очень хочется выспаться. Я только съезжу в институт. У меня там одно дело.

У Алёши не было никакого дела, но он хотел достать чегонибудь поесть. Когда он ночевал в больнице, Кира и Анна Ивановна делились с ним своим ужином, и это его стесняло.

— Поезжай, — кивнула Кира.

Зябко засунув руки в рукава, она подошла к окну. За домами, за городом садилось красное солнце. На западе, наверно, пылал закат, а на востоке уже начиналась густая синяя ночь. На высокий, очерченный крышами кусочек неба доползли только слабые розовые отблески. Скоро стемнеет, и даже этот маленький кусок синевы придётся отодвинуть за чёрное полотнище маскировочной шторы.

— Кира! — крикнула из коридора Анна Ивановна. — В большой операционной — ампутация бедра. Тебя пропустят. Скорей иди мыться.

Тихонько нажимая дверную ручку, чтоб не скрипела, Кира вошла в операционную — особый мир скупых, точных движений и коротких, тихо произносимых фраз.

Над длинным белым столом тускло мерцали металлические купола зеркал, белые салфетки, белые маски, белые халаты. Бросалось в глаза тёмное бобриковое одеяло. Сестра укутывала им раненого, лежавшего на высоком столе.

— Кончайте возню! Начинаем операцию! — услышала Кира раздражённый голос Агеева. Спустив маску с лица, он держал на весу смазанные иодом, приготовленные к операции руки. Осторожно сторонясь, чтоб не задеть этих рук, санитарка протянула сестре грелку, оранжево-яркую в этой строгой белой комнате.

Со стойки из квадратной до половины темнокрасной банки к столу тянулась тонкая резиновая жилка: раненому переливали кровь. Кожа над веной чуть припухла, как бы всасывая в себя толстую короткую иглу. Светлела банка медленно. Хирург Ладейщиков обеими руками держал большую смуглую руку раненого.

Анна Ивановна говорила Кире, что Ладейщиков — ученик Агеева. Кира подумала: «Как, наверно, приятно и легко им вместе работать!»

Это была первая серьёзная операция, при которой присутствовала Кира. Она старалась заметить, удерживать в памяти всё — и облик раненого, и движения сестёр, и выражение лиц хирургов.

— Кончайте возню! — повторил Агеев.

Киру неприятно резнули грубые слова Агеева. Ведь дело идёт о жизни человека: как можно так говорить об этом!

Кира тотчас перевела глаза на Ладейщикова и вдруг заметила: он тоже поморщился.

Длинные пальцы Ладейщикова осторожно, быстрее, ещё быстрее стали ощупывать кисть. Кира поняла: потерял пульс. Агеев тоже смотрел на пальцы Ладейщикова, они остановились, крепко прижав кожу.

— Нитевидный, — тревожно сказал Ладейщиков.

— Ещё триста! — бросил Агеев сестре.

Привстав на носки, сестра осторожно, не касаясь краёв, перелила в подвешенную банку густую вишнёвого цвета кровь.

Стерильная сестра стояла возле своих инструментов молча, предостерегающе оглядывая каждого, кто приближался к её столику. Её не касалась вся эта суета. Она ждала начала операции.

— Наполняется! — обрадованно сказал Ладейщиков.

— Что за раненый? — шёпотом спросила Кира санитарку.

— Из-под бомбёжки.

— Давайте! — нетерпеливо кивнул на стол Агеев.

Убрали одеяло, исчезли грелки, сестра поправила резиновые перчатки.

На столе лежал большой красивый человек. Он был совершенно неподвижен, не шевелил ни одной мышцей, только широкая грудь жадно подымалась и опускалась, резко обозначались рёбра и западал плоский, натянутый живот. Голен были прикрыты простынями. Белая материя подчёркнуто отделяла здоровое тело от тёмной красной раны.

Обычно у людей на операционном столе глаза бывали беспокойно ищущие. Они старались поймать, удержать случайный взгляд врача, сестры, найти в них опору против возрастающего страха перед неминуемым физическим страданием.

А этот раненый даже отвёл глаза, когда Кира на него поглядела. Он смотрел равнодушно, как бы осуждая за то, что все эти люди в белых халатах, суетясь, делают совсем не то, что нужно ему. Он охотно, даже раньше времени, опустил веки, услышав слово «наркоз».

Сестра густо смазала иодом тело вокруг раны. Отливая бронзой, потемнела кожа. Вдруг в деловой тишине операционной послышался чуждый звук — глухой, усиливающийся скрип, раздражающе равномерный.

Кира оглянулась. И только по напряжённым взглядам врачей и сестёр поняла: это дышал раненый.

— Ну? — спросил Агеев.

— Опять падает, — тихо сказал Ладейщиков.

Не доверяя пальцам, отбросив простыню, он прижался ухом к судорожно поднимающейся груди. Тёмные мускулистые руки раненого вдруг взметнулись с неожиданной силой. Кира вздрогнула: сейчас раненый крикнет от боли, толстая игла, наверно, пропорола ему вену! Но он не крикнул, только странно шарил в воздухе, хватался за стол и тотчас разжимал пальцы.

— Силаев! Силаев! — настойчиво окликал его Ладейщиков.

Стиснув до боли руки, Кира с волнением и надеждой смотрела то на раненого, то на врача. Ладейщиков низко нагнулся над столом, он взял раненого за плечи, он почти кричал, словно их разделяло уже бог весть какое расстояние:

— Силаев, очнись! Это только обморок! Ты должен прийти в себя. Сейчас мы сделаем тебе операцию, и ты будешь жить!

Столько упорства и силы было в его голосе и требовательных движениях, что Кира уже испытала мгновенное облегчение: сейчас человеку сделают операцию, и он будет жить! Но раненый посмотрел на Ладейщикова широко открытыми, неподвижными, как у слепых, глазами, силится что-то ответить, но не смог. И хотя глаза его были совершенно бессмысленны, лицо выразило необычайное напряжение и тоску, а руки опять заметались.

— Давайте ещё грелки! Пютеплей укрыть раненого! — приказал Ладейщиков.

— Какие уж тут грелки! — не стесняясь, громко сказал Агеев и, опустив руки, пошёл от стола. — Я пойду покурю. Готовьте следующего.

Ладейщиков порывистым движением снова склонился над столом, словно желая защитить раненого от этих страшных, приговаривающих к смерти слов. Потом он резко выпрямился, худой, высокий, и возмущённо, даже гневно посмотрел на широкую спину Агеева. Операционная сестра молча переглянулась с сестрой, переливавшей кровь.

Заметив волнение Ладейщикова, и Кира пришла в ужас: раненый слышал, что сказал Агеев?

Но, наверно, раненый уже не слышал. Очень бережно Ладейщиков положил на стол его тёмную руку и выпрямился, усталым движением стирая со лба пот. Понурился, он стал как будто меньше ростом.

Оглядев сестёр и санитарок, Ладейщиков остановился на Кире:

— Побудьте около него пока...

Кира подошла к столу. Рука раненого уже холодела. Санитарка таскала биксы со стерильным материалом, звякали тазы, за перегородкой у рукомойника звонко смеялся Агеев, уже называли фамилию следующего, которого сейчас подадут на операцию.

Умиряющего на каталке вывезли в коридор и поставили в углу.

Кира оправилась на нём простыню, мучаясь никогда ранее не испытанным острым чувством жалости. Когда из-под его закрытого века выползла большая слеза, Кира сама потихоньку заплакала от жалости к нему и ко всем страдающим людям, оттого что фашисты близко, оттого что первый раз видит, как трудно даётся людям смерть.

Незаметно подойдя, Ладейщиков погладил её по плечу:

— Не надо. Идите, сестра. Не надо больше тут стоять... У вас тоже, наверно, кто-нибудь на фронте? — спросил он помолчав.

Кира кивнула, торопливо пряча платок. Ей было стыдно. Вот так сестра! Чего доброго, Ладейщиков может подумать, что она никогда и умирающих не видела (как оно в действительности и было).

— А вы не стесняйтесь, — угадал её состояние врач, — я уже пять лет хирург — и то не могу привыкнуть. И ещё не могу привыкнуть легко отступать в борьбе со смертью! — неожиданно резко, словно споря с кем-то, продолжал Ладейщиков. — Может быть, мышцы устали бороться, сердце сдаёт, но пока хоть проблеск жизни теплится в чело-веке, врач обязан верить, что человек может выжить, и обязан вы-шарить ему эту волю к жизни. Иначе он — только хирург. Не врач.

— Доктор, а ведь мы остановим немцев? — вдруг спросила Кира.

Ладейщиков перевёл на неё глаза.

— Конечно, остановим, — сказал он убеждённо. — Обязательно остановим. И именно мы, а не всякие там пространства, климаты, морозы. Мы сами остановим. — Взглянув на часы, Ладейщиков заторопился: — Вы пошли бы поспали, сестра. До тревоги. Какая ночь выдася, а то опять провозимся до утра.

Он вернулся в операционную.

То ли от разговора, то ли оттого, что выплакалась, Кире стало легче. Захотелось подышать чистым, без лекарств, воздухом. А то ещё, правда, объявят тревогу. Это просто удивительно, с какой педантичностью в один и тот же час они прилетают бомбить!

Выйдя в сад, Кира с наслаждением вытянулась на скамейке. После операционной, после палат с едким больничным запахом так хороши были деревья, трава, земля и чистое небо.

— Ну что же вы не приходите ко мне в гости?

Кира вздрогнула, так неожиданно и незаметно в сумраке подошёл доктор Агеев.

С каждой встречей всё неприятней для неё становилась его неприятная заботливость. В самом деле, разве всех больничных сестёр он приглашает к себе в гости?

— Как вы думаете, отчего умер сегодня раненый? — спросила Кира.

Доктор Агеев рассмеялся:

— Да уж, во всяком случае, не оттого, что упустили из виду моральный фактор! — насмешливо сказал он. — Вместо того, чтоб на невидимые факторы опираться, учились бы лучше резать так, как я!.. Занятно бывает в жизни, — после долгого молчания жёлчно усмехнулся

он: — Учишь-учишь человека, стараешься научить его всему, что знаешь сам, а он, едва оперится, начинает спорить...

Кира удивилась откровенности Агеева, но почувствовала, что он и не догадывается, как верно понимает она смысл его слов.

— Так ведь это же хорошо, если ученик может спорить с учителем, — робко заметила она. — Это значит, он уже вырос.

— Вот когда вам будет пятьдесят два года, тогда вы увидите, как это хорошо, — грубо сказал Агеев. — Ну что ж! Заходите ко мне как-нибудь. Я хоть вас накормлю как следует.

— Вы бы к нам зашли, — предложила Кира.

— Ну, всех сестёр не могу кормить, матушка! — сварливо ответил Агеев.

Кире вспомнился «суп из мышей» для собаки. Она не могла сдерживать улыбки.

— Вот давно бы так, — похлопав Киру по колену, Агеев поднялся. — У меня яблоки есть. Приходите. — И пошёл, расправив широкие плечи. Сзади, когда не было видно брюшка и лица, он казался молодым. Долго белел его халат, потом в тихом свежем воздухе послышался стук двери.

С тех пор как семья Агеева эвакуировалась, он жил в саду, в каменном домике, специально для него отремонтированном.

Едва Агеев ушёл, началась тревога. Все мирные жилые звуки затихли под угрожающим воем сирен.

Каждый вечер почти в один и тот же час и всё-таки всегда неожиданно зарождался на низкой басовой ноте этот унылый тревожный вой.

Заслышав сигнал тревоги, москвичи разбежались по убежищам, но бежали уже ничуть не быстрее, чем если бы просто опаздывали на работу.

Замаскированные фары машин стали похожи на кошачьи глаза с узкими прорезями зрачков. Появились белые линии на тротуарах, белые тумбы, белые столбы, и ходить в темноте стало легче. Потом, воспользовавшись немецкой пунктуальностью, люди учли часы налётов с точностью до тридцати минут и научились планировать дела так, чтоб в тревогу не бежать в первый попавшийся подвал, а постараться попасть в «своё» убежище, где есть уже облюбованное место, можно позаниматься, почитать, поговорить, наконец, с соседями. В конце концов, сейчас тревога — единственное время суток, когда можно отдохнуть.

Дежурные — чаще женщины, — выходя на свои посты у ворот, уже не забывали допить стакан чаю или сделать ещё несколько стежков штопки, укутать в газету и сунуть под подушку кастрюлю с картошкой — может быть, дойдёт на пару. Противогаз с гвоздя снимается машинально. И тревога, и новые обязанности — всё стало привычно. А то, к чему человек привык, уже не страшно.

В госпитале тоже установился свой порядок. По тревоге врачи, сёстры, санитары сбегались выносить в убежище лежащих больных. Большие сводчатые подвалы здания обжились и стали знакомыми, как любимая из палат. Ходячие раненые сходили вниз, бережно неся на вытянутых руках картонные доски с шахматными фигурами.

Хуже приходилось прикованным к койкам «нетранспортабельным», у которых конечности были надолго закреплены в особых аппаратах на вытяжение. Они должны были оставаться на местах.

В одну из первых бомбёжек, когда слышались тревожные голоса и торопливый шум шагов по лестницам и коридорам (началось переселение в подвалы), раненые в палатах нетранспортабельных притихли,

тревожно прислушиваясь. Ещё несколько мгновений после того, как затихли последние шаги, длилась эта напряжённая тишина. Стало слышно, как настойчиво, всё чаще, всё громче долбят небо зенитки.

— А мы? — крикнул кто-то.

И сразу, точно ждали первого крика, больные закричали, в палате начался шум, звонки, удары ложек о кружки, ругань и стоны:

— А мы?

Синяя лампочка над дверью почти не освещала большой палаты. В коридоре было так же темно. Не пробилась ни одна струйка света, никто не заметил, как приоткрылась дверь.

— Спокойно. Я здесь.

Больные затихли, разглядев высокую фигуру в белом халате.

— Кто это «я»? — выкрикнул больной с угловой койки, у которого нога была на вытяжении.

Такие больные в течение многих недель терпели неудобную, мучительную неподвижность и поневоле становились раздражительными.

— Кто это «я»? Побросали нас тут! Поразбежались!

— Я. Ладейщиков, секретарь партийного комитета, — раздался голос

Раненые затихли. Кто-то, приподнявшись на локтях, крикнул в угол, где ещё ворчали:

— Хватит! Кончайте базар!

Неторопливо продвигаясь между койками, Ладейщиков прошёл в угол.

— Я не удивляюсь вашей раздражительности, товарищи, но учтите, что и нам не легко сразу организовать переброску такого количества лежачих в подвалы. Народу у нас нехватает. Но как бы то ни было, с завтрашнего дня вы ни минуты не будете оставаться одни, это я вам обещаю. У вас по очереди будут дежурить сёстры и врачи. Сейчас к вам придёт няня.

Обойдя палату, он сел на табуретку у столика. Увидев, что Ладейщиков сел, больные облегчённо повозились на койках, и тишина в палате стала менее напряжённой: кто-то, уже обыкновенно, от боли, захохотал, кто-то успокоенно вздохнул, как будто человек, устало сидящий за столиком, одним своим присутствием заслонял их от опасности.

— Товарищ секретарь парткома! — шёпотом позвал молоденький паренёк, которому под первой бомбёжкой обломками раздробило ступни.

— Что, друг? — обернулся Ладейщиков, улыбаясь про себя.

Этого паренька он оперировал. Паренёк, как и все больные, называл его всегда «товарищ доктор», а вот эти три слова он произносит теплее, доверительнее. Значит, они уже связаны в его восприятии с чем-то испытанным и надёжным. И наверно, он думает так: доктор — всё ещё не известно какой, а секретарь парткома — свой наверняка.

— Товарищ секретарь парткома, дай мне ваты, — попросил паренёк. — Дай мне ваты — уши заткнуть. Не могу я сейчас слышать, как стреляют! Если б я ходил, товарищ секретарь... — добавил он извиняясь.

Паренёк с видимым удовольствием повторял знакомые слова «товарищ секретарь парткома». Они, как видно, успокаивали его, напоминая, может быть, привычную обстановку завода.

— Ты член партии? — спросил Ладейщиков, давая вату.

— Нет ещё, — ответил тот.

Это «ещё» тоже понравилось Ладейщикову.

Ведь у каждого больного свои наушники радио. Они прекрасно знают все сводки. Тяжёлым, лежачим раненым положение всегда представляется ещё более сложным, чем оно есть на самом деле, и бом-

бѣжка тоже переѣрсится ими особенно тяжело. И всё-таки достаточно было сказать несколько слов, чтобы люди успокоились.

Вошла няня.

— Пришла-таки! — удовлетворѣнно сказали в глубине палаты.

— Ну, больные, кому что надо? — обычным спокойным голосом спросила няня.

— Да известно, что раненому: судно, утку, попить, прикурить, порошок от головной боли.

— Это кому же столько зараз подавать? — спросила няня.

Раненые с готовностью засмеялись. Люди успокоились, избавившись от мучительного, унижающего чувства беспомощности.

В госпитале говорили, что доктор Агеев отнёсся к предложению секретаря парткома весьма неодобрительно, но Ладейщиков настаивал, чтобы у нетранспортабельных больных во время бомбѣжек, кроме санитарок и сестѣр, дежурили и врачи.

Разговор Ладейщикова и Агеева произошёл в коридоре отделения Анны Ивановны. Она чувствовала себя очень неловко и, выписывая рецепты, делала вид, что занята. Но она слышала всё. Доктор Агеев говорил нарочито громко для того, чтобы его точка зрения стала известной сѣстрам и санитаркам.

— Я считаю абсолютно неправильным рисковать медперсоналом больницы. Война, дорогой мой, ещё только начинается. В данном случае надобность во врачах по существу отсутствует...

Анне Ивановне хотелось согласиться с Агеевым, потому что она привыкла во всѣм беспрекословно подчиняться главному хирургу за четырнадцать лет совместной работы. Но всё существо её протестовало при мысли, что тяжелобольные, беспомощно прикованные к койкам, в полутѣмных палатах будут во время тревоги слушать удары зениток одни.

— Я считаю нужным организовать дежурство так, — настойчиво требовал Ладейщиков, — чтобы врачи по очереди, кроме главного хирурга и крупных специалистов, обязательно присутствовали во время тревог в палате нетранспортабельных.

Анне Ивановне вдруг показалось: как только Агеев услышал, что он, главный хирург, может быть освобождѣн от дежурства, он сразу же потерял всякий интерес к спору. Правда, Агеев тотчас повысил голос и начал защищать свою точку зрения ещё ожесточѣнней, но Анне Ивановне было видно, как пальцы его, нервно выстукивавшие по столику, вдруг остановились и успокоенно легли на стекло.

Порядок дежурств, предложенный Ладейщиковым, установился. Кира вместе со всеми сѣстрами перенесла в убежище лежащих больных, дежурила, а в свободные от дежурства часы убегала на крышу, где постоянно сидел на своём посту дед Фѣдор.

Когда Кира в первый раз вылезла на крышу, дед Фѣдор сделал вид, что не замечает её. Справа от него в строгом порядке были разложены большие щипцы, тугие мешочки с песком и рукавицы. Кира хотела взять щипцы, посмотреть. Дед сказал, не поворачивая головы:

— Не тронь. Не тобой положено.

Кира обиделась и молча неудобно уселась на выступе слухового окна. Вдалеке били зенитки и медленно переползали лучи прожекторов. Кира засмотрелась на тѣмное небо с россыпью лёгких звѣзд. Странное появилось ощущение: будто и она, и отсвечивающая поверхность крыши, и фигура старика медленно поднимаются в зенит. Хотелось встать, вытануться, прикоснуться к этому чѣрному таинственному своду, раздвинуть его и заглянуть — что там.

Кира не сразу сообразила, почему это прямо над ней начали вспыхивать яркие звёзды, похожие на бенгальские огни. Только услышав где-то очень близко частые удары орудий, она поняла и покосилась на деда Фёдора. Он глядел на неё, как показалось Кире, испытующе. И вдруг что-то, кажется большое, просвистело в воздухе, тяжело ударилось о крышу и покатилося.

Схватив щипцы и нескладно скользая по мокрой от росы крыше, Кира ринулась туда, где ударилась «зажигалка». Она больно оцарапала ногу и ушиблась, но её не покидало совершенно новое чувство удивительной ясности, полного понимания того, что именно необходимо сейчас делать, и радостная уверенность, что она это сделает.

Но, скатившись почти к самым перилам на краю крыши, она увидела неразорвавшийся стакан от снаряда. Кира тяжело села рядом с ним. Сразу заболело ушибленное колено, заныл бок — наверно, синяк будет, — и неприятно было думать, что надо возвращаться к сердитому старику.

Когда через несколько минут Кира, не глядя, положила перед дедом Фёдором щипцы, он, подвинувшись, освободил ей место на доске:

— На железе сидеть вредно.

Кира села. От дедовского полушубка мирно пахло кислой овчиной. Помолчали.

— За каждым осколком не набегаешься, — сказал дед.

— Это не осколок, а стакан.

Когда объявили отбой, дед Фёдор сказал Кире, чтобы следующий раз она надевала пальто, а рукавицы он ей принесёт.

С того дня Кира подружилась с дедом Фёдором. Последние несколько дней они не встречались. Кира была занята. И вот сейчас, когда объявили тревогу, Кира побежала на чердак, думая, что Алёша так и не успел приехать и придётся ему провести в каком-нибудь подвале несколько неудобных часов.

Перед маленькой дверью на чердак Кира помедлила. Она никогда никому не призналась бы, но самым страшным в часы тревоги было для неё не дежурство у тяжелораненых и не сиденье на крыше — самым страшным были вот эти несколько шагов по тёмному пустому чердаку с какими-то шорохами и дуновениями, мягко касавшимися лица.

— Дура! — злым шёпотом ругала себя Кира и всё-таки всякий раз облегчённо вздыхала, вылезая через слуховое окно на просторную, светлую после чернильного мрака чердака, крышу, где на фоне неба ясно вырисовывалась сгорбленная фигура деда Фёдора.

Ночь была звёздная. Тихим и беспечальным казался сейчас город.

— «В небесах торжественно и чудно, спит земля в сиянье голубом...» — медленно проговорила Кира.

— Я это слышал, — сказал дед Фёдор. — То, что ты говоришь. Сын мне читал. Очень он книги любит. Ох и любит книги! Видишь, в письме даже пишет, просит беречь.

Дед Фёдор достал из кармана всё то же единственное, известное всем письмо и начал читать его, к удивлению Киры, легко и свободно. Ну и глаза, дай бог молодым. Не поверив себе, Кира заглянула в листок, и в глазах у неё защипало. Конечно, ни один человек не смог бы сейчас разобрать ни слова на этом листке. Дед читал наизусть.

Кира растроганно оглядела его большую, могучую фигуру. На колёне деда Фёдора белела большая новая заплатка. Наверно, сам латал. Кира укорила себя: можно бы выбрать часок, зайти починить ему что-нибудь.

— А как же вы без жены, дед Фёдор? Вам, наверно, трудно?

В этот миг из мирного тихого неба в мгновенно поднявшемся ужасающем грохоте что-то огромное с рёвом ринулось на них.

Дед Фёдор страшным голосом крикнул:

— Ложись!

Воздух обрёл вдруг жёсткость и силу и, приподняв, больно ударил Киру и деда об острый железный рубец крыши.

Сразу стало оглушающе тихо, словно этот нечеловеческий грохот навсегда поглотил все звуки на земле.

Снизу, с улицы, подымалась густая, похожая на дым, едко пахнущая пелена.

— Газы! — сказала Кира, не услышав своего голоса. С опаской глотая воздух, она натянула противогаз.

У деда Фёдора застряла борода, он дрожащими руками запикивал её под маску.

Они подошли к перилам. Переглянулись. Дед Фёдор первый, за ним Кира сняли маски.

Внизу, на улице, уже слышались голоса, свистки. Белые клубы мельчайшей известковой пыли оседали, из них поднимались уродливые развалины почти до самой земли разломанного бомбой большого дома. Посредине здания образовалась пустота. Кира вспомнила, что на крышу этого дома во время тревог вылезала какая-то женщина.

Когда дали отбой, Кира первая побежала вниз. Даже тёплая затхлость чердака радовала, отполированные сотнями живых рук перила лестницы, визгливый голосок санитарки — всё было по-новому близко.

Кира ещё не знала тогда, что торжествующее чувство обновления всегда приходит после пережитой опасности. Откуда силы взялись! Вдвоём с санитаром она таскала раненых на второй этаж. А когда больных уложили и Кира опять побежала в сад, такой душистый, свежий и живой, она почувствовала себя счастливой, даже усталость мышц была ей приятна.

«Куда девался Алёша? Он всё твердит, что немцы только за их заводом охотятся. Ну-ка, что он теперь скажет!»

— Ну, как ваше самочувствие, героиня? Опять у нетранспортабельных сидели? Хотя, если такой финик попадёт, то первый этаж или подвал — разница уже небольшая, — вздохнул Агеев.

Кира даже ему обрадовалась, не сразу разобравшись, о какой разнице он толкует.

— А вы смотрите, доктор, какая быстрота! Раскопки начали ещё до отбоя и как спокойно, безо всякой паники. Всё-таки что за чудо — люди у нас! Никто никогда с нами не справится!

Она засмеялась весело, счастливая сознанием, что госпиталь цел и она сама не очень, всё-таки не очень испугалась.

— Вам не холодно? — спросил долго молчавший Агеев, предлагая Кире пальто.

— Ну что вы? Жарко!

— Зайдёте ко мне, дам яблоко. Два дам! — сказал Агеев. — Анне Ивановне своей отнесёте. В честь такого боевого дня. Вы вог на крышу, говорят, лазите. А если б сегодня вы там оказались, дурочка? Взрывной волной, честное слово, могло снести. Надо бы спросить, как там этот старик наш...

Кира нехотя пошла за Агеевым, ощущая смутное нежелание посвящать его в то, что пережили сегодня они с дедом Фёдором.

— Эвакуироваться надо отсюда, — сказал Агеев тихо, помогая Кире подняться на невысокое крытое крылечко.

Здесь было теплее и темнее, чем в саду.

Последняя фраза Агеева вызвала в Кире ещё большее нежелание говорить с ним о чём бы то ни было. Она уже жалела, что польстилась на эти несчастные яблоки, и думала, как бы поскорее уйти.

Агеев позвенел ключами, сначала — глухо в кармане, потом, зажигая спичку за спичкой завозился над замком. Кира удивилась — ну от кого он так тщательно запирает квартиру? Большой висячий замок, внутренний, английский...

— Бежать надо отсюда, бежать! — всё громче, как одержимый, повторял Агеев. — Всё рухнет! Лавина идёт... Сомнёт она нас.

— Не надо мне ваших яблок! — с отвращением крикнула Кира и выбежала в сад.

Деревья строго шумели — начинался ветер. Расстегнув пуговицы жакета, Кира подставила себя очищающему потоку. Кто-то взял её под локоть. Кира рванула руку. Но это был Алёша.

Алёша хотел поспеть в госпиталь до тревоги, и не успел. Его загнали в убежище квартала за два до больницы. Он слышал, как упала бомба. В убежище забеспокоились — как бы не в госпиталь! После отбоя Алёша побегал, прижимая портфель к груди. Сердце его ёкнуло, когда мимо него, требовательно порёвывая, пронесли санитарные машины.

Добежав, Алёша увидел невредимое здание. Он сразу так ослабел, обмяк, что даже не захотел никому показываться, и зашёл в сад — отдышаться.

Когда мимо него прошли двое и он услышал и узнал голоса, сам не зная почему, Алёша насторожился. Ёжась от неловкости, он всё-таки потихоньку пошёл следом и остановился почти у самого крыльца.

Когда Кира сбежала с крыльца, Алёша поймал её за руку.

Кира почему-то совсем не удивилась, что Алёша здесь. С облегчением сказав: «Алёша, это ты?», она вдруг словно сломалась, сунула голову Алёше в плечо и заплакала, громко, по-детски всхлипывая.

Алёша страшно растерялся. Неумело глядя Киру одной рукой, другой он торопливо достал из кармана свёрток.

— Вот бутерброд с сыром, Кирик! Не слушай его, он всё врёт. Какая там, к чёрту, лавина!.. Смотри-ка, вот ацидофилин. — Алёша оторвал картонную пробочку от бутылки. — Это вроде кефира, только сладкий. Тут широкое горлышко, ты пей прямо из бутылки.

Сухой сыр царапал дёсны. Кира громко глотала густой холодный ацидофилин.

— Всё он врёт! Ничего не рухнет. Наоборот, порядок устанавливается с каждым днём. По радио передавали, открываются новые столовые. И не смей к нему ходить! И разговаривать с ним нечего...

Кира кивала молча.

Светало. За решётчатой оградой светлела засыпанная обломками улица. Где-то далеко протяжно разлился в холодном воздухе гудок поезда. Он загудел сначала густой низкой нотой. Удаляясь, слабел, затихал и затерялся неуловимо. Казалось, слышался шум колёс, торопливое дыхание паровоза, увозившего длинную цепь красных вагонов через пустые поля и влажный сумрак леса.

— Может, это — на фронт? — тихо спросила Кира.

Наверно, Алёша думал о том же, потому что сразу понял Киру.

— Наверное, нет, Кирик, — вздохнул он, пряча пустую бутылку в портфель. — Ты знаешь, ведь фронт теперь близко. Туда уже можно идти пешком.

Кира ничего не ответила. К воротам подъехало два автобуса с занавешенными окнами.

— Раненых привезли, — сказала Кира. — Пойдём носить.

Дед Фёдор уже открывал скрипучие тяжёлые ворота.

С тупой сосредоточенностью Кира бралась за ручки носилок. Выпрямлялась — тяжёлые носилки прижимали её к земле — и шла медленно, думая только о том, как бы не оступиться, как бы не встряхнуть лишний раз каменно-тяжёлое тело раненого, бессильно распростёртое на оттянувшейся холстине.

— Женщинам носить вчетвером! — сказал Ладейщиков, увидев Киру.

В мутном свете серого утра он показался Кире старым и усталым. Он указывал санитарам, кого из раненых брать в первую очередь. Сначала тех, которые молчат. Потом тех, кто ещё может стонать.

В приёмном покое терпко запахло махоркой, потом, дымом, отсыревшим сукном и кожей. Кира с санитаром внесли и положили у дверей солдата средних лет с редкими рыжеватыми усами. Он был лёгкий, небольшой и казался сейчас придатком к толстой, белой, почти до паха забинтованной ноге.

Видно, нога болела — лицо солдата застыло в напряжении. В приёмном покое он тотчас сделал себе козью ножку, жадно закурил, втягивая щёки. С опаской покосившись на ногу, он чуть повернулся, опёрся на локоть. Заметив, что одна из пуговиц на шинели оторвалась, старательно выщипал оставшиеся нитки и продолжал курить, терпеливо ожидая, пока им займутся.

Может быть, эта хозяйственная аккуратность расположила к раненому тоже немолодого санитару. Он нагнулся к носилкам, опершись руками на колени.

— Слушай, друг! Ну, как там дела? — спросил он, неопределённо мотнув головой в ту сторону, где, очевидно, по его мнению, проходил фронт.

— Да как дела... — протянул раненый. — Пока ещё не так-то важные дела! — неожиданно решительно и громко закончил он фразу и посмотрел санитару прямо в глаза, готовый и сейчас держать ответ за то, что дела не так-то пока важны.

А санитар, помолчав, низко наклонился к раненому и зашептал быстро-быстро:

— А ты не больно огорчайся! Всё равно ни черта у него не выйдет! Вам сейчас на подмогу сибиряки идут... А ногу тебе починят! — закончил он удовлетворённо, как будто важно было сейчас выяснить именно эти, их обоих интересовавшие обстоятельства, а о починке ноги много не стоит и рассуждать — такое это пустяковое дело...

В одной партии с усатым раненым привезли маленького бойца. Ранение у него было тяжёлое. Осколок разорвал бок, чудом не задев кишечника. Измученный болью и дорогой, молоденький паренёк с трудом тихо отвечал на вопросы, какие обычно задавались при приёме. Только на один вопрос — о военной специальности — ответил неожиданно громко и чётко.

— Личный связной комбата.

Сестра, заполнявшая карточку, пожала плечами:

— Что-то не слыхала я о такой специальности.

— Многoго вы ещё не слыхали, — с горечью сказал боец и отвернулся.

Когда, после перевязки, обмытого и переодетого, его привезли в палату, Надя Воробьёва удивилась, до чего он мал. По истории болезни — восемнадцать, а на вид больше шестнадцати не дашь. Сама

немногословная, Надя не любила болтливых раненых, но этот был уж слишком молчалив.

Обычно, попадая в госпиталь с передовой, несмотря на страдания, раненые испытывали чувство огромного физического облегчения, наслаждаясь покоем, чистым бельём, сном, уходом — всем, чего они были лишены на фронте. Надя знала это чувство по себе. А Вася Маленький — так с первого дня прозвали его в палате — словно и не замечал всех этих благ и лежал напряжённый, настороженный, как будто готовый в любую минуту встать и уйти. Он уже знал, что лежать ему придётся долго. За первые сутки он задал Наде только один вопрос — выписывают ли из госпиталя в свою часть?

— Вряд ли найдёшь её теперь, — вздохнула Надя. Она никогда не обнадёживала попусту раненых.

Дня через два Вася ей сказал:

— Комбат у меня там остался...

Видимо, нервное напряжение его спало, и ему захотелось поговорить.

Надя пошутила:

— Другого найдёшь!

— Дура! — крикнул Вася и сейчас же смолк от боли.

— Не кричи! Не один в палате, — строго сказала Надя. — Шуток не понимаешь. Если командира своего уважаешь, это хорошо. Так и надо.

— Такого ведь не найду, — вздохнул Вася Маленький и торопливо, боясь, как бы санитарка не ушла, начал рассказывать ей, какой хороший был у него комбат.

Сначала Надя слухала рассеянно. Сколько уж таких историй было известно ей! Но когда Вася сказал, что комбата звали Григорием и на поодбородке у него был шрам, она взглянула на него так, что он опешил.

— Подожди, — сказала Надя и вышла из палаты.

«Подумайте! Некогда ей!» — оскорбился Вася.

Но Надя сейчас же вернулась вместе с медсестрой. Они сели у Васиней койки и заставили его повторить всё сначала.

— Вася! Васенька! — Кира гладила худые Васины руки. — Ну вспомни, дорогой: как фамилия комбата?

Вася побагровел от стыда. Как мог он вспомнить то, чего не знал. Но как же это он не заинтересовался? Конечно, он надеялся, что успеет всё узнать. И номер полевой почты ему не известен. Он даже не успел никому написать письма.

Васе стало нестерпимо обидно, что, пробыв всего один день в бою, он уже лежит и долго будет лежать, бесполезный и беспомощный. Он не мог сдержаться, отвернулся и всхлипнул.

Кира спрятала лицо в ладони. Раненый плакал, а она не могла скрыть счастливой улыбки. В палате сочувственно молчали.

— Это он. Я чувствую — это он, — сказала Кира Наде. Она встала и, быстрым движением наклонившись к Васе Маленькому, обеими руками мягко повернула к себе его нежное, как у девочки, лицо. — Не плачь! Не беда, что ты не знаешь фамилию. Это — он. Я тебя уверяю! Я ему напишу про тебя.

Вася тотчас открыл мокрые глаза.

— Он вам родной?

— Самый родной!

— Пожалуйста, напишите, — сказал Вася с облегчением и уже спокойно опустил ресницы. Он очень устал.

Глава одиннадцатая

В ночь на четырнадцатое октября Кире вызвали к Ладейщикову. Она побежала, не успев умыться, на ходу закалывая косы шпильками.

В кабинете Ладейщикова были Надя, несколько женщин-врачей и сестёр. Молоденький врач Соколова из отделения Анны Ивановны молча, не скрываясь, плакала.

— Кое-кто из наших не хотел ребят из Москвы отправлять, а теперь, говорят, распоряжение пришло детей обязательно вывезти, — шёпотом пояснила Кире Надя. — Сейчас поедем на машинах за ребятами в наш детсад, а потом сопровождать. Это шефы заводские машины дают. Они тоже группу своих ребят отправляют.

— Как, сопровождать? Из Москвы? — испугалась Кира.

— Нет. Только до парохода, — успокоила её Надя. — Железные дороги, говорят, бомбит сильно.

У Кире отлегло от сердца. Конечно, нужно воспитывать в себе дисциплину, но всё же ей казалось, она смогла бы выехать из Москвы только на фронт. Здесь камни, стены помогают... Здесь Красная площадь. Кремль: сердце страны. Бьётся сердце, гонит по телу родины кровь! Кровь здоровая, молодая. Заживут все раны.

После рассказа Васи Маленького Кира чувствовала себя непросто счастливой. Просыпалась ли она утром, дежурила или делала перевязки, она ни на минуту не забывала — Григорий жив! Он не только воюет, он людей учит воевать! А как любят его бойцы!

Кире бывало даже неловко чувствовать себя такой счастливой теперь, когда на людей свалилось столько горя. Вот и доктор Соколова плачет. «Ну как её утешить?»

Кира взяла за локоть Соколову:

— Доктор, милая, ну, может быть, так будет лучше. Вы будете спокойней работать...

— Кирочка, вы ещё не имели своих детей... — одними губами прошептала женщина, доставая платок из кармана халата.

— Лучше всё-таки детей отправить, — серьёзно сказал Ладейщиков.

Он объяснил, что в детсад поедут на машинах свободные от дежурства сёстры и санитарки, а из Москвы на речной вокзал с детьми смогут поехать и матери, только на троллейбусах и трамваях — на машинах всех не усадить.

Ладейщиков рассказал, какие вещи нужно приготовить детям и как лучше перемениться дежурствами сёстрам, чтобы освободить матерей и дать им возможность проводить ребятшек. Никто не удивлялся, почему именно Ладейщиков, а не доктор Агеев знает и про вещи и про расписание дежурств.

На дворе была ещё ночь. Мутное небо светлело скупо. Бесприютно металась чёрные тени деревьев. Ветер налетал порывами, обжигая лицо колкой сухой позёмкой.

— Садись ты в кабину, — сказала Кира Наде и, поднимая воротник, побежала к машине.

Грузовик дохнул на неё жарко и приветливо. Поехали.

Без единого огонька тёмные глыбы зданий отвесно поднимались в беспросветное небо; машина пробиралась словно по дну пустынного ущелья. Одинокие фигуры у подъездов и ворот подчёркивали безлюдье улицы. Казалось, замолчи мотор — и плотная, глубокая тишина воцарится в городе.

Кира съёжилась за кабиной, засунув руки в рукава и уткнув лицо в

колени. Вдруг кругом посветлело. Мутное небо опустилось к земле, сильнее рванул ветер, помчались назад низенькие строения предместья. Стало ещё светлее.

Встав на колени, Кира осторожно выглянула из-за кабины и вскрикнула: линия горизонта, всегда невидимая в темноте, обозначалась теперь угрожающе чётко на фоне розового трепещущего зарева. Зарево тесным полукружьем охватывало город. «Боже мой! Этот город, лучшее, самое дорогое, что есть на земле... Так вот почему он так напряжён. Москва, голубушка! Как же трудно тебе сейчас!»

— Я не думала, что это так близко, — прошептала Кира.

Сердце у неё сжалось таким холодом, что уже не ощущался ни ветер, отвернувший воротник, ни жёсткие доски под коленями.

Первый раз в жизни Кира почувствовала себя так нераздельно слитой с насторожённым городом за её спиной, с неизвестными ей сёлами, пылающими на близком горизонте. Это же её Родина!

«Я всё-таки не думала, что это так близко!»

Машина резко затормозила. Уже не ветер, а буран бушевал над застывшей землёй, завивая снежную крупу на сухом асфальте. Длинные тени, справа и слева выползая из мрака, сбегали в кювет и застывали на обочинах. Проволочные ограждения! Какие же они слабые против угрожающей огненной дуги!

Проволочные сети, издавека бегущие к обочинам шоссе, завершились могучей фигурой человека.

— Документы! — охрипшим голосом сказал красноармеец, открывая дверь кабины. Новый полшубок смутно белел под грубыми складками плащпалатки. Луч фонарика мелькнул по бумагам, по кабине. Привстав на подножку, красноармеец оглядел пустой кузов и Киру. Махнув водителю, медленно отошёл вперёд и стал спиной к Москве.

Машину останавливали ещё и ещё раз. Опять проволока, надолбы и, как змея, уползающий во мрак чёрный ров. Вся земля ещё чёрная. Снег вьётся сухой и капризный, долго выбирает место, где бы сесть... И холод, холод.

В детском саду всё было готово. Воспитательницы и технички быстро выводили одетых детей в сад. И все они, выходя из дома, в первое мгновение останавливались, глядя на близко полыхающее зареву. Оно прежде всего бросалось им в глаза этой ночью и, наверное, запомнилось на всю жизнь. Шофёры торопились с погрузкой, говорили все почему-то вполголоса.

Трезвое сознание опасности не покидало Киру, и внешне она была теперь очень спокойна, быстро укладывала доски и солому. Её тревожили только дети. Она ещё не умела с ними обращаться, не знала, как их утешать.

Детей попарно подвели к машинам. К удивлению Киры, все они молчали, даже не жаловались на холод, хотя после тёплых постелей, наверно, им было зябко на морозном ветру. Ни один не плакал. Они как будто понимали, что наступили такие дни, когда в мире уже не находится места детским слезам. Они старались не мешать взрослым сделать всё что нужно, и с молчаливой готовностью расставляли свои короткие и толстые в ватных пальтишках руки, чтоб их было удобнее брать подмышки и поднимать в кузов.

Служащие дetsада, цепляясь за борта машины, напоминали какой-то Лидочке, чтобы она следила за Митей, а Коля пусть не обижаёт Валу и все пусть смотрят за своими вещами.

К Москве ехали медленно. Горизонт погас и сразу отодвинулся, затонув в мутной дымке хмурого утра. Ветер улёгся, пошёл мягкий зим-

ний снег, тотчас выбеливший тропки вдоль кюветов. Побелели и расширились поля. Оказалось — во всех домиках вдоль шоссе живут военные. Кира видела, как один, голый до пояса, широко расставив ноги и нагнувшись, растирался ладонями, а второй, высоко подняв ковш, лил воду ему на спину.

Часовые быстро пропускали машины с детьми. Один из них взглянул, улыбнулся ребятам, погладил крайнего:

— Ничего, пацаны! Всё будет как положено!

И хотя никто ничего не успел ему ответить, он, прыгивая с подножки, сказал удовлетворённо:

— Ну, то-то!

Было уже совсем светло, когда машины подъехали к госпиталю. Дед Фёдор держал ворота открытыми.

Озябших усталых детей повели в столовую обогреть, покормить. Матери: сёстры, санитарки, врачи — не отходили от своих ребят. Тревожная тёмная ночь прошла, и дети снова стали детьми — шумели, кричали, волновались, узнав, что матери поедут провожать их не на машинах, а на автобусе.

Дети были слишком малы и ясно не представляли себе, что их ждёт разлука куда более долгая, чем путь до речного вокзала.

Речной вокзал... Сегодня Кира часто слышала эти слова, но только проехав пол-Москвы, сообразила: они же едут в Химки, в те самые Химки, куда её возил Григорий. Второй раз за последние сутки сердце её содрогнулось — далеко вторглась война.

На повороте троллейбус уступил дорогу машинам с детьми, и грузовики остановились у главного входа.

Когда-то лёгкая сверкающая звезда, обтянутая теперь брезентом, безобразным грузом давила на беспомощно тонкий шпиль. Под ногами чавкала грязь, на газоны легла белая пелена, не покрывавшая ржавых, схваченных морозом, стеблей.

Человеческие голоса гулко отдавались в холодном высоком здании. Стояли чьи-то вещи, люди ждали, суетились, справлялись о расписании. Детям сейчас же освободили место. Собралась большая толпа малышей. С ними остались матери.

Кира прошла по вокзалу, как по пожарищу. Вот в том углу, где сидит сейчас на мешках женщина с грудным ребёнком, стоял столик, за которым сидела она с Григорием.

Кира вышла на лестницу. Какая же она плоская, длинная и безнадёжно серая, эта лестница! И скамейка цела! Вон она стоит в сторонке. На пустой, мокрой пристани пустая скамейка.

С пристани были переброшены сходни на пароход, предназначенный для отправки детей. Там тоже хлопотали люди, перетаскивая мешки, наверно с продовольствием — его доставили раньше. Кто-то ругался, торопил, оглядывал небо.

«Молотов», — прочла Кира надпись на борту парохода. Его будут сопровождать два истребителя, говорил Ладейщиков. «Может быть, это они пролетели сейчас так низко над Москвой-рекой?»

К Кире подошла доктор Соколова с распухшими от слёз глазами. Дочка её ни на шаг не отставала от матери.

— Кирочка, вы возьмите пока мальчика Павлика. Знаете? Чередниченко...

Кира ахнула — как могла она забыть?

Мать Чередниченко лежала в больнице после тяжёлой операции. Мальчика никто не провожал. Он сидел на скамейке рядом со своим деревянным, похожим на сундучок, чемоданом, на котором большими

чернильными буквами была написана его фамилия. Сидел и молча смотрел, как плачут вокруг него дети и матери. Своей матери он не видел уже несколько недель. Может быть, он даже немного отвык от неё.

Подбежав, Кира взяла мальчика на руки.

— Мама велела мне проводить тебя на пароход.

Вещи унесли носильщики. У детей остались только сумочки, маленькие свёртки с самым необходимым. Они выходили из вокзала и спускались молча, заботливо укутанные, очень маленькие на этой огромной пустой лестнице. Где-то глухо, но настойчиво ухали зенитки. Одна девочка, наклонившись к подруге, сказала утешающе:

— А там, куда нас везут, тревог не будет!

Кире стало так тепло от маленьких беспомощных рук, доверчиво обхвативших её шею, что не захотелось спускать мальчика на пол. Она вынесла его на лестницу. Мальчик внимательно посмотрел на тёмную широкую реку, хмурое небо, пароход и вдруг, отвернувшись от всего этого, положил голову на Кирино плечо и тихонько заплакал.

Кире стало тесно в груди от жалости, нежности, от желания перелить все свои силы, всё тепло в это ничем не защищённое существо, которому плохо.

Изо всех сил прижав мальчика к себе, она встала в сторонку, пропуская детей, и коснулась губами его отсыревшей вязаной шапочки.

— Ничего, сыночек, ничего! Папа скоро прогонит немцев, и мы опять возьмём вас к себе.

Мальчик ничего не ответил, но крепко обхватил её шею, как бы подтверждая Кирино право называть его так, как она назвала.

Все дети были уже на пароходе. Какой-то мужчина бережно принял последнего — Павлика — с Кириных рук. У самого края пристани, у тёмной холодной реки толпились матери. Убрали сходни. Кто-то тихо вскрикнул. Тягучий низкий рёв гудка медленно пополз по реке.

Когда густая тёмная вода показалась между бортом парохода и пристанью, Кира зарыдала и замахала вслед пароходу. С палубы люди, сопровождавшие детей, махали руками, обещая что-то оставшимся на пристани женщинам.

Кира возвращалась из Химок притихшая, ослабевшая от слёз. Она вспомнила, что за всю осень так и не вырвалась в институт, где помещались курсы медсестёр, чтобы взять свои документы об окончании десятилетки. И решила поехать сейчас же.

Дверь здания оказалась запертой. Какая-то женщина сказала Кире, что институт вчера эвакуировался, и на расспросы Киры сердито ответила:

— Немцы близко.

Только теперь Кира заметила бумаги, тряпки, валявшиеся на дворе, — следы спешного отъезда. Поднявшийся ветер по-хозяйски погнал бумажки со двора.

Пошёл густой снег. Смерклось рано. Когда Кира вернулась в госпиталь, уже опускали шторы, зажигали огни. Палаты, коридоры, знакомые голоса показались ей уютными, надёжными. Сёстры, врачи, проводившие детей, уже работали. Соколова делала обход с доктором Агеевым.

Анна Ивановна сказала, что звонил Алёша и просил Киру срочно, немедленно, сейчас же позвонить ему на завод.

— Ну вот ещё, какая срочность! — Кира глядела, как недовольная санитаркой Анна Ивановна сама перекладывает раненого.

Ловко она это делает! Раненый — послеоперационный, его нельзя сажать. Простыня свёрнута длинным свитком вдоль койки. Вот край койки уже покрыт простынёй, и свиток подкатился под больного. Зайдя

сбоку, Анна Ивановна осторожно приподнимает одной рукой бедро лежащего, другой быстро и точно подсовывает свиток под его спину, под плечи. Потом заходит с другой стороны и так же, чуть приподнимая бок больного, выкатывает из-под него совсем уже тоненький рулончик полотна. Простыня расстелена ровно, без складок. Раненый облегченно вздыхает, благодарно глядя на Анну Ивановну, — все оперированные боятся, что им причинят боль, перестилание койки для них — событие.

— Видишь, как просто, голубчик! — улыбнулась Анна Ивановна, но, выйдя в коридор, заговорила быстро и нервно: — Не забуду такого позора в моём отделении! Если немцы в Можайске, это ещё не значит, что оперированные должны лежать на свалывшихся простынях. От складок делаются пролежни!

— Наверно, вам доктор Агеев сделал замечание, да, Анна Ивановна? — тихо спросила Кира.

Анна Ивановна меняла голубоватый спирт в стаканчике с термометрами. Сильно покраснев, она отставила его.

— В том-то и дело, что он ничего не сказал! Я вместе с ним делала обход и сгорела со стыда, когда увидела, в каком состоянии и как лежит раненый. А доктор Агеев даже не обратил на это внимания. Я работаю с ним четырнадцать лет, и наконец, извольте радоваться, он перестаёт замечать, что делается в отделении. В конце концов, если немцы в Можайске, это не значит, что они — в Москве, и пока мне приказано быть в отделении, у моих больных не будет пролежней! Почему эта Соколова — девчонка, тебя немногим старше, — только что проводила нивесь куда свою дочь, а во время обхода всё-таки заметила плохое самочувствие раненого, увидела ошибку в температурном листке, а доктор Агеев уже ничего не замечает?..

Кира ещё не слышала, что немцы в Можайске. От известия этого пахло холодом. И странно, непривычно было слышать, что Анна Ивановна открыто осуждает доктора Агеева.

— Почему же «ниवेशь куда»? Детей сопровождают истребители, — сказала Кира рассеянно.

— Боже мой! Как будто истребители могут заменить ребёнку мать! — сердито вздохнула Анна Ивановна, капая лекарства в маленькие толстые стаканчики. Руки у неё дрожали.

Пасмурно стало на душе у Киры. Она вспомнила про Алёшу и пошла в канцелярию, где стоял телефон.

За столом сидел Ладейщиков, кажется тоже сердитый. Кира отвернулась к стене, чтобы говорить потише, но Алёша сразу закричал в трубку нечто совершенно непонятное о каких-то экстраслучаях и мудрых решениях. Несколько раз переспросив, Кира, рассердившись, тоже закричала:

— Какие мудрые решения? Ничего не понимаю. Говори толком.

Тогда Алёша вдруг взволнованно выпалил:

— Завод остановили! Эвакуировать будем! Только ты, смотри, никому не говори!

— Конечно, никому, — машинально повторила Кира. — А куда же эвакуировать?

Ладейщиков откинулся на спинку кресла и неожиданно рассмеялся:

— Орлы-конspirаторы!

Сконфуженно улыбнувшись ему, Кира допытывалась, не уезжает ли Алёша сам. Выяснилось, что не уезжает. Она медленно опустила трубку на рычажок и перестала улыбаться.

Подняв голову, Ладейщиков увидел её глаза, секунду словно раздумывал, на что она сердится, — и понял.

Почти с любопытством глядя на Киру, он выжидающе протянул:

— Ну?

— Вы же сами знаете, что «ну», — сдержанно сказала Кира. — Мне, например, непонятно, почему нам до сих пор не выдают оружия. И никто мне этого не объясняет.

— А вам никто и не должен ничего сейчас объяснять, — спокойно возразил Ладейщиков. — Если бы каждое действие командования нужно было немедленно объяснять каждому солдату, некогда было бы воевать. Нам вот скоро уже пять месяцев объясняют, что все мы сейчас — солдаты, а до нас это никак не доходит. Солдаты должны четко выполнять приказы, а вы вместо этого изволите после Химок неизвестно где три часа кататься. А в результате — тяжелораненый из вашей пятой палаты мне жаловался, что полчаса не мог допроситься грелки.

— Я виновата, доктор. — Кира почувствовала, как жарко стало щекам. — Мне надо было захватить за документами на курсы. Документы об образовании.

— Получили?

— Нет. Ну и пусть! Эти справки мне на войне не понадобятся.

— А после войны? Жизни, что ли, после войны не будет? Хороший хозяин летом сани чинит. Я, например, после войны диссертацию защитить намерен, так вот сейчас в свободное время подбираю статистические данные. Очень интересный материал!

— А долго ещё до конца войны, доктор? — с надеждой посмотрела на него Кира.

— Думаю, что порядочно, но ведь это дела не меняет, — сказал Ладейщиков, собирая свои таблицы. — Документы надо восстановить.

— О каких документах речь? — спросил, входя, Агеев. Снимая халат, он вывернул рукава и, не расправив их, повесил халат на гвоздик. Подошёл к окну, как будто можно было увидеть что-нибудь через маскировку.

— Я потеряла свидетельство об образовании.

Агеев передёрнул плечами.

— На что онс вам теперь? Если всё образуется, восстановите ваши бумажки.

— Недурное «если», — заметил возившийся в шкафу Ладейщиков.

Агеев расслышал. Он повернулся к Ладейщикову и почти крикнул неожиданно визгливым голосом, как тогда, когда рассказывал Алёше и Кире про финскую войну.

— Я прошу вас не делать мне замечаний, доктор Ладейщиков! Хотя вы и секретарь парткома, но вам не следует забывать, что я пока ещё ведущий хирург больницы!

— Единственное желание моё, чтобы вы оставались им как можно дольше, — раздельно сказал Ладейщиков. Поклонился и вышел.

Кира поняла, что фразы эти — продолжение долгого и, повидимому, неприятного разговора. Она заторопилась идти, но Агеев задержал её.

После слов Ладейщикова он как-то поник и тяжело сел на диван.

— Ну что же? Вы ещё мечтаете о героических подвигах на фронте? — Агеев вытирал платком лоб.

— Да, мечтаю!

«Холодно, а из него будто сало вытапливается», — неприязненно подумала Кира.

Агеев вдруг начал допытываться у Киры, не знает ли она, какие учреждения эвакуировались из Москвы и кто из её знакомых уехал за последнее время.

— Ничего я не знаю! — оборвала Кира и вышла из канцелярии.

Глава двенадцатая

После разговора с Кирой Алёша позвонил в институт Савицкому. Женский голос ответил, что занятый второй день нет, а Савицкий, наверное, спит после дежурства. Алёша долго ждал, пока искали Савицкого, и злился: уж если не в общежитии (там сейчас холодновато), так спал бы постоянно в читалке, а то жди тут его...

— И чего, спрашивается, в читалке не спишь? — крикнул Алёша, когда Савицкий, наконец, отозвался.

— Неуютно там, — протяжно, очевидно зевая, сказал Савицкий.

Алёша сразу ответно зевнул, потому что тоже не спал вторую ночь

— Так ты что, только затем меня и поднял, чтоб узнать, где я сплю? — окончательно проснувшись, рассердился Савицкий.

— Бери рукавицы и немедленно приезжай ко мне сюда, работа тебе есть. Рукавицы только не забудь. Скорей, чтоб до комендантского часа!

— Мигом буду! — совершенно ясным голосом ответил Савицкий, и они одновременно бросили трубки.

Заказав пропуск Савицкому, Алёша прикорнул на диване. Со двора и из цехов доносился неумолчный разнобойный шум, совсем непохожий на мерный пульс работающего завода. Алёша, вздохнув, натянул воротник на ухо и прижался щекой к холодной клеёнке.

Ему показалось, что он только на минуту закрыл глаза, но когда открыл их, перед ним уже стоял улыбающийся Савицкий. Алёша с трудом оторвал лицо от прилипшей, согревшейся клеёнки.

— Борис, завод эвакуируется, — хриплым спросонья голосом, взволнованно сказал Алёша. — Нам надо это видеть. Сейчас мы с тобой можем помочь на погрузке. Но когда-нибудь мы об этом обязательно напишем. Пойдём, ты покажешь документы, и тебя пропустят на погрузку.

Рядом с высоким, широкоплечим Савицким Алёша казался тоненьким и даже слабым в своём жёстком бобриковом пальто.

— Спрячь пока, — Савицкий передал ему нарядную красную папку.

Алёша спрятал её в стол, даже не спросив, откуда она у него взялась.

— Застегнись, Борис, там холодно, — Алёша отворачивал наушники у шапки. — Ты знаешь, того, что здесь происходит, нельзя ни забыть, ни простить. Тут снимают станки. А станок снимать трудно. Мы над одним попрели, дай боже! Когда станок оторвался от пола, ну в точности такое ощущение, как будто могучее дерево вырвали из земли.

Савицкий молча надел на круглую беспалую ладонь рукавицу, верёвочкой ловко привязав её к кисти. Алёша взял свои уже продырявившиеся варежки, и они пошли.

Длинный коридор, проходящий через всё здание завода, был совершенно пуст, и шаги в нём отдавались необыкновенно гулко.

— Всё оборудование вывозят? — спросил Савицкий.

— Нет. Многое остаётся.

В цехе сквозь пролом в наружной стене клубился морозный воздух, слышались короткие требовательные гудки паровоза. Лязгая, медленно передвигались вагоны — ветку подвели к заводским стенам. Возникая из морозного сумрака, над людьми и платформами проплывал подхваченный краном груз. Остро пахло свежей древесины, безостановочно стучали молотки, и всё-таки в непрерывном гуле различались паузы, полные тяжёлого мужского дыхания, и негромкое, хриплое: «Раз, два, взяли! Раз, два!»

— Эй, Алексей! Давай сюда! — окликнул Алёшу Павел Гаврилович.

Маленькие глазки старика спрятались под белыми от инея бровями. Он густо смазывал вазелиновым жиром и кутал в пергамент станок. Здороваясь, сунул Алёше и Савицкому локоть.

— Тут уж всё! Можно забывать, — сказал он рабочим и вытер руки ветошкой. — Пойдёмте. Сейчас дорогую машину будем упаковывать.

Павел Гаврилович взял с собой несколько человек. Когда они вошли в отдельное помещение, где стоял станок, мастер остановился в дверях. Алёше показалось: вот-вот старик снимет шапку. В маленьком зале было тихо, и пол, выстланный метлахскими плитками, был ещё глянцеvито чист. Большой, очень ценный станок высокой точности невозмутимо мерцал блестящим никелем ручек управления. Здесь не было других машин — станок любил тишину. На стене висел термометр — станок нуждался в ровной температуре.

— Ну, умница моя... — Павел Гаврилович тронул одну ручку, другую — Ничего не поделаешь, поехали! — Решительно и сердито он стал показывать людям, какие именно части станка надо гуще смазать.

Всё явственней слышались удары — с улицы проламывали ход. Вот уже совсем близко! Вот тяжело и звонко ударились о плиты пола первые кирпичи. Упругой струёй ворвался морозный воздух, словно вся зимняя стужа только и ждала, как бы ворваться в этот маленький, чистый, тёплый зал.

Раздался гудок. Алёша подумал: что-то должно гудит паровоз. Но это не был паровозный гудок — объявили тревогу. Никто из рабочих не обратил на гудок внимания. Только работать стали быстрее.

Близко и громко застучали пулемёты.

— Счетверённый, — определил Савицкий, снимая рукавицы, чтобы закурить. — Где это?

— Да справа на нашей же крыше зенитчики, — сказал Павел Гаврилович, только теперь оглядев Савицкого и заметив его беспалую кисть. — На фронте?

— На финской ещё. — Савицкий работал, с удовольствием показывая старику, как ловко он научился владеть своей ладонью, таким, казалось бы, безнадёжно испорченным инструментом.

Когда они встретились глазами, Павел Гаврилович одобрительно кивнул, но тут же вздохнул шумно и медленно:

— Да, ребяташки! Рабочему человеку положено строить, а не ломать. Ну, погодите! Долг платежом красен!

Все знали, кому и какую расплату обещает старик.

Когда Виктор узнал об эвакуации, известие это в первый момент оглушило его. Он бросился на завод.

У здания заводоуправления толпились люди. По разговорам Виктор понял — только что закончилось партийное собрание. В темноте не видно было лиц. Какой-то, по голосу судя, пожилой рабочий говорил:

— А молодец Тарас! И ведь ничего не скрыл. Сказал, что тяжело будет и поработать придётся так, как, пожалуй, ещё не работали, а всё же как-то повеселей стало...

— Да. А то у меня до собрания, знаешь, какие тяжёлые мысли были? Ух! — отозвался другой.

— Шутка ли! Встаю — говорят: завод остановили!

— Бабу бы мою на это собрание! — вздыхал кто-то помоложе. — Поверите, всё барахло сразу везти хочет. Я уж ей толкую: «Анна Дмитриевна, голубушка ты моя, представь, что ты на фронт едешь. Не повезёшь же ты на фронт зеркальный гардероб».

— Пойди, пойди, вправь ей мозги, — посоветовали из толпы.

Дрожа не от холода, а от внезапно навалившейся на него тревоги, Виктор вбежал в кабинет Тарасова. Кабинет был битком набит народом, но Виктор всё же мгновенно очутился у стола.

— Что же это делается, Тарас? — в отчаянии крикнул Виктор, забыв даже, насколько неприлично ему, мальчишке, называть секретаря парткома так, как только старые кадровики завода иногда называли Сергея Николаевича.

Но Тарасов, наверно, тоже не заметил этого. Быстро объясняя что-то посетителям, он отпускал их одного за другим и тут же передавал своему первому заместителю какие-то папки, бумаги.

— Что надо, то и делается! — явно думая о чём-то другом, сказал Тарасов. — Пришёл — и хорошо. Ступай-ка на погрузку.

— Я не поеду в тыл! — всё ещё повышенным голосом заявил Виктор, но он уже чувствовал, что знакомый, усталый сейчас голос секретаря действует на него успокоительно.

Передав заместителю дела, Тарасов поднял глаза на Виктора.

— Ах, это ты, герой! Напрасно тревожишься. Тебя пока никто и не берёт.

— Я и потом не поеду, — буркнул Виктор.

— Прикажут, так поедешь! — строго сказал Тарасов. — Дисциплинки, дисциплинки не вижу! А вот отца увидишь, скажи, чтоб собирался с матерью. Малько его с собой берёт. Хотя мы лучше курьера к нему пошлём.

Войдя в цех, Виктор поразился, как много успели сделать здесь за сутки, — да какое там! — прошло меньше суток с тех пор как ушёл с завода. Он поймал себя на мысли, что разломанный пол, снятые станки и суету в цехе воспринимает уже как «дело», как «здание». А ведь, наверно, приди он сюда до встречи с Тарасовым, он бы за голову схватился. А что особенного сказал ему Тарасов? Да ничего не сказал. «Вот и получается, — Виктор невольно почесал затылок под кепкой, — есть у этих стариков привычка к дисциплине, что ли, выучка, которая помогает им в любых условиях сохранять спокойствие».

— Вот и выходит, что нам у них ещё учиться да учиться! — почему-то вслух решил Виктор и, найдя Павла Гавриловича, уже покорно спросил его: — Что надо делать?

— Слава богу, хоть один пришёл, как порядочный, — Павел Гаврилович, оставив на миг работу, отёр потный лоб, — а то каждый прибежит и требует полного доклада. Сейчас дам вазелин, эти станки пока смажешь.

— А Катюша уезжает? — тихо спросил Виктор. — Нет? А вы, Павел Гаврилович? Тоже нет?

Виктор уже весело присвистнул и застегнул ватник. Ему захотелось поглядеть на свой станок — может, и он остаётся? Но, подойдя к своему рабочему месту, Виктор вдруг увидел пустую чёрную яму. Он посмотрел на эту яму растерянно, словно не понимая, что произошло. Был друг — станок. На нём Виктор поставил свой первый рекорд и вот — пустая яма... В горле вдруг появился комок. Виктор уже много лет не плакал. Скривившись, он замотал головой, словно стряхивая с глаз паутину.

На рассвете с завода ушёл первый эшелон.

Рабочие, инженеры, такелажники — заиндеветшие, усталые — стояли безмолвными тесными рядами, глядя на медленно уплывающие в серую мутную мглу платформы с оборудованием. Воронин первым резко отвер-

нулся и пошёл в завод, тяжело припадая на свою большую ногу. Широко открытые глаза его блестели.

Павел Гаврилович нагнал Воронина.

— Дмитрий Петрович, ты с этим едешь? Жена, пацан где?

— Там уже, на путях, — неопределённо махнул рукой Воронин. — Погрузились. Скоро, наверно, прицеплять будут. Пойду..

Оба они одновременно обернулись, услышав знакомый голос, — окружённый инженерами и работниками заводоуправления, по заводу шёл Малько. В белом полушубке, шапке-ушанке, валенках, он ничем не отличался сейчас от любого военного. Разве что звёздочки на шапке не было. Видно, директор обошёл весь свой завод и вот дошёл и сюда, в цех, который уже не был цехом, который стал уже частью двора, и отсюда дорога — в пролом, на рельсы, на восток..

— Не легко ему, наверно, отступать, — прошептал кто-то.

Воронин обернулся и узнал Виктора. Он тоже провожал первый эшелон. Уши его горели, обожжённые морозом, и впервые Воронин заметил у него две резкие складки между бровями.

Дмитрий Петрович перевёл глаза на Малько. Директору что-то докладывал начальник автоматного-токарного цеха. Малько, как всегда, был тщательно выбрит, но Виктор прав — сильно осунулся директор, и синева его свежесбранных щёк казалась поэтому гуще, чем обычно.

Малько медленным взглядом, словно запоминая, обвёл всё, что осталось от цеха. Увидел Воронина, Павла Гавриловича и вдруг, неожиданно отпустив всех своих спутников, подошёл к старому мастеру.

Павел Гаврилович невольно вытянулся, как будто и на нём было нечто вроде военной формы, он стоял перед широкоплечим директором маленький, сутулый, зажав в руке французский ключ.

— Ты положи ключ, — очень тихо и мягко сказал директор. — Я ведь просто так к тебе подошёл, — словно извиняясь, добавил он, — попрощаться. Сколько лет мы с тобой знакомы, Павел Гаврилович?

— Двенадцать лет, Яков Семёныч, — вздохнул мастер, кладя на ящик ключ.

— Да, двенадцать, — сказал директор. — Сколько я на заводе, столько я тебя и знаю. Мы с ним, — Малько положил руку на плечо Воронина, — сейчас уедем. Так вот, надеюсь я на тебя, на таких, как ты, Павел Гаврилович. Не мне вас учить, вы — мои учителя. Ты сам видишь: много оборудования берём мы с собой, но много и оставляем. Пусть будет порядок. О работе не беспокойся. Гулять вам долго не дадут. И пусть завод наш не уронит своей славы, где бы мы ни работали: в осаждённой Москве или на востоке.

— Езжай спокойно, Яков Семёныч, — отдельно сказал мастер, снизу вверх глядя на директора. — Будет порядок! — он помолчал и потом тихо спросил: — А как там — помещение какое-нибудь для вас приготовили? Коробки-то есть, не слышал?

И Малько, и Воронин, и Виктор — все трое придвинулись поближе к старику.

— Коробки, говорят, есть, — сказал Малько. — Пустить, я думаю, в срок пустим. А вот где рабочих буду брать? — вздохнул он озабоченно, уже не видя безобразных ям в цементном полу и проломанных стен. Он уже думал о тех пустых каменных коробках, в которых ему нужно будет в шестьдесят дней смонтировать и пустить первый цех и обеспечить выполнение плана. — В шестьдесят дней! — сердито покачал он головой.

— Ничего, Яков Семёныч! — подумав, сказал Павел Гаврилович. — Ты дашь.

— Да как тебе сказать, — Малько огляделся, словно боясь, как бы кто не подслушал, — конечно, думаю дать.

Было уже совсем светло. Он поглядел на часы.

— Ну, Павел Гаврилыч!

— Ну, Яков Семёныч!

Они крепко обнялись.

Широко шагая по доскам, стружкам и битому кирпичу, Малько пошёл догонять своих управленцев. Глядя на его широкую спину и вспоминая горькую фразу Виктора: «Не легко ему, наверно, отступать», Дмитрий Петрович покачал головой:

— Нет, это не отступление.

Утром на погрузку пришла новая смена. Павел Гаврилович отпустил Алёшу с Савицким послать.

Алёша чувствовал себя плохо, его лихорадило, а Савицкий шёл, распахнув полушубок, раскрасневшийся, красивый.

— Да я как будто и не устал, так только, поразмялся немного, — сказал он густым баритоном, глядя на группу женщин, идущих им навстречу. Всё в нём играло: и голос, и щёки, и белая опушка на полушубке.

Алёше показалось — на лицах девушек выразилось весёлое удивление. А пожилая женщина в ватнике, как мужик, широкая в плечах, возглавлявшая всю группу, сказала громко:

— Король-парень!

И Алёша без всякой зависти подумал: как, наверно, любили Савицкого в части. И какой это огромный талант вот так, без всяких усилий нравиться людям: войти в комнату и понравиться.

Алёша сказал, чтобы Савицкий шёл прямо в редакцию — там они и поспят, — а он сбегает в аптеку, тут же на углу и купит кальцеки.

В аптеке всё было как обычно, только продавщицы посмотрели на Алёшу странно, словно его-то именно они и ждали и он должен им что-то сообщить. Алёша даже растерялся несколько, но в это время вбсжал ещё гражданин, и продавщицы посмотрели на него с таким же точно выражением.

У вошедшего было помятое лицо и мутные глаза не проспавшегося от тяжёлого хмеля человека. Едва вбежав в аптеку, ни к кому не обращаясь, он крикнул:

— Трамваи не ходят! Мосты в центре оцеплены! Машин в городе нет! Завод брошен!

Кассирша охнула, кто-то в очках выглянул из-за вертящейся тумбочки с лекарствами, а самая молоденькая продавщица в оптическом отделе заплакала тихонько, не отходя от прилавка.

Алёша смотрел на этого грузного, нетрезвого человека, цепenea от бессильного яростного желания схватить и выбросить его за дверь и сразу успокоить и этих женщин, и бедную девочку за стойкой. «Эх, Савицкий всё бы это сумел сделать!»

— Гражданин! — сказал Алёша ломким от волнения голосом. — Что вы врётe, гражданин?

Человек посмотрел на Алёшу, как на пустое место, рассеянно оглядел прилавки и, вдруг оживившись, потребовал большой флакон одеколona. Одним движением волосатого кулака свернув гранёную пробку, он залпом выпил содержимое, швырнул на прилавок пустую посуду и несколько мятых десятирублёвок и выбежал из аптеки.

— Вы бы пастой зубной закусили! Хлородонтом! — сжимая кулаки, крикнул вслед ему Алёша.

Брошенная с размаху дверь звенела стёклами. Алёша обернулся к женщинам.

— Он всё врёт, товарищи! Завод остановили, но это же временно. И про трамваи он врёт! Ходят трамваи! — сказал Алёша уверенно. В самом деле, раз этот пьяница наврал про завод, вполне возможно, что соврал и про трамваи. — Всё будет в порядке. Ведь мы же работаем! — горячо повторил он, показывая женщинам свои замасленные чёрные руки.

И — странное дело! — именно эти рабочие руки подействовали на женщин успокаивающе: раз люди работают, значит, всё будет в порядке. Значит, всё уже в порядке.

Та, что плакала, улыбнулась сконфуженно и облегчённо. Алёша понял теперь тревогу этих женщин, которые целый день стоят за прилавком на окраине Москвы, слышат самые разнообразные толки, а среди них и такие, что принёс этот пьяница. Однако же ни одной из продавщиц не пришлось в голову бросить свои оправы для очков или рецепты и уйти с работы.

Он купил три тюбика кальцека и ушёл.

На улице похолодало. Бесснежный мороз сковал землю. Грязь застыла, обретя твёрдость камня. Тяжёлые лиловые тучи нависли над городом. Казалось, ещё раз рванёт ветер, и из потемневшего неба посыплется на землю чистый молодой снег. Сразу посветлеет в небе и на земле, и дышать станет легче.

Но ветер только выл на углах да шевелил голыми ветвями лип...

Едва Алёша вошёл в редакцию, позвонила Кира.

— Конечно, я, — ответил Алёша, как будто, кроме него, в редакции никого не могло быть. — Ну, что там у вас слышно?

— Говорят, в городе бог знает что делается, — взволнованно говорила Кира. — Говорят, везде прекращена работа...

— Говорят! В городе! — рассердился Алёша. — А ты-то сама — в селе Большие Шептуны, что ли? У вас работа не прекращена?

— Нет.

— Ну и мы делаем, что приказано. А тебе нечего всякий брёх слушать! Бегают тут пьяные бездельники, мутят белый свет! Как освобожусь, приеду! — сказал Алёша строго.

Он почувствовал, что разговор его, несмотря на грубость, а может быть, и благодаря ей, подействовал на Киру успокаивающе, хотя она, конечно, не могла понять, о каких пьяных бездельниках идёт речь.

После улицы в редакции Алёше показалось очень тепло. Савицкий сидел в полушубке. На столе стояла четвертинка водки и лежали Алёшины запасы хлеба, найденные Савицким в столе и аккуратно разделённые на две части.

— Здорово? — торжествующе улыбнулся Савицкий. — Я ещё вчера привёз — мой праздник праздновать, да мы сразу на погрузку пошли

— Я же не пью, ты знаешь, — стуча зубами, сказал Алёша. — А что за праздник?

— Вот! — Савицкий поднял красную папку. — Вот диплом об окончании института! Предвижу все твои вопросы. Ты знаешь, у меня «хвост» по западноевропейской. Но всё последнее время я готовился. Наш старик эвакуировался вчера. Узнав о его намерении, я накануне пришёл к нему на квартиру. Не скажу, чтобы он принял меня очень радушно, но, во всяком случае, он уяснил себе, что я не уйду, прежде чем сдам ему зачёт. И я его сдал.

— Алёшка, ты понимаешь? — Савицкий встал и расправил широчен-

ные плечи. — Я копчил институт! Я имею высшее образование! Ты только подумай, как это звучит: законченное высшее образование!

— Всё это вполне вероятно, кроме того, что ты готовился, — сказал Алёша, раскладывая таблетки. Его трясло. Телу было холодно, а голове жарко. — Когда это ты успел?

— Честное слово, готовился! Ну, конечно, по мере сил... Исходя, так сказать, из обстановки.

Присмотревшись к Алёше, Савицкий сунул руки к нему под пальто.

— Друг! Да ты весь горишь! И какой же ты худенький!

С почти женской нежностью Савицкий принялся хлопотать вокруг Алёши. Уложил, заставил снять промёрзшие ботинки и закутал ему ноги своим полушубком. Таблетки кальцекса он растолок пустой чернильницей и велел обязательно выпить водки.

На пустой желудок, с усталости, водка ударила Алёше в голову, стало тепло, захотелось разговаривать. Он тотчас рассказал Савицкому про пьяного в аптеке:

— Ты понимаешь, я до сих пор привык считать себя культурным человеком и действовать путём логического убеждения. А тут первый раз в жизни мне захотелось набить морду. Элементарно набить морду!

— Логика логикой, но бывают случаи...

— Ты понимаешь, когда я вижу человека, который так легко теряет веру в правильность, целесообразность наших поступков, в нашу силу, — у меня такое чувство, будто мне плюнули в лицо... Ну хорошо, пусть я ещё не проявил себя, но я всю свою жизнь старался сделать как лучше... Вот я работал агитатором райкома комсомола и любой домашней хозяйке втолковывал, что наша армия сильна тем-то и тем-то. И теперь этот паникёр, этот пьяница хочет убедить меня в том, что я был дурак или что я врал?

Зазвонил телефон. Савицкий взял трубку.

— Редакция газеты слушает. Да, разумеется, редакция работает, — проговорил Савицкий веско и положил трубку.

— Помянешь моё слово, — продолжал Алёша, — как только кончится война, всем, кто так легко испугался, поверил, что мы слабые, — всем будет очень стыдно.

Савицкий ещё раз заботливо укрыл высунувшиеся из-под полушубка худые Алёшины ноги в незаштопанных носках, вспомнил, что у него нет матери, и подумал — неизвестно, будет ли когда-нибудь жена: почему-то в таких, как Алёша, девушки редко влюбляются.

— И не верю я, — с лихорадочной страстностью повторил Алёша, — что фашисты могут быть в Москве!

Савицкий сдвинул густые светлые брови.

— Они и не будут! — крикнул он.

— Вот именно! Вот именно! — Алёша сразу стал зевать, попросил разбудить его через полчаса: ему надо дать совсем небольшую заметку в «Известия», и, свернувшись клубочком под полушубком, захрапел тоненько и часто.

Савицкий подождал несколько минут, пока он разоспится, и осторожно лёг рядом, кое-как натянув на свою большую спину Алёшино пальтишко.

Алёша проснулся слабый, но здоровый и голодный. В комнате было совершенно темно и тихо.

Бесшумно, в носках, он перебежал комнату — к окну, опустил маскировку и, испытывая странную тревогу, протянул руку к выключателю: а вдруг не загорится?

Свет был. Алёша посмотрел на часы, позвонил на фабрику-кухню. И фабрика-кухня работала. Он совсем повеселел и принялся будить Савицкого.

На погрузке люди работали круглые сутки. На непрестанные тревоги никто не обращал внимания — однажды Алёша насчитал их двенадцать. Но погода стояла туманная, хмурая, и ни один самолёт, казалось, не мог пробиться сквозь сумрачные толщи облаков.

Вообще в посёлке стало гораздо тише. Опустели квартиры работников, уехавших на восток, а главное опустел сквер.

Завод вывез своих ребят за несколько дней до начала эвакуации оборудования, и теперь Алёше встречался в сквере один голько мальчик, потому лишь и запомнившийся Алёше, что он остался один. Наверно, ему было скучно, и он запросто приставал к проходящим взрослым.

Алёше он тоже задал однажды нелепый вопрос:

— Почему ты молодой, а в очках?

Всякий день около завода появлялось что-то новое.

Вчера вечером, идя с Савицким на почту — Алёша посылал раз в две недели телеграммы Максиму Лаврентьевичу, — в кромешной тьме он напоролся на противотанковый ёж и вырвал клоч из пальто. Видимо, ежей было много. Неподдалёку кто-то возмущённо гудел, что пройдут ли фашисты — это ещё вопрос, а вот прохожий народ наверняка повредится.

Савицкий тотчас с готовностью отозвался, что насчёт фашистов это, действительно, вопрос, из темноты ему ответили, и собеседники разошлись, взаимно удовлетворённые.

На другой день, идя на фабрику-кухню обедать, они увидели на месте овощной палатки обложенное мешками с песком низкое, приземистое сооружение с длинными узкими окнами.

— Это так называемая огневая точка, — объяснил Савицкий. — Место для пулёмётного расчёта и, надо сказать, очень, — он обошёл вокруг сооружения, — очень грамотно сделано.

Длинные амбразуры пристально глядели на юг, где в тумане неясно высились краны южного порта Москвы-реки.

— Борис, неужели всё-таки здесь, на этом самом месте, будет фронт?

— Не думаю, — просто сказал Савицкий. — Видишь ли, все эти пулёмётные гнёзда и ежи, всё это положено делать по уставу, и пускай всё это делается.

— Всё-таки техника у них сильна, — с досадой признал Алёша.

— Видишь ли, во-первых, и у нас техника не так уж слаба, а во-вторых... Вот я сам воевал, видел на войне всё, что можно там увидеть. Уверю тебя, Алексей, как бы ни была сильна техника, какие бы ни придумывали танки, огнемёты, бомбы, всё равно войну решает человек, и пока человек не пришёл и не встал своей ногой на какой-то кусок земли, этот кусок земли не завоёван! А на московскую землю они не встанут! Они не устоят на ней! Неужели ты не замечаешь, как медленно уже, как туго они нас теснят? Гигантская пружина сжимается, ожимается... Ох, и развернётся же она! А как там наши бьются! Как бьются! — сказал Савицкий с тоской. — Мне бы туда!

Алёша понимал и жалел Бориса. Всё-таки он с детства привык к сознанию своей неполноценности, и в армию его из-за глаз не взяли. А ведь Борис до финской был богатырь, всё мог! А вот теперь уже не всё может.

У красных корпусов вокруг чего-то огромного, бесформенного и серого толпились люди Савицкий предположил, что случилась беда с аэро-

статом воздушного заграждения. Но оказалось — это слонёнка из Зоопарка вели эвакуироваться в южный порт. По шоссе вдоль завода ходили машины, слонёнок их пугался, поэтому его повели здесь, вдоль домов, и сейчас работники Зоопарка и тотчас нашедшиеся добровольцы из публики растаскивали преградившие ему дорогу противотанковые ежи. Слонёнок спокойно смотрел на людей маленькими умными глазками, изредка переступая задними ногами. Кожа на ногах висела толстыми складками, как будто ему сшили мешковатые, не по росту, брюки.

Конечно, маленький мальчишка из сквера был тут, но на этот раз не один, а с молодой, видно очень усталой женщиной. Мальчишка тащил её за руку, заставил обойти вокруг слонёнка и, охваченный неистовым восторгом, спрашивал:

— Мама, это всё слон? Мама, неужели это всё слон?

Мать усталым голосом терпеливо повторяла:

— Да, деточка, это слон.

Алёша поглядел на мальчишку — неужели тот не видит, что мать устала и ей не до слонов?

Когда все эшелоны с оборудованием ушли, на заводе воцарилась тишина. Проспав почти целые сутки, Алёша и Борис встали с непривычно свежими головами, пообедали на фабрике-кухне без всякой очереди, потом вернулись в редакцию, испытывая странную растерянность. Эта растерянность преследовала их несколько дней, пока на заводе было тихо.

— Никогда не думал, что тишина может так угнетать, — проснувшись однажды утром, сказал Алёша.

— Может, перебраться обратно в институт? — предложил Савицкий. — Там сформировался истребительный батальон.

— Ты знаешь, мне уже трудно бросить завод! — сознался Алёша. — Я очень привык к нему.

Как обрадовались они, когда к ним совершенно неожиданно вошёл Тарасов.

Он сел на диван, огляделся, словно впервые видя эту комнату, улыбнулся. Видимо, он тоже отвык быть свободным, и это его стесняло.

— Да. А всё-таки какую махину подняли мы, товарищи, — сказал он, задумчиво поглаживая потёртую клеёнку дивана.

Алёша с Борисом переглянулись и тоже задумались, только теперь начиная понимать, какую поистине махину подняли они — москвичи. Нашлась ли бы в любом другом государстве сила, способная единым взмахом снять с родных мест сотни тысяч людей, учреждения, музеи, заводы, станки и ценности, поставить всё на колёса и под непрерывной угрозой с воздуха вывезти, отправить за тысячи километров?

И вот сотни эшелонов уже постукивают колёсами на стыках рельсов, Москва-река тянет баржи, по затвердевшим дорогам, стуча копытами, идёт скот.

В повседневной суете с её радостями, горем и большим трудом человек редко замечает своё личное участие в перестройке жизни на земле. Только в отдельные минуты, в часы больших исторических событий, человеку бывает дано воочию увидеть, ощутить великолепные плоды его многолетней работы. Тогда он преисполняется уважением к самому себе, к своему труду, к тем, кто делил с ним этот труд. Мы смогли! Мы сделали!

— А Дмитрий Петрович теперь, наверно, голову ломает, как будет цех на новом месте пускать, — улыбнулся Алёша.

С Тарасова сразу сошла задумчивость. Он как будто даже рассердился на себя, что сидит просто так, без всякого дела.

— Ворониң-то пустит, — сказал он уверенно, — а вот ты, Алёша, давай готовься. Редактор уехал. Потом, как начальство решит, а пока я нашу печать, так сказать, тебе вручаю. Надо скорее стенновки выпустить. Вы не думайте, товарищи, — уже к обоим обратился он, — что мы с вами сейчас отдыхать будем! Заводу скоро спустят программу, и немалую... И вы работайте, — сказал Тарасов Савицкому. — Вы ж тоже писатель. Берите характеристику в партийной организации и работайте.

— Ну, а как же всё-таки будет, товарищ Тарасов, как вы думаете? — нетерпеливо спросил Алёша. Ему хотелось подольше поговорить с Тарасовым. Очень уж опостылела эта непривычная на заводе тишина.

Несмотря на всю неопределённость вопроса, Тарасов понял Алёшу.

— А я думаю, так будет, — не сразу ответил он. — До войны таких, как наш завод, было несколько, а после войны их будет втрое больше. Поработать придётся. Работы много будет. Восстановить всё разрушенное, и не просто восстановить, а сделать лучше, чем раньше. Это много сил потребует. Но ведь есть, на что силы тратить! — мечтательно и гордо сказал Тарасов. — Вы подумайте только: из скольких стран люди будут с благодарностью смотреть на нас, потому что мы не только себя, мы их освободим!.. И напишете вы, ребята, замечательные книги, — неожиданно улыбнулся он. — Напишете о нашем заводе, о наших необыкновенных людях. Вот так-то, дорогие мои!

Тарасов долго ещё разговаривал с Алёшей и Борисом. Алёша внёс ему партвзносы. Сергей Николаевич долго дышал на застывшую печать и посоветовал сменить обложку партбилета — очень уж износилась.

Алёша с нежностью погладил шершавый кусочек картона, когда Тарасов ушёл.

— Понимаешь, Борис, мне жалко её менять. У моего партбилета будет ещё много обложек, но такой больше не будет. Это моя самая первая обложка. Я до сих пор помню, с какой радостью я шёл её покупать. Шёл и воображал: подойду, спрошу у продавщицы обложку для партбилета. Она посмотрит и подумает: «Ого! Уже член партии». А она, как дура, сунула мне обложку и, наверно, ничего не подумала.

Алёша и Савицкий вместе поехали в город. Савицкий отправился в институт — получать характеристику. А Алёше захотелось просто посмотреть Москву.

Они попрощались наскоро, рассчитывая встретиться через день или через два. Савицкий уже думал только о том, как они вместе будут работать в газете, и с дружеской нежностью смотрел вслед Алёше, которого, сойдя у Каменного моста, медленно пошёл по набережной, всё ещё больше похожий на подростка, чем на мужчину.

Алёша тоже думал о заводской газете, о том, что уже не боится братья за такое большое дело, что «Известия» напечатали несколько его очерков, и сейчас у него в кармане лежит записка, которая тоже наверняка пойдёт. Он уже кое-что умеет, кое-чему научился...

Алёша набрал полную грудь морозного жёсткого воздуха. Сейчас он посмотрит Кремль — он давно не видел Кремля, — потом пойдёт по Красной площади мимо мавзолея. Пусть мавзолей закрыт досками, он всё равно увидит густой багрянец его гранита, и серебряные ели увидит, и Кремлёвскую стену. Потом он оглянется на витые пухлые купола Василия Блаженного, на Минина, протянувшего над площадью руку. Поднимется по широкой, как река, улице Горького. Куда захочет, туда и пойдёт. Это — Москва, его родной город..

Поднявшись к проезду Художественного театра, Алёша увидел, что во дворе дома с большим магазином собирается народ. Привезли сливочное масло. Время ещё было. Алёша поднял воротник и встал в очередь.

Глава тринадцатая

Кира отбирала истории болезней для перевязочной. Она всегда присутствовала на перевязках своих больных и, если разрешали, сама их делала.

Кира никому больше не говорила, что ждёт повестку из военкомата, и поэтому старается как можно чаще работать в перевязочной. В конце концов это смешно, когда человек пять месяцев повторяет, что идёт на фронт, а сам — ни с места.

Откладывая в сторону одну историю болезни, Кира хотела сдерживать улыбку, но не смогла и сконфузилась под вопросительным взглядом Анны Ивановны.

— Эту бабушку вчера только привезли. Закрытый перелом голени. Ей положили гипс, — сказала Кира.

— Пока не вижу причин для смеха.

— А вы посмотрите, какой анамнез.

«Анамнез — история заболевания. Зять спустил с лестницы», — надев очки, прочла Анна Ивановна и глубоко вздохнула: — Какая пропасть лежит между зрелыми людьми и этими двадцатилетними птенцами, которых всё смешит. Подумать только: судьба России решается — и в такие дни какой-то дурак спускает с лестницы тещу!

— Не вижу тут ничего весёлого! — веско повторила Анна Ивановна. Но вдруг, густо покраснев, она торопливо сняла и спрятала очки, руки её сами потянулись к жиденьким куделькам, свисавшим из-под косынки, к воротничку.

К столику подошёл Василий Иванович Бобриков, в халате внакидку, с двумя маленькими цветочными горшками в руке. В горшках росли хрупкие, похожие на крошечные ёлочки, аспарагусы.

Спросив разрешение, Бобриков осторожно поставил горшки на край столика, предварительно обтерев своей широкой ладонью их маленькие донца, и сел на диван.

— Ничего другого в магазине нет, — пояснил Бобриков, — да оно и понятно. Какие сейчас могут быть цветы? Эти-то насилу донёс, чуть не поморозил. А где Надя?

— Её нет, спит...

— Вот и хорошо, — вздохнул Бобриков, кутаясь в халат, как будто им можно было согреться, — я ведь, собственно, к вам, Анна Ивановна.

Кира тотчас вспомнила, что у неё дело в палате, но, зайдя за полуоткрытую дверь, остановилась и прислушалась.

— Не знаю только, как начать, — ещё раз вздохнул Бобриков.

Анна Ивановна с ужасом почувствовала, что кровь прилила к её щекам. Она смотрела на аспарагусы, прилагая все усилия, чтобы не покраснеть, как девчонка. Бобриков, не замечая ничего, тоже глядел на аспарагусы.

— А как вы думаете, ведь не всем же любить только молодых? — вдруг громко, видимо решившись, сказал он. — Ведь можно же и пожилых любить, какое ваше мнение?

Он с надеждой глядел на Анну Ивановну.

Анна Ивановна почувствовала, как замерло в ней сердце. Как бесконечно долго ждала она таких слов! Неужели это правда: нужно очень упорно ждать и верить, и ты дождёшься?

Она услышала откуда-то издалека свой, кажется, дрожащий голос:

— Мне кажется, можно любить и пожилых...

— А уж я бы на руках носил её, Анна Ивановна! — тотчас воскликнул Бобриков. — Ведь деревня её — у фашистов. Может, ей после войны и вернуться некуда будет. Ведь я и сам на войне был. Знаю, что ей досталось пережить. Другой, может, её так, как я, и не поймёт... Мне она только заикнулась, что кому-то из её больных цветочков захотелось, я пол-Москвы обегал, а нашёл...

— Я передам Наде цветы, Василий Иванович! — вымолвила, наконец, Анна Ивановна. Она была теперь очень бледна. И голос у неё был такой, что Кира быстрыми шагами, словно бы за делом, подбежала к столу.

Бобриков, вздохнув, отошёл к окну. Молча достав из кармана халата маленькое зеркальце, Анна Ивановна несколько секунд рассматривала своё одутловатое лицо. Потом, посплюнув угол платка, она медленным движением стёрла краску с реденьких бровок и губ.

В эту минуту санитарка терапевтического отделения крикнула, пробегаая мимо них:

— Доктор Агеев уезжает!

Анна Ивановна вздрогнула, как разбуженная, и тут только заметила Киру.

— Ничего не понимаю... Госпиталь, что ли, эвакуируется? Может, уже собирать отделение нужно? Скажи толком! — крикнула она вслед убежавшей санитарке.

Бобриков обернулся, покачал головой:

— Нет, нет, Анна Ивановна! Я просто вас огорчать не хотел. Доктор Агеев — один. Не госпиталь, а доктор Агеев один уезжает.

— Доктор Агеев один уезжает? — раздельно повторила Анна Ивановна.

Бобриков вздохнул, увидел укоряющие Кирины глаза, повернулся и на цыпочках, скрипя тяжёлыми сапогами, пошёл к лестнице.

— Кира, — тяжело дыша, попросила Анна Ивановна. — Пойди узнай, что там происходит.

Кира взглянула на неё, вздохнула и побежала вниз, мучаясь сложным чувством жалости и горечи: трудно оправдать многое, но и осудить не так-то легко.

Дверь в домик Агеева была распахнута. Кира увидела Ладейщикова и страшно смутилась — может быть, санитарка наврала? Но, как видно, слух оказался верным. Агеев, потный и бледный, торопливо и неумело обвязывал верёвками нескладные узлы. Пальто его лежало на чемоданах.

Кире невольно пришло в голову: как в такой маленькой комнате могло уместиться столько вещей?

Ни Ладейщиков, ни Агеев не обратили на неё никакого внимания. Опершись на аккуратную, специально для Агеева поставленную печурку, Ладейщиков молча с горечью смотрел куда-то мимо главного хирурга.

— Мы потеряем не мало сил, пока они вступят в войну, — задыхаясь, говорил Агеев.

— Без них выстоим, победим и придём в Берлин! А они вступят в войну, как только окончательно убедятся в нашей силе, — сказал Ладейщиков.

Агеев с трудом поднял и вынес на крыльцо узел. В домик нерешительно заглянули и вошли ещё кое-кто из медперсонала.

— Есть смелость, граничащая с безрассудством, молодой человек, а безрассудство — почти глупость! — сказал Ладейщикова Агеев.

— Есть рассудительность, граничащая с трусостью, а трусость — почти предательство, — тихо ответил Ладейщиков.

Агеев унаковывал вещи молча, с ожесточением, словно люди, с которыми он проработал много лет, казались теперь ему враждебной стихией, готовой сомкнуться и поглотить его и все его узлы.

Ладейщиков вдруг, резким движением оторвавшись от печки, быстрыми шагами вышел из домика, и все, кто пришёл к Агееву, вышли вслед за ним.

Войдя в больницу, Ладейщиков вызвал Бобрикова и приказал как можно скорее подать доктору Агееву машину.

— Зачем вы о нём заботитесь? — возмутилась Кира, когда Бюбриков вышел. — Вы простите меня, но это совершенно излишняя заботливость.

Ладейщиков пожал плечами:

— Я совсем не о нём забочусь. Я забочусь, чтобы бациллы паники в больнице не было.

Агеев уехал, ни с кем не простившись.

Как по уговору, никто в госпитале о нём больше не вспоминал.

К вечеру, сдав дежурство, Кира выглянула в сад. Дед Фёдор выметал с тропинки, ведущей к домику, бумажки и сор.

Дул морозный ветер, подхватывая бумажки и унося их в глубь сада. Сунув руки подмышки, Кира подбежала к деду Фёдору.

— Доктор Агеев уехал, — сказала Кира.

— Ну и что?

— А ты был в городе, дед Фёдор?

— Был.

— Ну как там?

— Ничего, как всегда.

— А немцы близко.

— Ну и что?

— Трудно с тобой разговаривать, дед Фёдор! — рассердилась Кира.

— Немец близко, — не слушая её, повторил дед Фёдор. — Пусть ещё поближе подойдёт, мы ему выбьем, откуда следует, дно. Мой сын да тыщи таких, как он, сюда фашистов не допустят, вот что! Поняла?

Дед положил лопату на плечо, как винтовку, и ушёл, мелькая босой пяткой в дырявом валенке.

Ветер глухо завывал, в саду скрипели деревья. Кира вспомнила: уже несколько дней не было тревог, и ползут слухи, что немцы готовят особенный налёт седьмого ноября.

Слухи эти никого не пугали. Все привыкли. Не страшно. Обидно только — могут испортить праздник.

«А какими чудесными бывали эти дни! Какая прекрасная была жизнь! Сколько веселья, сколько свободы!» — вспоминала Кира. Она замотала головой, зажмурилась, глотая слёзы, и побсжала в палату.

Однажды Кире удалось навестить отца. Алёша бывал в Лосинке чаще и рассказывал Кире о житье-бытье Максима Лаврентьевича, но всё-таки она была поражена, убедившись, как усовершенствовал Максим Лаврентьевич оборону своей дачи.

На чердаке, в комнатах у стен стояли ящики с песком. Под берёзами был вырыт окопчик, а подалее от дома оборудован даже небольшой блиндаж с трубой и изготовленной из ведра маленькой печкой.

— Это — на случай катастрофы с домом! — с гордостью сказал Максим Лаврентьевич.

Он с таким жаром рассказывал об удобствах и безопасности своего блиндажа, что Кира не выдержала и рассмеялась.

— Если разбомбят дом, папа, я не знаю, будешь ты горевать или радоваться.

— Не говори глупостей, Киралина! В этом доме умерла твоя мать!

Когда Кира уходила, Максим Лаврентьевич ещё раз повёл её в сад к ивам, на то самое место, где они с Григорием жгли когда-то костёр. Как давно это было! Ещё в мирное время...

— Вот здесь я зарыл все Алёшины рукописи, — Максим Лаврентьевич показал на аккуратно заровненную землю. — Это опять-таки на случай катастрофы с домом. А тебе я говорю об этом, потому что мало ли что... ведь и со мной может что-нибудь...

— Нет, папа, не может! — Кира прижалась к отцу. — Ну, с чего это ты?..

— Кирик... — Максим Лаврентьевич обнял её. Ну что мог он ей сказать? Как мог он обещать, что смерть, пришедшая уже во многие, многие семьи, не постучит и к ним в дверь? Он только мог молить судьбу, чтоб из них четверых, уж если суждено было погибнуть, так именно ему, а не им — молодым.

Уже у калитки Максим Лаврентьевич спросил Киру, не было ли ещё писем от Григория Константиновича. Писем пока не было.

— Ну, будут ещё. Так ты смотри, передай Алексею, что бумаги его в полном порядке. Я пронумеровал их и составил опись...

Но дача Максима Лаврентьевича уцелела. Сгорел от зажигалки маленький домик по их же улице. Жертв, по счастью, не было, успели даже вынести все носильные и мелкие вещи. Но мать и двое детей остались без крова.

После эвакуации древнехранилища Максим Лаврентьевич, не пожелавший эвакуироваться вместе с ним, устроился работать секретарём в Горсовет. Приняли его с радостью — время трудное, людей нехватало.

Максим Лаврентьевич с жаром принялся приводить в порядок архив Горсовета. Строго говоря, архива не было, были только папки с делами, но он считал, что каждая бумажка, написанная в такое время в Москве, впоследствии будет представлять интерес для историков. Кроме того, он вообще любил порядок.

Но вскоре от документов Максим Лаврентьевич перешёл к общению с великим множеством людей, приходивших в Горсовет со всеми своими нуждами. Председатель Горсовета даже удивился, видя, с какой энергией ходил он по квартирам фронтовиков, хлопотал о ремонте, об ордерах на дрова, о дополнительном питании для детей. Максим Лаврентьевич просиживал в Горсовете с утра до вечера и за какие-нибудь две недели узнал людей, живущих рядом с ним, лучше, чем за все предыдущие годы. И его узнали.

Приходя домой только ночевать, Максим Лаврентьевич каждый вечер испытывал неприятное чувство — очень уж пусто и тихо было в доме. Он утешал себя мыслью, что дом в полном порядке и ждёт детей. Кончится война, и они вернутся сюда, как скворцы в скворечню.

Но когда, возвращаясь с работы, он увидел толпу, обгорелые брёвна на месте знакомого домика и плачущую женщину с детьми, он даже не подумал, что Горсовет, наверное, уже принимает меры, чтобы обеспечить пострадавших жильём. Он просто взял женщину, ребят и привёл к себе на дачу.

Максим Лаврентьевич таскал узлы, беспокоился, сыты ли дети, и сам вызвался сходить за хлебом.

— Вам нельзя идти! Вы ещё слишком потрясены. Только, пожалуйста, я убедительно прошу вас не стесняться, — уходя, уговаривал он за-

плакannую женщину — мать двух мальчиков, десяти и двенадцати лет, отец которых был на фронте. — Это ваш дом. Вы можете располагаться здесь так, как найдёте нужным.

Из всего дома жилой была теперь только комната Максима Лаврентьевича, другие не отапливались — приходилось экономить дрова.

Когда он вернулся с хлебом, мальчики уже спали.

— Вы не рассердитесь? — с тревогой спросила мать. — Я уложила их на вашей кровати, а вам постелила на диванчике. Завтра я сколочу им топчан.

— Нет, что вы, что вы! — зашептал Максим Лаврентьевич, на цыпочках подходя к кровати.

И как же тепло стало ему, когда он увидел на своей кровати двух спящих ребятшек! Как будто вернулось то счастливое время, когда маленькие Кира и Алёша всегда были с ним и дом не знал удручающей тишины.

Наверно, по лицу его мать поняла, что он не сердится, и обрадованно позвала его пить чай. Уголок письменного стола был накрыт скатертью, поставлены незнакомые чашки, сахар на блюдечке.

— Это детям! — решительно отставил сахар Максим Лаврентьевич.

И они стали пить чай с хлебом.

Женщина рассказывала ему о своём муже, а он с гордостью сообщил ей, что в Москве в госпитале лежит раненый из части, которой командует его сын.

— Григорий хорошо командует. Бойцы его любят. И, вы знаете, он вывел свою часть из окружения! — счастливо улыбался Максим Лаврентьевич, как будто это было последнее окружение, в которое мог попасть Григорий на войне.

Он укрыл детей поверх одеяла своим пальто, а сам улёгся на маленьком диванчике, подумав, что давно уже не засыпал с таким чувством полного удовлетворения, — не один он в этих стенах. Брешь заполнилась.

Возвращаясь из Лосинки, Кира внимательно разглядывала московские улицы, дома, людей. Столько идёт разговоров, а какая же в самом деле стала Москва?

Странно заметны теперь стали мелочи. В троллейбусе, несмотря на тесноту, пассажиры держались подчёркнуто миролюбиво, внимательно, даже сердечно обращаясь друг к другу, будто в машине ехала одна дружная семья.

Молоденькая женщина с рюкзаком за плечами предложила старику:

— Дайте-ка я подержу вашу корзину. У меня руки свободны.

Старушка у окна расспрашивала сидящего рядом мальчика, куда он едет, где его мать. Высокий мужчина дремал, опустив голову на плечо соседа. Сосед покосился на него, увидел, что глаза человека закрыты, и стоял тихо, не мешая ему спать. Понятное дело! Кто же высыпался в ту осень в Москве?

На Новинском бульваре Кира заметила разрушенный дом. Судя по закопчённым развалинам, это был старинный особнячок: сохранилось несколько облупленных колонн, уцелел и жёсткий веничек антенны.

Может быть, он видел Пушкина, этот старинный русский дом? Много хороших свободолюбивых слов говорилось в нём, и не одно поколение русских людей выросло в его стенах. И вот дом пал. Пал, как солдат на переднем крае. Казалось, соседи — сильные молодые дома — сейчас сдвинутся могучими плечами и заполнят в строю место погибшего товарища.

Но этот погибший дом потому, может быть, и запомнился Кире, что развалин в городе было совсем немного. На бульварах под облепившими деревьями мирно дремали серебряные туши аэростатов. Возле них что-то делали девушки, на которых Кира смотрела с завистью и уважением, — они уже надели военную форму.

Конечно, ей не хотелось бы служить в армии на московском бульваре, но всё-таки эти девушки — уже в форме... Говорят, в сильный ветер поднять аэростат не так-то просто. В самих аэростатах, когда красноармейцы проводят их по городу, есть что-то от добродушных и малоподвижных на вид, грозных боевых слонов.

Кира смотрела в окно троллейбуса на московские улицы. Она чувствовала: не одна она, все москвичи, да и не только москвичи, весь советский народ в эти тяжёлые дни испытывал тревогу за свою столицу. Ей захотелось сказать Москве, как любимому другу: «Потерпи немного, скоро пройдёт это страшное время. А потом мы отстроим тебя, Москва, нарядим лучше, чем прежде. Насколько ближе, насколько дороже стала ты нам за последние месяцы!»

Говорили, что на окраинах выстроены баррикады, но центр был чисто выметен и просторен. Непривычно бросались в глаза большие здания, раскрашенные под разноцветные домики.

На площади Свердлова Кира сошла с троллейбуса. Здесь она впервые увидела сбитые фашистские самолёты. Сердце в ней дрогнуло от торжества и гадливости: так вот они какие! Выйдя из потока прохожих, она медленно подошла поближе.

Ослепшие крылатые гадины врылись в асфальт, беспомощно расплаив широкие крылья. Грязнозелёные, с пауками свастик, они напоминали уродливых пресмыкающихся, земноводных, которым положено шевелиться в тине... А они взлетели в чужое просторное небо — и разбились! И остались коченеть на морозном ветру, безобразные, но уже безвредные.

У Ильинских ворот Кира не успела сесть в трамвай — объявили тревогу. Люди, не торопясь, отошли под защиту домов, дома приняли их в подвалы. Кира машинально слушала, как бьют зенитки. Один удар, показалось ей, был сильнее других. Стоявший рядом мужчина с тревогой покачал головой:

— Сбросил, паразит.

Объявили отбой. Девушка-вагоновожатая, чуть не плача возилась с заартачившимся мотором, пассажиры ругались, приближался комендантский час.

Несколько человек и с ними Кира побежали к перекрёстку, оглядываясь, чтоб вскочить на ходу, если трамвай пойдёт. Пожилая полная женщина тотчас задохнулась и отстала. Кира подхватила её под руку, и женщина, не будучи в состоянии вымолвить слово, только благодарно покивала головой.

Нагнавший их грузовик затормозил неожиданно. Распахнув дверь кабины, шофёр в ватнике и шапке со звёздочкой весело крикнул:

— Эй вы, нестроевые! Прыгайте в кузов! Подброшу чуток.

Обрадовавшись, как дети, люди неумело полезли в кузов. Полную даму мужчины втащили за руки. От рывка машины все попадали на брезент и железные бочки и разместились, наконец, улыбаясь друг другу.

— А верно говорят, что парад в этом году всё-таки будет? — спросил какой-то гражданин.

— Будет! — уверенно ответил кто-то.

Стемнело. Уже нельзя было рассмотреть лица.

— Будет парад. И Сталин говорить будет.

— Опасно ведь, — с искренней тревогой сказала вдруг полная женщина, сидевшая рядом с Кируй. — Вообще бы лучше ему всё-таки в Москве не быть.

Все с готовностью согласились, что, конечно, опасно и правильное было бы ему здесь не быть, но все чувствовали: по-настоящему правильно то, что есть, иначе быть не может, и какое счастье, что сейчас, в такие дни Сталин — рядом.

Когда под светофором у Таганки шофёр затормозил, Кира полезла за борт, чувствуя неловкость: не принято прощаться с чужими людьми, но разве эти люди ей чужие?

— До свиданья, товарищи! — сказала она робко, боясь, что никто ей не ответит. А ей ответили все.

Анна Ивановна расспросила Киру об отце, поворчала на долгое её отсутствие, но больше — для порядка. «Ведь за три месяца первый раз девочка отдыхает. С утра до поздней ночи — в палатах». Она отослала Киру отдыхать. Нужно будет, позовут. В городе сегодня одна бомба упала. Где-то в центре. Кажется, раненые есть.

В комнате Кира первым делом включила репродуктор — исправен ли? — как будто уже завтра надо было слушать трансляцию парада. Потом разделась, легла на койку, подложив руки под голову. О параде нужно будет написать Григорию. Как только она получит его новый адрес. В последнем письме Григорий писал, что они идут на формирование. Какое счастье, что он жив, что такой умелый командир. Подумать только — Васю могли увезти в другой госпиталь, и Кира ничего бы не узнала.

По радио передавали «Рассвет на Москве-реке». Спят подмосковные поля, медленно светлеет небо, и над рекой, дряжа, дымится утренний туман...

— Кира! — Анна Ивановна, вбежав, упала на стул, жалобно скрипнувший под её рыхлым телом. — Кирочка! Там... — Анна Ивановна показала пальцем на пол, вниз. — Там Алёша..

Увидев лицо Анны Ивановны, Кира медленно поднялась с койки.

— Ранен?

— Пойдём, — Анна Ивановна глубоко вздохнула и, выпрямившись, первая пошла из комнаты. — Он внизу.

Второй этаж... Первый... Она идёт ещё ниже. С каждой ступенькой всё труднее идти.

Не в операционной, не в перевязочной, даже не в приёмном покое... В мертвецкой, где сёстрам уже нечего было делать, Анна Ивановна подвела Киру к столу и, наклонившись, бережно отвернула простыню, словно тому, кто лежал под ней, ещё можно было сделать больно.

«Какие длинные у него руки...» — почему-то мелькнула мысль. Но не руки были длинные, не было ног. Бинты, задубевшие красные и мягкие белые, кое-как окутывали нижнюю половину квадратного туловища. Тот, кто оказывал первую помощь, сразу увидел, что она бесполезна.

— Он здесь умер? — прошептала Кира.

— Нет. Привезли уже мёртвым.

С трудом поборов охвативший её ужас, Кира решила, наконец, взглянуть на лицо. И чем больше смотрела она, тем скорее сматывание и панический страх, охватившие её в первую минуту, уступали место живому человеческому горю. Силой любви стиралась с мёртвого лица печать окоченения, отвратительная всему живому, и проступали родные милые Алёшины черты. Кто-то — спасибо ему! — закрыл Алёше глаза. Какие гладенькие и нежные у него веки!

— Пойдём! — почти строго сказала Анна Ивановна, взглянув на Киру.

Как показалось Кире, безжалостно, а на самом деле так же бережно она покрыла простынёй Алёшино лицо и, крепко взяв за руку, повела Киру из подвала. Кира оглянулась. Как жутко оставлять Алёшу в этом подвале одного.

Где бы она этим вечером ни была, что бы ни делала, она не могла перестать думать, что Алёше одному холодно и страшно в сводчатом подвале. После отбоя она даже спустилась вниз. Не решилась войти, но долго простояла у двери. Если б сумела она, если б могла дать почувствовать Алёше, что он не один, что она тут, совсем близко, рядом!

Весь вечер Кира не плакала. Только ночью, когда потушили свет, вскочила с постели, дрожа, забилась под одеяло к Анне Ивановне. И обе они заплакали, неудобно и тесно прижавшись друг к другу.

Утром Кира разбирала Алёшины документы — Анна Ивановна принесла их наверх.

Алёшу уже увезли.

Вот его бумаги, те, что он носил в нагрудных карманах своей гимнастёрки, самые ценные. Только они и уцелели. Толстая книжка. Та самая, в которую он всё записывал.

Вот сшитые ниточкой газетные вырезки — его очерки. Он очень ими гордился и, наверно, любил перечитывать их. Ведь он только-только начал печататься. Он всё хотел послать их Григорию, как только узнает новый адрес.

Вырезки Кира спрятала в стол. Листок с какими-то заметками и книжку отложила в сторону: надо передать Савицкому. Они вместе учились, дружили. Может быть, тут есть что-нибудь, что он сможет за Алёшу доделать.

А вот Алёшин партийный билет. Она осторожно взяла обеими руками картонную обложку с тремя большими буквами, четвёртая маленькая в скобках. Бережно вынимая уголки, Кира освободила партбилет, а обложку завернула в чистый платок и спрятала на самое дно своего вещевого фронтального мешка, который всегда лежал в тумбочке.

Глава четырнадцатая

Входя в квартиру, Виктор осторожно закрыл дверь. Прежде он никак не мог отучиться громко хлопать дверью, но теперь так неприятен был всякий шум в опустелых, словно бы нежилых комнатах.

Как умел, Виктор прибрал квартиру после отъезда стариков. Он очень старался, чтобы дома всё было в порядке, «как при маме», но, конечно, это была не мамина уборка.

Первые дни после отъезда родителей Виктор приходил домой только ночевать, даже чай пить вечером ходил к Павлу Гавриловичу. Но на погрузке старик простудился, слёг и, кажется, надолго.

— Нельзя же беспокоить больного каждый день, — так сказал Виктор Кате.

Но от себя он не мог, да и не хотел скрывать, что не только в болезни Павла Гавриловича дело. Ну, посидел бы Виктор тихонько, может быть, даже помог чем-нибудь — в аптеку, что ли, сбегал бы.

По-настоящему дело было в том, что и в жару Павел Гаврилович настойчиво расспрашивал о цехе. А как ему скажешь, что цех еле-еле тащит программу, красное знамя давно отдали сборке...

«Но ведь есть извиняющие обстоятельства, — пробовал возразить сам себе Виктор. — Начальник цеха — новый человек, программа большая, у многих станков стоят ремесленники, совсем ребяташки, а в сборке теперь сухой конвейер...»

Но все эти возражения разбивались одним-единственным вопросом,

который Виктор больше всего на свете боялся услышать: «А ты? Ведь ты — не новый, как начальник, и не мальчишка, как ремесленники. У тебя-то самого всё ли в порядке?..»

— Что я ему отвечу? — громко сказал Виктор, и слова его гулко отдались в пустых комнатах. Он с неприязнью посмотрел на себя в зеркало — худой, старый какой-то стал — и, как был — в телогрейке, не лёг, а свалился на постель; всё-таки одиннадцать часов проработать не то, что восемь.

Да, завод уже дышит. Ещё неполной грудью, конечно, даже не все цехи ещё работают. Но работают!

А какое смятение охватило Виктора в тот день, когда он впервые услышал об эвакуации и бросился к Тарасову!.. «И вот прошло так немного, в сущности, времени, а наши, говорят, уже добрались до места, и здесь в Москве уже получена программа».

День, когда в цехе стали заделывать проломы, запомнился Виктору, как праздник. Они с Катюшей сточили и, молча улыбаясь, смотрели, как латают строители раненые стены. В цехе было ещё холодно, но Виктору казалось, что это уже какой-то другой, убывающий холод. Он сказал об этом Кате, и она понимающе кивнула:

— Конечно! А разве ты не замечал? Вон ветер, как будто всегда один, а весной и осенью у него разные голоса бывают.

Когда начали работать, начальник цеха сам подошёл к Виктору и сказал, что знает про его рекорд. Да не только начальник, ребяташки из ремесленного знали про этот рекорд.

Понятное дело, Виктор сам вызвался работать на трудном участке — в производство запустили новую деталь, кому же, как не Куприну, передовику, браться за это дело?

Но обыкновенный, знакомый ещё по ремесленному училищу полуавтомат вдруг стал удивительно неподатлив, когда через него во что бы то ни стало нужно было пропускать определённое — правда, немалое — количество новых, совершенно незнакомых Виктору деталей. И деталька-то небольшая. Детали, на которых Виктор свой первый рекорд поставил, те хоть силы требовали. Там уж Виктору было где развернуться. А здесь и сила не нужна.

Виктор мучился от мысли, преследовавшей его последние дни: а что, если и первый свой рекорд поставил он не потому, что лучше других знал станок и хотя бы в какой-то мере овладел сложным, многогранным мастерством токаря, а лишь благодаря своей физической выносливости?

Он решил сказать об этом Кате. Катя задумалась на минуту, но тут же неизменные ямочки показали на её щеках.

— Нет, это не так! — сказала Катя. — Если бы это было так, никто не мог бы повторить твоего рекорда. А ведь к нему подошли потом очень близко. Значит, ты нашёл что-то для всех полезное.

А вот теперь уже скоро месяц, как он не мог придумать ничего полезного. В такое время — месяц! Это же год! Да какой там год! Разве количеством дней измеряется сейчас время? Количеством смертей, числом подвигов. Сколько людей, самых хороших людей погибло за это время, защищая Москву, завод и его — Виктора!

Сегодня утром, как следует выспавшись, Виктор пошёл в цех с твёрдым намерением чего-нибудь добиться. Подойдя к станку, он поглядел на своего соседа — подростка лет пятнадцати-шестнадцати, из ремесленного. Паренёк недавно пришёл на завод. Станок был высок для него. Поставили ящик. Паренёк работал, стоя на нём. Мальчик ещё не выполнял нормы. Никто ему, конечно, и слова упрёка не сказал, но сам он старался, как видно, изо всех сил.

Несмотря на более чем прохладную температуру в цехе, на длинном носу мальчика висела капля пота. Он боялся хотя бы на минуту оторвать руки от станка.

Но он всегда урывал мгновение и первый вежливо здоровался с Виктором. С каким уважением смотрел он на своего взрослого соседа — настоящий токарь! Стахановец! В газетах писали!

Пустив станок, Виктор поймал короткий пытливый взгляд паренька. Тот пытался уловить каждое движение Виктора — очевидно поставил себе целью разгадать секрет мастерства.

Всё время чувствуя на себе этот ожидающий взгляд, Виктор затопился жазать пневматическим патроном поковку, но кольцо, как на зло, становилось в патрон с перекосом. Паренёк бы не заметил перекоса, но Виктор-то видел!

Он стиснул горячее кольцо, словно ему можно было сделать больно, и положил на контрольный прибор. Стрелке бы замереть, а она колеблется, а время идёт...

Виктор почти физически ощущал неповоротливость всей этой операции. Он ничего не мог поделаться. Все одиннадцать рабочих часов он только торопился, торопился и боялся, как бы не скатиться к ста процентам — вот и всё.

Подошла браковщица-учётчица. Заглянув через плечо, Виктор опять увидел против своей фамилии обидно маленькую цифру. Взглянув на эту же цифру, мальчик-токарь вздохнул и торопливо схватил следующую поковку. Виктор чуть не крикнул ему: «Дружок, это хорошо, что ты спешешь, но не завидуй ты мне! Нет у меня никакого секрета, да и мастерства, кажется, маловато... Всему, что я делаю, ты выучишься, а вот я что-то сбавил обороты...»

И вернувшись после работы в свою пустую квартиру, Виктор никак не мог отделаться от гнетущей мысли: эти несчастные сто семь процентов — его потолок. Выше не прыгнуть! Какой позор в такое время работать вполсилы — для того ли держат его здесь? Может, на фронте он бы по два фашистских танка в день подрывал...

Конечно, самое правильное лечь спать, но Виктор не мог больше оставаться один в пустой квартире. Подавленный, не отдохнувший, он пошёл к Кате. Чтоб не попадаться на глаза Павлу Гавриловичу, попросил соседку вызвать её, а сам остался ждаться внизу, у парадного.

Морозило. По сухой земле крутилась колкая позёмка. Ветер сердито распахнул Виктору ватник и обшарил его ледяными ладонями. «Как-то мама? — вспомнил Виктор. — Говорят, там ветры, а она ведь зябкая...»

Катюша сбежала с лестницы в ватнике и в платке, наверно так она и сидела дома: топили неважно. В тусклом свете маскировочной лампы он почти не различал её лица и только по голосу чувствовал, что Катюша улыбается.

— Так пойдём же к нам! — потянула она его. — Дядя поправляется. Грозится через недельку на работу выйти. Он тебя звал. Идём!

— Нет, что ты! — испугался Виктор. — Ну, с чем же я к нему? Катюша! — он осторожно взял её за локти. — Пойдём посидим в скверике, что ли. Мы бы поговорили, а?

«Что-то случилось», — сразу поняла Катя.

Конечно, она пошла с ним.

Выйдя из парадного, они остановились перед огромным пустым сквером. Позёмка улеглась, в воздухе появились пушистые белые хлопья, и ветер стал стихать, будто хлопья бесшумно, но настойчиво, вновь и вновь появляясь из тьмы мрачного неба, придавили его к земле.

— Пойдём сюда, — Виктор повёл Катюшу к брошенной будочке сторожа.

Они сели на узенькую скамью чинно, как птицы на жёрдочку. Белый колышущийся занавес отделил их от тёмных домов, и Кате показалось — они одни в своей фанерной коробочке медленно поплыли по густому белому морю.

— Катя, у меня беда, — опустил голову на руки, сказал Виктор. — Сто семь. Выше никак. Да хоть бы на этих ста семи я чувствовал себя уверенно, а то... — Виктор запнулся. — Боюсь, и с них съеду. Сам не знаю, что со мной делается. На этой детали силой не возьмёшь. Придумать надо что-нибудь, а у меня голова, на поверку, слабовата оказалась! Ты, пожалуй, такого и любить не станешь. Ну, за что меня, такого недоумка, любить, а? — попытался пошутить Виктор.

Но Катя не поддержала его вымученной шутки.

«За что его любить? — она улыbnулась в темноте со странным чувством собственного мудрого превосходства. — Какой глупый! Стал бы он сейчас совсем маленьким, пригреть бы его, утешить». Но Виктор был гораздо больше Кати

С трудом поворачиваясь в дядином ватнике, Катя положила руку Виктору на плечо и сказала робко:

— Витя, но ведь это же не так плохо. Ты только постарайся не съезжать к ста. Скоро Павел Гаврилович выйдет. Может быть, вы что-нибудь...

— Ай, Катя! — Виктор нетерпеливо выпрямился. Он ощутил ласковое Катино прикосновение только когда Катя отняла руку и шею стало холодно. Виктор уловил жалость в её голосе и оскорбился. — Как ты не понимаешь? — почти зло проговорил он — Как ты не понимаешь, что в такие дни работать вполсилы — позор, а я чувствую, что работаю вполсилы. Устаю я, как собака, но это не оправдание. Разве не обидно, что в такие дни ты — девчушка — можешь смело смотреть людям в глаза и нисколько не нуждаешься в моей, например, помощи, а я — здоровенный парень — не могу справиться сам... Разве это порядок?

Катя насторожилась. «В самом деле, ему, наверно, обидно. Самолюбивый он...» Девушка вздохнула и твёрдо про себя решила — надо, не надо, она будет просить у него совета, поддержки. Он может быть спокоен! Теперь она всегда будет нуждаться в его помощи.

— Витя, а ты занятия по техминимуму пока отложил? — спросила Катя, чтобы только оборвать холодную паузу.

— Нет, продолжаю! — неожиданно ответил Виктор.

В самом деле, это было единственное, чем он мог похвастать за последние недели, тем более, что заниматься было трудновато: и так времени мало, а тут ещё эти тревоги, в посёлке на время тревог выключали свет — Виктор зажигал в ванной газ и занимался при газе.

— Но не могу же я считать достижением эти занятия! — усмехнулся он. — Не для того же дана мне броня? Нет, видимо, так оно и есть. Я достиг своего потолка, дальше смекалки нехватает, а на одной силушке теперь далеко не уйдёшь. Честнее — добиться отмены брони — и на фронт!

Катя попыталась разглядеть лицо Виктора, но было темно, только профиль его смутно белел на тёмной стене. Какая-то неискренность последних фраз уколола Катю. В конце концов, до этого времени Виктор знал одни удачи. Но ведь так не может быть всегда. Могут встретиться, обязательно встретятся и трудности. Надо иметь терпение, настойчивость, силу — не только в мышцах.

Она так и сказала Виктору.

Он вздрогнул, как от удара. Ему даже жарко стало.

— Ты просто хочешь удержать меня здесь! — сказал он, отчеканив каждое слово.

Он почти ненавидел Катю в эту минуту. Не потому, что считал её неправой. Наоборот, он был целиком согласен с ней. Но ему было очень неприятно, что Катя видит его не мужчиной, принявшим резкое, но разумное решение, а растерявшимся мальчишкой, который испугался трудностей и, вместо того, чтоб обдумать, как их преодолеть, ведёт пустые разговоры.

Его злые, несправедливые слова обидели Катю.

— Нет, Витя, честное слово, нет, — неожиданно тихо сказала она. — Я готова ждать тебя. Ждать можно очень долго. Если любишь... — Она старательно сбрасывала с колен снежные хлопья, а они снова садились на рукава, на юбку. — Смотри, какие упрямые.

— Ты плачешь?

Катя отвернулась. Виктор схватил её за пальцы, за локти, за плечи, обеими ладонями осторожно притянул к себе её лицо. Ресницы были тёплые, мокрые.

— Это снег тает, — прошептала Катя.

— Да. Он солёный. Катюша, ты не думай, я всё понимаю, — тоже почему-то зашептал Виктор. — Я стараюсь и буду стараться изо всех сил. Но ты пойми, я просто не могу вынести, как на меня смотрят эти ребятишки-ремесленники. Они ждут, понимаешь, ждут, что я им помогу, научу. Я чувствую, будто именно я и за этих ребят, и за программу, и за весь тыл в ответе. Я ни о чём другом не могу думать...

Сказав так, Виктор неожиданно для самого себя обнял и крепко поцеловал Катюшу. Её маленький холодный рот согрелся под его губами, и Виктор услышал своё сердце. Оно билось полно, нетерпеливо, как будто крови стало тесно в теле.

Катя шевельнулась. Виктор опомнился и глубоко вдохнул холодный воздух. А руки ещё не опомнились. Потом Виктор отвёл и руки. Выпустил Катю. Огляделся. Всё медленно возвращалось на свои места.

Снег перестал падать. Он покрыл всю землю, и скамейки, и кустарники.

Из мутных глубин неба поднялась луна и медленно поплыла по чёрным разводьям. Там, наверху, ещё дул ветер. Где-то вдалеке послышался глухой грохот. Виктор вспомнил — если подняться на крышу сёрого корпуса, можно увидеть, как холодными белыми вспышками озаряется горизонт, — там идёт битва за Москву.

Катя тоже услышала это, ставшее уже привычным, глухое ворчание. Похоже, огромный зверь, подступивший к самому порогу их дома, рычанием своим напоминал: я здесь ещё!

Зябка засунув руки в рукава, она пристально всматривалась в беловатый сумрак, словно это был не с детства знакомый, родной заводской городок, а незнакомое место, куда мог уже пробиться враг.

Почему-то им неловко было сейчас смотреть друг на друга.

— Пойдём, дорогая! — мягко сказал Виктор, первый поднялся и протянул руки Катюше.

Она была много ниже Виктора и не могла видеть, как Виктор, не отрываясь, смотрел сбоку на её белый платок, на выбившиеся из-под него волосы. Он смотрел и думал: как только кончится война, они обязательно в тот же день поженятся, и Катюша всегда, всегда будет с ним. Как только кончится война. Сейчас нельзя. Все они — и даже эта маленькая Катюша — солдаты. И война сама по себе не кончится. Её надо кончить.

Проводив Катюшу и пожав на прощание её маленькую крепкую руку, Виктор пошёл к себе. На него навалилась такая тупая усталость, что даже тревоги и беспокойства потеряли над ним власть.

Он заснул и проснулся по привычке в семь. В комнате было совсем

темно, но на верхнем этаже уже ходили, и, выглянув в окно, Виктор увидел чёрные тени, непрерывной цепью движущиеся по синеватому снегу, — смена шла на завод.

Виктор не выключал радио К чёрному кругу репродуктора он относился теперь, как к живому дружественному существу, которое и об опасности предупредит, и проспать не даст, и ободрит хорошим словом в трудную минуту.

«.Положение на фронте ухудшилось...» — раздельно, словно бы нарочно не желая преуменьшать опасности, произнёс знакомый голос.

Виктор постоял молча около репродуктора. «Положение ухудшилось... До каких пор может оно ухудшаться?» Словно пробуя, крепки ли ещё руки, он до боли в суставах сжал и разжал в карманах кулаки и пошёл на завод.

Тарасов был в цехе и первый увидел Виктора. Виктор шёл, угрюмо сдвинув густые брови, до последней минуты держа руки в карманах, как будто ему не хотелось и прикасаться к станку. Каким-то совершенно несвойственным ему безрадостным усилием не встал, а поставил себя на своё рабочее место и начал работать, ни на кого не глядя.

Тарасову даже жалко стало его соседа, мальчика из ремесленного, который всё ловил взгляд Виктора, видно хотел с ним поздороваться.

«Что-то у него не так, — подумал Сергей Николаевич. — А что? Родители здоровы. Ночью оттуда человек приехал, говорил. Девушка его в Москве, — Сергей Николаевич вздохнул, подумав уже о себе, о своих личных делах. — Может быть, поссорились? Вот молодость! Усталости в них совершенно незаметно, а неприятности не могут скрыть».

— Что невесёлый? — подошёл Тарасов к Виктору.

Виктор не стал кривить душой.

— Плохо мне, товарищ Тарасов, — сказал он коротко. — С работой не ладится.

Сейчас не было ни времени, ни места для разговоров, и Сергей Николаевич пригласил Виктора сегодня же зайти к нему.

— Только, знаешь, приходи-ка ты ко мне домой, — сказал он. — Устал я от своего кабинета. Великоват он сейчас. Вот развернём работу, тогда будет в нём тесней и уютней.

Сергей Николаевич привык много и напряжённо работать. Пожалуй, без этого он не мог бы жить — как рыба, привыкшая к морским глубинам, не может жить в мелком пруду. Но всё же до войны раз в две или три недели он устраивал себе «выходной». Проводил он его обычно дома, один, или ехал в Третьяковку. Старуха-продащица в киоске галереи хорошо знала Сергея Николаевича — он часто покупал у неё репродукции. Однажды он даже принёс ей «взятку», подшипник на самократ внучку.

Сергей Николаевич отлично знал все залы. Он любил скошенный глаз царственного быка, уносившего на своей могучей спине девочку-Европу. Ему казались несколько театральными пейзажи Куинджи, может быть потому, что он никогда не был на Украине, на юге и понастоящему знал и любил только среднерусскую природу.

Но истинную радость Сергей Николаевич находил в шишкинском «Лесу» и перед репинскими полотнами. Всё здесь было ему знакомо, понятно и нужно.

Повидавшись с картинами, как с друзьями, он возвращался на завод освежённый, словно и впрямь надыхался сосновым воздухом Корабельной роши.

Несколько месяцев войны прошли без «выходных» Третьяковка эвакуировалась, и сегодня Сергей Николаевич хотел просто провести вечер один, написать письмо

«Что ж делать, придётся отложить, — подумал он. — Может быть, завтра выкрою часок и напишу большое, хорошее...»

— Ты знаешь, где я живу? — спросил он Виктора. — В одиннадцатом. Приходи, потолкуем. Что-то ты мне не нравишься.

После работы Виктор хотел было зайти домой вымыться, переодеться, но решил, что это будет слишком долго, и пошёл к Тарасову, как был в спецовке и в ватнике.

Тарасов сам открыл ему и, проведя за руку по тёмному коридору, пустил в свою комнату.

— Сколько ж у вас книг! — ахнул Виктор.

Тарасов улыбнулся, вслед за гостем с удовольствием оглядывая свои полки, почти сплошь закрывшие стены комнаты.

— И картины... — Виктор нерешительно подошёл к стене.

— Это репродукция с картины Репина. Она называется «Не ждали», — пояснил Тарасов. — Это была первая картина, которую ещё в детстве я полюбил. Может быть, потому, что её содержание я прекрасно понимал. Совершенно так же неожиданно вернулся из ссылки мой отец. Его выслали после подавления восстания пятого года. Но она мне и сейчас нравится, — прищурился Сергей Николаевич. — Ты только посмотри, сколько в ней напряжения! Какие лица!

Виктор с каждой минутой всё стеснительнее ощущал свои грязные руки, ботинки и ватник. Он сам не сразу понял, почему вдруг задал Тарасову вопрос:

— А вы раньше в кузнице работали?

Но Сергей Николаевич сразу понял подоплёку вопроса и опять улыбнулся.

— Ведь это же было очень давно. Я думаю, к моим годам ты будешь знать искусство лучше, чем я.

Виктор никак не мог примениться к тому новому Тарасову, с которым сейчас разговаривал. От мягкого освещения, что ли, он казался сейчас гораздо молже, а длинные ряды разноцветных томов подтверждали, что секретарь парткома носит в себе очень многое сверх того, что привык видеть в нём Виктор.

— Ну, рассказывай, что у тебя случилось? — спросил Тарасов поделовому.

Виктору сразу и легче стало и жалко было, что чудесная комната от него как будто отодвинулась.

— Я не справляюсь, товарищ Тарасов, — начал он, глядя на свои крепкие, и всё же пока бессильные руки

Тарасов долго, не перебивая, слушал Виктора.

— Понимаешь, Куприн, — сказал он после того, как оба они помолчали. — Я нахожусь сейчас в довольно затруднительном положении. Ты ждёшь от меня практической помощи и вправе требовать её. А я не токарь и сейчас не могу сказать тебе ничего конкретного. Кроме одного, пожалуй. Я сегодня наблюдал за тобой в цехе. И не как токарь, но как коммунист могу сказать тебе: так работать нельзя. Ты же в панике. Ты потерял всякое управление своими чувствами. В таком состоянии ты ничего не добьёшься. Я не верю в случайные находки, предложения, рождённые по наитию. Человеческая мысль может продуктивно работать, только опираясь на сильную, спокойную волю. Восстанови в себе эту волю — только тогда будет возможно всё остальное.

— И потом, конечно, — Тарасов внимательно посмотрел на Виктора, — надо работать над собой. То, что я скажу сейчас, относится не столько к сегодняшнему моменту, сколько к твоему будущему. Честно говоря, мне не понравилось, что ты так удивился книгам. Ты должен

уже привыкнуть к ним и перестать удивляться такому их количеству — к стати, оно совсем невелико.

— Вот ты считаешься стахановцем, — продолжал Сергей Николаевич, уже не глядя на Виктора. Видно, он думал сейчас не только о нём. — А помнишь, как Сталин характеризует стахановцев? «Это... люди культурные, — подчеркнул он, — и технически подкованные, дающие образцы точности и аккуратности в работе...» А для всего этого, дорогой мой, спокойная воля нужна.

Как видно, Куприну не хотелось уходить. Сергей Николаевич напил его чаем. Они проговорили до поздней ночи. Прощаясь, он обещал Виктору поискать, с кем бы можно было посоветоваться. Он считал, что ничем конкретным не помог человеку, и это его мучило.

Уходя, Виктор с ещё большим теплом и интересом оглядел книги, письменный стол и заметил фотографию молодой девушки с большими глазами.

— Кто это? — спросил он.

— Это? — Тарасов взял со стола фотографию. — Это моя будущая жена. Студентка юридического института. Сейчас она на фронте. Работает следователем, — сказал он быстро, даже сухогато, очевидно не желая дальнейших расспросов.

Представив себе, что они могли бы разлучиться с Катюшей, Виктор не удержался:

— Вы очень скучаете, наверно? — спросил он сочувственно.

— Наверно, — прищурился Тарасов.

Когда гость ушёл, Сергей Николаевич покачал головой и усмехнулся, повторив слова его: «Скучаете, наверно?»

Тарасов ещё не был женат. Слишком запомнилась ему унылая безлюбная семейная жизнь родителей.

Отца его, гужоновского рабочего, женили мальчишкой, потом отправили на войну, а когда он вернулся да пожил, да разобрался, что жена ему не нравится, у них уж сын подрастал.

А не нравилась она ему вся, от жиденького пегого узелка на затылке и до острых коленок. Жили в Москве, в гужоновских казармах, за ситцевой занавеской — для семейных. Жена знала, что не нравится ему, и плакала по ночам нудными тихими слезами. Она всё боялась, как бы муж не ушёл к другой, заранее жаловалась на него соседям по казарме и так опостыдела ему, что и на других женщин ему смотреть не хотелось.

Потом родители, конечно, притерпелись друг к другу. Но как же, наверно, тоскливо бывало отцу, если он, ещё пятнадцатилетнему мальчику, Сереже, не раз говорил:

— Не женись без любви! Любить надо, сынок. Чтоб тебе её на руках через всю жизнь пронести хотелось.

Такая тоска по этой несбывшейся в его жизни любви была в отцовских глазах, что слова эти запомнились Сергею на всю жизнь, и он — красивый парень — дожил до стольких лет холостым. Всё боялся остаться с пустыми руками...

А теперь вот не боится... Скучает ли он? Да когда же? Иногда только кто-то будто крючком зацепит за сердце, потянет, да ещё и усмехается: «Вот, а ты и не знал, дорогой товарищ, как это бывает мучительно!»

Было уже два часа ночи. Сергей Николаевич вспомнил, что так и не подготовил повестки для открытого партийного собрания. Сев в мягкое кресло, он как бы ненароком придвинул к себе фотографию и стал вспоминать всё что мог о тех, кого должны были принимать в партию.

Он так и заснул в кресле. Из гладкой рамки на него, спящего, смотрели любящие, верные большие глаза.

Глава пятнадцатая

Бумаги Алёши Кира повезла на завод. Савицкий ждал её. Она обо всём сказала ему по телефону.

Вот он, этот завод, к которому так привязался Алёша. Как странно, что неподалёку отсюда сохранились остатки пруда, где плакала карамзинская Лиза, и здесь же расстреливали рабочих в пятом году. Алёша мечтал написать книгу обо всём: о Лизе, о расстрелах и о заводе. Как будто это возможно, обо всём сразу!

Савицкий ждал Киру около проходной.

Они давно не виделись. Может быть, благодаря своему полушубку Савицкий показался Кире огромным, и сразу её мысль вернулась к Алёше: насколько Алёша был слабее и тоньше, а что довелось ему испытать? Как будто то, что случилось с Алёшей, не одинаково тяжело и большим и маленьким.

— Кирочка, не надо плакать, — мягко, но настойчиво попросил Савицкий, глядя в заблестевшие Кирины глаза — Пойдёмте. Я приготовил вам пропуск.

— Начинаем пускать все цехи, — на ходу рассказывал он Кире. — Скоро дадим первую партию продукции. Алёша уж заметку начал было писать.

— Я привезла вам конспект этой заметки. Он был у него в кармане, — сказала Кира.

— Это хорошо. Я попробую дописать. Хотя, конечно, у Алёши получилось бы лучше.

Савицкий отвернулся. Несколько шагов они прошли молча, слыша дыхание друг друга.

В редакции Кира аккуратно, как большие ценности, выложила на стол Алёшину книжку, документы, листки. Сев к столу, Савицкий молча смотрел на все эти вещи.

Кире он запомнился молодым, явно застенчивым в её присутствии юношей, который стеснялся единственного, что нравилось ей в нём, — покаленной войной руки.

Теперь за столом сидел мужчина с жёстким, даже жестоким выражением лица, с крупным нахмуренным лбом. Об Алёше он говорил сурово, как о живом. Может быть, это так и нужно. Наверно, на войне приходит к мужчинам это горькое уменье.

Савицкий взял Алёшин партбилет, положил его на большую беспалую ладонь и долго смотрел на него, как на фотографию.

— Значит, он всё-таки хотел сменить обложку, — сказал Савицкий себе, а не Кире.

— Нет. Я взяла её.

— Вы уже вступили в партию?

— Я хочу вступить на фронте.

— Что ж, это правильно.

Первый раз за сегодняшний вечер Савицкий внимательно посмотрел на Киру. Совсем некрасивая, с распухшими от слёз веками, Кира не постарела, но что-то неуловимо изменилось возле глаз, в уголках рта.

— Кирочка, а вы, пожалуй, не пишите пока отцу про Алёшу, — сказал Борис. — Не рассказывайте. Сможете?

— Я так и решила, — кивнула Кира. — Напишу, что Алёша эвакуировался с заводом.

— А от Григория Константиновича давно нет писем?

— Давно. Что вы смотрите так на меня?

— Нет, нет, ничего. — Савицкий быстро стал спрашивать Киру, как ей работается.

Кира рассказывала, но на неё уже пахнуло холодом, как из того подвала, в котором лежал Алёша.

— Нет, вы расскажите мне толком, — настойчиво повторил Савицкий. — А как у вас с подчинёнными, с санитарками?

Кире показалось это странным (зачем ему санитарки?), но она ожилилась. Это действительно очень важный вопрос. Пожалуй, самый трудный для неё. Вот и Ладейщиков говорит, что она головой отвечает за каждую санитарку.

— Конечно, отвечаете, — сказал Савицкий. — За всех, кто ниже вас, вы отвечаете. А те, кто над нами, отвечают за нас. Как в армии.

— Не легко же самым высоким!

— Да, наверно, им очень не легко, — помолчав, согласился Савицкий.

И оба они притихли, почувствовав трепет при мысли, какую исполинскую ответственность может принять на свои плечи один человек.

— Говорят, седьмого он будет выступать на Красной площади, — сказала Кира.

— Да, слышал!

Они широко улыбнулись друг другу.

И оба, поглядев на Алёшины документы, перестали улыбаться. Кире показалось, что визит её затянулся. Да и пора было на дежурство. Она встала. Савицкий проводил её до вахтёра.

— Если можете, подождите немного: вас тут одна девушка хотела видеть. Она в больнице с вами работала.

Но Кира не могла долго ждать, и Катя догнала её только в проходной.

— Ну, как у вас? Что Анна Ивановна? Что твой Григорий пишет? — Катя усадила Киру на подоконник, но не дала ей вымолвить ни слова и торопливо стала рассказывать про сухую сборку, про то, что, пожалуй, если бы не сухая сборка, не видать бы их цеху красного знамени сейчас, когда у сборочных столов — половина новых, неопытных работниц.

Ещё год назад, слушая Катю, Кира поверила бы, что она хоть устала и похудела, но на душе у неё спокойно, а теперь Кира научилась лучше понимать состояние людей.

— Катенька, у тебя ничего не случилось? — осторожно, боясь быть навязчивой, спросила она. Нет ничего хуже излишних расспросов, пока человек сам не изжил ещё своей тревоги. Такие расспросы, как частые перевязки на свежую рану, только вредят.

Но Катя не стала отнекиваться. Оборвав на полуслове свой рассказ, она поглядела Кире прямо в глаза.

— Не знаю, откуда ты узнала, но у меня действительно не всё ладно... Знаешь, и так время всё-таки тяжёлое, а тут ещё у Вити дела на работе плохо идут. Он прямо места себе не находит. А что я могу сделать? Кирочка! — Катя вдруг обрадовалась пришедшей ей в голову мысли. — Ты знаешь, Виктор тебя очень уважает, просто как невесту Сванидзе. Скоро Павел Гаврилович своё рождение справлять будет. Я его попрошу, он позовёт тебя, а ты, как будто ничего не знаешь, расскажи Виктору, что Сванидзе тоже над своими чертежами долго мучился. Может, он и не мучился, а ты скажи, скажи, что без этого редко кто обходится, ладно? — Катя даже порозовела, сжимая Кирины руки и заглядывая ей в глаза. — Скажешь?

И Кира, ласково кивая ей, явственно ощутила, что она уже гораздо старше Кати. Может быть потому, что у неё есть уже две утраты: одна — навечно, другая — временно.

— Какое же рождение теперь, Катенька? — невольно спросила она. Катя усмехнулась.

— Ты не знаешь Павла Гаврилыча! В этот день он обязательно собирает своих старых заводских друзей. В мирное время ему и директор, бывало, звонил, поздравлял, и Тарасов, и все его ученики старые. А сейчас он так сказал: «Чтоб я из-за каких-то паршивых гитлеровцев своей привычкой менял?..» Может быть, и Воронин приедет. Ты знаешь Воронина? Говорят, он только наладит сборку на новом месте и вернётся к нам. Ты со своим братишкой приходи, — уже прощаясь, вспомнила Катюша. — Его Алёшей зовут, да?

Кира отшатнулась, как будто её ударили, — так ясно увидела она себя не в заводской проходной, рядом с живой тёплой Катей, а в холодном подвале у длинного, покрытого простыней стола...

— Звали, Катя... — с трудом выговорила она. — Убили Алёшу.

Пряча глаза, она молча крепко обняла Катю и побежала вниз по лестнице, на улицу. Боялась, как бы Катя не начала расспрашивать.

Неужели наступит время, когда она сможет отвечать на такие расспросы?

В первые дни после смерти Алёши Кире казалось, что она просто не может двигаться, работать, жить. Ведь Алёша и Кира были — одно. Перестала существовать половина, лучшая половина Кирино существова. Кира старалась чаще заходить к Васе Маленькому, говорить с ним. Память о Григории, уверенность в том, что он жив, вернётся и она ему необходима — вот что, казалось Кире, только и поддерживало её в эти полные страшного непрерывного одиночества дни, когда рядом с ней уже не было Алёши.

И вот Алёшину работу будет делать уже другой... Как бы ни была велика рана в живом организме, а клеточки множатся, растут, трудятся неустанно, исправляют, чинят повреждения, и жизнь идёт и будет идти. Как это странно и вместе с тем мудро.

Глава шестнадцатая

— Доктор Ладейщиков при мне сказал монтеру: «Если хоть одна пара наушников у раненых работать не будет — голову сниму», — сдержанно сообщала Кире Анна Ивановна.

Она ещё не привыкла к манере нового ведущего хирурга — Агеев так никогда не говорил. Но Анне Ивановне очень нравилось вмешательство Ладейщикова в самые различные дела госпиталя, даже не имевшие прямого отношения к хирургии. Она уже не считала это проявлением только личных качеств Ладейщикова, слова «секретарь парткома» становились для неё всё понятнее и значительнее, и со времени отъезда Агеева молодой хирург значительно вырос в её глазах.

В палате Надя мыла полы, сосредоточенно ползая на коленях. Культура ещё болела и мешала ей опираться на переднюю часть ступни. Раненые ничем не могли помочь ей, но они старательно подбирали одеяла, как только Надя приближалась с мокрой тряпкой, и с благодарностью смотрели, как медленно и осторожно ползает Надя вокруг коек, стараясь не качнуть ножек, не потревожить раненых случайным толчком.

— Сестра, а нас побреют? — спросил Вася.

Кира улыбнулась. У Васи на подбородке рос пух, но он очень любил бриться.

— Конечно, побреют и переоденут. Кому можно — к обеду вино. Её будет, как полагается. Праздник же!

Сегодня утром был митинг. Кире не удалось присутствовать на нём, но ходячие раненые вернулись с него празднично настроенные. Митинг проводил Ладейщиков. Кира слушала, как тепло говорят о нём раненые, и ей было приятно, как будто хвалили близкого ей человека.

«Да так оно и есть. Какой умница этот некрасивый, похожий на цаплю, человек. Большая душа у него. Как далеко он видит! Только сейчас, когда, по существу, он руководит госпиталем, и сёстрам и врачам стало ясно, какие умелые, любящие руки управляют их работой», — думала Кира.

К концу дня Ладейщиков сам обошёл госпиталь. В Кириной палате он остановился около тяжело раненного в грудь лейтенанта.

В графе «предполагаемый исход» истории болезни этого больного стояло «exitus» — смерть. Лейтенант спал, трудно, с усилием дыша. Незаметный здоровому процесс дыхания превратился для раненого в тяжёлую работу, которая, очевидно, становилась ему не по силам. Он втягивал воздух жадно и порывисто.

— Какой пульс? — тихо спросил Ладейщиков Киру.

Пульс был почти нормальный.

Ладейщиков задумался. «Конечно, раненый очень тяжёлый, но всё-таки врач, заполнявший историю болезни, поторопился со своим прогнозом. Организм молодой, сил много, должен перенести кризис. Ему особенно нужен покой, и лучше бы перенести его в крайнюю палату... Да, но там нет радио...»

— Как вы думаете, сестра, если на эти дни оставить его здесь? — тихо спросил Ладейщиков.

Кира обрадованно закивала.

Она знала, конечно, что положение лейтенанта очень тяжёлое. Раненых в таком состоянии обычно переводили в крайнюю, отдельную палату — там была полная тишина и наблюдение было особое. Кроме того, смертей в общих палатах старались не допускать. Всё это Кира отлично знала, но лейтенант был всё время в сознании, так ждал выступления Сталина, парада, что Кира с ужасом думала: «Ну как сказать ему, что его переводят в крайнюю палату, где радио нет?»

— Ну что ж, решили... будем надеяться... — твёрдо сказал Ладейщиков.

— Конечно, поправится! — тотчас раздался слабый голосок Васи. Он всегда с охотой откликался на каждую хорошую новость, хотя бы и не имевшую лично к нему никакого отношения.

Проводив Ладейщикова, Кира села на диванчик в коридоре. Ночь у неё гудели. Медленно отбивали минуты большие коридорные часы. Скоро начнут...

Кира по привычке подумала, что Алёша тоже смотрит сейчас на часы, и — осеклась. Она всякий раз начинала думать об Алёше, как о живом, и только потом вспоминала... Завтра она пошлёт отцу две поздравительные телеграммы — от себя и от Алёши.

«Какой он всё-таки замечательный, наш папка! — с нежностью подумала она об отце. — Населил полный дом чужих людей, работает в своём Горсовёте. А ведь старенький!»

Стрелка щёлкнула, как замок, отбив пятьдесят пять минут шестого. В коридоре уже не было никого, кроме дежурной няни. По лестнице сверху вниз звонко простучали каблучки. Кто-то, опаздывая, со всех ног летел в канцелярию, где у репродуктора собивались все свободные от дежурств.

Когда Кира вошла в палату, больные уже лежали с наушниками. Раненный в грудь лейтенант, боясь пошевелиться, только повёл глазами на Киру и попробовал улыбнуться. Ему всё так же трудно дышалось. Сейчас, когда в палате, во всём госпитале наступила почти совершенная тишина, его свистящее дыхание было особенно слышным.

— Слушай, друг! — сказал сосед лейтенанта по койке. — Уж не сердись, но если Сталин будет говорить, как хочешь, а дыши тише.

Лейтенант кивнул и в знак согласия прикрыл на миг глаза.

В каждом, наверно, было сейчас это напряжённое «если». «Если б выступил! Эх, если б сказал! Сам, своим голосом!..»

Кира тоже надела наушники. Её познабливало от волнения. Вдруг в наушниках что-то скрипнуло, несколько секунд длилось полное безмолвие, и после знакомого голоса диктора включился приглушенный разноголосый шум.

— Будет! Будет говорить! Ему предоставляется слово! — крикнул Вася, как будто никто, кроме него, не слышал происходящего в эфире. Тонкий голосок его сломался, как у молодого петушка. Вася шевельнулся, застонал от боли, но замолк тотчас, прежде чем на него прикрикнули.

Какая тишина была в госпитале! Ни стоны, ни шороха! Один голос звучал сейчас во всём притихшем мире — низкий, не звонкий, мягко, очень неторопливо, взволнованно произносящий слова:

«И эти люди, лишённые совести и чести, люди с моралью животных имеют наглость призывать к уничтожению великой русской нации, нации Плеханова и Ленина, Белинского и Чернышевского, Пушкина и Толстого, Глинки и Чайковского, Горького и Чехова, Сеченова и Павлова, Репина и Сурикова, Суворова и Кутузова!..»

Лейтенант тяжело дышал открытым ртом, чтобы было «потихше». У всех раненых лица стали торжественными, даже гордыми. Эти покалеченные войной люди, честно, сполна отдавшие себя Родине, были прикованы сейчас к койкам и операционным столам. У них теперь, кажется, только и дела осталось — не помешать врачу на мучительных перевязках, лишним стоном не потревожить товарищей! Они словно стыдились своей беспомощности, признавая за собой только одно право безропотного солдатского терпенья.

И вот их словно приподняли над болью, над опасностью, над наступлением немцев, напомнили им, какая кровь течёт в их жилах, какой народ родил их и послал в бой. Нет вражеского наступления, которое не остановит такой народ, нет боли, которую он не переборет, нет опасности, которую не одолеет наш великий русский народ!..

Рассвет седьмого ноября был туманен, небо прояснялось нехотя, серые длинные ключья туч ползли над городом. Задолго до рассвета в госпитале уже не спали — прислушивались. Неужели всё-таки прилетят, прорвутся?

В назначенный час всё замерло. Впервые за всю нашу советскую историю Сталин сам принимал парад.

Кира закрыла глаза, пытаясь сквозь стены увидеть его сейчас там, на мавзолее! Стоит невысокий, плотный человек в серой шинели и говорит так, как может говорить только вождь. Мир слушает его. История остановила свой бег. И день этот, и час, и слова станут вехой на пути человечества.

Мимо него идут прославленные русские войска. Это от них бежал Бонапарт, сжигая мосты на Березине. Это их тяжёлую поступь помнят мостовые Парижа. Они ещё пройдут по берлинским камням. Они ещё сбьют гитлеровские знамёна перед Кремлём, перед мавзолеем, перед

человеком в серой шинели, который сегодня провожает их в бой словами, наипрекраснейшими из всех слов, говорившихся когда-нибудь в приказах.

«...Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков — Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина!»

Так он сказал. На его зов поднялись из дали времён могучие тени и вместе с ним провожали своих потомков в бой.

Уже кончился парад, а теснившиеся в канцелярии люди всё ещё боялись нарушить молчание, глядя в чёрный круг репродуктора. Только когда из репродуктора раздался другой голос, Ладейщиков бросился к радио, выключил его, и все ему были благодарны. Лучше бы радио после передачи парада совсем молчало в этот день! Так хотелось навсегда в сердце удержать и этот голос и эти слова!

Ладейщиков оглядел врачей, сестёр, санитарок, шофёров, деда Фёдора.

— Как хорошо-то, а?

Все улыгнулись облегчённо и радостно. Одно дело — слышать и читать, что Сталин в Москве, а совсем другое — услышать его самого, увериться, что он здесь, в каких-нибудь двух — трёх километрах от них.

«Может быть, Григорий тоже слушал Сталина? Неужели у них на фронте совсем нет радио? Наверно, есть».

Только к ночи утих в госпитале праздничный шум.

— Вот видишь, сестра, за весь день налёта не было! — торжествовал Вася, как будто именно он защищал сегодня московское небо.

— Да, Вася. Давай теперь спать, голубчик! — не совсем уверенно уговаривала его Кира, потому что и ей хотелось говорить обо всём, что было вчера вечером и сегодня.

Палата стихла. Кира подошла к лейтенанту. Он один спал, судорожно дыша.

— Умаялся товарищ лейтенант. Трудно ему тихо дышать, — услышала Кира гулкий шёпот соседа лейтенанта по койке, пожилого бойца с рыжеватыми усами, того самого, которого она с санитаром когда-то вносила сама в приёмный покой. Алёша тогда ещё помогал носить раненых.

Усатый был самым терпеливым больным. Вот и сейчас у него, наверно, нестерпимо болит раздробленная загипсованная голень, а виду не покажет.

Между койками бойца и лейтенанта стояла тумбочка и табуретка. На всякий случай Кира приготовила стерильную иглу, заранее набрала в шприц камфары и, прикрыв тумбочку марлей, села на табуретку.

Ей вспомнилось, как Агеев распекал одну сестру за неряшливость, а потом махнул рукой и сказал:

— Э, да что там! Война всё спит!

«Голову бы снять тому, кто первый произнёс эти слова! — подумала Кира. — Война ничего не спит, но научит многому».

— Сестра! — услышала она громкий испуганный голос и тотчас зажгла на столике маленькую лампочку с козырьком.

Лейтенант почти сидел. Плечи его над забинтованной толстой грудью казались непомерно худыми и острыми, как у горбуна. То ли от усилия держаться на руках, то ли от удущья лицо его страшно обострилось. Вопрошающие-испуганные глаза поймали Киричн взгляд и не выпускали его более».

— Сестра! Что-то худо мне... страшно! — с тоской произнёс он.

Не страх, даже не жалость — чувство участия и глубокого уважения приходило теперь к Кире при виде зрелища смерти. Человек совершал тяжёлую работу, последнюю на земле.

Кира испугалась, что лейтенант разбудит всю палату.

— Тише, милый, я с тобой! — она обняла обеими руками забинтованное тело, чуть приподняв, осторожно опустила его на подушки, пощупала пульс, вприснула ему два кубика камфары и села на койку, убирая с потного лба раненого липкие пряди. — Тише, голубчик! Ты не пугайся, — заговорила она медленно, ласково и уверенно. — Бояться не надо. Тебе дали только один кубик камфары. Доктор предупредил, что ночью тебе может быть хуже. Потерпи, а то много камфары вредно — сердце привыкает. Может и обморок быть, но ты не пугайся. Ты обязательно поправишься. Всё хорошо, дорогой...

На койку больного садиться не разрешалось. Теперь это было уже можно. Раненых сёстры обычно называли на «вы». Теперь уже не думалось об этом.

Лейтенант жадно ловил каждое слово, держа её левую руку, а правой она гладила его по лбу, по вискам медленными, успокаивающими движениями.

Как бы случайно, стирая пушинку, уже привычным жестом она тронула кончик обострившегося носа. Холодный. «Неужели камфара не действует?». От узких ноздрей лейтенанта протянулись какие-то линии, прямые и строгие, к углам рта. «Наверно, скоро...»

Но выражение испуга сошло с лица раненого. Похоже было: человек всё пытался понять, что же с ним происходит, страшное, непонятное, не смог понять и пришёл в ужас. А сейчас он не один, его держат сильные руки, кто-то пришёл защитить его от этого ужаса.

Может быть, смысл Кириных слов не совсем доходил до его сознания, но голос девушки, спокойный, настойчивый, вливал в него силы и помогал бороться с тем страшным, что к нему подступало.

В глазах лейтенанта застыло напряжённое внимание. Губы его зашевелились. Кира разобрала — он жаловался на холод. Склонясь к нему, она грела его своим живым теплом.

Обхватив её шею слабыми руками, он тихо спросил:

— Как-то душно, темно мне стало, сестрица. Это ничего, да?

— Да, это ничего, — кивала Кира. — Это дурнота от слабости. Всё идёт точно так, как должно идти.

Вдруг скрипнула дверь. Кто-то подошёл к койке.

— Уйдите! — не выпуская лейтенанта из рук, не оглядываясь, прошептала Кира. — Уйдите!

Лейтенант долго молчал, попрежнему держась за её шею. У Киры заняла неудобно склонённая спина. Дыхание лейтенанта стало реже, судорожней.

Вдруг пальцы его, сплетённые на Кириной шее, разжались, руки медленно, тяжело сползли и упали на одеяло. Кира осторожно освободилась от сразу отяжелевшего тела и выпрямилась, разминая затёкшую спину. «Вот и всё», — с горечью подумала она.

— Кончился, — вздохнул усатый.

Только тогда Кира вспомнила, что он не спит, и это было очень неприятно. Нехорошо, когда больные присутствуют при агонии.

— А ты спи! — укоризненно посоветовала она и нагнулась, чтобы ровно положить руки лейтенанта.

Но, взявшись за влажную, покорную кисть, Кира вздрогнула. Она почти испугалась. Она шумно упала на колени перед койкой лейтенанта,

уже не беспокоясь, что может разбудить раненых. Не веря своим пальцам, она осторожно приложила ухо к левой стороне забинтованной груди лейтенанта. Да! И там что-то нежно и слабенько, как подстреленная маленькая птица, вздрагивало, билось, начинало биться всё сильнее...

Кира решилась, наконец, взглянуть на лицо лейтенанта. Глаза его были закрыты, он дышал почти незаметно, но ровно, гораздо ровнее, чем несколько минут назад. И не холодный смертный пот покрывал его усталое лицо, а тёплая живая испарина.

— Жив? — услышала она гулкий шёпот усатого.

У неё едва хватило сил кивнуть, она села прямо на пол у койки, прижавшись лбом к недвижной, но тёплой руке лейтенанта.

Кира испытывала всеподавляющий восторг, словно присутствовала при воскрешении из мёртвых. Да, может быть, так оно и было. Что помогло ему? Честное слово, этот лейтенант жил последние дни только потому, что ему изо всех оставшихся сил хотелось услышать, как будет говорить Сталин. Как он старался потише дышать! А сейчас он спокойно дышит, ему сейчас легче. Прямо не верится...

Кира поднялась и на цыпочках вышла из палаты. В коридоре у столика сидели старушка-няня, Анна Ивановна и — совершенно неожиданно для Киры — Ладейщиков. Лицо Ладейщикова — вот первое, что увидела Кира, выйдя из палаты. Столько было в нём напряжения, надежды, страха, что Кира сразу поняла, почему он здесь и что боится он услышать. Она бросилась к нему, как к родному, и зашептала восторженно, прижимая кулаки к груди:

— Он жив! Доктор Ладейщиков, он жив, и я думаю... Мне кажется, он будет жить.

Ладейщиков быстро поднялся и, высокий, тонкий, большими шагами пошёл в палату. За ним — Анна Ивановна. А Кира, обессиленная, опустилась на стул.

Через несколько минут они возвратились в коридор.

Кира никогда не видела Ладейщикова таким откровенно счастливым. Он улыбался, прятал и снова вынимал из кармана свой стетоскоп.

— Человек, конечно, мог умереть, но вот нам удалось доставить ему большую радость, о которой он мечтал. Эта радость потрясла его и, кто знает, какие скрытые силы организма вызвала к жизни. И вы, Кира, молодец! Я же заходил в палату, слышал, что вы там ему нашёптывали. Так и надо. Всегда до последней минуты боритесь. Внушайте раненому веру в его силы. Моральный фактор! Человек почувствовал себя победителем. Вы знаете, Анна Ивановна, что у победителей, у наступающих раны заживают скорее?

— Так оно и должно быть! — ответила Анна Ивановна.

— Я думаю, он будет жить, — уже серьёзно сказал Ладейщиков и, попрощавшись со всеми, пошёл к себе, такой забавный в коротком, не по росту, халате, из-под которого виднелись длинные, тонкие в галифе и тапочках ноги. По ночам он ходил без сапог, чтоб не тревожить больных.

Кира вошла в палату счастливая, но очень усталая, испытывая только одно желание: пригреться у печки и подремать, пока раненые спят. А то через час надо начинать инъекции.

В самом деле, она почти двое суток не спит. А сколько волнений!

Зябко засунув руки в рукава, Кира съёжилась на своей табуреточке у печки и задремала тотчас, словно провалилась в небытие.

— Сестра! — услышала она, но никак не могла окончательно проснуться. Кто позвал её, Кира не различила, но тотчас узнала сердитые

голоса Васи Маленького и усатого бойца. Оба они шёпотом бранили того, кто позвал:

— Повернёт она тебе твою ногу, ну и что? Всё равно болит. Дай передохнуть сестре. Она тоже с ног сбилась... — Это Вася Маленький.

— Надо понятие иметь,— это усатый. — Немец под боком, а они — девчонки — видишь, как работают!

— Ещё нас, мужиков, уговаривают! — подхватил Вася. — Вот встанет мне укол делать и твою ногу переложит. Небось, не пропадёшь, потерлишь!

Раненый, позвавший сестру, повозился на койке и ничего не сказал. Кира замерла.

Оказывается, раненые ещё считали себя вправе заботиться о ней, здоровой, которая пока что не видела врага в глаза потому только, что они защищали её от него.

Скупой голубела маскировочная лампочка. В палате было полутемно. Опустив голову, неожиданно для себя самой Кира бесшумно заплакала от усталости, от тревоги и восторга последних дней, от тоски по Алёше и переполняющей её душу благодарности к раненым.

Но это были очень хорошие слёзы. Может быть, это были самые хорошие слёзы в её жизни.

Глава семнадцатая

Если человеку день за днём говорят, что он находится в очень опасном положении, но он всё-таки живёт, работает да ещё получает удовлетворение от своей работы, человек в конце концов теряет ощущение реальной опасности. Так привыкают к жизни на переднем крае. Так привыкли к своему осадному положению москвичи осенью сорок первого года, хотя сводки с фронта, полукольцом охватившего Москву, приходили скверные.

Когда с месяц тому назад Катюша сказала Виктору, что Павел Гаврилович собирается справлять своё рождение, Виктор виду не показал Катюше, но подумал с испугом: «Да что он, с ума, что ли, сошёл? Какие тут могут быть «рождения»!».

А вот теперь, придя на этот праздник, он уже не ощущал никакого нсудобства. Даже подарки принёс.

— Быключи-ка радио, Витюшка! — тихонько сказал Павел Гаврилович, когда жена его, бабушка Варвара, ушла на кухню. — А то, не дай бог, тревогу объявят. Старуха всё же побаивается. Она и в девках пуглива была...

Виктор с трудом сдержал улыбку. Никак он не мог представить себе бабушку Варвару «в девках».

— А потускнел ты, парень,— заметил Павел Гаврилович, оглядывая Виктора своими маленькими всевидящими глазками. — С чего бы? Кормят нас, не сказать, чтобы плохо.

Виктор промолчал. Уж, конечно, не оттого ему плохо, что ши на фабрике-кухне стали пожиже. Но Павел Гаврилович не стал больше спрашивать.

Врачиха отказалась закрыть старику бюллетень, велела сидеть дома: в его годы воспаление лёгких — не шутка. Однако третьего дня Павел Гаврилович подождал, пока бабушка Варвара ушла в очередь, и отправился в цех. В боку ещё побаливало, но врачу он об этом не говорил и сам старался забыть. Войдя в цех, он выпрямился, взгляд его жадно, придирчиво пробежал по длинным рядам станков. Маленькие весёлые морщинки разбежались по похудевшему лицу: «Работает цех! А что

ребятишки у станков — ничего! Ведь они по своей воле в такое время к станкам встали, чтоб взрослых заменить. Таких ребятшек научить можно!»

Уже обрадованный, почти весёлый, Павел Гаврилович решил нынче же принять смену, собрался итти представиться новому начальнику, и вдруг взгляд его остановился на противоположной входу стене: «Почему она такая серая? Красили, что ли?»

И не сразу он понял, что стена — как стена, только знамени, переходящего знамени на ней нет. Жалкими красными пятнышками торчали угнетушители, а развёрнутого алого с золотом полотнища, которое согревало и стену и цех, — не было.

Вот об этом Павел Гаврилович и вспомнил теперь, глядя, как свободно болтается пиджак на широких плечах Виктора. Теперь он знал, почему парень потускнел. Старику даже немножко легче было оттого, что болеют они одной болезнью. Да разве одни они?

Но сегодня всё же праздник, так пусть уж и будет праздник. Хоть всего один гость у него и особого угощения нет, а всё же, как справлял Павел Гаврилович из года в год своё рождение, так он его и справит.

И Тарасов всё-таки позвонил: не забыл, поздравил. И Витюшка вот не забыл. Правда, Витюшке, наверно, Катя сказала. А может, он и сам бы вспомнил.

Виктор обиделся бы, если б знал, в какой забывчивости заподозрил его старик. Он две декады копил мясные талоны, чтобы получить на них банки с консервами, заплатил пятьсот рублей за пол-литра и натерпелся немало страху. Это была первая покупка в жизни, сделанная им у спекулянта. Пока он, не поднимая глаз, нёс домой эти злосчастные пол-литра, все приближающиеся к нему шаги казались ему шагами милиционера. Но милиционерам, видно, было не до Виктора.

Когда он пришёл вечером к Павлу Гавриловичу, в коридоре, совсем как в мирное время, пахло тестом, в комнате был накрыт стол, и толстые листья фикуса, смазанные для блеска, отдавали касторкой. Павел Гаврилович сидел на диване в новом, много лет назад сшитом пиджаке. Пиджак, наверно, только что вынули из сундука — от лежалых складок несло нафталином. Большие руки Павла Гавриловича, как самостоятельные отдыхающие существа, покойно лежали на коленях.

— Ну, что скажешь? — похвалился столом Павел Гаврилович.

Подарками Виктора он был тронут.

— На рождение уж я и сам бы... Ну, ничего! Как знак внимания. Спасибо!

Катюша, нарядная, радостная, доставала из шкафа посуду. Виктору нравилось, как поблёскивают волнистые складки её шёлкового платья, прислушавшись, он уловил шелест шёлка и больше уж не слышал никаких звуков, кроме этого шороха.

Последний раз прошелестев, Катя тихонько уселась за стол рядом с Виктором. Бабушка Варвара пригласила их торжественно, как чужих:

— Угощайтесь, дорогие гости!

А Павел Гаврилович серьёзно, даже, кажется, не без волнения, поблагодарил их за то, что не забыли поздравить его и оказать внимание.

Виктор и Катя боялись переглянуться. Им было немножко смешно и хотелось есть, но за своим праздничным столом Павел Гаврилович всегда сам произносил первый тост. Вслед за хозяином все встали. Павел Гаврилович обдёрнул пиджак и поднял стопочку, такую хрупкую в его больших, сильных пальцах.

— Так вот, товарищи дорогие, — сказал он, медленно оглаживая востренький выбритый подбородок, — всегда в этот день, за этим столом

я сам подымал первую стопку за того, кого мне пока ещё не удалось лично повидать, но кто мне всех дороже. Надеюсь в дальнейшем увидеть.

— Дорогой Иосиф Виссарионович! — возвысил голос старик и на лице его было такое выражение, словно он видел сквозь стену Кремль, видел и сквозь Кремлёвскую стену. — Дорогой Иосиф Виссарионович! Всегда я в этот день поминал тебя добрым словом, потому что если б не ты, не вырастили бы мы такой завод, не укрепился бы и я при заводе. Но сегодня, дорогой Иосиф Виссарионович, хочется мне сказать ещё вот что: знаем, что тебе сейчас трудно. Мы в одном цехе — и то не всегда управляемся, зная вот не удержали. А каково же тебе — все знамёна держать? Но всё-таки ты не беспокойся, — ещё возвысил голос Павел Гаврилович, — не пропали даром твои труды! Ни мы, ни дети наши не оплошаем, и фашистов мы побьём, не будь я токарь Павел Гаврилов Симочкин!

Старик выпил, крикнул и сел. Все долгое время молчали, как молчат, не желая помешать беседе, всем одинаково нужной и близкой.

— А может, он сейчас на фронте? — еле слышно шепнул Виктор Кате.

— А может, он, наоборот, уже вернулся и в кабинете работает, — так же ответила она.

И оба очень живо представили себе кабинет — почему-то непременно небольшой, — затенённую лампу и человека за письменным столом, потому что если много лет любовно думать о человеке, постоянно вспоминать о нём, то непременно начнёшь представлять себе этого человека, его привычки, походку, голос. А если доведётся увидеть, что улыбается он не совсем так, как ты представлял, в волосах у него больше седины, — что ж, от этого он станет тебе ещё ближе и роднее...

Выпив водки, Виктор мгновенно ощутил разливающуюся по телу теплоту, с каждой минутой всё дальше отходили от него заботы, огорчения, и необычайно приятной была уверенность, что все за столом чувствуют так же, как и он.

Выпили по второй. А когда Виктор пододвинул свою стопку в третий раз, Павел Гаврилович удивился.

— Токарю стопочка не помеха, правда, Павел Гаврилович? — сказал Виктор.

«До чего бойко и складно всё у него сегодня получается. Непонятно только, чего Катюша нахохлилась, как воробей в мороз. Такой она бывает, когда чем-нибудь недовольна... А чем, спрашивается, быть ей недовольной?»

— Оно, может, и не помеха, но и не подмога! — значительно сказал Павел Гаврилович.

Катюша покраснела. Виктор ничего не заметил.

Павел Гаврилович строго посмотрел на него, но тут же и смягчился: что, в самом деле, сердиться на парня? Он и захмелел немножко, потому что вообще-то вина не пьёт.

Прозвонил звонок — и тотчас ещё раз, словно пришедший торопился бог весть как. Открывать пошла бабушка Варвара. Павел Гаврилович присанился, обдёрнул пиджак и крепко вытер пальцами губы, плотно сжав рот, отчего лицо его приобрело на миг гордое выражение.

— Поздравлять идут! — ни на кого не глядя, сказал он.

В прихожей послышались короткие возгласы, звонкие поцелуи, и в комнату вошёл Воронин. От него пахло холодом, хорошим сухим морозцем и дублёной овчиной новенького полушубка. Усы у него обмёрзли, грудь выпирала, как у женщины, и на плече он ташил мешок с чем-то большим и тяжёлым. Войдя в комнату, он свалил мешок на пол и, быст-

ро перебирая пальцами холстину, высвободил огромную зелёно-пятнистую, как лягушка, тыкву. Отшвырнув пустой мешок, Дмитрий Петрович с облегчением выпрямился, расправил плечи и, наконец, перевёл дух.

— Ух! Это Ольга тебе, Павел Гаврилыч, посылает. Приказала не поморозить. Я на этой тыкве всю дорогу сидел. Как насадка. И вот ещё лук.

Он вытянул из пазухи длинную связку янтарно-жёлтых луковиц, после чего грудь его приобрела нормальные очертания, и тогда уж только крепко обнял Павла Гавриловича.

— Ну вот, Павел Гаврилович. Поздравляю с днём рождения! Специально спешил.

Старик крепко обнял и долго не отпускал Воронина.

— Вот ладно, вот хорошо! — растроганно повторял он, держась за рукав воронинского полушубка, как будто он был частью самого Дмитрия Петровича — старого друга, командира, к тому же вернувшегося оттуда, куда увезли ползавода, а стало быть, и полсердца Павла Гавриловича.

Ката и Виктор тоже обняли дорогого гостя, но отпустили его быстро, понимая, что их дело сейчас не мешать старшим и слушать.

— Так как же там, Дмитрий Петрович? — требовательно и жадно спросил Павел Гаврилович, когда Воронин разделся, сел за стол, выпил и закусил. — Всё ли в отделе кадров твоя Ольга Михайловна? Как Иона? Что Малько наш? Рассказывай.

— В отделе кадров? — рассмеялся Воронин. — Сейчас все отделы на разгрузке, — сказал он. — Все до одного человека сейчас на разгрузке. Там и Малько, конечно. Папаша твой кузницу налаживает, — обернулся он к Виктору, — сына учить начал.

— Ну, значит, всё правильно! — сказал Павел Гаврилович. — Теперь кузнецы в роду Куприных не переведутся. Ивана-то уж он в токари не отпустит.

— Как там, спрашиваешь, Павел Гаврилыч? — медленно повторил Воронин и задумался: как же можно рассказать о том огромном повороте в промышленности, в котором Воронину посчастливилось участвовать? Да, Дмитрий Петрович был готов поспорить с кем угодно — буде нашёлся бы сторонник другой точки зрения, — что вести активный бой за родину — счастье. А то, что происходит сейчас на востоке, во вновь возникающих промышленных районах, — самый настоящий бой. В этом Воронин тоже не сомневался. — Если взглянуть со стороны — испугаться можно, — проговорил он медленно, будто глядя туда, назад, в те несколько недель, что он провёл в пути и на новом месте. — Подходит оборудование, день и ночь идёт разгрузка, людей нехватает, мороз пятьдесят градусов, а ветра! Ой, ребята, какие там ветра!

Приглядевшись к Воронину, Виктор заметил на его щеках тёмные пятна обморожения.

— У нас ещё хорошо — есть стены, — продолжал Дмитрий Петрович, усмехнувшись в усы. — Но это не те коробки, к каким ты привык, Павел Гаврилович, это просто стены и потолки. Температура в них точно такая же, как на улице.

— Но как же станки, — встревожился Павел Гаврилович. — Народ хоть одеть можно. А станки, эмульсия и вообще?..

— А вот вообще... Строимся — раз. Ставим печи, обыкновенные элементарные печи в цехах — два. — Дмитрий Петрович уже с увлечением по-деловому загибал свои огрубевшие тёмные пальцы. Он даже улыбался.

Эх, если бы суметь рассказать, какой радостью были эти самые, с ещё непросохшей обмазкой, обыкновенные печи, когда по их тёмно-жёлтым бокам над дверками протянулись чёрные язычки копоти — предвестники настоящего добротного тепла — и холод отступил, разбежался по углам.

Воронин видел, как слесарь долго и настойчиво оттирал загрязнившийся в пути станок, а когда чистая сталь мигнула ему синеватым глазком, слесарь — пожилой, сверх меры усталый человек — похлопал станок и тоже подмигнул ему, как живому.

— А разве не гордость, разве не победа, что одним из первых вступает в строй экспериментальный цех? Мы не просто стремимся что-нибудь выработать в тех нечеловеческих условиях, в которых сегодня работают наши эвакуированные заводы, мы экспериментируем, мы осваиваем новые виды производства. Да и нечеловеческие условия мы скоро сделаем человеческими, нормальными. На то мы и советские люди.

— Если взглянуть со стороны — испугаться можно, — повторил Воронин. — Но ведь мы не со стороны смотрим. И нет у нас никакого страха. Будет там завод! Даже два завода будет. Один в городе. Второй на следующей станции, километрах в пяти.

Кроме Воронина, никто из присутствующих не знал, что это за станция, да и не важно это было. Важно, что завод будет.

— В общем, вот что я вам скажу, дорогие друзья...—отодвинувшись от стола, Дмитрий Петрович обвёл усталыми, покрасневшими от дорожной бессонницы глазами всех сидящих. Каждого знал он много лет, каждый был ему по-своему близок и дорог, и ему очень хотелось поделиться с ними тем безошибочным ощущением неисчерпаемой нашей силы, которое теперь, как никогда, испытывал он сам. — Скажу вам просто. второй фронт уже открылся. Тыл наш — вот где настоящий второй фронт. И с этим вторым фронтом мы кого хочешь осилим.

Все долго молчали. Потом Дмитрий Петрович рассказывал о новых заводах, о том, что трудно приходится Малько с жильём.

— Идёт скоростное строительство жилых домов, — говорил он, — но пока что даже общежитий, где нары стоят в три этажа, нехватает. Много заводских удалось расселить по квартирам горожан. Просто удивительно, с какой готовностью идут они на такое самоуплотнение! В маленьком деревянном домике, где жили двое стариков, поселилась и Ольга с Климом. Там маленький сад. Климу будет там хорошо. И школа близко.

Воронин вспомнил, какой бой пришлось ему выдержать с Климом, пожелавшим во что бы то ни стало оставить школу и итти в ремесленное. Дмитрий Петрович настоял, чтобы продолжались занятия в школе.

Не будь Клим его сыном, Воронин не сомневался бы в правильности своего решения, а так — тень сомнения всё же мучила его, и он откровенно рассказал об этом.

— Нет, — подумав, сказал Павел Гаврилович. — И не сомневайся. Правильно ты поступил. Не всё же война. После войны вот как нужны будут крупные специалисты. Ох, и строить сколько придётся! Я думаю, мы ещё такой стройки и не видели, какая после войны будет! А ты как думаешь, Дмитрий Петрович?

— Я и то по техминимуму занимаюсь, — вставил Виктор.

Он давно протрезвел, и после рассказа Воронина о том, как работают люди в эвакуации, весёлое настроение его пропало. Вот кому знамёна давать! К тому же, неумолимо приближалась минута, когда Воронин спросит: «Ну, а вы тут что подделываете?»

И только подумал об этом Виктор, как Дмитрий Петрович в самом деле спросил:

— Ну, а у вас тут как дела?

— Не порадуя я тебя, — после некоторого молчания медленно проговорил Павел Гаврилович — Да Не порадуя. В сборке дела не плохо идут, а мы уж и знамя отдали. Я тут малость сплеховал — приболел немного. А пришёл на завод — и вижу, дела пока ещё неважны. План тянем, но за это, сам знаешь, теперь знамен не дают... Колечко тут одно делаем, да вот никак не одолеем его в полную силу.

— В других цехах, говорят, на многостаночное переходят. А вы-то что же, хуже? — спросил Дмитрий Петрович. Между бровями его появились глубокие морщины. Видно, он ожидал услышать не это.

— На подрезке торца заедает и на проточке наружного диаметра, — пояснил старик.

Молча постукивая пальцами по столу, Воронин задумался. Хорошо зная эту деталь, он пытался представить её в работе, в патроне станка. «С чего бы ей так упрямиться? — думал он. — Почему «на подрезке торца заедает»?».

Глубокие морщины на лбу Воронина показались Виктору признаком большого гнева. Конечно, есть на что гневаться. Напрасно Павел Гаврилович берёт вину на себя, виноват он — Виктор. Если и не он один, то во всяком случае такие, как он, обученные, квалифицированные токари. Ему было невыносимо дожидаться, пока Воронин наконец скажет ему то, что он сам о себе думал. И он громко проговорил:

— Я понимаю, Дмитрий Петрович, о чём вы думаете, и вы правы, конечно. Честное слово, я старался и стараюсь, но, очевидно, это мой предел, потолок. Я буду проситься на фронт. Там я оправдаю...

Виктор говорил громко и чётко, но странное дело, когда он рассуждал один, у себя в комнате, мысль казалась ему правильной, а сейчас Виктор почувствовал фальшь этих только что сказанных слов и смутился. Но остановиться уже не мог.

Услышав первую фразу Виктора, Воронин поднял на него усталые, рассеянные глаза, и Виктор понял, что Дмитрий Петрович думал вовсе не о нём. Однако выражение глаз быстро сменилось каким-то нерадостным удивлением, а когда Виктор кончил, Воронин смотрел на него уже очень внимательно, но недобро.

— Как это быстро у тебя получается — «потолок», «предел», — прищурился он. — Работаешь-то без году неделю, а уж до потолка добрался. Не рановато ли?

Никогда ещё Виктор не видел у Дмитрия Петровича таких недружелюбных глаз, и он оторопел, с ужасом чувствуя, что продолжает говорить что-то неубедительное, самому ему неприятное.

— На завод, если жив буду, никогда не поздно вернуться...

— Мальчишка! — Воронин ударил кулаком по столу. Обмороченные щёки его побагровели. Жалобно звякнули ножи на тарелках. — Ишь, как легко вы о заводе... Вы этот завод готовеньким получили, в подарок! А мы вот с Павлом Гаврилычем его строили, так нам тут каждая трещинка на кирпиче видна и за каждую трещинку больно. Когда я сюда попал, тут поле картофельное было, да на свалках псы дрались. А на поле колышки натыканы: тут такой-то цех будет, тут — такой-то... Можешь ли ты понять, что мы чувствовали, когда первую очередь пустили, когда первые подшипники дали? Нам тут каждый камень...

Воронин замолчал и, расстегнув ворот рубашки, отошёл к окну. Бабушка Варвара бесшумно убирала со стола и накрывала чай, она не

вмешивалась в мужской разговор, но испуганно поглядывала то на одного, то на другого.

Дмитрий Петрович вернулся к столу и улыбнулся Виктору уже по-доброму, стесняясь своей горячности.

— Брось эти мысли, Витя, — сказал он веско — О потолках и разных там пределах ни тебе, ни мне, никому из нас думать не время. Да и не знаю, будет ли когда-нибудь у нас время для таких рассуждений. Если б существовали такие пределы, о которых ты говоришь, то, наверно, за этим столом сейчас фашисты сидели бы, а не мы с тобой. Завтра вряд ли — завтра в наркомат пойду, а послезавтра обязательно буду в цехе. Поглядим вместе, подумаем...

Воронина оставляли ночевать, но ему хотелось побывать дома, куда он ещё не заходил. Хоть ни Оли, ни сына не было в Москве, но всё же каждая мелочь в квартире должна была о них напомнить.

Прощаясь, все обнялись крепко и нежно, как родные после долгой разлуки.

— А у вас здесь, кажется, поспокойней стало. На расстоянии сводки прямо страшно слушать, а — поверите? — чем ближе к Москве подъезжал, тем легче почему-то становилось, — сказал Воронин.

— Тревоги стали реже, — радостно подтвердила Катюша. — А если и бывают, так рабочих силой в убежище не загонишь. Работаем! Это вы верно сказали. Сводки страшные, а как-то спокойней.

— А вот Алёшу убило! — вдруг вспомнила она. — Вы знали Алёшу? Худенький такой, в очках. Редактор. Родственник Сванидзе.

— Алёшу? — Да, конечно, Воронин знал худенького Алёшу в очках. Дмитрий Петрович опустил руки, ощутив мгновенное, почти физическое удушье от мысли — нет, хоть и редки тревоги, но ещё не стало спокойней.

— Худенький такой, в очках, редактор... — глухо повторил он. — Эх, бедняга!

Идя домой через пустынный заснеженный сквер, он очень живо представил себе Алёшу, и почему-то образ его напомнил ему сейчас Клима.

Хмурый, усталый, с мучительно острым чувством утраты, вошёл Дмитрий Петрович в свою пустую квартиру. Прежде ему показалось бы, что здесь холодно. Теперь, вернувшись из эвакуации, он нашёл её почти тёплой.

«А Алёшу убило!» — вспомнился ему печальный Катин голос.

«Не убило, а убили!» — мысленно поправил он.

Дмитрий Петрович никогда не болел сердцем. Вернее, он никогда не обращал на него внимания, но, входя утром в сборочный цех, всё же явственно ощутил, что сердце у него есть. Молча и счастливо улыбаясь, он обошёл цех, сборочные столы, потрогал свежесобранные подшипники, словно проверяя, так же ли чувствуют его огрубелые, обмёрзшие пальцы глянцевою нежностью их боков. Потрогал красный флажок, укрепленный на маленькой ножке в начале сборочного стола первого, сухого, конвейера.

— Фронтальная бригада, — пояснила Дмитрию Петровичу незнакомая ему пожилая работница, ни на мгновение не отрываясь от сборки. Наверно, она не знала Ворошина в лицо, а может быть, и слышала о нём, да боялась оторваться от стола и на глазах начальника замешкаться со сборкой. Работала она не очень быстро, но, видно, даже такой темп пока давался ей не легко.

Воронин обратил внимание на её руки со следами маникюра.

— Вы недавно на заводе? — мягко спросил он.

— Что ж с того? Я уже третий день выполняю норму, — словно защищаясь, быстро ответила женщина, подняв на этот раз лицо.

Дмитрия Петровича поразили скорбные складки в углах прямо ежа того, ещё свежего рта. Казалось, такие губы навсегда утратили возможность улыбки. А глаза женщины! Обведённые тенями, сухие глаза, которые не могут больше плакать потому, может быть, что выплакали все слёзы.

Коротко взглянув на Воронина, женщина опять углубилась в работу. Наверно, это было единственное, что у неё осталось.

А Катюша работала бойко, даже щеголевато, успела Дмитрию Петровичу про знамя сказать и оторвать обе руки от конвейера, заправляя кудряшки под платком. Ямочки на щеках её так и играли, и ни одной морщинки не было на нежных, оттенённых ресницами веках. Что значит молодость!

Про знамя Воронину торопилась сказать почти каждая из старых сборщиц. В самом деле, как роднило цех это знамя — могучее алое крыло!

Дмитрий Петрович добрался до своего кабинета помолодевшим на десять лет, словно здесь именно и завершилось чувство успокоения, нараставшее в нём с каждым часом по мере приближения к Москве.

«Здесь — грех знамени не заслужить, — подумал он, оставшись один и снова со всей отчётливостью представив себе, в каких страшных, по сравнению с Москвой, условиях разворачивает сейчас работу Малько. — Какие б ни были условия, Малько развернётся, — уже насторожённо подумал Воронин, — а и грех мне будет, если мальковская сборка меня обгонит!»

Он с улыбкой вспомнил абажур настольной лампы Малько — обыкновенную армейскую каску. Эту каску подарили директору артиллеристы-фронтовики.

«Нет, уж знамени не отдадим, — потёр руки Дмитрий Петрович и вдруг вспомнил, откуда это знамя перекочевало в сборку. — В автоматнотокарном, кажется, новый, молодой начальник. Эх, брат Воронин, это ты не по-товарищески!»

В автоматнотокарный он пошёл нарочно, когда ни Павел Гаврилович, ни Виктор не работали. Автоматнотокарный тоже показался Воронину близким, родным и сверхоскошно оборудованным. Да как же не близким? Ну пусть не в этом цехе, но всё-таки стоял же и он у токарного станка. Правда, теперь кажется, что это было бог весть в какие далёкие времена, а ведь прошло всего двадцать лет. Правда и то, что иные двадцать лет века стоят.

Новый начальник цеха инженер Васильчиков в самом деле оказался очень молодым. О Воронине он уже слышал от секретаря парткома. Сказать по правде, он даже ждал его. Из старых, многоопытных начальников цехов на московском заводе будет работать сейчас один Воронин.

— Я ж понимаю, — просто, без доли обиды сказал Васильчиков, — конечно, у меня ещё опыта мало. Пожалуй, не будь такое трудное время, когда людей нехватает, мне бы, наверно, и цеха не доверили. Вы ж знаете, мы и знамя уж отдали. Я очень надеюсь, что вы мне поможете. Посмотрите, что у нас и как, и посоветуйте, — Васильчиков открыто поглядывал в глаза Воронину и, словно сомневаясь, достаточно ли собственной его просьбы, добавил: — Мне секретарь парткома так и сказал: «Приедет Воронин, он тебе поможет».

Воронин засмеялся. Ему понравился и Васильчиков и его уверенность в том, что он — начальник конкурирующего с ним, если можно так вы-

разиться, цеха — поможет ему... Впрочем, нельзя уже так выражаться! Отжило у нас свой век это слово — «конкуренция».

— А я думаю, мы даже без Тарасова договорились бы. Только вы меня не считайте магом и волшебником,—озабоченно добавил Дмитрий Петрович. — Я, даром что столько лет начальником цеха сижу, а тоже на близлежащие вещи слеп оказался. Вы слышали, кто нам идею сухой сборки предложил? Ведь не я же. А если б не эта сухая сборка, может быть, знамя бы так у вас и осталось, — прищурился он.

— Знамя мы, правда, потеряли, но всё-таки программу даём. — Васильчиков не мог скрыть гордости, сообщая о том, чего начальник сборки, как казалось Васильчикову, не знал.

По тону его Дмитрий Петрович понял: Васильчиков, принимая цех, изрядно побавался, и самое выполнение программы ему втайне кажется достижением. «Ну, ничего! Поработает, подрастёт, поймёт, что это не достижение».

Дмитрий Петрович просил разрешения самому походить по цеху, посмотреть. Васильчиков это, кажется, немного встревожило и даже обидело, но он, разумеется, разрешил и, наморщив свой юношеский гладкий лоб, озабоченно посмотрел вслед Дмитрию Петровичу, когда тот, прихрамывая, зашагал в цех.

Конечно, Воронин и сам пошёл бы сначала в цех, а уж потом подробно побеседовал бы с Васильчиковым, но то же самое посоветовал ему сделать и Тарасов. Встретившись на другой день после своего приезда с секретарём парткома, Дмитрий Петрович рассказал ему о вчерашнем разговоре с Павлом Гавриловичем и Виктором. И Воронину и Тарасову, старым производственникам, было ясно: автоматически-токарный попал как бы в некое мёртвое пространство. Знамя, правда, отдали, но цех всё-таки выполняет план, значит, как будто бы нет достаточных оснований бить большую тревогу. К тому же, в цехе много нового народа, по-настоящему они ещё не работали, и такое выполнение программы может подействовать на молодых рабочих роковым образом, то есть успокаивающе. «Нотки этой успокоенности прозвучали даже у самого начальника цеха, — вспомнил Воронин, — хотя в общем Васильчиков кажется подходящим человеком». А от успокоенности недолго и до беды. Словом, во что бы то ни стало нужно доказать рабочим, что они могут, а значит должны работать гораздо продуктивней. Как бы единодушно ни были готовы бойцы к атаке, всегда находится кто-то, кто первым поднимается в рост. Нужно найти этого первого и помочь ему подняться в рост. За ним встанут другие.

Воронин шёл в цех один не потому, что хотел без Васильчикова подметить какие-то недостатки. Недостатки они смогут подсмотреть и вместе. Дмитрию Петровичу хотелось попробовать тряхнуть стариной, встать к станку и попытаться самому, свежим глазом, посмотреть всю «узкую» операцию.

Узнав, где рабочее место Куприна, он подошёл к его сменщику. Токарь попался знакомый. Отбросив шуршащий ком стружек, он уступил Воронину место.

— Так на проточке заедает, говоришь? — Воронин пощупал глазами станок и, быстро наклонившись, взял необработанную ещё деталь — поковку. — А ну-ка, — кивнул он токарю, — дай воздух! — и пустил станок.

Когда на следующий день к вечеру он снова пришёл в партком, Тарасов сразу заметил, что Воронин взволнован.

— Беда, что ли? Новости плохие? — спросил он отрывисто и, узнав,

что на фронте пока всё то же, виновато вздохнул: — Я сегодня днём заснул и проспал сводку.

— Ты понимаешь, волнуюсь, как мальчишка, — ухмыльнулся Воронин, подняв на секретаря большие глаза. Было похоже, что глаза — очень молодые, живые — случайно попали на это уже пожилое усатое лицо. — Сейчас послал записку Куприну. Пишу, что, по-моему, можно попробовать ускорить операцию.

— Да что ты неуверенно как-то говоришь, — удивился Тарасов, — расскажи толком, в чём дело?

— Так в том и дело, что волнуясь! — почти вскрикнул Воронин, хлопнув ладонью по зелёному сукну. Его самого удивляло, а отчасти и радовало, что в его годы он может так волноваться по поводу дела, казалось бы, не имеющего к нему прямого отношения. — Понимаешь, мне кажется, я придумал кое-что на «узкой» их операции. Начну, думаю, говорить Куприну, а вдруг он рассмеётся и скажет: «Да я уж так пробовал, ничего не выходит». А ты сам понимаешь, как мне хочется, чтобы вышло! Столько лет я уже начальником сборки, а крепко ещё, значит, токарь во мне сидит!

Посмеиваясь и похрамывая, он бродил по кабинету, потирая большие, заложенные за спину ладони.

— Если твоё предложение окажется дельным, Куприн сумеет вырваться вперёд и народ за собой поведёт. Тогда автоматически-токарный может отобрать знамя у твоей сборки. Ты это понимаешь? — проговорил Тарасов, с интересом наблюдая за Ворониным.

Дмитрий Петрович остановился, помолчал и, пожав плечами, сказал:

— Нет, Сергей, об этом я не думал. И думать не буду. Работать буду, а думать об этом не буду, — повторил он, с некоторым укором взглянув на Тарасова.

У Тарасова в лице что-то дрогнуло, и он заулыбался, проводя ладонью по светлым и без того гладким волосам.

— Да ведь я шучу. А ты вот лучше послушай-ка, Митюша, я тебе новость сообщу, — сказал он. — Завтра, наверно, официальное назначение получишь. А сегодня я уже тебе насплетничаю. Знаешь, зачем тебя в Москву вызвали? Главным инженером завода будешь, так что прощайся со своей сборочкой.

Воронин не сразу поверил, а когда поверил, задумался.

— Знаешь, — вздохнув, тихо сказал он, — я тут недавно Куприну лекцию читал о вреде теории потолков и пределов, а сейчас, честное слово, боюсь — не выше ли возможностей?

— Так ведь ты не один, — просто сказал Тарасов. — И партком есть, и молодёжь подходящая, и кадровики остались, помогут.

Глава восемнадцатая

В госпитале теперь почти не осталось работы, на которой Кира чувствовала бы себя неуверенно. Она уставала, как и все, от тяжёлого труда, от бессонных ночей, но испытывала чувство огромной благодарности к каждому больному, которому становилось легче от её ухода. И, несмотря на плохие сводки, её не покидало безошибочное ощущение грядущей победы, потому что уверенность в победе крепнет, когда человек нашёл своё место в войне и знает, что сам он делает всё для победы.

Теперь Кира работала не только палатной сестрой. Частенько, немного отдохнув от дежурства, она бежала в приёмный покой, где её очень охотно встречали, и работала там не покладая рук. Ведь именно с такой

работой ей придётся иметь дело на фронте. Условия, конечно, будут хуже.. А после войны немедленно учиться. Серьёзно, много... Какое это будет наслаждение — прийти с войны с честной душой и сесть на студенческую скамью! Алёша тоже так думал.

Однажды Кира обрабатывала в приёмном покое одного раненого. Ранение было в мягких тканях плеча, но, падая на камни, он сломал предплечье.

Беспомощная, опухшая рука лежала на деревянной дощечке шины. Быстро и глубоко вкалывая иглу на месте перелома, Кира видела, как поднялись на коже волоски. Парень тихонько скрипнул зубами и отвернул лицо.

— Потерпи, дружок, немножко. Сейчас совсем перестанет болеть.

Кира впрыснула кокаин, помогла врачу положить руку на вытяжение.

— Сестрица! А срастётся у меня рука? — спросил парень с опаской.

Большая доза кокаина возбудила его, ему хотелось разговаривать. Моя руки, Кира задала ему вопрос, который она задавала чуть ли не каждому раненому в больнице:

— А вы не встречали на фронте командира Сванидзе? Он, вероятно, тоже под Москвой.

— Нашли, сестрица, ориентир! — рассмеялся боец — Пол-России сейчас на этом фронте. А давно вестей не получали?

— Да, почти два месяца, — сказала Кира, считая последней весточкой рассказ Васи Маленького. Ведь после этого Григорий ей ничего не писал.

— Как? Так давно ни одного письма? — Раненый свистнул, но тотчас спохватился и извинился, сконфуженный.

Кира старательно вытирала руки, глядя на бойца и удивляясь чему-то очень знакомому в его глазах. Последнее время на неё часто так смотрели. Да, конечно: и Анна Ивановна, и Савицкий, и Надя. Кире вдруг почудилось, что из всех углов, со всех стен на неё смотрят эти не то сожалюющие, не то любопытствующие глаза.

— Долго, конечно, уже ноябрь кончается, — нерешительно протянул боец, чувствуя замешательство. И неожиданно добавил бессмысленную, страшную фразу: — Ничего, сестрица! Ты ещё молодая.

Кира проводила бойца в ванную комнату и вдруг примолкла. Как будто ничего нового раненый не сказал ей, а почему же вдруг ей стало так страшно? В самом деле, уже конец ноября, а писем от Григория всё нет. А Вася Маленький... Ведь он даже не помнит фамилии комбата. И может быть, это совсем другой человек.

Конец ноября... Кира посмотрела в окно, словно впервые увидела этот хмурый мокрый снег. Ей сразу стало холодно.

Она пришла с дежурства наверх Анна Ивановна сказала, что приказом по больнице Кире объявлена благодарность, и подала ей выписку.

Кира поблагодарила, молча положив бумагу на кровать, и отошла к окну. Снег падал большими тихими хлопьями. Около уличных тумб уже выросли маленькие сугробики. И, глядя на эти маленькие сугробики, Кира вдруг поняла, что писем от Григория нет и не будет. Так же, как нет Алёши. И завтра не будет. Вообще никогда больше не будет писем.

— Кира, ты получила дурные вести? — услышала она встревоженный голос Анны Ивановны.

Кира круто повернулась. Больше всего на свете она боялась сейчас сочувствия, простого человеческого сочувствия.

Она ответила почти грубо:

— Нет, Анна Ивановна. Я не получила никаких вестей. Но я очень, я категорически прошу вас со мной об этом не разговаривать.

Анна Ивановна насильно обняла Киру, спрятала её голову у себя на груди.

— Помни только, Кирик... У тебя папа есть. Ты подумай о нём!

Кира знала о себе теперь больше, чем Анна Ивановна. Если бы да же не было папы... у неё оставались раненые, чужие и вместе с тем бесконечно близкие люди. Разве может она уйти от них?

Но горе от этого не становилось меньше. Оно пришло к ней — неизмеримое, страшное. Смерть где-то рядом. Холодно от её присутствия, и человек цепенеет.

Так оцепенела Кира с того момента, когда, вырвавшись от Анны Ивановны, снова подошла к окну и сухими глазами долго смотрела на маленькие снежные сугробики...

Она разделась, легла. Ей казалось, что не сможет заснуть, но она сразу заснула и проспала всю ночь мёртвым тяжёлым сном. Утром, в первую же секунду пробуждения, Кира поняла — круг замкнулся, начался новый, особенный день, когда ждать нечего. И такие будут теперь все дни.

В следующие ночи к ней пришла бессонница. Боясь одиночества, Кира ходила дежурить каждую ночь в свою и чужие палаты, кое-как отсыпаясь днём.

С неё как будто сняли кожу. Она не слышала, а чувствовала, когда человеку больно, когда он застонет. Как знала она теперь тишину ночных палат, такую чуткую, полную трудного частого дыхания!

Раненый не спал, до колен укрытый одеялом. Из-под одеяла толстые и белые, как берёзовые поленья, высовывались забинтованные ноги. К ночи, как всегда, боль усиливалась. Ему казалось, будет меньше болеть, если лечь на бок, и Кира, шёпотом соглашаясь с ним, долго и осторожно поворачивала на бок тяжёлое горячее тело, протирала камфарным спиртом его спину, усталую от долгого лежания. А то, сгорбившись на табуреточке, просто сидела рядом, обеими ладонями держа большую жёсткую руку, и раненому становилось легче оттого только, что кто-то вместе с ним коротаёт эту длинную тяжёлую ночь.

Раненый стихал. Молчала и Кира, думая о том, как ещё несколько дней назад старалась она запомнить всё, чтобы рассказать Григорию потом, после войны.

Она никогда ничего ему не расскажет... Никогда! Какое страшное, оказывается, это слово. Три камня, упавшие в бездонный колодец. Один тяжелее другого. Ни-ко-гда! Упали — и всё. Тишина.

— Сестра! — тихо зовёт кто-то.

Кира бесшумно в войлочных тапочках идёт к его койке. А когда и этот раненый успокоится, она вернётся на своё место у столика с маленькой настольной лампой.

Часто она вспоминала отца.

«Какая же я была бесчувственная! — укоряла себя Кира. — Подумать только, я ещё смеялась над тем, как он обороняет свою дачу. А ведь какво ему там одному, как тревожится он за меня, за Алёшу».

Мучаясь запоздалым раскаянием, сколько хороших, ласковых слов придумала Кира для отца в эти долгие зимние ночи, у постели чужих страдающих людей.

Она перестала спрашивать раненых, не встречали ли они на фронте командира Сванидзе. Она боялась теперь почтальона, посыльных. Ведь это они приносили извещение. Как жутко, что эти извещения уже успели получить прозвище «похоронки».

Только бы не прочесть своими глазами!

Когда шестого декабря Киру срочно вызвали вниз, первый раз в жизни она почувствовала дурноту. Сердце вдруг заколотилось тяжело и вяло, как большая рыба, выброшенная на песок, в груди стало отвратительно пусто, а кругом очень тихо. Она не услышала, а скорей угадала по губам Нади:

— Кира, тебе плохо?

Кира отрицательно покачала головой и очень твёрдыми шагами быстро вышла из палаты, стараясь ступать по одной половице. По лестнице она спускалась как можно медленней.

Внизу было шумно. Только что прибыли раненые. На дворе порёввали, разворачиваясь, два автобуса. Как всегда, «тяжёлых» вносили санитары, «ходячие» входили сами. Звеня котелками, шумно, с удовольствием втягивая тёплый воздух и расстёгивая крючки шинелей, они тяжело рассаживались на стульях. Приёмный покой мгновенно пропитывался непередаваемым солдатским запахом — многодневного пота, махорки и отсыревшего сукна.

Как обычно, в первый час приёмки сёстры и санитарки немного нервничали, торопливо переступая через вытянутые забинтованные ноги. Казалось, что наверху, в палатах, уже нет мест, принимать больных решительно некуда, хотя все знали, что не пройдёт и часа, места найдутся, найдётся и чистое бельё, раненые выйдут из ванны успокоенные и посветлевшие. Но, зная это, все тем не менее нервничали.

В этой суете, когда только посвящённый видел, что каждое движение целесообразно и не пропадает зря, у стенки Кира вдруг заметила отца.

В старомодном пальто с воротником, который Кира с Алёшей безжалостно называли «бывшим скунсом», Максим Лаврентьевич стоял, выпрямившись, с напряжённым, даже строгим лицом. Он впервые видел тяжелораненых, беспомощно распластанных на носилках, забинтованные руки, головы, бледные, измученные лица солдат, и зрелище это его потрясло.

— Папа! — крикнула Кира.

— Кирик! Кирик! — встрепенулся Максим Лаврентьевич, растерянно поводя глазами и не сразу отыскав дочь среди множества одинаково одетых женщин. Найдя её глазами, он беспомощно потоптался в своём углу, боясь сделать шаг, чтоб не наступить на чьи-нибудь ноги, мешки или носилки. Он только сразу вытянул вперёд руку с чем-то зажатым в кулаке, словно стремясь скорее оправдать своё появление здесь, явно неуместное и несвоевременное.

Увидев это «что-то», Кира вздрогнула. Это был сложенный треугольником листок. Такими «уголками» посылают письма бойцы, когда у них нет конвертов.

Подбежав к отцу, Кира схватила его за руку и потащила за собой непонятным ему, но совершенно свободным путём между солдатами, носилками и сёстрами.

Когда Анна Ивановна, запыхавшись, поднялась наверх, Кира плакала и смеялась, положив голову на плечо Максиму Лаврентьевичу. Он гладил её выбившиеся из-под косынки волосы и маленькое плотно прижатое ухо, а Кира прижимала к губам листок, на котором слёзы промыли голубые дорожки.

— Жив? — крикнула Анна Ивановна.

Кира молча похлопала мокрыми ресницами и протянула листок.

Григорий писал криво, видно наспех, не доканчивая слов:

«Мои дорогие, вы, наверно, потеряли надежду на моё существование. Мы были в окружении. Выходили сначала большими группами по

лесам, потом разделились по два—три человека. Сейчас я в лесу на пересыльном пункте. Люди подходят и подходят. Пусть немцы не думают, мы только ещё начинаем драться. Мы видим, как на вас летят самолёты, но в Москву немец не пройдёт. Москва и ты, девочка моя, — за моей спиной. Так правильно. Так и должно быть...»

— Кирик... — Анна Ивановна тоже заплакала. — Вот и всё твоё счастье. От письма до письма... Кирик! Ты иди пока вниз. А вы, Максим Лаврентьевич, посидите, отдохните. Мы скоро придём. Там нужно помочь. И ты послушай, послушай, что раненые рассказывают! — она заулыбалась, не утирая слёз. — Вы только послушайте, дорогие мои!

Кира спустилась вниз, как бывало в детстве, на перилах.

Ну конечно, здесь уже всё в порядке. «Рассосалось», — как говорят в госпитале. Только трое раненых ещё не раздеты, не приготовлены. Так они — «лёгкие». Вон один развалился, курит, рассказывает. Сам Ладейщиков здесь...

Санитарки замешкались. Кира проворно опустилась на одно колено возле раненого и взялась за его привязанный к забинтованной стопе ботинок. Испугавшись стремительного движения, солдат оборвал речь на полуслове и весь подался вперёд, защищая руками свою наболевшую ногу.

Кира подняла на него промытые слезами глаза.

— Ну что ты, голубчик, я же осторожно!

— Ну, снимай, доченька, снимай! — солдат уже доверчиво протянул ей ногу, облегчённо откинувшись на спинку стула.

— Да рассказывай же, отец, не тяни!

Бережно распутывая грязные узлы, Кира тотчас обернулась на голос Ладейщикова, потому что никогда не слышала и не видела ведущего хирурга таким взволнованным. Халат его распахнулся. Тонкая длинная шея высывалась из ворота стиранной гимнастёрки, как будто он вырос из неё. Теперь только Кира увидела, что и санитарки замешкались, потому что слушают, и Бобриков пришёл без халата, и никто ему ничего не говорит, и к двери всё подходят и подходят сёстры и врачи.

— Так вот я вам говорю, погнали немца! Так погнали, что он и технику бросает! Я сам, лично видел — и танки и пушки бросает. Бежит, проклятый! Бросает и танки и пушки! Гонят его! — повторял солдат, сам приходя в восторг от огромности принесённой им вести. Расслышав редкие глухие удары зениток, давно небритый, почерневший, усталый, он рассмеялся и похлопал Киру по плечу: — Ничего, дочка, не бойся! Теперь не бойся! Это зенитки... — Как будто она сама не знала, что это зенитки. — Теперь уж не страшно. Теперь уж он нам свою спину показал. Да! Показал спину! Теперь начнём воевать! Уж теперь начнём воевать, да!

Ладейщиков пригладил волосы, поправил ворот, стиснул свои большие нервные руки. Все переглянулись и вдруг дружно, глубоко вздохнули.

Как подводники, они так долго дышали спёртым воздухом осады, что забыли уже, как прекрасен воздух свободного, лёгкого дыхания. Осады больше нет! Немец отступил!

— Кирик! Я пойду. Пока поеду.. а то комендантский час, — услышала Кира нерешительный голос отца. Он не усидел в одиночестве.

Раненого бережно, под руки, словно он был самый «тяжёлый», увели в ванную.

Подойдя к Ладейщикову, Кира попросила отпустить её проводить отца. Ладейщиков глядел в окно широко раскрытыми глазами. Он не оглянулся. Сказал тихо:

— На час. Только не опаздывайте.

Может быть, и у него кто-нибудь был там, под Москвой.

Кира никак не могла вспомнить — что ещё нужно было ей сделать, непременно сию же минуту сделать. Ах, вот что! Может быть, этого ещё и нельзя говорить, и её поругают, но она позвонит на завод Дмитрию Петровичу, а он скажет всем...

Глава девятнадцатая

«Олюнька, дорогая моя, три моих четверти, — торопливо писал Воронин. — Новость большую, меня касающуюся, ты, конечно, уже знаешь. Сказать не могу, как мне тебя нехватает. Не удивляйся молчанию. Поверишь ли, это письмо пишу уже пятый день. Пока ещё здорово трудно, с непривычки, всё боюсь что-нибудь упустить, недосмотреть. Смешно вспомнить, как мне казалось раньше, что в сборке у меня такая ответственность, что еле возможно упомянуть самое необходимое, а теперь?.. Парадоксально звучит, а правду говорят, что занятый человек успевает больше. Производство день ото дня разворачивается. Я, грешный, уж и на Малько иногда ворчу, что много хорошего народа себе забрал, хотя, конечно, с готовыми кадрами — не хитро работать. Хитро свои выростить...»

Дмитрий Петрович написал про кадры и вспомнил, что хотел попытаться достать для ремесленников резиновые перчатки поменьше размером. Работают ребята за взрослых электриков, а обе руки в одну перчатку свободно вложить могут. Как можно?

Он сидел теперь в большом кабинете в заводууправлении. Здесь было совершенно тихо, но его не могла обмануть эта тишина. Там, в главном здании, уже родился прежний, привычный, успокаивающий шум. Работал завод.

Записав в блокнот о резиновых перчатках, Воронин вспомнил ещё об одном деле и велел секретарю узнать номер телефона подшефного госпиталя. Завод в своё время помог госпиталю эвакуировать оставшихся в Москве ребят. Надо сообщить матерям, что дети благополучно добрались до места.

— Я позвоню, — сказала секретарша. — К вам там токарь Куприн и этот высокий парень из редакции. Савицкий, кажется, его фамилия.

— Куприн? — Воронин положил в стол письмо и блокнот. — Давайте его скорее и Савицкого тоже.

Едва войдя в кабинет, Виктор встретил жадные, нетерпеливые глаза Воронина и закричал, кивая и улыбаясь:

— Вышло, Дмитрий Петрович! Вышло!

Воронин уже шёл им навстречу, потирая руки, и они встретились посредине большого, ещё чужого для них обоих кабинета.

— Ну, рассказывай! — стараясь быть сдержанным, сказал Воронин. — Да что ж мы стоим? Садитесь! Виктор, Борис! — он оглянулся. — Ну хоть сюда! — Они сели в мягкие, стоявшие у окна, кресла. — Ну, рассказывай! — уже не сдерживаясь, Дмитрий Петрович хлопал Виктора по плечу, по колену, словно пробуя, осталось ли ещё в парне силы. Слава богу, осталось! — Всё рассказывай, герой! Поподробней!

— Во-первых, я виноват перед вами, — торопливо заговорил Виктор. — Я не сразу решил. Я боялся, что будет брак. Понимаете, у меня перевыполнения не было, но не было и брака. Я думал: всё, что хотите, только не брак. Вот и протянул три дня. Непростительно это. За три дня, знаете, сколько можно бы?.. — Виктор свистнул.

Потом он попытался более или менее связно рассказать, как всё произошло.

...С утра ему, как обычно, работалось хуже, и он не решался пробовать. Когда руки размялись, Виктор вынул листок с записями Воронина и положил перед собой на станок, но, не заглянув в него, начал работу как обычно.

Он пустил станок. К зажатой в патроне поковке торопливо придвинулся резец и начал в неё вгрызаться. Сбежала пружинистая синяя стружка — поковка обтачивалась. По следам первого пошёл второй резец, маленький. Он провёл ровную дорожку вокруг кольца — снял фасочку. Сделав своё дело, оба резца торопливо отшли от готового кольца и скормно остановились в сторонке. Станок чуть слышно щёлкнул и замер.

Теперь оставалось замерить деталь и начать обработку следующей.

«Ну вот и всё! — Виктор снял горячее кольцо. — Так я всё время и работал. Станок не лошадь — его кнутом не подгонишь. Не могу я эту операцию убыстрить. Что же, интересно, Дмитрий Петрович советует?»

Он наклонился к листку. По первой части операции Воронин не предлагал ничего нового, но в конце листка двумя чертами были подчеркнуты фразы: «Когда деталь обработана, снять её, зажать в патрон следующую поковку, пустить станок. Пока станок будет работать, замерить готовое кольцо».

Виктор озадаченно потёр лоб: «Практически это означает, что станок должен работать один... Конечно, если с абсолютной точностью зажать в патроне поковку, станок не ошибётся. Но если зажмёшь не точно, поправить не успеешь...»

С непривычки Виктору показалось страшным рисковать: выйдет брак, сраму не оберёшься. Потом он решил.

Закрепил новую поковку, пустил станок и заставил себя отвернуться к мерительному прибору.

Как непривычно было слышать, что станок в это время работает! Один работает!

Замерив деталь, Виктор повернулся, как на шарнирах. Станок уже заканчивал обработку следующего кольца. Щёлкнул. Замер.

Что только пережил Виктор, измеряя следующее, можно сказать, «самостоятельно» обточенное станком кольцо? А если оно всё-таки оказалось зажатым неточно и теперь пойдёт в брак?

Кольцо лежало строго в допусках.

Может быть, полминуты Виктор молча простоял у затихшего станка, почти физически ощущая крошечный, но такой важный кусочек времени, который он сэкономил сейчас.

И это было так необычайно просто. Удивительно, как он сам не нашёл раньше этих драгоценных секунд. Одна большая неповоротливая операция вдруг распалась на несколько маленьких, послушных и подвижных. В каких-то, пока неизвестных, но, несомненно, существующих комбинациях спрятаны ещё не открытые минутки экономии. Нашёл же он сейчас одну!

В течение всего рабочего дня Виктор ощущал теперь на своём рабочем месте присутствие этой найденной минутки. Вот ещё, ещё одна... А когда их собралось несколько, они уже составили лишнее кольцо. Как на счётах: щёлкают копейки, копейки, а на каком-то щелчке — уже рубль!

Сколько этих лишних колец получилось, Виктор, конечно, не мог, да и не старался определить. Его восхищало самое чувство неизмеримо возросшей власти над станком, который теперь работал почти не-

прерывно. Виктор скоро нащупал в его ритме такие моменты, когда можно ослабить мышцы и внимание, отдохнуть. Он долго не чувствовал усталости. Какой прекрасной была эта незатруднённая движений! Словно он долго и противно барахтался в воде и, наконец, поплыл.

Он не заметил, когда кончилась смена.

— Эх тебя подвело! — сказал сменщик. — Болеешь? Или устал?

Виктор удивился, но потом решил — наверно, он всё-таки устал. Ему захотелось поглядеть на кольца, которые он сегодня выточил. Он прошёл к станкам, где кольцам шлифовали внутренний диаметр. Смотрел на них со странным чувством собственности—сколько их! Какие чёрные, шершавые пришли они к нему, а теперь — вон какие нарядные! Виктор присел. В зеркальных поверхностях отразилось его расплывшееся лицо, и в каждом кольце — он сам!..

— Поверите ли, как маленький, смотрелся в кольца, — счастливо улыбаясь, закончил Виктор. — Сегодня я, кажется, сто пятьдесят с чем-то процентов дал. Но ведь это же не предел! Теперь со временем можно и о многостаночном подумать! А всё вы, Дмитрий Петрович!

— Сегодня я, а завтра ты! — ещё раз похлопав Виктора по плечу, Воронин облегчённо, глубоко вздохнул. С лица его сбегало радостное оживление, словно он решил одну задачу для того лишь, чтобы тотчас обратиться к решению десятков других, куда более сложных задач. Да так оно и было.

Он поднялся, тотчас встали Виктор и Савицкий.

— Ты пойдй поспи хоть часок, на тебе лица нет, — быстро, по-деловому сказал Воронин Виктору. — А вы сейчас же идите в цех, свяжитесь с парткомом. Чтоб вторая смена уже имела молнии, стенновка нужна, — обратился он к Борису.

— Партком уже связался с редакцией, — почтительно глядя на Воронина, доложил Савицкий.

Вошла секретарша и сердито сказала, что какая-то Стародумова из подшефного госпиталя вот уже добрых десять минут обрывает телефон и требует, чтоб Воронин взял трубку. Пусть товарищ Воронин скажет, чтоб в сборке не давали кому попало его номер, а то ему работать не дадут.

— Товарищ Воронин, это невеста Сванидзе. Она не будет звонить по пустякам, — быстро сказал Савицкий, боясь, что Дмитрий Петрович может рассердиться на Киру.

Но Воронин, взяв трубку, уже приветливо говорил с ней, потом вдруг замолчал, стиснул трубку так, что пальцы у него побелели. Он ничего не говорил, он только кивал, но по лицу его, по глазам Виктор и Борис угадали неплохую весть.

Положив трубку, Дмитрий Петрович опустил на стул. Сердце его билось тяжело и часто. Он был очень бледен. Он посмотрел на замерших перед ним в ожидании Виктора и Бориса и вдруг, весь подавшись к ним, прошептал:

— Ребята! Мальчики мои милые! Немцы побежали! Гонят их! — повторил он уже громче, словно вслушиваясь в победную музыку этих слов, и вдруг закричал: — Немцев погнали! — но тотчас прикрыл рукой рот. — Да что же это я? Ведь, может быть, сведения не проверенные, но раненые говорят, что враг бросает технику и пушки! — в восторге повторил он то, что сказала ему Кира.

— Нет, это правда, Дмитрий Петрович! — впервые называя его так, сказал Борис. — Иначе не могло и быть.

— Но где же эта Кира? — почти с отчаянием оглянулся Виктор, как

будто она могла быть в кабинете. — Зачем бросила трубку? Пусть расскажет...

— Она пошла с отцом на Красную площадь, — сказал Дмитрий Петрович. — Эх, далеко мы! Я бы тоже туда пошёл.

— Пойдёмте на крышу! — вспомнил Виктор. — Мы увидим, наверняка увидим оттуда Кремль. Если б звёзды не были замаскированы, мы бы и звёзды увидели!

Он и Борис подхватили под руки Дмитрия Петровича и бегом поднялись на крышу.

Дул сильный ветер.

Кира и Максим Лаврентьевич были уже на улице. Дул очень сильный холодный ветер. Кира не замечала его.

— Немцев погнали от Москвы! — повторяла она.

Видно, Максим Лаврентьевич всё ещё не верил, но сейчас смысл её слов дошёл, наконец, до него. Он остановился как вкопанный.

— Слава богу! Слава богу! — медленно сказал побледневший Максим Лаврентьевич и, обняв, трижды поцеловал Киру в щёки. — Надо же Алёше сказать. Он ещё не знает, наверное?

— Узнает, — отвернувшись, сказала Кира. — Папочка, он уехал. Его здесь нет сейчас. Ну, за него, за меня пойдём сейчас на Красную площадь! Вот именно сейчас мне хочется пройти по Красной площади.

Кира взяла отца под руку, со странным удовлетворением ощущая, что она выше его ростом, наверное сильнее и уже может помочь ему, и они пошли.

Дул очень сильный ветер. На Москве-реке вилась позёмка. Грудь реки лежала, закованная в кольчугу льда. Славный и грозный стоял на холме Кремль.

И Кире показалось вдруг, что не западный ветер несёт на них тяжёлые громады туч, а Кремль, с зубчатыми стенами его, куполами и башнями и алым знаменем на дворцовом шпиле, двинулся и идёт, идёт на запад, рассекает потоки облаков и морозные волны ветра, неся миру жаркий, сверкающий свет.



НОВЫЕ СТИХИ

(Из книги „В дороге“)

С. МАРШАК

★

Вокзал

Нам открывается страна
С вокзального порога.
Отворишь дверь — и вот она,
Железная дорога!

Дают свистки кондуктора,
Поют рожки на стрелке.
И ударяют буфера
Тарелками в тарелки.

Зелёный, красный свет горит.
И каждый миг сигналом
Вокзал с дорогой говорит
И поезда с вокзалом.

Школа на колёсах

*Посвящается школе-вагону
путевой машинной станции № 61*

За перегонем перегон.
Леса, озёра, сёла.
Бежит по рельсам наш вагон —
Кочующая школа.

Здесь нет на полках багажа,
А вместо лавок — парты.
И шелестят, слегка дрожа,
Развешенные карты.

Стоит иль мчится паровоз —
У нас идёт ученье.
И мерно вторит гром колёс
Нам на уроках пеня.

Отцы и матери у нас —
Ремонтная бригада.
И в тех местах стоит наш класс,
Где им работать надо.

То мы в сибирскую тайгу
С крутых ступенек сходим,
То на кавказском берегу
Костёр в пути разводим.

Сегодня солнечная степь
За окнами вагона,
А завтра гор крутая цепь
Встаёт до небосклона.

Мы видим новый Днепрогэс,
В степи — огни завода.
Мы видим, как сажают лес
Двухтысячного года.

Идём в колхоз на сенокос
Сгребать днепровский клевер.
И вновь зовёт нас паровоз
В далёкий путь — на север.

Нас каждый дальний перегон
Знакомит с новым краем.
Проходим на уроке Дон —
И Дон переезжаем.

Мы не забудем никогда,
Как утром сквозь перила
Донская синяя вода
Под нами зарябила.

Мы видим в книге свой маршрут —
Равнины, реки, горы.
А за окошками бегут
Родной земли просторы.

СТИХИ О ВРЕМЕНИ

I

На всех часах вы можете прочесть
Слова простые повести глубокой:
Теряя время, мы теряем честь,
А совесть остаётся после срока.

Она живёт в душе не по часам.
Раскаянье всегда приходит поздно.
А честь на час указывает нам
Протянутой рукою — стрелкой грозной.

И счастлив я, что жребий выпал мне
В такое время жить в моей стране,
Когда, как стрелки в полдень, слиты вместе
Веленья нашей совести и чести.

II

Мы знаем: время растяжимо.
Оно зависит от того,
Какого рода содержимым
Вы наполняете его.

Бывают у него застои,
А иногда оно течёт
Ненагружённое, пустое —
Пустых минут напрасный счёт.

Пусть равномерны промежутки,
Что разделяют наши сутки,
Но, положив их на весы,
Находим долгие минутки
И очень краткие часы.

III

Нас петухи будили каждый день
Охрипшими спросонья голосами.
Была нам стрелкой солнечная тень,
И солнце было нашими часами.

Лениво время, как песок, текло,
Но вот его пленили наши предки,
Нашли в нём лад, и меру, и число.
С тех пор оно живёт в часах, как в клетке.

Строжайший счёт часов, минут, секунд
Поручен наблюдателям учёным.
И механизмы, вделанные в грунт,
Часам рабочим служат эталоном.

Часы нам измеряют труд и сон,
Определяют встречи и разлуки.
Для нас часов спокойный, мерный звон —
То мирные, то боевые звуки.

Над миром ночь глубокая царит.
Пустеет понемногу мостовая.
И только время с нами говорит,
За часом час на башне отбивая.

Сердца часов друг с другом бьются в лад.
Дела людей заключены в их сетке.
На Спасской башне строгий циферблат
Считает все минуты пятилетки.



СТИХИ ПОЭТА КОММУНИСТА

НАЗЫМ ХИКМЕТ

(С турецкого)

★

Назым Хикмет, крупнейший турецкий поэт, коммунист, родился в 1901 году. Отец его был крупным чиновником, мать — художницей. Назым Хикмет начал писать стихи с 14 лет, когда он был учеником морской школы, которую впоследствии покинул, чтобы принять участие в борьбе Кемалья-паши против султанского режима.

Цели и достижения кемалистского буржуазного переворота не удовлетворяли поэта. Воплощение своей мечты о социальной справедливости он видел в новом строе, осуществлённом Советской Россией. В 1920 году с большими трудностями Назым Хикмет добрался до Батума, а затем приехал в Москву. Здесь он слушал лекции по литературе и по основам марксизма-ленинизма. Здесь он испытал на себе влияние, предопределившее весь его дальнейший поэтический путь, — влияние Маяковского. Назым Хикмет стал реформатором турецкого стиха. А вольнолюбивое содержание его поэзии привело к тому, что ещё в 1923 году турецкий суд вынес ему первый, пока заочный, приговор.

Не получив ответа на своё ходатайство о визе для возвращения в Турцию, поэт вернулся на родину без разрешения и сразу попал в тюрьму. После освобождения он выпустил первый сборник стихов, под влиянием которого к поэтической реформе Назыма Хикмета присоединилась вся передовая литературная молодёжь. В это же время в Стамбуле вспыхнула стачка трамвайщиков. Назым Хикмет посвятил бастующим стихи, за которые издатель был привлечён к суду.

В течение восьми последующих лет Назым Хикмет опубликовал несколько стихотворных сборников, ряд пьес и статей. Жил он в бедности.

Несколько раз он привлекался к суду за коммунистическую пропаганду.

В конце 1936 года Назым Хикмет был предан суду военного и военно-морского трибуналов по обвинению в подстрекательстве военнослужащих к мятежу. В защите ему было отказано. Суд совершился при закрытых дверях. Военный и военно-морской трибуналы приговорили его в совокупности к 28 годам и 4 месяцам тюремного заключения.

Назым Хикмет продолжает писать и в тюрьме. Ни одна строчка его стихов не появляется в турецкой печати, но они расходятся в тысячах списков по стране. Судьба поэта привлекла внимание всего прогрессивного мира.

Мы публикуем четыре стихотворения Назыма Хикмета.

Ночью идёт снег

Не слушать голоса далёких берегов,
и не летать в ткань строк неизречённых мыслей,
и не искать, как ювелиру, рифм,
и пышных слов, и ласковых созвучий.
Сегодня вечером я, слава богу, выше,
намного выше этой чепухи.

Сегодня вечером я — уличный певец,
мой голос прост и безыскусен,
неведомый тебе, поёт он песню,
которой не услышишь ты.

Ты — у ворот Мадрида,
 чужая армия перед тобой,
 та армия, что убивает всё,
 что есть прекрасного у нас:
 надежду, родину, свободу и детей.
 А ночью снег идёт...
 Ты ноги промочил, и мёрзнут ноги.
 И снег идёт...
 Пока с тобой я говорю,
 вот в эту самую минуту,
 любая пуля может снять тебя,
 и для тебя не будет больше снега,
 не будет больше ветра.
 А снег идёт...
 А ты сказал «но пассаран!»¹
 перед воротами Мадрида.

Ты жил, конечно, раньше тоже.
 Кем был ты? Где родился? Что ты делал?
 Из шахт Астурии ты, может быть, пришёл;
 под кровавленным бинтом на лбу, быть может,
 на Севере полученная рана;
 быть может, из твоей винтовки
 последняя метнулась пуля,
 когда Бильбао «юнкеры» зажгли.
 А может быть, служил ты батраком
 на ферме некоего графа
 Фернандо Валескерио Кортон;
 иль фруктами с живой испанской окраской
 с лотка на площади мадридской торговал.
 А может быть, ты жил без ремесла,
 имел красивый, звучный голос,
 студентом был — философом, юристом,
 и гусеницы итальянских танков
 твои с землёю замесили книги.
 Ты в бога, может быть, не верил,
 а может быть, носил ты на груди
 миниатюрный крестик на гайтане.
 Кто ты? Как имя? Сколько лет тебе?
 Тебя не видел я и не увижу.
 Как знать — твоё лицо напоминает,
 быть может, лица тех, кто Колчака разбил,
 а может быть, оно на лица тех похоже,
 кто на полях боёв за Турцию погиб,
 иль Робеспьера ты живой портрет...
 Меня не знаешь ты и не узнаешь —
 лежат меж нами горы и моря,
 и всё моё проклятое бессилье,
 и невмешательства проклятый комитет.
 Я не могу прийти и встать с тобою рядом,
 я не могу послать тебе патроны,
 и хлеб, и пару шерстяных носков.
 А знаю я, что у ворот Мадрида

¹ «Они не пройдут!» — лозунг испанских республиканцев.

стоишь ты недвижим, и ноги мёрзнут,
 как голых два, ребёнка.
 И знаю я: величье, красота,
 всё то, что человек однажды обретёт,
 всё то, чего с такой тоской я жду,
 сияет это всё в глазах у часового,
 у часового моего в Мадриде.
 И знаю, что вчера, и завтра, и сегодня
 я делать ничего другого не смогу,
 как только всей душой любить тебя.
 1937.

Во времена султана Гаида

Во времена султана Гаида
 десять лет службы не завершил
 В Йемене мой отец, а был он
 высшим чиновником, сыном паши.
 Класс я сменил и стал коммунистом,
 службу свою в тюрьме я служу,
 Во времена республики дивной
 девять я лет в одиночке сижу.
 Служба моя хоть и не добровольна,
 жаловаться не пристало на то;
 Служба моя — только долг патриота,
 сколько продлится — не знает никто.
 1947.

Двадцатый век

— Уснуть сейчас, любимый мой,
 проснуться через сотню лет..
 — Нет,
 я не дезертир!
 К тому ж мой век мне страха не внушает,
 Мой жалкий век —
 он от стыда краснеет,
 мой смелый век
 великий век героев.
 Я никогда не сожалел,
 что я родился слишком рано.
 Я человек двадцатого столетья,
 я этим горд!
 С меня довольно быть среди своих,
 за новый мир сражаться..
 — Но через сотню лет, любимый мой..
 — Нет, раньше и наперекор всему!
 Мой век не раз умрёт и возродится,
 но будут дни его грядущие прекрасны,
 он просияет солнцем, как глаза,
 любимая, твои.
 1948.

Грудная жаба

Сердце? Но здесь — половина его только, доктор,
другая — в Китае,
в армии той, что спускается к Жёлтой реке.
А кроме того, по утрам,
по утрам, на рассвете чуть брезжущем, доктор,
в Греции сердце ведут на расстрел.
А кроме того, в час, когда арестанты уснут
и затихнут в больнице шаги,
моё сердце уходит в Стамбул, —
есть там старенький дом деревянный...
А кроме того, вот уж десять —
десять лет уже, доктор,
как пусты мои руки, и нечего дать мне народу, —
только яблоко это,
красное яблоко — сердце моё.
В ночь я смотрю сквозь решётку,
и пускай эти стены мне давят на грудь,
сердце с самой далёкой звездой говорит.
Вот поэтому, доктор, —
и совсем не склероз, никотин и тюрьма тут виною, —
у меня то, что вы по-латыни зовёте
ангиною пекторис, жабой грудною.

1948.

Перевёл О. Савич.

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

ХЛЕБОРОБЫ

Ю. КАПУСТО

★

В дни обмолота.

Раннее, холодноватое утро.

Члены бюро разъезжаются по району.

Секретарь райкома Пашков вышел из кабинета в зелёной широкополой шляпе, с брезентовым плащом, перекинутым через плечо.

— Едем,— сказал он.

Когда-то в такое же утро наш комбат впервые взял меня на передний край ..

На улице уже шумел выдавший виды «газик» с самодельным кузовом, обитым внутри фланелью. Этой обивкой Борис, райкомовский шофёр, утеплял машину на зиму. Сейчас снимать это некогда.

Машина подпрыгнула и помчалась.

Мы ехали от колхоза к колхозу. Пашков помнил, где вчера порвался приводной ремень, где на прошлой неделе был простой комбайна, знал все молотильные агрегаты, которые придаются колхозам, как батареи батальонам.

...Неожиданным поворотом дорога вырвалась в гречишное поле. Пашков вышел из машины, нагнулся и стал прислушиваться. Над полем стоял гул. Пчёл не было видно, а цветущая гречиха гудела. Он вернулся в машину, широко улыбаясь.

— Партизаны кочуют со своими семействами.

Я не понял.

— Пасечниками стали деды-партизаны,— пояснил он — Вот теперь на гречу вывезли пчёл.

Сколько различных усилий, различных профессий должно пересечься, чтоб создалось то общее, что называется обычным днём страды.

Для каждого настоящего работника профессия становится личной страстью. Но часто интересы одного дела сталкиваются с интересами другого.

Сколько различных страстей, темпераментов должно столкнуться и вступить в поединок, чтобы день хлебозаготовок района прошёл строго по графику. Как точно направлено должно быть это разнообразие, как безошибочно должны быть проверены все интересы высокой меркой партии!

Точно должны найти своё место в этом горячем дне агитаторы, парторги, коммунисты каждой артели.

...Вечерет Дневная смена колхоза «Путь к социализму» заканчивает обмолст ржи. Молотилка переезжает на овёс. К току подходит ночная смена. С подножки подъехавшего грузовика человек спрыгивает Але-

ксандра Савельевна — секретарь партийной организации. Это пожилая женщина с простым, неприметным лицом, повязанная белым бумажным платком в чёрный горошек. Вокруг неё сразу собираются люди — ежедневная «летучка» коммунистов колхоза. Коммунисты — в каждой бригаде. Они коротко рассказывают об истекшем дне.

У Александры Савельевны голос негромкий, надтреснутый. Ещё самая горячая уборка, а она уже говорит о подготовке к осеннему севу.

Савельевна годится в матери каждому из этих мужчин в выгоревших гимнастёрках с медалями за Берлин, за Прагу, за Кенигсберг. Она не бывала там, где побывали они, на простой крестьянской кофте никаких орденов, её речь выдаёт человека, который поздно научился читать. Но за каждым словом Савельевны — та мягкая, мудрая, выстраданная сила, с которой не спорят.

Ещё несколько указаний на завтрашний день — и молотилка на полном ходу. На широком полку молотилки у барабана стоит неугомонный в свои семьдесят шесть лет барабанщик Пахан. То с правой, то с левой его руки в машину летят снопы ячменя, и вправо и влево от Пахана, от края скирды до края вырастающего омета кругами расходится тугое, напряжённое движение.

К молотилке подходят волы с возами. Скирда растёт.

А по дорогам от колхозных токов к государственным пунктам идут и идут машины.

В тёмных амбарах «Заготзерна» слабо мерцают сыпучие горы хлеба, и амбары распахивают свои двери навстречу подъезжающим вплотную вагонам.

Ночь. На краю Стремиловки в просторной избе круглосуточных ясель между рядами плетёных кроваток тихо проходит Александра Савельевна. Она в раздумье останавливается около мальчугана, зарывшегося лицом в подушку, и поспешно вытирает ладонью глаза.

Ночь. На полку у барабана попрежнему дед Пахан. Так же быстро летят его руки — и под руками снопы ячменя. Омет растёт, но и скирда не тает, к молотилке непрерывно подходят волы.

Наконец Пахан спрыгивает с полка и бросается в солому, сваленную у трактора.

— Перекур без дремоты, — объявляет он.

Борода у Пахана совсем седая, но спина крепкая, ровная, никакого намёка на старческую сутулость.

Пахан ходить не умеет, говорят про него в деревне: как родился, так побежал. Всю жизнь ему некогда.

Одна за другой срываются и слетают с неба переспелые августовские звёзды.

— Смотри-ка, — говорит Пахан, — видишь, подымаются в небе звёзды целой семьёй. Это Высожары. Когда доверху подымутся — значит рассвет... Вот уже двое суток от молотилки не отхожу. — Старик поворачивается и показывает на соседнее поле. — Двадцать лет назад сюда привезли первую молотилку. Я спросил тогда: кто на этой машине будет за главного? Мне сказали, что барабанщик. Встал я к барабану — и вот двадцать лет не схожу. Всё с ним, — он показывает на угрюмого машиниста Чайкина, который молча лежит тут же в соломе.

— Много с тех пор воды утекло. А раньше ещё грузчиком был, двенадцать вагонов погружу — всё равно скука. Одному силой играть обидно. Хорошо, как есть кому себя показать.

Пахан отходит в сторону, в руках его вспыхивает зажигалка, освещающая бороду, такие же, как борода, белые брови и блестящие живые глаза.

— Всё веселье моё—в работе,—говорит Пахан.—Такого народа, как у нас в Стремилровке, нету вокруг. Дюже в работе злые. А ты спроси у них, как дед Пахан на жатву выходит. Они ещё здесь, а я,—Пахан срывается с места и летит по полю, — а я уже тут, — кричит он изда-лека и возвращается к соломе. — Не думай, что хвастаю. — Он показы-вает на молотилку. В свете тракторных фар видно, как бьётся её груз-ный корпус и вместе с ним бьётся, дрожит на свету боевой листок, при-креплённый к корпусу молотилки. — Там написано про меня — Савель-евна говорила.

У барабана быстро управляется со снопами высокий тонкий парень в огромных очках.

Пахан запатывает ногой окурок и бежит к молотилке. Через секунду так же с размаху, как дед, в солому бросается его сменщик.

Он весь ещё в напряжении неустанной машины, кажется — только из боя. Тёмные очки подняты на лихо заломленную пилотку.

Тут же в соломе остальной экипаж молотильного агрегата. «Экипаж машины боевой», — говорят про себя трактористы. Они воевали на тан-ках. Их двое, и они могли бы работать посменно, но уже семнадцать суток оба — на случай аварии — не отходят от трактора, живут здесь.

— Так и живём тут у машины: ему для славы, — тракторист кивает на Чайкина, — себе для совести.

— Почему это ему для славы?

— Да про него ж во всех газетах пишут: знатный машинист Чайкин, семьдесят тонн зерна в сутки, — не без зависти говорит тракторист. — А куда бы он без нас. Верно, Чайкин?

Чайкин молчит.

Высожары набирают высоту.

Рокот молотилки тонет в тракторном гуле, который стоит над сосед-ним полем. Здесь, у молотилки, завершается сельскохозяйственный год, там начинается новый цикл. Поднимают глубокую зябь — залог устойчи-вых урожаев нового года.

И спокойный, не по годам уравновешенный бригадир тракторной бри-гады — Шевченко, тот самый, который приволок в штаб под Сталин-градом живого немецкого генерала, прикорнул тут же на земле, завер-нувшись по-фронтовому шинелью, так же, как трактористы молотилки, не отходя от своих машин.

Не спит ещё и Савельевна. Она проверяет, получены ли из колхоз-ного склада продукты, выписанные для яслей, и идёт из фермы.

— Председатель у нас толковый, горячий, — рассказывает Савельев-на по дороге. — Но больно уж хочет отличиться. Что завтра будет — то не его. Вот и сейчас боюсь: пожалуй, не поставил волов на отдых. Она прибавляет шаг и подходит к колхозным хлевам.

Перед рассветом пахари выводят в поле волов и коней.

Перед рассветом в район звонит секретарь обкома.

Пашкова находят в поле. Через пять минут Пашков в сельсовете у телефона. Он долго слушает молча и, наконец, говорит:

— За нас не беспокойтесь.

Светает... В этот час по всему району к молотилкам подходят днев-ные смены.

Заря пробегает по чистеньким, голубоватым—на украинский манер—хаткам Стремилровки. Когда-то в прошлом веке барин выиграл Стреми-ловку в карты и вывез её сюда с Украины.

К окну Савельевны, которая всегда в этот час дома, подходят де-

вушки ночной смены жаловаться на бригадира, неверно записавшего трудодни.

К этому же окну подкатывают председательские дрожки Антипа Фентисова. Сильно седеющий, но крепкий и краснолицый Антип молодецато удерживает лошадь. Гнедой встаёт на дыбы и кусает поводья.

— Ну, комиссар, рассказывай, что в газетах пишут.

Антип недолюбливает Савельевну. Слишком уж прямой она человек, хоть и тихий, но почему-то получается, что в каждом деле она видит дальше, чем видит он, Фентисов Антип, самый крепкий дуб на селе, как думает он про себя. И будто никакого ей дела нет до его седин и до того, что он по три ночи подряд не спит.

И никогда не умея справиться со своим раздражением, всё-таки каждое утро Антип подезжает к окну своего «комиссара», как он называет секретаря партийной организации.

— Вот что, Антип Никитич, — спокойно говорит Савельевна, — почему это пшеничку молотить молотишь, а везти её не везёшь? — И она сквозь двойные очки заглядывает ему в душу своими подслеповатыми глазами. — И почему это ты, Антип Никитич, раньше срока с яровыми торопишься?

Она терпеливо ждёт ответа и, не дождавшись, отвечает сама:

— А потому, что один ты захотел стать умнее, чем весь район. Пшеничку, мол, попридержу, а государству сдам побольше ячменя. Тоже, мол, очень неплохо. Они, мол, в городе всё съедят, приятного им аппетита. — Савельевна говорит, словно читая в мыслях председателя. — Угожу, мол, думаешь, и снова меня выберут, а вчера на партийном собрании, Антип Никитич, такое место из решения Центрального Комитета прочитали — ну будто как раз про Антипа Никитича нашего всё разгадано...

Рассвет над Кончанкой, что в километрах пятнадцати ют Стремилловки.

Кончанкой когда-то назывался край огромного старинного села Дальние Угоны. Здесь в XVII веке, в лесах, которых давно уже нет, скрывались беглые крестьяне, в эти же места они угоняли помещичий скот (отсюда название села). Кончанка за последние десятилетия разрослась — отбросила от себя на холмы новые ряды белых аккуратных хат. Так появились Барыбин Бугор, по имени деда Барыбы (внук его Евгений Маслов теперь бригадир первой бригады), Евграфов Бугор, по имени красного партизана, и Грудинцев Бугор, где расположилось правление артели и её хозяйство.

Кончанка оказалась в центре села.

Раньше Кончанку называли «Пеклом». Невесты боялись итти замуж на эту улицу. «За ними не поспеешь, они ж как ужаленные работают, у них свекровям не угодишь», — говорили про кончанцев.

Теперь на Кончанку равняется всё село.

На соседней улице — Тепловке — колхоз «Борьба». Он не уступает кончанскому колхозу «13 лет Октября». Стоят друг против друга два колхоза и глаз друг с друга не сводят. На Тепловке уже своя электростанция.

Кончанкой управляют теперь не свекрови, а такие люди, как бригадир Маслов.

Рассвет над Кончанкой...

Коренастый, сильно загоревший Маслов вскакивает с койки и по неискоренимой солдатской привычке делает несколько движений зарядки...

В окна заглядывают ветви фруктовых деревьев, и сквозь ветви —

несмелый свет раннего утра. На столе карта полей второй бригады, блокнот с нарядами, раскрытая книга Фучика, раскрытая тетрадка — дневник бригадира.

Маслов подходит к столу и пишет несколько строк:

Светает, Кругом тишина,
 Прячутся звёзды во мглу.
 Раньше всех поднялась она
 И под окна стучит по селу,
 И везде отзываются ей
 Полусонных подруг голоса.
 — В поле, девчата, в поле живей!
 Покосим, откуда роса...

Сегодня выходит номер стенной газеты... Маслов внимательно смотрит на листок. Трудно найти слова, чтоб рассказать о Марии Михайловне Волынцевой, лучшей работнице его бригады.

Недовольный собой, он бежит на наряд.

...В хате Марии Михайловны — «помкомвзвода», как прозвали её вернувшиеся домой фронтовики, на широкой постели, в сенцах, на печке и на полу спят женщины. Они пришли сюда с вечера, чтоб не проспать. Бригадир второй бригады сказал, что кончит пшеницу раньше Маслова. И вот печки и коровы с вечера поручены старухам и детям. Рядом с Марией Михайловной Наталья Васильевна, давняя её подруга. Уже несколько минут она лежит с открытыми глазами, но не двигается, ожидая Марию Михайловну. Прямо перед ней над кроватью — переходящее знамя района, которое вручают лучшей бригаде. Три года не уходит оно отсюда.

Посмотрев на подругу сбоку, она видит, что и Мария Михайловна уже не спит.

— Как бы этому знамени и над моей кроватью чуток повисеть, — неуверенно говорит она.

— Что ж, бери, — без особой охоты разрешает Мария Михайловна и через секунду, вскакивая, кричит на всю хату: — Бабы! По коням!

Это тоже принесли с собой фронтовики.

Женщины уже по дороге к полю. На перекрёстке у колодца дорогу им пересекает другая бригада.

Мария Михайловна улыбается, правда немножко натянуто, но всё-таки улыбается.

Невысокая, худощавая, хваткая, она кажется много моложе своих тридцати восьми лет. Улыбнулась — и на веснушчатых щеках запрыгали весёлые ямочки.

— Ничего, бабы... Не тужите, своё возьмём.

...Наша машина мчится лугами, взлетая на холмы, спрямляя петляющий дорог.

Пашкову кажется: мы не едем, а стоим на месте.

— Не «газик» бы нам, а хотя бы «У-2», — говорит Борис, который в войну работал в авиации.

— Как в воду глядел, об этом и думаю.

В этот момент «газик» наскочил на кочку, больно ударился и беспомощно замер.

Мы вышли из машины и оказались посреди луга. День снова клонился к вечеру. Воздух был тихий, мирный, напоённый парным молоком: недавно отсюда ушло стадо, ещё слышен перезвон колокольчи-

ков. Из-за кустов неожиданно выбегала река и, немного покружив и поплясав на мелком месте, разбегалась сразу в обе стороны..

Небо горело малиновым светом. Малиновые горы туч наступали одна на другую, а над ними горящими знамёнами развевались верхние облака. Река тоже горела под небом, только в реке всё было мягче и проще.

Пашков молча сидел на кочке у берега. Широкая шляпа лежала рядом с ним, плащ, сшитый из солдатской плащпалатки, был накинута на плечи. Он достал из полевой сумки листок и стал что-то записывать. Спрятав листок, он вдруг засыпал меня множеством вопросов. Видно было, что это его привычка — всё знать о своём собеседнике.

Борис уже заводил машину.

— В Горках Ленинских были? — без видимой связи спросил Пашков, усаживаясь у переднего окна рядом с Борисом. — Есть там аллея такая на пригорке, голубые сосны вокруг, — он говорил негромко и мягко, так, будто то, о чём он рассказывал, было давним воспоминанием его собственной жизни. — Ильич приходил туда с подозрительной трубой. Ширь такая... Поезда ползут под самым небом. Любил Ильич просторные горизонты...

На ток колхоза «Серп и Молот» мы приехали в обеденный перерыв и попали неожиданно на концерт.

С полчаса назад, когда наша машина пересекала Нижне-Деревенский луг (по дороге мы заехали ещё в сельсовет), лугом по направлению к полю поднимались парень и девушка. Они шли нога в ногу широким шагом, взявшись за руки. Девушка чуть запрокинула голову назад. Было совсем тихо, но чувствовалось: ей кажется, что она идет навстречу большому ветру. Посредине мостка через болотце парень повернулся к ней и неловко поцеловал её.

Теперь они стояли впереди хора, перед скирдой. Женщины расположились полукругом. Песня от скирды улетала в поле.

В стороне от хора сидела другая девушка, немного постарше, в военном. Когда баянист сбивался, лицо её нервно передёргивалось, когда всё шло хорошо, ноги отбивали такт.

Какая-то внутренняя напряжённость чувствовалась во всём её облике, в ней не было той ясности и свежести, которая обращала на себя внимание в девушке, стоявшей впереди хора.

— Что ж это начальство в стороне сидит? — спросил Пашков.

— Моё дело, чтоб организовано было, — угрюмо ответила девушка в военном, — и не подумайте, Павел Александрович, что Маруся Сомова железная. Швы у меня сегодня так болят, что разогнуться нельзя.

— Марусин клуб считается лучшим в районе, — сказал мне Пашков.

— Да уж где там лучший, — так же угрюмо возразила девушка. — Вчера в город пришли — осрамили нас.

— Как это?

— А вот так. Решили мы в нашем городском театре выступить, откровенно говорю, решили за деньги, чтоб хударуку своему заплатить, он у нас «за так» работает. Начали мы перед спектаклем с массовых танцев. Мы русские танцы танцуем, а они стоят по стеночкам, и не могут.

— Кто это они?

— Наша городская самодеятельность, кружок Дома культуры. Разкрыли двери и всех пустили бесплатно. Это нам ладно, пьесу

мы всё равно поставили и свои аплодисменты всё равно получили.— Маруся улыбнулась.— А в перерыве я ещё выступила и сказала своё слово о русском танце.— Её большие серые глаза засмеялись и спрятались за большими ресницами.— И не знаю почему,— сказала она уже со счастливым задором,— а в наш деревенский клуб каждый день из города ходят. И туда придём — хлопают.

Она совсем забыла о том, что у неё болят швы, «так, что не разогнуться», и о том, что обещала рассказать, «как её осрамили», а рассказала о своей победе.

— Но аплодисменты аплодисментами,— заявила она,— а с токов мы теперь никуда не пойдём. Некогда. Главное сейчас — здесь.

Она показала рукой на бесконечные скирды, уходящие под самое небо, туда, где оно пригибается к краю земли. А песня от скирды улетала в поле.

Мне подумалось, когда мы садились в машину, что не очень правильно большую девушку, очевидно тяжело перенёсшую фронт, ставить на организацию песен и танцев. Я сказала об этом Пашкову. Он промолчал.

В обеденный перерыв мы опять в Стремиловке.

Женщины сидят на соломе в тени молотилки вокруг Александры Савельевны, которая, нацепив две пары очков, медленно читает телеграммы из-за границы.

— Хлебом будем их бить! — делает вывод Александра Савельевна, свёртывая вчетверо прочитанную газету.

— Вот Савельевна,— говорит Пашков, когда мы снова в машине,— в тридцать лет грамоте обучилась, а мыслит государственными масштабами. Рядом есть и пограмотнее, чем она, и тоже с партийным билетом, а встречается такое равнодушие! Бывает, живут люди как будто рядом, и почёт будто один, а расстояние между ними — век. Разный исторический возраст. Одному до коммунизма рукой подать, а другому ещё шагать да шагать.

Мы едем между полей раскидистой кукурузы, похожей на тропические растения. Кукуруза уступает место коноплянному лесу, с обеих сторон обступающему дорогу — войдешь в него и заблудишься.

Из конопляной заросли дорога вылетает на простор уже скошенного гречишного поля.

На нашем пути вырастает стена яблонь, отяжелённых огромными плодами сорта «добрый крестьянин». Каждое яблоко — маленькое солнце, светящееся сквозь нежную кожуру. Это сад потомственного мичуринца, молодого школьного педагога, принявшего яблони от своего отца.

Машина останавливается. За садом — пасека. У края пасеки в шалаше спит девочка, дочка молодого учителя. Пашков долго стоит около девочки. Всё — и смуглые ножки, и светлые тонкие волосёнки, и загорелые щёки налиты солнцем и мёдом, такая она лежит покойная, полная притаившейся жизни, эта спящая девочка.

На щеку девочки садится пчела. Девочка дышит спокойно и ровно. Кажется, это дыхание самого мира — мира и покоя.

Но какой это трудный мир! Какого труда, каких усилий требует он! — Не буди,— останавливает Пашков учителя,— пусть спит.— Он наклоняется над ребёнком и осторожно смахивает пчелу.

Я неожиданно понимаю — мои военные ассоциации односторонни. Но здесь сложнее, чем на войне.

Пока мы стоим над девочкой, а гостеприимный хозяин, притаив

сюда лёгкий раскладной столик, угощает нас янтарной ягодно-медовой настойкой — над садом, над пасекой пробегает тень. Пашков тревожно следит за одиноко нависшей над ясным небом темносерой огромной тучей.

— Вот ведь один дождь — и снова пересушивай, перевейвай, а темп упущен, — тревожно говорит он. — Когда ж мы покончим с этой зависимостью от неба? То дождь не во-время, то засуха, — чувствуется, что говорит он о самом наблевшем. — Трудимся, возим навоз, задерживаем талые воды, а подул один сухой — и кончено.

Пашков снова смотрит на тучу.

— А есть у нас Шура Лаврова, агроном испытательного участка. Так она во время засухи чуть ли не по 20 центнеров собрала с гектара. Секрет — травополье и глубокая зябь. Главная задача теперь — качество...

Он ещё раз оглядел небо и вздохнул.

— Вот так каждый день и молишься... Пора с этим кончать! Я недавно план орошения видел. Вся центрально-чернозёмная полоса. Дух захватило... Только медленно ещё идут строительные работы.

В эти дни между ежедневными поездками в колхозы, между беседами в кабинете и заседаниями бюро Пашков устраивал совещания с самыми различными группами: трактористы, секретари партийных организаций, машинисты молотилок, водители автомашин, председатели колхозов, матери, награждённые орденами и медалями за материнство, бригадиры, пахари, железнодорожники. Каждое совещание идёт на особую струне. И все эти струны нужно найти прежде всего в своём сердце. Все, кто имеет отношение к хлебу, слушали в эти дни Пашкова.

Наталья Петровна Стукалова

Наталью Петровну мне пришлось впервые увидеть на бюро районного комигетта партии.

— Сейчас богатый мужик войдёт, — сказал Пашков, — председатель колхоза «Интернационал».

В кабинете появилась женщина лет шестидесяти пяти, повязанная платком. Загорелое лицо её было согрето тёплыми, удивительно милыми морщинками, сероватые глаза с блестящими рыжими точечками казались совсем молодыми.

Она вошла легко и быстро, все четыре ордена, подвешенные на лентах, казалось весело звякнули в такт её шагу. Пашков поднялся удивлённый, почтительно подвинул ей стул, остальные члены бюро тоже встали; она поздоровалась с каждым за руку.

— Так это вы, Наталья Петровна? — сказал Пашков.

— Председателя мы в санаторий отправили, — ответила Наталья Петровна, — вот мне пока и доверили.

— А бригаде как же славу терять?

— Нет, я и бригаду не оставила. В сутках-то двадцать четыре часа, а мне по старости всё равно не спится.

— Так расскажите, Наталья Петровна, как это вы Орлова обидели?

— Чего, обидела? Он мне родной племянник и даже, было дело такое — крестник, если хотите знать. Только вздумал он получить квитанцию номер первый по всему району и повёз мимо нас хлеб на своих волах — Наталья Петровна улыбулась. — Увидела я — ну, думаю, не пойдёт свадьба такая. «Интернационал» сроду первым везёт государству хлеб. У нас ведь тракторная молотилка — намолотили живо гру-

зовик и обогнали его по другой дороге. Вот и всё. У нас квитанция номер один, у него номер второй. Чего же ему обижаться?

— Ну а теперь как дела?

— Да дела неплохо идут, только особых рекордистов нету.

— Кто сказал, что это самое главное? — заметил Пашков. — Не отдельные чудо-рекорды нужны, а общий подъём...

Через несколько дней машина Пашкова была во Власовке. Наталью Петровну Пашков разыскал на колхозном дворе.

Загорелая, румяная, она легко бегала от строения к строению, как видно испытывая особое удовольствие от этой возможности в свои шестьдесят пять лет; с таким же удовольствием она покрикивала и приказывала, на все возражения имея один ответ: «Сказала — завязала, Перевязывать не станем». Или скажет своё обычное: «Такой свадьбы у нас никогда не бывало» — и дальше.

Опущенные в кармашек вязаной кофточки ордена на муаровых лентах весело позвякивали в такт её ловким движениям.

Мы долго стояли у колхозного амбара, оставаясь незамеченными.

Увидав нас, она побежала навстречу.

— Что ж притаились? Или смеётесь над старухой? Ей, мол, на покой пора, а она командует. Так вы поимейте в виду, Павел Александрович, у меня до смерти ещё дело есть. — Понизив голос, она объяснила: — Нужно мне, Павел Александрович, орден Ленина заработать. Я Надежде Константиновне Крупской обещала лично.

— А чем перед гостями похвалитесь, Наталья Петровна? — спросил Пашков. — Вот приехал к вам человек из Москвы.

— Я и сама там бывала, — с достоинством сказала Наталья Петровна. — С самой Надеждой Константиновной Крупской в Москве познакомилась. Хвалиться не стану, а посмотреть и у нас есть что. Едем на ток. — Усаживаясь в машину, Наталья Петровна предупредила: — Если орден Ленина получать доведётся, не обижайся, Павел Александрович, в районе получать не стану — полечу в Кремль самолётом, чтоб уж и это испытать до смерти.

— Не часто ли, Наталья Петровна, про смерть вспоминаете? — заметил Пашков.

— Да это не от души — только из приличия, — призналась она: — чтоб люди не говорили, что зажилась. А тебе, Павел Александрович, правду скажу: кроме жизни, ни о чём не думаю. Ну, Борис, поворачивай на стёжку...

Машина подъехала к току. Ток напоминал цех эвакуированного завода, работающего пока под открытым небом. Вся площадка была заставлена машинами, соединёнными приводными ремнями. В центре шумел движок. Былолюдно. Над током поднималась туча тёмной густой пыли. Молотили клевер.

Грохочущие молотилки, веялки, сортировки обступали новенькую свежавыкрашенную голубой краской клеверотёрку, к которой нас подвела Наталья Петровна.

— Последней конструкции. Вот этим и будем хвалиться.

Эту машину в колхозе приобрели уже после того, как председателя отправили в санаторий.

— Срок моей власти короткий, а память останется долгая, — сказала Наталья Петровна.

За месяц, на который ей доверили власть, она хотела ещё купить автомашину, открыть клуб и достать движок для будущей электростанции.

Она повела нас на бахчу, расположенную на границе с колхозом, где председателем был её соперник, племянник и крестник Николай Орлов.

— Зря он на меня сердце имеет, — сказала она, ловко рассекая садовым ножом сочную дыню. — Всё квитанцию номер первый никак не простит... А клеверотёрку вот просит... Ладно, дадим... — Неожиданная щедрость Натальи Петровны была, безусловно, великодушием победителя. — Как-никак, а соседний колхоз, тоже и за них отвечаем. — И она поставила перед нами ещё одну дыню.

Пашков поехал дальше, я осталась во Власовке.

Наталья Петровна повела меня к себе.

Дома у неё за хозяйку Наташа, невестка.

Эту Наташу Наталья Петровна сама выбрала сыну. Сын ещё в армии служил. Наташа ещё девочкой считалась, только-только в поле на работу стала ходить, а Наталья Петровна уже говорит ей:

— Ты, дочка, скорее расти, вырастешь и ко мне пойдёшь.

Светловолосая Наташа понравилась ей потому, что к «людям могла подойти с приветом».

Сыну невеста не сразу понравилась — в детстве Наташа болела оспой.

Теперь Наталья Петровна жила с невесткой и внучкой.

Сын из армии ещё не вернулся.

— Хуже нет, когда свекровь тебе ещё и начальник, — пожаловалась Наташа. — Всех девчат к награде представила, одну меня обошла.

— Вот на орден заслужишь, тогда к медали представлю, — сказала Наталья Петровна, — потому что своя ты мне

— Лучше уж и не была бы своя, — буркнула обиженная Наташа и ушла за занавеску.

Мне хотелось расспросить Наталью Петровну про её жизнь, но это было не так-то просто. Только привела она меня домой и присела на лавку — опять встала и побежала на ток — «на одну минутку», — к вечеру заглянула — и снова исчезла. Ночью отправилась куда-то за ремнём для движка, вернулась перед рассветом, а в пять её уж и след простыл — пошла на наряд, после наряда поехала по соседям за долгами.

— Орлову весной одолжила, так этот с толком зерно употребил, — рассказывала Наталья Петровна, — а в колхоз Будённого больше ни грамма не дам. Видели, какую рожь из зерна нашего вырастили? Одно слово — опозорили власовское зерно.

Я стала расспрашивать её между делом. Так узнала я историю её жизни.

Наталья Петровна рано осталась без матери и без отца, пошла в няньки к попу. Уже с тринадцати лет все вплоть до попа величали её Петровной. Весь поповский дом держался на ней. Семерых поповских детей нянчила. А потом обиделась что «сами по хлебу ходят и салом одеваются, а через тот суп, что прислуге варят, Москву видать». Раскричалась и ушла в свою пустую хату.

— Подожди, я тебе покажу, — пообещал батюшка.

Через год приехал в деревню на побывку тихий парень — шахтёр с Донбасса. Вышел на улицу посмотреть невест — всех шумнее и озорнее была Петровна, не побоялся тихоня — её выбрал. А батюшка говорит:

— Не буду венчать.

Три дня мучил он молодых, собрались уж в Макаровку ехать, тогда бегут от попа: ладно, мол, согласился батюшка, рушники готовьте.

— Ах так, — сказала Петровна, — не будет ему рушников.

И, как была, в простом ситцевом платье пошла с женихом к венцу. Один расшитый рушник под ноги попу стелить полагается, другим — руки жениху и невесте вяжут, потом оба рушника остаются попу.

Встала Петровна с женихом под венец.

— Где рушники? — спрашивает её поп.

— Матери у меня не было, — отвечает Петровна, — а у вас, батюшка, жила, вы не подарили.

— Так не могу венчать, — говорит поп.

А Петровна диспут под венцом открывает.

— Ох батюшка, — говорит она, — если будет меня Ваня любить, не к чему нам руки вязать, а не будет — не поможет ваша повязка. Помажьте, чем след, и будет.

Жених достал из кармана чистый платок, повязали им руки, помазал поп кадилом, хотел жених хоть платок попу подарить, Петровна выхватила платок у него из рук:

— А у батюшки и так много всего.

В Донбассе, куда они скоро уехали, жила Петровна с мужем в углу за занавеской, в комнате, где жило ещё двадцать пять шахтёров. По ночам слышала, как шахтёры читали запретные листовки.

После революции Петровна вернулась в деревню.

На первом же собрании её позвали в президиум. На руках у Натальи Петровны был грудной сынишка. Пришлось с ребёнком сидеть за красным столом и даже, прикрывшись платком, тут же в президиуме кормить его грудью.

С тех пор вот уже тридцать первый год она депутат сельского совета.

...В дни, когда я гостила у неё, «Интернационал» сдавал государству последние центнеры по плану хлебозаготовок.

На третье утро Наталья Петровна снаряжала обоз сверхпланового клевера.

Мы поехали вместе с обозом.

Дорога шла мимо полей соседних колхозов. Наталья Петровна то возмущалась: «Земля плачет, они не разумеют. Смотрите, какие прорехи. Вот и получается: богатый колхоз, а рядом — казанская сирота»; то одобрительно качала головой: «Орлова поле. Хорошая зябь, недаром Петровна Кольку крестила»; то по всему её лицу разбегалась морщинками улыбка: «Эх, Тоня Стукалова, не помог тебе муж Петровну объехать».

И тут же рассказывала:

— Только я орден Трудового Знамени получила, приезжает ко мне Тоня Стукалова вместе с мужем, председателем колхоза Будённого, Стукаловым Иваном. Он мне, кстати, троюродный брат. Посмотрел Иван на мои поля и говорит: «Моя тебя вызывает. У моей за ночь весь пар перепахали». Перетрусила я. «Вот, думаю, свадьба какая пошла. У неё же муж председатель, он же во всём поможет». А Павел Александрович говорит: «У неё муж, у тебя партийная группа...»

...Справа от дороги два холма падали один к основанию другого, образуя овраг, из оврага дымком вылетал лёгкий прозрачный лес.

— Я сюда поповских детей водила гулять, — неожиданно вспомнила Наталья Петровна. — Яругой зовём этот лес...

Высокие строевые сосны, тоже немало перевидавшие на своём веку, казались такими же молодыми, полными жизненных сил, как она, через судьбу которой прошли грани, разделяющие эпохи.

Мы подъезжали к горюду. Наталья Петровна прикрепила к перед-

нему краю телеги небольшой, затрепетавший на ветру красный флажок.

— Мимо райкома поедем. Пусть видит Павел Александрович: сверх плана везём. — Она по-хозяйски осмотрела мешки. — Пусть знает, Петровна подальше носа своего глядит... — В её голосе прозвучало что-то похожее на приглушённую обиду — Разве можно на него обижаться? — сказала она, когда я спросила её об этом. — А было, однако, дело... Появился после оккупации Павел Александрович в нашем районе и сразу меня приметил. «Это, говорит, Власовский будильник»... А я, и правда, за оккупацию по делу истосковалась. И все в колхозе на нашу команду смотрят. Мы с печей — и все встают, мы навоз сверх нормы везём — и все везут. Уж не знаю, почему так. Без будильника-то спокойней. Ругаются, а везут.

Наталья Петровна подхлестнула коней, мы обогнали хлебный обоз, и она продолжала:

— Павел Александрович во всём нам крепко содействовал. Нам и машины в срок, нам и лучший участок. Возил он меня сам в соседний район к мастеру высокого урожая, к знаменитой Кулюше, уму-разуму у неё позанять... Чуть что — я в райком, как домой... Стали мы передовыми в районе. Люди смотреть приезжали. И вот прихожу я в райком и жалуюсь, что не дают мне, как обычно, добавочной машины для вывоза свёклы. И вдруг слышу слова такие: «Отныне ничего добавочного, Наталья Петровна. На передовых звеньях, мол, далеко не уедешь. Не одни вы — пошире нужно подумать. Да и вам пора уже подальше звена своего глядеть».

Наталья Петровна вздохнула.

— Я и сама понимаю, ясно, пора... А всё же думаю: поднял ты меня высоко, а теперь без руки оставил. На старости лет за славу позором расплачиваться.

Наталья Петровна снова улыбнулась своими морщинками.

— Ну ничего. Подоспела новая осень, и своё мы получили сполна... Получить-то получили, а всё меня что-то буравит, — сказала она помолчав. — Задел меня товарищ Пашков за живое. Прихожу в правление колхоза. Дайте, говорю, мне больше простору. Тут и дали всю бригаду под моё начало. Бригадир у нас в ту пору как раз в больницу лёг, — Наталья Петровна поправила упавший было флажок, — а сейчас не то что своя бригада или колхоз — соседи из ума не выходят. Тут из-за одного Орлова душой изболеешься. — И она добавила за простодушной лукавостью: — Кажется, было б две первых квитанции, одну бы ему отдала...

Флажок шумно бился над её головой. Мы проезжали мимо райкома.

Маруся Сомова.

Маруся Сомова была в аккуратной шинели, в зелёном берете, от которого лицо её казалось ещё бледней, и в туфельках на каблуках.

Узнав, что я пришла познакомиться с её работой, она как-то не поженски, по-военному настрожилась и деловито повела меня осматривать своё хозяйство.

Здание клуба было светлое, с большими окнами, чисто вымытое.

— Ох, если бы вы знали, что у нас было! — сказала Маруся. — Немцы тут конюшню устроили, а у наших руки не доходили построить новую — так до сорок пятого года и продолжалось — не лошади, так коровы. Надо, мол, после войны поднимать животноводство. Ясно, что надо... Приехал к нам Пашков, вызвал меня в сельсовет. «Рассказы-

вай, говорит, избач, как работа». Я ничего не стала рассказывать, взяла его за руку и повела к моему клубу. А вокруг клуба, особенно у входа, я вам откровенно скажу, «карпаты» навоза. Пусть, мол, ду-маю, полюбуется наш секретарь.

— А вы в Карпатах были?

— Неужели не была, — ответила Маруся таким тоном, будто пуб-ывать в Карпатах — первейший долг и обязанность каждого честного гражданина. — У нас в дивизионной пекарне поначалу девять девчат было: одну насмерть убило, трёх ранило, кое-какие так по домам разъ-ехали. Словом, из всей пекарни я одна дошла до Карпат. Обвяжут меня солдаты канатом и подтягивают на горку. А горка за облака да-леко-далеко уходит. Пока долезешь — всё на себе обдерёшь.

Вспоминать об этом было для Маруси, должно быть, большой ра-достью.

— Вы пекарь по специальности?

— Какой там по специальности? Вы же слышали, наверное, как в армии... Так вот, сначала руки по плечи и весь халат в тесте. А потом научилась, и меня полюбили. Есть садятся — ложки наготове держат, а котелки не трогают: Машку-Замарашку — меня это, значит, ждут.

Видно было, о своей дивизионной пекарне Маруся может рассказы-вать бесконечно. Воспоминания захватили её, насторожённости ис-чезла.

— Я вам откровенно скажу: дошла я до самых Карпат и сама себя почти героиней считала, — сказала она как-то совсем по-детски. — Что ж, думаю, и про меня когда-нибудь в книжке или в газете напи-шут. Сколько раз я под огнём тесто месила, а в Оравушках пуля в квашню попала. И бойцы мои тоже меня героиней считали. И замуж мне выходить не давали. Да и сама я не хотела. Хотелось, чтобы всё, всё было ещё впереди.

Маруся задумалась.

— Ох, какая я тогда была. Бойцы спрашивают: «Когда же ты уста-нешь?» А меня не берёт усталость, не берёт — и всё тут. Бойцы стали уж говорить: «Крылатая она у нас, разве не видите?» А я, кажется, готова Карпаты свернуть, только чтоб ещё про себя такое услышать. Счастливая я была, — вздохнула Маруся, — а казалось, что самое на-стоящее ещё только начнётся. И вот ранило. В самый живот. Два года в госпитале с койки не поднималась. Постарела совсем.

Она замолчала.

Нет, она не постарела, но какая-то тень лежала на её лице. Вот ми-нуту назад не было, а сейчас опять появилась. Тень, может быть, сожа-ления о чём-то, и ещё больше гордости, и ещё какой-то смутной девичьей тревоги.

— Домой из госпиталя возвращаюсь, — продолжала Маруся, — со-сед в поезде говорит: «Что же ты, девушка, воевать воевала, а себе самой счастья не отвоевала?» Я разозлилась. Откуда, говорю, вы знаете, что не отвоевала? «Так, говорит, — вижу»...

— Да что это я разболталась, — спохватилась Маруся, — ведь вам про дело нужно...

Но всё-таки, усадив меня на скамейку, что стояла вдоль стены, и сев рядом со мной, она вернулась к этому соседу по купе:

— Очень уж мне обидно стало... Я ведь всё о необыкновенном, громадном счастье мечтала. Прочтёшь про Олега Кюшевого, взглянешь на снежные вершины — и дух захватывает. А он, о чём он-то говорит? О самом обыкновенном простом счастье. Не успела я об этом как-то

подумать... Где ему это понять? А теперь уж... — Она отвернулась. — Сижу я в поезде у окна, — продолжала Маруся, — и думаю: приеду домой, никому не скажу, что ранена. Пальто новое в коричневую полоску надено, как раз перед войной покупали... И никто не узнает. Чтоб не жалели... Приехала, а дома лежит мама больная. Брат в армии. И пальто новое продано. Почистила я вот эту шинельку, пуговицы натёрла и опять надела. Что ж, думаю, то гордиться хотела, что до Карпат дошла, а теперь стыжусь... Девки после работы на танцы идут, а мне, какие мне танцы — нагнусь, разогнуться нельзя. Даже полов не помою. Надо ж как-то устроиваться. Я прямо в райком, к секретарю в кабинет. «Дайте, говорю, мне работу подходящую, Павел Александрович». А он говорит: «Будешь клубом заведывать». «Вот, говорю, какой вы. Я двинуться не могу, а вы хотите, чтоб я вам танцульки собирала»... Так мне это обидно стало... Хуже того соседа в вагоне. Тот понимал всё-таки... «Танцульки и без тебя соберутся». Тут я всё ему высказала: «Вам бы только, значит, дела да проценты, а что у живого человека на душе, то пусть... Не чуткий вы»... Промолчал он, а на своём поставил. Так я и стала работать. А помещения нет. И вот приехал он, я уж вам говорила, работу мою проверить, а я за ручку его — и к этим самым навозным «карпатам». Провожу его сквозь ущелья и — пожалуйста: к самым коровам. «Вот, говорю, кто тут культурно развлекается и растёт...»

— Ох, и замечательный же он человек! — воскликнула Маруся, забыв, что только что упрекнула Пашкова в нечуткости. — Он тогда особенно о животноводстве болел. Знаете, как после войны? А сразу, ни минуты не медля, всех на ноги поднял. Мы с девушками сами корёв вывели, рукава засучили и взялись за этот навоз.. А как мы стёкла вставляли! — Она встала со скамейки, подошла к окну и постучала пальцами по чисто вымытому стеклу. — Об этом целую историю можно писать. Сначала я спросила председателя продать яблоки из колхозного сада. Потом, откровенно скажу, мы за плату выступали на железной дороге. Половину денег колхозу отдали, половину — попросили забрать. Арсения за разноцветным стеклом посылали. В области не нашлось, в столицу поехал. Хотелось, чтоб было красиво. А бюджет пришёл — у нас всё уж готово.

Маруся распахнула окно и показала на новенькую свежевыкрашенную ограду вокруг клуба.

— Для промхоза рубили, а мы ходили да подбирали, потом увезли. Солдатская находчивость.

— А подводы откуда?

— Про то помолчим, — Маруся хитровато улыбалась. — Хозяином быть, и такую простоту не придумать?

Маруся взяла меня за руку и потащила в комнатку за сценой.

— Это кабинет министра культуры, — сказала она и рассмеялась. — А то ещё чище придумали: директор танцев.

Желая доказать, что дело вовсе не в танцах, она открыла передо мной огромный журнал, похожий на вахтенный, где были записаны все беседы и читки, инсценировки и концерты, организованные ею за два года.

— Видите — еженедельные беседы по агротехнике: это я агрономам с МТС в ноги кланяюсь. Вот лекции про Мичурину, про Лысенко — учителя приходили. Про Пушкина, про Горького — мне без учителей не обойтись. На международные темы обязательно раз в месяц. А здесь вот записан вечер. воспоминания фронтовиков Гражданской и Отечественной войны.

Я взяла журнал. Среди фамилий выступавших фронтовиков была и фамилия самой Маруси.

— А хотела пальто в коричневую полоску надевать, — сказала я.

Она нахмурилась.

— Вы, наверное, думаете: вот похвальбушка, — сказала Маруся, — хвалится да хвалится. Но я вам откровенно скажу: где я нахожусь, то место и должно быть наилучшим. Мама говорит, что я гордая слишком. Нашу пекарню первой считали в армии. Сам командующий за хлебом к нам присылал. А я комсоргом была. Там меня и в партию приняли.

Она расстегнула шинель, отвернула ворот гимнастёрки и показала медаль «За боевые заслуги», прикреплённую наизнанке под карманом.

— Почему же так носите?

— А зачем, — скромно сказала Маруся, — и правда ведь скажут, что похвальбушка. — Но она честно добавила: — И так знают. Первое время, пока не знали — я её сверху носила... Так вот также и с клубом, — вернулась она, — хочется, чтобы было не хуже, чем у людей... А как вы думаете, в нашем городском Доме культуры лучше? — спросила она.

Я сказала, что не была в городском Доме культуры. Тогда она подвела меня к большой деревянной витрине. К доске были прикреплены пучки различных сортов пшеницы, клевера, гречи. Тут же маленькие кульки с зерном, крупная хвостатая морковь, свёкла, турнепс-великан, и у каждого экспоната привязана на шнурке мелко исписанная тетрадка. В тетрадке было отмечено, кем выращен экспонат, какой получен урожай, какая применена агротехника, и на первой страничке — фотография колхозницы.

— Ну как? — Она посмотрела на меня испытующе. — Скажите мне, только честно: похоже ли это хоть немного на Сельскохозяйственную выставку? Ведь вы из Москвы... — Смутившись, она раскрыла шкаф и стала показывать клубную библиотеку.

Вечерело. Через дверь, что вела из маленькой комнатки на сцену, было видно, как в зале собиралась молодёжь.

Уже пришли те парень и девушка, которые стояли тогда впереди хора, художавый дядя Гриша, клубный баянист, он же художественный руководитель, работающий в клубе «за так» (как говорила Маруся), и ещё человек десять—двенадцать.

Дядя Гриша был когда-то профессиональным актёром. Теперь он работал культургом в туберкулёзном санатории, а «для души» помогал хорошему и драматическому кружкам сельских комсомольцев. Душу ему растревожила, как видно, Маруся Сомова. Она сумела разбудить в старом актёре заглохшую уже было, отодвинутую какими-то житейскими неудачами любовь к искусству.

— Завтра мы выступаем у Орлова, — сказала Маруся. — Знаете Орлова? Тот, что первым выполнил план.

— Тося, вы сегодня поёте соло, — слышался из зала голос худрука.

Чувствовалось, что эти слова доставляют огромное наслаждение ему и возвращают его к жизни.

— Миша, подготовьтесь к дуэту.

Из клубных окон в село полетела песня:

И эти руки, руки молодые...

Чей-то голос оборвался и упал вниз, нарушив гармонию.

Маруся поморщилась и торопливо вышла из комнаты в зал. Тень её легла на шкаф, освещённый керосиповой лампой.

Мягкий голос, живой и тёплый, влился в хор и сразу поднял окрепшую песню.

Я вышла. Чтобы попасть на дорогу к городу, нужно было идти пустырем к мосту через реку и, перейдя его, возвращаться обратно.

Вдоль по реке плыл гусиный выводок.

По темносинему небу тоже выводками, похожие на гусей, плыли голубоватые облака.

Скоро с того берега снова стали видны большие распахнутые окна клубного здания. Из окон к реке вырывалась уже какая-то новая песня, буйная, беспокойная, и тёплый душевный голос шёл по самой сердцевине мелодии, обрастая множеством других, низких и высоких голосов.

«Дела и проценты», — вспомнилось мне. Об этом ли думал Пашков, посылая сюда Марусю?

Александра Савельевна.

От неё веяло домашней теплотой и той неторопливой простой мудростью, которая даётся в жизни лишь магерям.

— Вот и мне одна девушка с фронта писала, — сказала Александра Савельевна и, достав с печки пачку побуревших писем, подвела меня к рамке, в которую была вставлена фотография: девушка в солдатской пилотке набрала в руки ромашек и спряталась за цветами. — А это мой старший, — она показала на соседнюю фотографию. — Познакомились они в Горьком перед войной, объяснился он ей только в письмах, а воевали отдельно. Сначала Саня погиб... — Савельевна остановилась. — А как от неё письма приходят перестали — будто второй раз Саню похоронила. Все они, родные мои, у меня тут, — она провела рукой по рамке и надолго отвернулась.

В рамку, кроме фотографии Сани и его невесты, был вставлен портрет Зои Космодемьянской и рядом фотография младшего сына, тоже погибшего на войне.

— Жива была бы, приехала бы, вот так же, как вы, — посмотрев на меня снова, сказала Савельевна.

Должно быть, я чем-то напоминала ей эту девушку, которая не стала её невесткой.

Может быть, потому так сразу она рассказала мне о себе.

В тридцатом году они с мужем вступили в партию, потом она стала председателем колхоза, он — председателем сельсовета. Когда сыновья подросли, в доме создан свой «семейный политкружок», как говорил муж. Вместе читали «Краткий курс». Мальчики составляли для неё конспекты, муж устраивал экзамены.

...Когда немцы подходили к Стремилровке, оба сына были уже на войне.

— Если б не Раечка, взял бы тебя в лес, — сказал муж. — Но куда с ней?

Савельевна выгнала из хлева скот — несмотря на свои большие заботы она считалась домовитой хозяйкой, настоящей крестьянкой. Были у ней и корова, и тёлка, и коза, и боров — из птичника выпустила гусей и уток, раскрыла настежь ворота: «Идите, куда хотите», взяла двухлетнюю дочку на руки, за воротами обняла мужа и пешком пошла из деревни.

Оборачивалась и видела — муж уходил к лесу.

С девочкой на руках Савельевна дошла до Сталинграда.

Через год колхоз под Сталинградом, где работала Александра Савельевна, оказался у линии фронта. С колхозного огорода картошку и лук развозили по батальонам.

Однажды, когда Александра Савельевна председательствовала на колхозном собрании, в помещение вошёл почтальон и протянул ей бумагу. Она прочла её молча и, положив в карман, продолжала вести собрание.

Это было извещение о гибели старшего сына.

Александра Савельевна уже хоронила однажды ребёнка. Её первый мальчик умер от случайного отравления. Тогда горе отгородило её от мира. Она смотрела на каждую мать с неприязнью. Это произошло только у неё одной, это о никто не поймёт. То, что навалилось на неё сейчас, неожиданно притянуло её к остальному миру. Она боялась оторваться от людей, боялась остаться одна, боялась вслух произнести то, что было написано в извещении.

Ей страшно было, что собрание кончится и все уйдут по домам.

Она продолжала председательствовать, сама удивляясь себе, задерживая внимание на мелочах, сознательно отодвигая минуту, когда останется с бедою глаз на глаз.

Наконец собрание кончилось, люди стали выходить из избы. Савельевна прислонилась к стене и застонала.

Скоро пришло извещение о гибели младшего сына.

Как только освободили Стремиловку, она с дочерью вернулась домой и узнала, что уже никогда не увидит мужа. Узнала, что муж был командиром партизанской группы.

К тому же времени перестали приходить письма от девушки, снятой на фотографии с охапкой ромашек. Ждать больше было некого.

Не самое ли горькое произойдёт в её душе в тот светлый радостный день, когда в дом соседки постучат муж или сын?

Александра Савельевна ждала Победу с открытой душой, может быть потому, что некогда было остановиться и заглянуть в себя. Победу ждали и торопили трудом.

И вот в соседний дом постучал фронтовик. Фронтовик вернулся в дом через дорогу. По избам лились слёзы радости. В деревню вернулись с фронта товарищи её старшего сына. Трое из них стали на войне членами партии. У них во всю грудь шли ордена и медали, они привезли с собой вырезки из фронтовых газет, где описывались их боевые подвиги. Но не всё в них нравилось Александре Савельевне. Одному из них казалось, что теперь пора отдохнуть, другой хотел быть не меньше, чем председателем. Савельевна огорчалась — неужели в ней говорит недоброе чувство зависти к счастливым матерям? Нет, так же спрашивала бы она со своих сыновей. Её, отдавшую войне всё что имела, — фронтовики стеснялись. При ней не рассказывали об удачно пойманном языке и об именных часах, полученных из рук самого генерала. И то, что, оберегая материнское горе, её сторонились, было ещё большее, чем если бы перед ней хвалились подвигами, которые, может быть, даже не успели совершить её сыновья.

Савельевну тянуло к фронтовикам. Она ловила себя на том, что без дела проходила по улицам, где они жили, жадно прислушиваясь к их смеху и шуткам.

Как-то до глубокой ночи засиделся в избе Савельевны Пашков. Говорили о молодёжи, вернувшейся с фронта, о достоинствах этих людей и о том, чего им нехватает.

— Вот что, мать, никто их в руки лучше, чем ты, не возьмёт, — сказал Пашков, — бери их и требуй, как с родных сыновей.

Так в Стремиловке возникла своя колхозная партийная организация.

Секретарём стала Савельевна.

Бригадир Маслов.

На письменном столе бригадира и агитатора Евгения Маслова под стеклом выписка из Маяковского.

Сидят
папаши.
Каждый
хитр.
Землю попашет,
попишет
стихи.

Маслов забежал домой перед обеденным перерывом за свежей газетой. При всей своей гостеприимности он не мог уделить мне ни минуты.

Он достал из стола кипу тетрадей и сказал, что записи эти вполне заменят разговор с ним.

Это были его дневники, начатые на войне.

— До войны только и было, что сбежал из шестого класса. В колхозе в расчѐг не принимался. Остальное здесь.

Он на ходу наскоро поел и исчез.

...День за днём четыре года в пехоте. Далёкая река Алле. Набросок письма домой.

Когда приказ был отдан наступать,
Хотелось мне родную землю,
Как мать, сквозь снег поцеловать.

День вступления в партию... Запись прочитанных в обороне книг. Новая, неожиданная привычка—выражать свои мысли в стихах. Чем дальше, тем больше места занимают они в дневнике.

...Ночь в пороше.
Покрывалом
Тень закрыла домик мой.
По ухабам, перевалам
Возвращаюсь я домой.
Всю войну служил в пехоте,
Всё в ходу был и в ходу.
Вот теперь уж на работе
Скоро душу отведу.
Будто крыша стала ниже,
Тополь вырос под окном.
Подошёл к окну поближе...

И вот он дома... Буйный урожай сорок седьмого года. По зорьке первым на жатву. Знакомство с Пашковым на открытом партийном собрании. Записано не без зависти: «Как он умеет говорить с людьми!» Тут же выписки из Ленина и из Белинского. В тетради пометка: «Прочитать в поле».

Обидно было — хорошие мысли остаются в книгах. Жаль было — тетради с выписками лежат без движения дома... Забирал их с собой в поле. В обеденный перерыв читал вслух.

Скоро его назначили бригадиром.

Записи всё скупее и короче — времени меньше.

«Взялся за укрепление бригады». «Подумать о формах учёта». «Читаю «Основы земледелия» Вильямса. Никогда не думал, что предплужники имеют такое значение для структуры».

«1 июля. Сегодня буду читать первому звену вырезку из газеты «Подвиг знатных вязальщиц-тысячниц». Вчера купил хрестоматию по истории СССР, том 3».

«2 июля. В поле читал рассказы Овечкина. Рубекина попросила у меня эту книжку. Во втором звене начали меняться рядками свёклы. Этого не допущу. Каждая будет отвечать за свой рядок до конца уборки».

«5 июля. Читаю книгу Юлиуса Фучика. Да, люди, любите его, он погиб за наше будущее».

«7 июля. Массовая уборка ржи. Ночью читал Белинского».

«13 июля. Неустанно работает Мария Михайловна. Недаром её прозвали моим «помкомвзвода». Только что поймал Москву. Воронежский хор. Аплодисменты горячие, как сами песни. Москвичи, и вы тоже в восторге? А я думал, вы любите только симфонии».

«14 июля. Заканчиваю жатву ржи. Молодая колхозница Алипова так сильно порезала руку, что от боли упала в обморок. Отлежалась — и снова работать. Заставить уйти её не мог. Работы уйма».

...Не напрасно среди пашен
Целый день сажень верчу.
Пусть свидетель солнце скажет,
Пусть, а я — я помолчу...»

«7 августа. Хочется заняться самообразованием более систематично. Пойду посоветоваться с директором школы».

«24 августа. Сегодня родился сын».

«26 августа. Ездил на мельницу. Мать хочет стряпать ради новорождённого. Зерно не помолол. К. сказал, что я человек бездушный. Он предложил: «Припиши мне трудовень, а я тебе смелю». Нет, К., так не пойдёт. Есть у меня душа, и справедливая, ко всем людям лежит одинаково. А к тебе за твои проделки полнится гневом. Берегись, К.».

«27 августа. Выдаём аванс по два с половиной килограмма на трудовень. Это только аванс. Когда наша Мария Михайловна выступает на районных совещаниях, в зале шушукаются: «Хвастает». Не все ещё верят».

Пашков сказал: «Подготовься к районному совещанию так, чтобы всех задеть». Так и начну:

Да, артелью своей
И нивой родной
горжусь.
Не скрываю — горжусь».

«28 августа. По ночам читаю учебник Тимофеева: «Современная литература». Знакомлюсь с Брюсовым. Какой напористости и силы был человек (стихи его меня не волнуют, но дело не в этом). Да, люди работали. А я — делаю ли я всё, что могу?»

«29 августа. Купил II и III тома Белинского».

«30 августа. Сын растёт беспокойный». (Рядом приписка более поздняя: «Ничего, он совсем спокойный»). Кто-то привык: то ли сын к жизни, то ли отец к сыну).

Сбоку приписка без даты: «На 200 гектарах урожай ржи по 23 центнера, на отдельных участках до 30. Горох дал по 27 центнеров с гектара».

Маслов пришёл поздно вечером, застав меня за перепиской отрывков из его дневников. Он отдернул занавес, который отделял часть комнаты за печкой, подошёл к книжным полкам, идущим от пола до потолка. Рядом с Лениным, Сталиным, Белинским стояли учебники древней, средней и новой истории, классики, Маяковский.

По подбору книг, конечно, нельзя было судить о том, что он уже успел и сделал. Но к чему он стремился, о чём мечтал — полки эти выдавали полностью.

Маслов разыскал учебник агрономии, что-то выписал в свой блокнот, извинился передо мной — день сегодня был трудным, а завтра рано вставать — и ушёл спать на сеновал.

Шура Лаврова.

В кабинете секретаря спиной к двери сидела девушка в вязаном платке поверх лихо поставленного берета и о чём-то, казалось совсем особенном, шепталась с Пашковым. Я уже привыкла к тому, что каждый говорит с ним о своих делах, как об особенных.

— Так уж, пожалуйста, Павел Александрович, — просительню и в ещё большей степени настойчиво говорила девушка. — Уж, пожалуйста, постарайтесь.

Она встала.

— Да уж постараюсь, — сказал Пашков, — всё равно покою не дашь.

— Не дам, Павел Александрович, — подтвердила девушка.

Она обернулась, и я узнала Шуру Лаврову, заведующую сортоиспытательным участком, которую уже видела однажды во время поездки с Пашковым.

— Постараюсь, — повторил Пашков.

Шура весело улыбнулась, открыв все свои зубы, крупные, неровные, улыбнулась во-всю. Большие тёмные глаза жили своей отдельной жизнью, более строгой и скрытной — и они выражали непреклонное решение добиться сегодня всего, что нужно. Пожав Пашкову руку, она вышла.

— Всё для своего участка старается, — сказал он, — а за клевер она Героя может получить. Шесть и две десятых центнера с гектара — невиданный урожай.

Я разыскала Шуру на городском рынке у мешка с тыквенными семечками. Она долго ходила по базару, торгуясь «по всем направлениям», как она говорила, и ничего не покупая. Договорившись до половинной цены, Шура довольно улыбалась и переходила в следующий ряд.

— Видите, как за одну неделю упали цены? — радовалась она после очередной «победы». — О чём это говорит? Значит — урожай по району.

Шура посмотрела на часы и стала торопиться домой.

Я попросила её взять меня с собой в Марицу.

По дороге Шура рассказала мне о себе. С вопросов, которые казались ей «деловыми», она иногда сбивалась и с откровенностью счастливой женщины рассказывала мне и свою личную историю, а затем снова возвращалась к «делу».

...Родилась Шура в селе Знаменка. Когда её в первый раз повели в школу, она шла и думала про себя: выучусь, поеду в город, сдела-

юсь агрономом. Накуплю городских булок, вернусь и всех в селе угощу. Пусть знают, что я не гордая.

Шура мечтала вырастить такую картошку, чтоб под землёй картошка, а над землёй — помидор. Этими помидорами тоже хотелось угостить всё село.

В школу Шура ходила мимо пшеницы; идёт и каждый раз думает: обидно — стебель высокий, здоровый, а колосок маленький и всего один. Хорошо, если бы по сто колосков из каждого стебля росло.

Девочка из Знаменки не знала, что наука уже подходит к проблеме ветвистой пшеницы.

— Хватит. Шибко умная будешь — жениха по себе не найдёшь, — сказала мать после четвёртого класса. Но Шура кончила и рабфак, и сельскохозяйственный институт.

Она получила назначение в село Марицу.

— Куда идёшь, Марица — темнее села нет, — говорили ей по дороге. — Там до сих пор ходят в лаптях.

— Лапти — это не страшно, да и враки, наверно, а вот слева от дороги бурьян выше головы стеной стоит — это и есть испытательный участок, — вот это страшно.

В деревне Шура со всеми на улице здоровалась, никого не пропускала. Как-никак, а к людям подходить надо — одна совсем пропадёшь.

Спросила кого-то:

— Кто тут у вас председатель?

— А я он самый и буду.

— А я, — сказала Шура, — буду у вас агрономом. Найдите мне сначала квартиру.

— Нет, нет, — сказала хозяйка, к которой привели Шуру, — я устала от квартирантов.

А Шуре тут всё сразу понравилось: и расшитые дорожки, и белые занавески.

— Вы ещё меня полюбите, — сказала она увверенно.

— К тому же, у меня муж и сын на войне. Вернутся...

— Вернутся — сразу уйду. Честное слово.

Было это девятого мая, ровно за год до Победы.

...А земля в поле лежит голодная, опутанная бурьянами.

— Чем мне тебя кормить? — спрашивает Шура, наклоняясь к земле.

Участок очистили, пропололи, Шура сделала анализ почвы, завезли удобрения.

Через неделю, под вечер, пришли к ней председатель и бригадиры, с выпивкой, с хлебом-солью — знакомиться, должно быть, по марицким обычаям.

«Как мне вести себя: как деревенская или как городская? — только и успела подумать Шура. — А какая я есть на самом деле? Ни то, ни другое. Ну, так и буду себя вести, какая есть».

Отплясала с председателем «русскую», а наутро с тем же председателем пришлось поругаться.

В других бригадах — сеялки, а Шуре не дают: доставай сама, мы, мол, на тебя надежду имеем.

Со многими приходилось ей воевать — отстаивать свой участок. За МТС нужно следить, чтоб не срывали агротехнические сроки, или не для них на Февральском пленуме решали? Шура писала об этом даже в Москву, самому Бенедиктову.

С селекционной станцией спор другой. У них селекционер Нина

Ивановна вывела свой — «эритросперум 973», новый сорт озимой пшеницы.

Уж, конечно, эта Нина Ивановна хотела бы, чтобы Шура создала особые условия для её «эритросперума». Но Шура не может делать этого и не должна.

Задача испытательного участка — проверить урожайность и устойчивость нового сорта в условиях, близких к обычным.

В сорок седьмом году «эритросперум» Нины Ивановны вымерз. Нина Ивановна обижалась: плохая у вас агротехника.

В сорок восьмом году зима была мягкая — «973» дал на Шурином участке 34 центнера.

Нина Ивановна приехала: талантливый вы, говорит, агроном.

А Шуру хвали, не хвали — её задача истину установить. И вот её вывод, хоть спорьте с ней, хоть не спорьте — «эритросперум 973» — высокоурожайная пшеница, но не зимостойкая, неженка для наших широт.

С районом — свои разговоры. У района — план, заготовки. А семфонд испытательных участков в поставки не идёт. Но где же горячим головам это вытерпеть, когда у них подходят последние сроки и не хватает столько-то процентов и столько-то десятых?

— Что вы голову всем морочите? — сказал Пашков.

— Мне тоже интересно, чтобы наш район был не последним, — сказала Шура. — Но это семенное зерно. Неприкосновенный запас.

Пашков ничего не ответил и отпустил Шуру. До этого у неё было другое столкновение с первым секретарём.

Приказали Шуре лошадь, закреплённую за участком, временно отправить в райком для приехавшего из области пропагандиста. Шура — к секретарю райкома. Сидят в кабинете двое. Один худой, в солдатской шинели, другой — полный, в новом хромовом пальто. Кто-то из них первый секретарь Пашков, только что приехавший в район.

— Разрешите обратиться, — сказала она, глядя на обших, — лошади я вам не дам, товарищи руководители. Я бы со всем удовольствием, но нет такого закона.

Полный в кожаном пальто поднялся и сказал громко и раздражённо:

— Много на себя берёте.

— Ничуть не много, — сказала Шура. — Я к вам в первый раз пришла, в кабинет секретаря — учиться. А вы повышаете голос.

«Кто же всё-таки из них секретарь? — думала Шура. — Наверное тот тихий, в шинели», — но чувствовала, что сама тоже начинает уже говорить слишком громко и остановиться не может.

— А вы не боитесь, что мы вот вас с работы снимем? — спросил тот, что в кожаном пальто, но уже тише, чем прежде.

— Я молодой специалист, — сказала Шура. — В районе не будет мне места — в Советском Союзе работы много. А лошади я не дам, — последние слова она произнесла почти шёпотом.

В кабинете вдруг стало так тихо, что она сама испугалась, повернулась и вышла. Но на пороге словно дёрнул её кто-то — хлопнула дверь на весь райком.

Все восемь километров по дороге в Марицу Шура жалела, что так разговаривала в райкоме. Уезжать из района уже не хотелось. Если спорит она со всеми, так это потому, что каждому хочется поднять своё дело, к тому же многого ещё после войны не хватает. Вспылив, она сразу отходила:

— Слушай, председатель, ты — хозяин и я — хозяин, можем друг друга понять.

...Наступил сорок шестой год. Бледное сухое небо словно припеклось к земле, растрескавшейся от жажды. Высохшая земля ничего не давала людям. Сквозь стены сухой пыли, повисшей от неба до самой земли, пробивалась во все уголки района машина Пашкова, который приносил уверенность, что Москва не оставит людей в беде.

В это лето Шура получила на своих делянках по восемнадцать центнеров овса и ржи с гектара: больше, чем на полях опытной станции.

Однажды Шуру вызвали в город на районное совещание. К началу она опоздала. Выступал уже Пашков. Шура чуть приоткрыла дверь, но войти постеснялась; вдруг слышит — Пашков произносит её имя и рассказывает и про лошадь и про семена.

— Вот, — говорит, — человек принципиальный. Вспыльчивая, правда, но дело своё отстаивает. И вот результаты...

Вспоминая это, Шура сказала мне:

— Так на этой ругани мы с ним и узнали друг друга. Укрепил он меня в моём характере, научил не бояться и рисковать.

Как-то на другом совещании в райкоме Пашков взял её за руку и подвёл к окошечку отдела кадров.

— Почему в партию не вступаешь? Не вечно в комсомолках ходить. — И сам сказал в окошечко: — Дайте анкету.

...Должно быть, хозяйка квартиры слишком много писала сыну на фронт про Шуру. Всё чаще стали приходиться на Шурино имя письма с полевой почты. Вернулся из армии муж хозяйки. Шура вспомнила своё честное слово и заикнулась было, что уйдёт на другую квартиру. Хозяйка обиделась.

А Ваня, сын хозяйки, уже писал: «Дорого нам с тобой увидеться, и судьба наша сразу решится. Ты скажешь — понравился я тебе или нет, а я тебя уже полюбил. Я всё о тебе знаю».

Шура отвечала ему, что она некрасивая. Отвечала так, а сама ждала его уже... Делали ей предложение и брат председателя, и финагент, и учитель из десятилетки.

— Даже сама удивляюсь, — сказала мне Шура, — откуда смелость бралась отказывать столько: и не красавица, и в годах — вот уже двадцать восемь, а всё жду и жду, и сама ведь не знаю, кого жду.

Пошёл этому уже четвёртый год...

...Земля, только её полюби и приласкай — она человеческое отношение понимает.

Весной сорок седьмого года на испытательном участке под пшеницу посеяли клевер — новый сорт местной селекционной станции. Пшеница встала высокая, рослая, клевер был у неё в ногах. Пшеницу сняли — и клевер словно вытолкнул кто-то из-под земли, сразу подрос на четверть.

Шура целые дни проводила на своих делянках.

...Как-то вечером, только она пришла с поля домой, о крыльцо стукнули крупные капли, и над деревней зашумел холодный ливень — дело было уже под осень. В дом Лавровых постучал дежурный из сельсовета.

— Александру Семёнову немедленно к телефону.

Шуре пришлось бежать на другой край деревни. Струи ливня слепили глаза, да и без того было темно. Она падала, проклиная того, кто

вызвал её в такой неурочный час, и снова бежала. Влетела в сельсовет с руками, полными глины.

— И кому я в такое время понадобилась, чтоб вам... — крикнула в трубку.

— Мне, — отвечают в трубку, — чтоб мне... — Шура узнала голос Пашкова. — Колхоз Энгельса выдвинул тебя кандидатом в депутаты Областного Совета. Пиши свою биографию. А утречком..

— Правда? — не стесняясь своей радости, крикнула Шура на все восемь километров так, что секретарь и без телефона её бы услышал... — Да если б я знала, да я бы до Москвы добежала.

Двадцать первого декабря сорок седьмого года Шуру выбрали в Областной Совет.

Домой вернулась за полночь, счастливая и такая усталая, что хозяйка сама ей постелила постель.

Сквозь сон Шура услышала стук. На крыльце стоял высокий военный.

— На побывку к вам.

«Он, — поняла Шура. — И в тот самый день, когда меня выбрали...»

Шура не знала, как ей себя вести: как чужая квартирантка — тогда надо выйти, чтоб не мешать встрече, или как своя — ведь узнала она его за четыре года до капельки, в каждом треугольнике со штемпелем полевой почты дышала его душа.

Посидит за столом — в кухню выйдет. Её снова зовут к столу. На него не смотрела. И он больше говорил с матерью и отцом. Когда мать и отец вышли из комнаты, Ваня сразу спросил:

— Шура, понравился ли я тебе хоть немножко?

— Я и не смотрела на тебя, — сказала Шура.

— Ладно, я подожду, посмотри.

Утром Ваня с матерью и отцом ушли к родственникам.

Двадцать второе декабря — день проверки посевов клевера.

Шла Шура к участку, и тихая радость вставала в душе.

«Это, наверно, оттого, — сказала она себе, — что клевер живой под снегом».

Подходя к участку, она замедлила шаг — сейчас всё ещё впереди, а может, окажется — труды понапрасну.

Девушки сделали в снегу окошко. Шура заглянула: трава потемнела, скрючилась.

Вырубили кусок почвы — «монолит». Дома Шура ходила вокруг стола и дышала на «монолит», клевер отогрелся и стал отходить. Значит, живой.

Бывают ведь такие счастливые дни.

«Скорей бы Ваня вернулся... Весело их, видно, там в гостях принимают... Надо же клевер им показать. И оттого, что нельзя было сейчас же поделиться радостью, клевер радовал уже меньше. Шура жалела, что так ответила вчера Ване... Маленькие листочки клевера, придавленные снегом, понемногу расправлялись».

«Хоть бы уж уродился. И ничего мне тогда не нужно», — с обидой на себя думала Шура.

В комнату вошли Ваня с матерью и отцом.

Отец сразу к клеверу, Ваня даже внимания на него не обратил.

«Ишь ты, офицер, — недобро подумала Шура, — хлеб ест, а думать про хлеб не хочет».

— Пойдите погуляйте, — сказала мать.

Вышли они с Ваней — навстречу метель.

— Хорошо клевер укроет, — обрадовалась Шура.

— Понравился ли я тебе хоть немножко? — снова спросил Ваня.

— Смотри, как бы не пожалел потом, — уклончиво ответила Шура и нахмурилась, вспомнив, что Ваня так и не подошёл к её клеверу.

— И ты смотри...

Утром Ваня сказал родителям, что они с Шурой поженятся.

— Смотрите, — снова сказала Шура, — сейчас лучше смотрите, какая я...

— Четыре года уж смотрим, — засмеялась мать.

Они сходили в сельсовет, расписались, и Ваня уехал.

А клевер жил под снегами...

Двадцать первого марта снова вырубили окошко. Трава под снегом стояла побледневшая, тоненькая.

В апреле снег стал сбегать с полей. Постепенно клевер наливался свежим зелёным цветом. Началось цветение.

Вернулся Ваня с тёмными, невыгоревшими полосками вместо погон — уже навсегда.

«Добьюсь, чтоб и ему до всего было дело», — решила Шура и тут же взяла его с собой на участок.

Через месяц он стал заместителем заведующего испытательного участка.

— На работе я начальник тебе — смотри не обижайся, — предупреждала Шура, — а дома, если хочешь, я тебе подчинюсь. — Подумав, она уточнила: — А дома — равные.

Клевер, который Ваня не заметил зимой, они снимали уже вместе.

Этот клевер дал тот невиданный урожай, о котором говорил секретарь райкома.

...Восьми километров вполне хватило, чтобы Шура рассказала мне и об этом, и о многом другом.

Стало темнеть. Впереди дорога падала в низинку. Из низинки торчали верхушки деревьев и трубы.

Ваня встретил нас у входа в деревню. У него интеллигентное крестьянское лицо, подчёркнутая сдержанность.

В избе сразу бросился в глаза огромный плакат — мичуринская реплика.

На столе в большой комнате рядом с радиоприёмником и патефоном лежали полевые журналы, метеорологические дневники, отчёты, книги, стопка ежемесячного агрономического вестника, арифмометр. Этот стол придавал всей комнате вид штаба.

Ночью я проснулась от шёпота за цветастым пологом, где стояла кровать Шуры. До меня доносились отдельные слова: предплужники... проверь на поворотах... глубина слоя... обеспечь прицепщиков...

Это был инструктаж заместителю на завтрашний день.

Утром Ваня ушёл на участок. Шура встала озабоченная и сразу села за отчёт по клеверу.

— Недоделанная работа меня убивает, — сказала она.

Я почувствовала себя виноватой за её вчерашний день.

Ваня вернулся с поля и тоже сел за отчёт. Время от времени он спрашивал у неё что-нибудь, она отвечала или доставала из стопки книгу и раскрывала её на нужной странице. Это был своеобразный университет на дому.

— Ваня готовится на заочный факультет сельскохозяйственного института, — сказала Шура за обедом — Лет через пять я пойду под его начальство.

— Ну да, а ты к тому времени станешь доктором агрономических наук, — ответил Ваня. Он отодвинул тарелки и раскрыл передо мной большую папку с листами, исписанными колонками цифр.

— Вот её кандидатская диссертация. Это нормы высева пшеницы. Нужно решить, какая частота посева обеспечит лучшую урожайность — Ваня при всей своей сдержанности рассказывал о Шуриной диссертации с большим увлечением, как о собственной работе.

— Так что мне Шуру уже не догнать, — закончил он, но эти слова не вязались с тоном его речи.

— Нет уж, пожалуйста, догони, — сказала Шура. — Не всегда мне начальником быть. У меня дети пойдут...

Они оба смутились и замолчали.

Это уже говорил в ней не упрямый агроном, а самолюбие женщины, которое заключается не в том, чтобы быть выше любимого, а в том, чтобы его считать выше всех остальных, и себя в том числе.

Шура проводила меня.

Мы шли через участок. Знаменитый клевер был уже скошен. Поле тянулось к облакам тоненькими нежными стебельками озимой ржи и вслед за ними поднималось у горизонта. Горбясь, лежала перед нами земля.

Растёт из неё хлеб, и люди растут, пробиваются, тянутся вверх и часто не там, где мы их ждём, но всегда там, где сквозь почву пробиваются крепкие ржаные колосья.

На конкретном деле, на овладении мастерством вырастают люди.

По дороге показалась машина. Мы подняли руки и побежали навстречу.

— Павлу Александровичу привет, — торопливо говорила Шура. — Передайте — пусть не забудет: жду его за октябрины. У меня ведь сын скоро, — сказала она, когда я была уже на подножке. — Сашкой его назову. А вы не заметили разве?

Заметить что-нибудь было трудно — столько сил и энергии излучала она во внешний мир. Я подумала: всё у неё растёт — и клевер, и озимь, и Валя, и она сама, и этот маленький Сашка, догадаться о существовании которого было пока невозможно.

Зимой.

Через несколько месяцев мне удалось ещё раз побывать в районе. Начинался февраль.

Метелица гнала перед собой валы снежной пыли, перекатывая их через весь городок.

На углу недалеко от райкома стоял мальчишка и, сложив руки рупором, кричал на всю улицу:

— Говорит Заречье! Говорит Заречье!

Голос его звучал заброшенно и одиноко, теряясь в завывающем вихре метели...

— Говорит Заречье! Говорит Заречье! — настойчиво повторял мальчик. Наконец, ему откликнулись с другого угла.

— Марица слушает... Марица слушает...

Так в этой новой уличной игре ребятшек в первый же час моего приезда в город предстала мне новая идея, которой жил район, — идея сплошной радиофикации.

Позже мне стало известно, что именно в этот день, в буран с морозом, доходящим до тридцати градусов, на дорогу, ведущую от районного центра в Марицу, вышло добровольно шестьсот колхозников, среди них семидесятилетние старики и дети.

За один день было установлено девять километров радиолинии. Для этого нужно было и заготовить столбы, и привезти их из дальнего леса, и вкопать в промёрзшую землю на полтора метра.

Через неделю в Марице, в той Марице, о которой Шура Лавровой говорили, как о самом тёмном селе, по счастливому совпадению в тот день, когда у Шуры родился сын, — закричал мощный динамик.

Колхозный сторож Шушманов, овдовевший и потерявший на войне сыновей, на другое же утро сказал:

— Сегодня ночью почудилось мне, что я не один. Будто кто-то рядом живёт, добрый и умный. Будто Москва рядом.

И сразу в несколько дней в быту деревни появились новые привычки.

Два раза в день, по утрам и ночью, перед боем часов, на улицу стали выходить мужчины — послушать «последние известия».

Девушки перестали зависеть от баяниста и, уже не заискивая перед «первым на деревне парнем», частенько уходили от него на другой край села под динамик, в котором звенел Воронежский хор.

Демобилизованные солдаты, а за ними и многие допризывники по утрам стали делать на своих дворах зарядку.

Бригадыры собирались к динамику в определённый час, чтобы не пропустить «Бесед агронома». К начальнику радиоузла из Марицы звонили теперь ежедневно: когда радио придёт в каждую хату?

Москва приближалась, уже шумела на улицах сёл и стучалась в избы.

В район приехали гидрологи и мелиораторы.

В тесную комнатку Трансводпроекта на окраине районного центра собрались люди со всех краёв нашей страны: с реки Горюн, что впадает в Амур, с Игарки, с линии Магнитогорск—Стерлитамак. Их посылали во все места, где прокладываются пути, где нужно изыскание водных ресурсов.

А сейчас, хотя совсем ещё не сезон, они идут от колхоза к колхозу и выспрашивают стариков об уровне воды в прошлый паводок и о последнем наводнении, помечают, где разлиться новым прудам и озёрам, где заплескаться зеркальному карпу и зашуметь диким уткам, и с кипами записей, расчётов, чертежей возвращаются в эту каморку.

В эти зимние дни в районе учились все.

Председатели колхозов на месячных курсах изучали новую систему учёта и оплаты труда, историю СССР, основы агротехники и селекции.

Бригадыры полевых бригад знакомились с теорией Вильямса. Работали специальные курсы по кок-сагызу. Бригадыры поливных участков ехали на оросительную систему соседнего района. Собирались на семинары доярки, пастухи, зоотехники и зооветеринары. Трактористы готовились к сдаче техминимума по расширенной программе.

Наталья Петровна в хате-лаборатории пытливо допрашивала о подкормке юзимых; Шура Лаврова, которой нельзя было надолго отлучаться от сына, собирала колхозников в своей избе и здесь читала лекции о структуре почвы. Она не получила Героя за свой клевер, так как колхоз в целом плана не выполнил; теперь она решила вынести агроучёбу за пределы бригады испытательного участка.

По всему району суббота считалась учебным партийным днём.

Партийная школа, где секретарём Александра Савельевна, собиралась у ней дома. Над раскрытыми книжками «Краткого курса» склонялись друзья её сыновей. Совсем так же, у этого же стола занимался

когда-то «семейный политкружок» — муж и мальчики, помогавшие матери составлять конспекты.

При второй проверке знаний в партийных школах Наталья Петровна отвечала по теме: «Труд в СССР — дело чести, доблести и героизма». Перечисляя знатных людей колхоза, она между прочим не пропустила себя и без всякого стеснения с обычным своим юморком сказала: «Не забудем тут и старушку-будильник Стукалову Наталью Петровну».

Кончанка и окружающие её холмы тонут в сугробах. По утрам и сугробы и белые хаты, встающие из снега, кажутся кратерами потухших и действующих сопок — из труб выбиваются клубы дыма и пара.

Низко спустилось тёмное тяжёлое зимнее небо. Белыми свечами поднимаются ровные прямые дымы.

Сковало речонку Ржавицу, которая весело кружилась летом по балке.

Завьюжило. Новый месяц рождался в непастье, омывался снегами, овеивался ветрами, с тех пор каждый день крепчает мороз. Можно подумать, и жизнь остановилась в заваленном снегами селе.

Но сдвиги, которые произошли в жизни района, нигде не ощущаются так, как здесь.

Кажется, не зима, а широкое половодье захватило село, сдвинуло с места все эти избы, затонувшие в непролазных снегах, и понесло куда-то сквозь время. Будто льдины бегут мимо — громоздятся, взбираются, обгоняют друга друга. Заметил одну, нашёл фокус, направил своё внимание — и всё уже изменилось.

Семьдесят лет назад по Кончанке прѣехал человек на велосипеде с одним огромным колесом. Обсуждали это годами, как человек держится на колесе.

Сейчас всё сдвинулось.

В сентябре на Кончанке стали расти столбы. Загудели на ветру от бугра к бугру провода, будто ветром надуло парус, и над селом заплескались, захлопали натянутые холщёвые полотнища.

Двадцать первого октября вспыхнул свет. Утром женщины сошлись у колодца. Мария Михайловна, не то искренне сокрушаясь, не то по обычной своей привычке шутя, сказала:

— Это ж, бабы, не свет, а горе: зажѣгся — и сразу во всех кутках паутину видать, навоз видать. Днём-то не так светло. Дюже хитро.

И вот по всей деревне заново стали белить освещённые хаты.

В стенной колхозной газете появилось стихотворение бригадира Маслова:

— Вот так лампа, вот так штука...

Ай да Ванька, ну и свет, —

Подойдя поближе к внуку,

Восклицает старый дед.

— Брось ты, бабка, драить видку,

Завтра выдраишь, поверь,

Брось, не то твою коптилку,

Обозлясь, швырну за дверь.

Что ты в угол там забралась,

Здесь-то свет, смотри, какой... —

И старик, поднявшись малость,

Лампу трогает рукой.

Повернулся к внуку старый

И обиделся, видашь.

— Ты бери-ка книгу, малый,

Да учи меня читать.
 А в квартире видим-видно
 Ровный, яркобелый свет.
 Деду стало вдруг обидно
 За прожитых сотню лет.

Ещё не прекратились паломничества в «электроцех», где механик Слава Рубекин, вчерашний офицер, охотно читает лекции об электричестве каждому посетителю, ещё не перестала бабка Благирёва, та самая, которая помнит первый на Кончанке велосипед, каждый вечер в сумереющей хате ожидать, когда вспыхнет электричество, чтобы уяснить себе, откуда оно берётся, — а в быт села уже вошло новое, неслыханное понятие «искусственный дождь».

Двадцать первого ноября приступили к земляным работам по сооружению водоёма.

Вечером после первого дня земляных работ Маслов написал новые стихи для колхозной стенной газеты:

Речка, речка, ручеёк,
 Говорлива, весела.
 Ты, как вьюн, бежишь у ног,
 У колхозного села.
 Сколько лет одно и то ж,
 Гонишь гальку и песок.
 Бесполезно ты течёшь,
 Речка, речка, ручеёк.
 Что в том толку, что под носом
 Несмолкаючи журчишь?..
 И решили мы колхозом
 Запрудить тебя — ты слышь? —
 Преогромную плотиной...
 Трубы в поле провести
 И стальной паутиной
 Два колхоза оплести,
 Чтобы ты бассейном стала,
 Нас спасала от беды,
 Чтоб на сто гектар хватало
 В годы засухи воды,
 Чтобы ты умела прыгать
 С небывалой высоты,
 Свет давать, машины двигать,
 Орошать поля, сады...

На строительство плотины людей вывел старый колхозник Фёдор Петрович Толкачёв.

В хате Толкачёва я прослушала двухчасовую лекцию о сооружении водоёмов, о плотине и фашинных креплениях, о водосбросе, о давлении нагнетательного насоса, о системе оросительных труб и каналов.

Толкачёв надвигал на переносицу очки, степенно, с уважением к себе откашливался и разворачивал передо мной сложные инженерные чертежи «Ленводстройпроекта».

Жена и невестка ходили по хате на цыпочках, почтительно обходя стол, за которым мы сидели Зато двенадцатилетний внук Толкачёва сидел с нами, чувствуя себя полноправным, смело роясь в чертежах и изредка вставляя своё словечко.

Иногда он с пренебрежительным сожалением оглядывался на бабку

и мать, которые ничего не понимали в этих красивых голубых миллиметровках и приятно хрустящих прозрачных кальках, и, чувствуя своё мужское превосходство, поворачивался к деду, подавая очередную реплику.

— Ну-ка, Трошка, найди записку от прораба, — говорил дед. Внук немедленно нырнул в кипу бумаг, выложенных на стол, выискивал нужную записку и подавал её деду, снова оглядываясь на бабушку и мать.

Объясняя проект и расчёты «Водстроя», Толкачёв сказал, что выдвигает встречное предложение: в нужные дни вода будет использоваться для орошения, а в остальное время под водосброс можно поставить турбину и перенести электростанцию, которая сейчас работает на горячем, к этому водоёму.

Желая убедить меня в разумности его предложения, Толкачёв предложил идти на место работ. Трошка забрал в папку все чертежи, сунул её подмышку и, не спрашиваясь, пошёл за нами. Как видно, роль дедова адъютанта прочно закреплена за ним.

Мы шли вдоль широкой балки, против течения Ржавицы и — что хуже — против внезапно проснувшегося нарастающего ветра. Трошка шагал впереди нас и напевал какую-то песенку.

Я прислушалась.

«Наша жизнь — переменная точка», — выводил Трошка.

— Не пой против ветру! — прикрикнул дед. — Ишь, у инженеров научился.

Трошка продолжал шутливую песенку гидрологов, делая вид, что не слышит деда.

Здесь, на просторе широкой балки, охваченный ветром, который задирает полу его короткого полутулупчика, он чувствовал себя с дедом много свободнее, чем дома.

У последней хаты Грудинцева Бугра балка разбегается вширь, края её расходятся в стороны и смыкаются только вдали, у горизонта.

Там, на склонах обвала, капельными родничками начинается Ржавица. Это — естественный бассейн для водоёма.

Здесь, где мы стоим, почва вынута. Здесь будет основание плотины. Из снега торчат чёрные тумбы.

Рядом балку перерезает нагромождение, похожее на горный хребет. Кажется, что мы на высоте вечных снегов.

Толкачёв раскрывает папку и начинает объяснение, передавая чертёж за чертежом уже достаточно передрогшему Трошке.

— Эх ты, мужик, чуть вышел — и нос побелел, три снегом, — замечает он мимоходом внуку и продолжает рассказывать о вредном слое, о своих предположениях и о расчёте инженеров. — Сорок центнеров с гектара на поливном участке нам обеспечено. Это только на первых порах. А будет хлеба вдоволь — и широкие станут люди, всем раскрытые, я так понимаю. — Схватив горсть снега, он начинает растирать Трошке уже совсем побелевший нос, щёки и руки, но остановить своих рассуждений не может.

Ветер вырывает из его рук кальку, он прыгает за нею с гребня земляного вала вниз.

— Вот так же речка будет скакать, — кричит он снизу, — читали у Женика Маслова? Здесь водосброс. Ставь турбину — и всё тут. К молотилке электричество подведём. Про то и говорю.

Он снова карабкается наверх.

— А озеро, какое озеро будет! В этих поперечных овражках — заливычки, тут — камыш разрастётся, утки закрякают. Ещё тут лесу шуметь. Прежде-то что было... а сейчас мышь не спрячется.

В правлении колхоза мне рассказали, что по районному плану рядом с новым озером будет восстановлен прежний лес. Уже заложен колхозный питомник.

...Ещё не все поверили на Кончанке в искусственный дождь, ещё не успели саженцы дать свежие побеги — в колхозе произошло новое событие.

Утром перед разговором с Толкачёвым я зашла в правление — всё было обычно. В отгороженной шкафом комнате счетовода толпилось много людей.

Когда мы возвращались с плотины, мне снова пришлось заглянуть в правление. У стола счетовода громоздилась груда столбов и досок.

Зайдя в правление вечером, я ничего не нашла на прежнем месте. Там, где стоял шкаф, до потолка поднималась двойная деревянная стена, счетовод переместился к председателю, а на столе счетовода располагался уже смонтированный радиоузел. Народ, потеснившись из двух комнат в одну, попрежнему не уходил из правления.

В эти дни колхоз подготавливал к утверждению производственный план, обсуждали новые нормы, думали о новых постройках, о новых машинах.

— Мы можем, значит и вы можете, — возмущалась Мария Михайловна, требуя введения перекрёстного сева по всему колхозу.

— Проверь по книгам, сколько удобрений нужно под кок-сагыз, — говорил председатель счетоводу, прежде чем заполнить очередную графу. — Так... Лушение стерни... Сколько дадим трудодней?

— Теперь рассчитывай, сколько горючего пойдёт на одну лошадиную силу...

Самые разнообразные знания не только по агрономии и зоотехнике, но и по энергетике, по строительным материалам, по химии нужны теперь, чтобы составить годовой план разветвлённого, многоотраслевого колхозного хозяйства.

Постепенно заполняются графы колхозного плана: кирпичный завод, клуб, новое правление, коровник, птицеферма, пасека, баня, плотина, электрическая пилорама, соломорезка. Споры возникают вокруг строительства клуба. Председатель предлагает строить клуб в общем ряду на Кончанке, но бригадир Маслов видит уже не клуб, а Дворец культуры и вокруг широко раскинувшийся сельский парк культуры и отдыха.

Он предлагает место в долине, у склона горы, где сейчас правление. Клуб будет подниматься в гору амфитеатром, а парк ступенями сбежит к весёлой Ржавице.

— В этом парке будет однодневный дом отдыха, — говорит Маслов.

...Высоко над Кончанкой, над балкой, над окрестными холмами подымается Барыбин Бугор, на котором живёт Евгений Маслов. Видно отсюда всё село с его оврагами, холмами, петливой речкой, с застывшими снежными волнами, наметёнными вьюгой, с электрическими столбами.

Видно отсюда и то, чего никогда не было и нет ещё сегодня в селе.

В комнате Маслова на стене — фотографии усовершенствованных уборочных машин последней конструкции, которые он вырезал из журналов, газетные вырезки — статьи о реконструкции украинских сёл.

Не случайно он говорил в правлении о сельском доме отдыха и о парке культуры.

Виден отсюда уже и водопровод на родной Кончанке.

На этот раз Маслов был свободнее, чем летом; придя из правления, мы долго разговаривали о перспективах развития дальнеугонских колхозов.

Бывает на фронте: залезет разведчик на дерево, оборудует наскоро походный НП, чтобы рассмотреть очередной населённый пункт, а солдат-пехотинец, чавкая по размякшей глине тяжёлыми сапогами, подойдёт к дереву, обнимет ствол и тихонько спросит о городе, что впереди: «Далеко ли, друг, до него?»

Так, слушавший наш разговор из соседней комнаты отец Маслова тихо подошёл к двери, осторожно взялся за косяк и, посмотрев на сына, спросил:

— Далеко ли до него, Женик, до этого водопровода?

— Пять посевных, — почему-то сказал Маслов.

Может быть, он ошибся, определяя расстояние, отделяющее кончанский колхоз от водопровода в каждом доме.

Может быть, он ошибается, видя будущую Кончанку размещённой в двадцати больших удобных домах с отдельным корпусом столовой, с огромным колхозным садом на месте сегодняшних изб и наделов, — суть не в этом. Суть в направлении, по которому движется мысль этого человека.

Суть в том, что в собственной его семье складываются новые человеческие отношения, которым тесно в сегодняшнем быту Кончанки.

Известно, сколько сил даже у колхозников отнимает усадебный надел и хозяйство. Известно, что в крестьянском хозяйстве на молодую жену, вошедшую в дом, сразу сваливается вся работа. Старуха-свекровь по-своему справедливо считает, что ей пора уже отдохнуть, — ведь и она начинала с этого.

Женя ночами просиживает за книгой, и мать боится лишней раз скрипнуть половицей, но ей трудно примириться с тем, что учится и её девятнадцатилетняя невестка.

Кажется, всё уже сделано по дому — и скот убран и маленький Сашка спит, но стоит Тамаре сесть за книгу, и мать обязательно позовёт её к печке и непременно найдёт ей дело, не найдёт, так придумает да ещё шепнёт мимоходом беззлобно:

— Не наше с тобой это дело, дочка, по передним комнатам сидеть да книжки читать. Это уж пусть Женик...

А Маслов не может прочесть ни одной книги, не поделившись с женой, он требует, чтобы она читала всё, что читает он. Тамара — первый слушатель и критик его стихов. Он с досадой «засекает» часы, которые уходят у жены на хозяйство.

Может быть, потому так мечтает он о новой организации быта в Кончанке.

Наш разговор заходит за полночь.

Я перелистываю тетрадь, в которую Маслов записывает то, что ему жаль оставлять в книгах.

На последней странице — выписки из Белинского: «...жить — значит развиваться, двигаться вперёд: поэтому человек не может одинаково чувствовать и мыслить всю жизнь свою...» «Без стремления к бесконечному нет жизни, нет развития, нет прогресса. Сущность развития состоит в стремлении и достижении. Но когда человек чего-либо достигает, он не останавливается на этом...»



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

ИЗ ПИСЕМ УЧЁНОГО

22 августа 1945 года, при исполнении служебных обязанностей, во время воздушной катастрофы погиб Георгий Сергеевич Кара-Мурза, профессор Московского ордена Ленина государственного университета и старший научный сотрудник Института истории Академии наук СССР.

Сравнительно молодой (Г. С. Кара-Мурза родился в Москве в 1906 году), он оставил после себя более ста научных работ по вопросам истории Китая.

В 1941 году, после нападения на СССР гитлеровской Германии, Г. С. Кара-Мурза вступил добровольцем в ряды Красной Армии

В последние годы своей жизни, находясь на Дальнем Востоке, Г. С. Кара-Мурза написал четырёхтомную монографию о Маньчжоу-Го «Новый порядок» в Маньчжурии.

Ниже мы помещаем отрывки из писем Г. С. Кара-Мурзы к друзьям. В этих письмах раскрывается моральный облик молодого советского учёного, патриота, горячо любившего свою родину.

6 ноября 1943 года.

Вот уже два года, как я здесь, в Чите. Помню, сколько пришлось побегать по Москве, прежде чем получить назначение в армию. Словно можно было, имея броню, спокойно оставаться в университете, дежурить на крыше Института истории Академии наук. Нет, это не по мне. Что уж говорить, я мечтал, конечно, о другом, о фронте. Но сколько ни уговаривал военкоматовских товарищей, всё было напрасно. «Профессора истории Китая, знающего язык, надо использовать по специальности», — так обычно отвечали мне. Ну, что ж поделаешь. И вот я здесь. Много за эти годы пройдено, продумано, прочувствовано.

А сегодня вот двойной праздник. Взяли Киев. Что творится! Что ни день, то салюты. Москва в огнях и в радости. Ну, и мы не сетуем. Включил радио. Вот и побывал в Москве на заседании Моссовета.

Замечательный доклад: подводятся итоги, почему мы победили — таков смысл доклада.

«Недалеко время, когда мы завершим очищение от врага Украины и Белоруссии, Ленинградской и Калининской областей, освободим от немецких захватчиков народы Крыма, Литвы, Латвии, Эстонии, Молдавии и Карело-Финской республики». Очень важен дух, тон доклада «Гитлеровская Германия и её вассалы стоят накануне своей катастрофы». Сталин словами не бросается, значит будет так. Значит, так и ждать.

Я очень люблю голос Сталина, его манеру говорить. В 1935—1936 гг. в кино передавали его речь. Так я раз пять ходил его слушать, смотреть.

Сегодня я полон ещё одной радости. «Мой» Китай подписал вместе с нами всемирно-историческую декларацию. Ворох мыслей в связи с этим. Захотелось поставить ряд проблем, вопросов, наметить новые темы для исследования. Хочется, например, поставить некоторые теоретические проблемы. В последние годы у нас потеряли вкус к теории, увлеклись конкретикой (как крен в другую сторону после социологизирования). Ну, и я шёл в общем течении. Хватит, надоело. Назрели теоретические вопросы, и хочется ими заняться всерьёз. Вот взять, к примеру, проблему о закономерностях истории. Сравнительное изучение истории позволяет вывести ряд общих законов. Тогда история будет не сборником случайных, не связанных между собой фактов, а логическим процессом, где одно тянет за собой другое, где в одной стране

повторяются события, ранее бывшие в другой. А наряду с этим надо написать всё это так, чтоб каждый народ имел своё лицо, свои особенности. В общем, надо написать историю, как роман, где биографии героев, то есть истории отдельных народов, тесно переплетаются друг с другом, где каждый народ имеет свою судьбу не в силу случайности, а судьбы эти логично развиваются, где вместе с тем каждый «герой» — народ — проходит юность, зрелость, старость.

Это очень сложно, очень трудно. Но только тогда история будет осмыслена, тогда станет ясным будущее всех народов. Ведь не всякий факт историчен. А у нас иной раз тянут в историю всё, что ни попало.

Есть периоды, когда история «спит», периоды неподвижные, застойные. У некоторых колониальных народов, например, история подспудна, как подспудна биография у человека, сидящего в тюрьме.

Ведь история, собственно говоря, больше, нежели роман, драма; это жизнь, полная драматизма, героики. И вот хочется написать так, чтоб получился этот роман с завязкой, сюжетом, с действующими лицами. Эти общие законы помогут всё поставить на своё место в истории. Что же я, собственно, хочу? Я хочу, чтоб история Китая заняла подобающее место в нашем общем образовании. Китай незаслуженно обойдён. Да и не только Китай, весь Восток. Конечно, здесь сказывается ещё наследие буржуазной науки, европеизма, который игнорировал, третировал Восток, не знал его и не хотел его знать. А мы хотим и должны знать. Китай — великая страна, с огромным будущим, с огромным прошлым, а то, что его ещё мало знают, — непостижительно. У нас изучают в школе, в вузах Карла Великого, Пипина Короткого, жакерию, Гарibaldi, не зная которых считается признаком некультурности. А много ещё и среди историков людей, которые не знают Ян Сю-цина, Тан Сы-туна, Тайпинов и даже не считают нужным знать.

Вот я и мечтаю дожить до такого времени, когда таким же позором будет не знать Тайпинов и Кан Ю-вэя, как Наполеона или 1848 год.

Я люблю китайских коммунистов, Сун Ят-сена, Ян Сю-цина, Тайпинов и хочу чтобы их знали и любили.

Из всего, что я написал, я считаю самым ценным, с этой точки зрения, главки о Китае в учебнике средних веков для школ. Может статься, сейчас для некоторых ребят Ван Ань-ши ничем не отличается от Карла Великого. Они учат то и другое одинаково. Но разница все же есть. По истории Европы школьники прочтут другие книги, романы, учитель расскажет ещё сверх учебника, а тут, кроме нескольких главок, почти ничего нет. И я знаю, что некоторые учителя просто опускают эти главки, боясь вопросов, и потому, что сами больше не знают: их-то этому не учили.

Дело не только в истории. Вот вышла история философии, 3 тома получили Сталинскую премию, а китайской философии там нет. И ничего, сошло. А как можно писать историю философии без Конфуция, Лао-цзы, десятков философских систем Китая?

А спросите у наших философов о китайской философии. Они не расскажут. Не знают, не учатся и не обучают этому других. В общем, что же нужно? Нужен поворот, и надо его начать с создания учебника «Всеобщей истории». В чём же идея?

До сих пор всеобщая история проходит у нас так, как прежде. Ну, даём привесок о Китае и других странах Востока по несколько страниц, и всё. Вся схема осталась прежняя. А надо дать историю так, как она шла на самом деле. В учебниках обычно история Европы дана в центре, но ведь так стало только несколько столетий назад. Европа господствовала, поэтому её считали канвой истории. А надо написать такую историю, чтоб всё расставить по местам. И это будет выглядеть совсем иначе. Тогда Китай займет место как крупнейшая величина в истории древности, средних веков. И не только Китай, но и весь Восток. Ведь Европа тогда была захудалой деревней в сравнении с Танской империей и пр. Так и надо показать, как Китай и другие страны Востока слабели, их подчинила Европа и как теперь они снова поднимаются, чтоб принять участие в «решении судеб всего мира» (Ленин).

Вот что хочется сделать. Здесь и теоретические проблемы, и конкретный материал — всё вместе. Хочется, чтоб школьник в Ставрополе, в Чембарах и на селе знал историю так, как она шла, знал Китай, любил его героев, ненавидел его врагов. Это будет первая книга, которую я напишу, как только кончится война, как только мы все вернёмся к мирным профессиям, своему труду.

Ноябрь 1943 года.

В армии я вновь почувствовал себя молодым. Как в юности, легко и быстро дружишь, охотно слушаешь, споришь, говоришь. Среди профессоров есть много хороших людей, тонких и умных, но вот такого ощущения коллектива не было. Собираясь вместе, мы говорили о работе, лекциях, университете, о книгах и событиях, но это как-то спокойно, без глубокого вникания в ход жизни друг друга. Каждый сам по себе. Я вот в Москве восемь лет работал на электростанции партприкреплённым, стал как бы рабочим, даже значок к пятилетию завода получил. Коллектив в целом заменял мне часто отдельных людей, отдельных друзей.

Здесь коллектив возникает естественно: мы вместе живём, работаем, отдыхаем, обедаем. Всё вместе. По вечерам спорим, читаем стихи, поём песни. Какие чудесные песни появились у нас! Как-то очень в тон, очень под настроение. Лирические, мягкие, в них и верность, и ожидание, и тоска, и уверенность. Как-то само собой исчез романс, нет в нём потребности. И массовые песни поются со сцены каким-нибудь актёром так, словно они и созданы для одного голоса.

Будущий историк Отечественной войны не сможет не сказать о песнях и поэтах, их написавших. Такое созвучие со временем, с настроением народным, такая глубокая лирическая сила в них звучит, что не знаешь, где народ-автор и где поэт-автор. Поистине народные песни! Вот мы и поём. Поём, и ожидаем. Поём, и верим, и мечтаем. Сегодня вот заспорили о том, как надо петь: «Мне в холодной землянке тепло от твоей» или «моей негасимой любви». Я так думаю, что надо петь *моей*. В этом сила. Если сам не любишь, то и не согреешься. Это только так, видимость огня, холодный огонь — глазом виден, а тепла нет.

Поспорили я опять попели, а ночью работать.

Буду кончать свою работу. Сам удивляюсь, как я мог сделать такую огромную работу в такой короткий срок. Получается книга страниц в 500. О качестве, конечно, судить трудно, пока ещё никто не читал. Как бы там ни было, но я попытался проанализировать весь огромный опыт пропагандистской работы в армии. Попытался разобрать досконально, по косточкам, со всех точек зрения, включая содержание, форму, тон, архитектуру и прочее.

Такие бы, казалось, простые вещи — листовки, лозунги, а сколько тут надо продумать, прежде чем их создать. Здесь должна быть словесная теплота и глубина, ничего лишнего. Тут первая фраза должна повести за собой, звать, требовать дальнейшего чтения. В связи с этим много пришлось думать над лексикой. Интересные сдвиги происходят в языке. Мы как-то говорили здесь, что надо заменить немецкое слово «штаб» нашей «ставкой». И это не от «славянофильства». Это интересно в плане историко-философском, а не лингвистическом, как часть вопроса о патриотизме, о национальном. Думал в связи с этой работой и непосредственно над лингвистическими проблемами. Ведь в листовке, например, каждое слово должно стрелять. Тут надо много думать над тоном, над точностью словаря, над тем, как сделать текст лаконичным. Язык военных документов — это особый язык. Здесь даже стилисту есть чему поучиться — лаконичность, чёткость формулировок. Я тут для себя составил маленький рассказ в четырёх вариантах: как одно и то же содержание можно передать по-разному и как в зависимости от словаря совершенно разное содержание получается. Были в этом рассказе, например, такие фразы: «Александр умер», «Саша помер», «Санька скапнулся», «Александр Иванович скончался». Проблема взаимоотношения формы и содержания, значение словаря при составлении ли-

стоек и подобного рода документов встают во весь рост. Работаю над этим много и жадно, кажется, что уже всё высосал, больше ничего не скажешь.

А мечтается о том, чтоб эта книга пошла по фронтам, а не только б у нас использовалась. Если так получится, то и я, значит, свой вклад в войну внесу.

Ноябрь 1943 года.

Сегодня спорили о воспитании детей. Тут вот один товарищ говорил, что детей надо подхваливать, что поощрение помогает. Быть может, но в меру. В общении всегда предпочитаешь людей скромных, пусть недооценивающих себя, но не переоценивающих. Я иной раз завидую некоторым товарищам. Взойдёт на кафедру, или в гостях, на собрании выступает, с собственным достоинством, гордо подняв голову, поучает так, что все себя дураками чувствуют. А в массе не любят таких людей и не могут любить, это понятно. Ну, бог с ними, пусть живут. Но я вот, если приходится, с удовольствием бью таких.

Правда, когда приглядываешься, то видишь — у многих это от внутренней слабости. Часто этим покрывают пробелы или пятна биографического или психологического порядка. К примеру, знал я одного — сын попа, долго не мог вступить в комсомол. Наконец, приняли. Так он потом самый «бдительный» товарищ был и всегда выступал против приёма таких же, как и он сам. Иной раз это самоудовлетворение — маска или полумаска, срощающаяся маска. Тут дело другое. Здесь разобратся надо. Большевики люди скромные, и это качество надо всячески воспитывать.

Ноябрь 1943 года.

Последнее время всё какие-то «психологические», как говорит один товарищ, моральные проблемы в ход пошли. Цена слова — вот проблема. Я за полноценное слово, и не люблю людей, которые обращаются с ним, как со стёртым пятном, легко произносят, легко выбрасывают, легко расстаются с ним.

Иной раз завидуешь людям, которые легко и свободно говорят о себе: «мы, большевики», «мы, учёные». Я не могу так сказать, не получается, и говорю: «член партии», «научный работник». А то большое, к чему стремишься, что для тебя смысл в счастье жизни, произносишь вполголоса, без такого свободного «мы». «Большевик», «учёный», «счастье», «любовь» — чудесные слова. Их надо произносить бережно, осторожно, не криком, а душевной собранностью.

Ноябрь 1943 года.

Вчера был на концерте Вертинского. Странное зрелище, словно в музее. Грустно, а иной раз жутко. Это совершенно из другого мира. И весь его облик, манера, стиль, голос, лицо — всё это производит тяжёлое впечатление. Но играет он хорошо. Он безусловно мастер, тут не только пение, а игра, мимика, жесты, особенно руки у него хороши, как у известного китайского артиста Мэй Лан-фана. Тут нельзя сравнивать. Искусство Вертинского — вненациональное, это не русское искусство, оно всё из кусочков — что-то французское, итальянское, и, главное, всё это чужое, далёкое.

Мэй Лан-фан воспринял некоторые черты европейского театра (бутафория, рампа, световые эффекты), но он весь в Китае и из Китая. Его любимый образ — это чистая китайская девушка, немного сентиментальная, трогательная в своей простоте и наивности, в своей верности родителям, преданности родине. Исключительно тонкая психологическая трактовка образа, изящество жестов, походки, мелодичность голоса, грация — всё это создало Мэй Лан-фану заслуженную славу непревзойдённого исполнителя женских ролей. Созданные им образы настолько пленительны, что китайские женщины и девушки в жизни стараются подражать Мэй Лан-фану, стремятся быть похожими на него.

Странные иногда бывают ассоциации. Так чужое искусство Вертинского наполнило о богатстве китайского искусства, о прекрасном китайском актёре Мэй Лан-фане.

22 декабря 1943 года.

Сегодня два с половиной года войны! Сколько пережито, сколько горя, слёз, крови, страданий!

Вспоминаем прошлое, но больше думаем о будущем...

Ведь солдату нужно прошлое как мостик к будущему. В этом сила «Жди меня». Это прошлое, может быть, вовсе и не такое замечательное, как оно кажется сегодня, но плохое забывается, его не хочется держать в памяти, ибо прошлое переключается с будущим, смешивается с ним, оно входит частью в будущее.

«Жизнь до войны была прекрасна», — думаем мы. Может быть, это было и не во всём так — у каждого бывали огорчения, трудности, но думать так хочется. Пусть будет так. Каждый понимает: если было хорошо, то будет ведь ещё лучше.

Сегодня вот получил письмо от мамы. Ей сейчас 62 года, но духом она совсем молода. Какие письма она мне писала осенью—зимой 1941 года, в самое тяжёлое для Москвы время, полные сил, уверенности. И я чувствовал, что если б она столкнулась с врагами, то наплевала бы им в лицо и пошла бы на смерть гордо. Она могла бы многое сделать в жизни — способный, интересный человек, но всё отдала нам, детям, жила и живёт для нас. Вот сейчас у неё большое горе, умер единственный брат, а он был ей, как старший сын. Но она не делится горем, делится радостью. Не упала духом, написала вот замечательное письмо. Столько любви, нежности, понимания. А ведь это обыкновенный русский человек. Сколько таких у нас крепких, мужественных людей. Два с половиной года сражается народ, и, как у Антея, только силы больше.

Январь 1944 года.

У нас была явная недооценка национального вопроса в широком плане, национальных особенностей народов, государств. Это и в истории, и в философии, и в литературе. Всюду видели только классы и классовое, социальное, игнорируя национальное.

Ведь если почитать учебники по истории, то все страны на один лад, всюду крестьянские войны, капитализм и пр., и чем Германия, скажем, отличается от Франции, что характерно для немецкого или французского народа, упускали. У нас ведь нет ни одной книги, статьи о русском, как о национальном, о русской философии, русской литературе во всех её особенностях.

А ведь эти национальные особенности есть, существуют, их нельзя и незачем игнорировать.

Январь 1944 года.

Политические течения имеют свой моральный облик. Речь идёт не о взглядах, мировоззрении, а о психологии, чертах характера. Здесь есть один юноша. Он аскет, спит на досках, отказывается от элементарных жизненных удобств, и ему кажется, что в этом и сказывается подлинный большевистский характер. Ан нет. Это всё от индивидуализма, крайнего индивидуализма. Тут что-то показное: «Вот-де, мол, я какой, вы все на матрацах спите, а я на досках». Большевики проще, земнее, твёрже, суровее. Рабочие шли в революцию не для того, чтобы жертвовать своей жизнью, а чтоб улучшить её. Иной раз, может быть, легче жизнь отдать, чем вести будничную, незаметную и иной раз совсем неинтересную работу, как винтик большого механизма, подчиняя свою волю дисциплине.

15 марта 1944 года.

Сейчас получил от папы новую порцию книжек. Сборники стихов. «Мой Симонов» весь истерзан, хотя из рук его не выпускаю. Я больше всего люблю «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины» и «Майор привёз мальчишку на лафете». Выучил, читаю товарищам и, кажется, не плохо. Чувственные стихи в этом сборнике

мне меньше по душе. Я за стыдливую, собранную любовь со вздохом и вполголоса. Недавно был препотешный случай. Пришёл в парикмахерскую, а в руках была «Лирика». Девушка, которая меня полстригала, увидела и попросила списать ей стихотворение «Жди меня», и «профессор» сел списывать, а потом ещё написал песню А. Суркова «Мне в холодной землянке тепло». Мы чудно поговорили, поняли друг друга. Среди книжек — новый сборник стихов Алигер. Некоторые стихи порадовали меня. Я не любил до войны М. Алигер. Мне иногда казалось, что она придумывает страдание, как придумывает счастье, что здесь много юношеской неясности и падуманности, всё вперемешку, вразброд, нет кристаллизации, стойкости чувств. Больше того, мне казалось иногда, что она захлёбывается в собственной искренности. Обо всём хочется поведать, рассказать, а опыта мало, отбора нет. Вот бывает иногда — идёт человек не по большой дороге, а тропинками, дорожками и думает, что сумма дорожек и есть большая дорога. А из нескольких дорожек одна дорога всё равно не получается. В общем, нет основного — душевного отбора, большое смешивается с маленьким. А сейчас стихотворение «Музыка» очень понравилось, и грустно стало, и порадовался за человека, за силу его, за жадную веру в жизнь. Я вот не уверен, смог ли бы так сказать:

И верить позволь немудрёною всрой,
Что всё-таки быть ещё счастьем и жить,
Как ты научил меня, полною мерой
Ссзя не умея беречь и делить.

А она вот смогла. Мужественные стихи. Они, верно, поворотные для творчества М. Алигер. Отсеется лишнее, мелкое, незначительное, кристаллизуются чувства.

С какой-то нежностью я часто повторяю строчки стихотворения Н. Рыленкова: «Я рвусь к тебе, но я вернусь не раньше, чем будет враг земли моей разбит». Мудрые и верные строчки. Раньше — пельзя, недостойно.

4 июня 1944 года.

В моей архиерейской келье стоит три букета богульника. Чудные цветы. В любое время, в самый лютый мороз можно нарвать сухие, промёрзшие ветки, занести в тепло, в воду, и они расцветают чудесным розовато-лиловатым цветом, вырастают новые бледнозелёные листики. Помню, как в холодной военной Москве я зашёл в Институт истории Академии наук и встретил нескольких профессоров. Все расспрашивали об армии, трогали мою шапку. Бахрушин изучал мой китель, как исторический памятник, а М. Нечкина меня спросила: «Говорят, на Востоке очень красивые цветы». Какой-то особой, женской теплотой повеяло от этого вопроса. Ну кто б, действительно, из мужчин догадался у майора, приехавшего с Дальнего Востока, спросить о тамошних цветах. Богульник действительно чудесный цветок.

Так вот стоят они у меня в комнате и радуют. И хотя у входа в дом стоит часовой и товарищ майор занят серьёзным делом, но поглядишь на богульник — и всякая чертовщина в голозу лезет. Весна, цветы... А я ещё задумал закончить здесь докторскую диссертацию!

...Эти дни диссертация не пишется, занят организационными делами, лекциями. Диссертацию едят мыши, едят быстро и хорошо. Вместе с пайковой крупой, которая у меня лежит (была бы чудная гречневая каша), вместе с сахаром (был бы чудный-чудный чай) мыши с аппетитом едят папки с материалами. Ну ничего, пока они обгладывают краешки бумаг и папок, но до содержания ещё не дошли, а я их думаю всё же опередить, добраться до существа вопроса раньше, чем они. А пока богульник и весна мешают. Придётся оставить цветы. Впрочем, товарищ часовой, на дворе ведь и вправду весна.

6 июня 1944 года.

Занят организационной работой, мало пишу, и такое ощущение, словно живёшь только сегодняшним днём. Это странное, непривычное ощущение. Я привык жить на завтра, на долго вперёд. Есть люди-«лакомки», им всё подавай сегодня, сейчас же, им жалко каждого часа без новых впечатлений и встреч. Они приятно катятся по жизни, как шар, и радуют всех, восхищённые и восхищающие. Я им зазидую, но так не могу. Я живу завтрашним днём, мне всё ещё кажется, что я ещё не начинал жить, что всё ещё впереди, я готовлюсь жить. Кто же из нас прав? Конечно, нет абсолютной правоты. Для меня каждый сегодняшний день—это часть какого-то большого или малого пути, и тогда он насыщен, тогда каждый шаг приближает тебя к цели, хочется поскорей её достигнуть, убыстрить шаг, укоротить время пути. Тогда жалко потраченного даром дня, всё концентрируется на одном. Идёшь в театр, словно сам себя обворовываешь. А когда работаешь только на сегодня, то бессмысленно проходит время... Вот, скажем, когда едешь на поезде от Москвы до Крыма, то уже первый час пути (как часть целого) насыщен: ты и полку раскроешь, и поешь, и полежишь, и книгу считаешь. А если тот же час по той же дороге ты едешь на дачу, то даже не сядешь, час пройдёт бессмысленно, тебе и в голову не придёт раскрыть большой чемодан, поесть. Этот час имеет смысл лишь как часть целого, как кусочек большого пути, а иначе он проходит впустую, пропадает. Вот так и в жизни. Я сейчас на распутье, приступаю к большому плану. Хочу написать книгу о соседях, Маньчжоу-Го. Её же буду защищать как докторскую диссертацию. У нас иной раз диссертации пишут специально. Не как полезную книгу, исследование, которое нужно народу, стране, а как «диссертацию» именно, то есть учёный труд с бездной сносок и ссылок, который издать-то потом невозможно, он никому не нужен. И люди не виноваты, их к этой наукообразности приучают. Подобного рода диссертации не интересны обычно. Хотелось бы написать книгу для народа, о соседях, о стране. Тогда изо всех сил захочется «раскрывать» чемодан, работать по ночам, запойно, как умею.

Если б мои будущие оппоненты знали, в каких условиях мне приходится диссертацию писать, они б, наверное, две степени мне сразу присвоили. Весь день занят организационной работой и лекциями. Работаю по ночам и ранним утром. Вчера вот, в воскресенье, да в субботний вечер по-настоящему поработал, а сегодня с утра только сел — началась суматоха, так и застрял на первой странице.

Темой увлёкся здорово, пишу с большим интересом. Может быть, это и лучше, что так занят. Когда с преодолением препятствий, то ещё с большим аппетитом работается.

А странное это чувство: лежит на столе работа, страшно хочется делать, и нет возможности, некогда. И такое ощущение, будто ты голодный, и когда имеешь возможность сесть за книгу, то набрасываешься с жадностью, будто голод удовлетворишь. Так хочется писать, что жаль каждой потерянной минуты. Сразу хочется делать и ту и эту главу, смотришь на них, одна другой интересней, и жаль, что нельзя делать всё сразу. А мыслей много, всё думаю, передумываю, ночью сплю мало, поздно ложусь, а встаю в 6—7, иногда ещё в темноте.

Тема моей диссертации «Маньчжоу-Го — колония «нового порядка». Это прообраз того, что сейчас создаётся в Индонезии, Бирме, Филиппинах и пр. Интересно со многих точек зрения. Ряд теоретических проблем возникает о колониях вообще, о закономерностях развития, о так называемом «новом порядке», его сущности. Составил план, конечно в ходе работы он десять раз изменится, но в этом и интерес — думать, передумывать, искать какую-то идеальную структуру, идеальное расположение материала и пр.

Вся работа будет состоять из двух частей: 1) колониальная сущность, 2) методы господства. Взглянул вплотную сейчас за 1-й раздел — «идеологическая обработка населения». Здесь много нового, влияние двух последних лет сказывается — японцы использовали опыт фашистов, их демагогические приёмы.

5 июля 1944 года.

Вот уже 9 лет, как издано постановление ЦК о введении в школьный курс истории колониальных и зависимых стран. И до сих пор этой истории нет. Был написан проект, но он так и лежит в Наркомпросе без движения. Мы, трое авторов, вступили в армию, один уже погиб. Послал письмо в Наркомпрос, надо добиться издания учебника, введения его в школьную программу. Новое отношение к странам Востока надо воспитывать со школьной скамьи, надо поломать бытующее представление об историческом процессе у школьников. Это необходимо. Война жизнь не остановила во всех областях, и в науке, конечно.

1 августа 1944 года.

Первое августа для меня день второго рождения. В этот день я был принят в партию, в этот день я вступил в армию. Это больше, чем именины, это — праздник.

4 августа 1944 года.

Военное учение в лагерях закончилось. Пробыл почти месяц, очень доволен, хотя и устал, осунулся (сейчас выгляжу так, будто, по выражению одного товарища, меня только что с креста сняли), но зато стал настоящим майором, выдержал испытание на командира батальона по тактике и оружию на отлично.

Чувствовал себя там отлично. Всё-таки я очень люблю людей, коллектив, прекрасно чувствую себя на людях, бодро, весело. Вёл себя по-мальчишески, играл в волейбол, пел песню «Ты ждёшь, Лизавета», запевал хоровые песни, как в вузовские времена. Вдруг почувствовал физическую силу. Когда сидишь с утра до ночи за книгами, теряется ощущение силы, кажется, что дрова рубить — дело трудное и почти невозможное. А теперь вот почувствовал свою силу. Много купались. Как хорошего пловца, меня даже назначили дежурным по реке на случай, если кто будет тонуть и пр. А река там быстрая, горная и довольно широкая. И один товарищ действительно стал тонуть, занесло его течением на середину реки и выплыть не может. Пришлось плыть спасать, и спас!

8 августа 1944 года.

Я работаю, со всеми вытекающими отсюда последствиями—в смысле настроения и прочего. Всё-таки правильно Горький сказал, что человек счастлив, когда труд — удовольствие.

Вот мне мой труд — огромное удовольствие. Я сейчас в запое, сплю по 2 часа ночью, 2 часа днём. Весь день сижу дома и пишу или читаю гранки, так не хочется идти даже в столовую, отрываться от дела. Да и ляжешь — не спишься, весь наполнен мыслями. То и дело вскакиваешь и пишешь. Какой уж тут сон! Хочется написать книгу так, чтоб её читали в армии, чтоб каждый солдат знал страну, с которой граничим. Наука должна быть народной. О Маньчжурии мало написано. Приходится поднимать целину, создавать всё заново. Придать этому так называемую научность очень легко. А мне хочется, чтоб книжка была живой, увлекательной. Материала масса. План составил такой, что книжка получится страниц на 800—1000 (25 брошюр).

И нередко думается так. Я не был под Москвой, не дрался под Сталинградом. Я не виновен в этом. Но мне, как гражданину, хочется ведь что-то оставить в армии и именно для армии. И кажется, что эта книга будет книгой для солдата. У нас не знают Маньчжурию, о ней очень мало написано, вот и хочется положить на стол новый труд.

Иной раз чувствую себя, как лунатик. Он во сне может и по канату пройти, и по карнизу, а проснётся, поглядит — и его охватывает ужас. Он, конечно, больше не может идти, если вообще не свалится. Так и я сейчас. Недели за 3 написал 300 страниц, работаю запоем, по 20 часов в сутки, и всё боюсь проснуться и свалиться.

Сейчас начисал «окошко» о культуре императора и разрешил себе погнаться. Так что это письмо — просто вздох.

10 августа 1944 года.

Сейчас утро, по радио играет музыка. Наши продвигаются стремительными темпами! Просто праздничное настроение. Сегодня, как и все последние дни, нетерпимо ждал «последних известий», и чудная мысль промелькнула. Я жду не только, как гражданин, известий о победах Родины, но как будто сейчас вот скажут что-то замечательно приятное лично для меня, что-то сугубо личное. Я думаю, это законно, это и есть Отечественная война. Наверное, все так чувствуют. Это действительно и народное, и личное дело каждого.

Каждую ночь салюты, засыпаю с радостным чувством, что проснусь от привета Москвы. Дорогие мои москвичи! У вас вечер, огни, салюты. У нас радио, ночь, тишина. Но мы знаем, что такое предпраздник. Это лежать и ждать, потом проснуться, увидеть Москву в огнях и вас там всех. Где вы там? Шагаете по Чистым Прудам, моим Прудам. И всё в огнях, всё в радости.

Я не завидую, я радуюсь вместе с вами!

22 сентября 1944 года.

«И записываю только вздох» — так, кажется, у Стендаля. Сегодня вот отправил письмо в Москву. И опять, как всегда, испытывал крайнее неудовлетворение. Нет, видимо словами нельзя выразить чувство. Язык беден для этого. Слова — инструмент разума, сознаний, а чувства должны иметь свои формы проявления: улыбка, жесты, звуки, песня.

Вздохнёшь — и всё понятно. Какими же словами можно вздох передать?

Нет, ничего другого не скажешь: «И записываю только вздох».

29 сентября 1944 года.

У японцев есть такая пытка, называется она «100 смертей». Человека выводят на казнь, ставят к стенке, завязывают глаза, дают команду «пли», стреляют холостыми патронами. Человек остаётся жив, но он уже испытал ощущение смерти. Он снова в одиночке. Сидит, встаёт с койки — и в эту минуту на койку валится, проламывая потолок, огромный камень. Если бы он встал на секунду позже, он был бы мёртв — но смерть миновала, он снова жив, и снова ощущение смерти. Затем человека душат, медленно затягивая горло шнуром. Он теряет сознание, но ему дают прийти в себя.

Так вот у меня сейчас какое-то наваждение — пытка «100 встреч с Москвой». Я очень люблю Москву, я просто по улицам её скучаю, по домам, по шуму московскому. А тут вот-вот ехать, десятки возможностей: то вызывает ПУРККА, то для разговора о книге, которую я написал и которую здесь издали, то на практику на фронт и т. д. Масса вариантов. Ты уже подготовился, полон мечты, и — трах, мечта рушится, возникает новый вариант. Но не всякий вариант годится. На днях вот получил открытку от товарища, он сейчас декан восточного отделения. Пишет, что я нужен, что издадут трёхтомную историю Востока, и он сделает всё возможное, чтоб отозвать меня. Ну, я споряча написал, что согласен. А теперь думаю, что ошибся, поддался чувствам. Нельзя получать счастье даром, нельзя получать его легко. Его надо завоевывать — если не в бою, то в обуздании себя, своих желаний, своей тоски. Вялое, равнодушное сердце можно сдерживать и слабой волей, лёгким обручем. Мне нужен крепкий обруч, большая воля. Мы не зря здесь сидим, и негоже из армии уходить. Даже если и отзовут, я не поеду. Надо самому участвовать в ликвидации «нового порядка» в Маньчжурии, того «порядка», о котором пишу. Трёхтомная история подождёт. Историк должен делать историю, а потом её писать. Нет, этот вариант отпадает. Вернусь, когда я не буду нужен здесь, в армии, вернусь с лёгким сердцем и честными глазами, когда будет ясно, что в Москве я нужнее, действительно нужнее. А пока никаких вариантов. Я не хочу лишать себя радости возвращения законного и заслуженного.

25 октября 1944 года. 3 ч. ночи.

Москва салютует войскам, завершившим освобождение Трансильвании! «Мы слушаем по радио Москву». Хорошее это стихотворение. Как здорово оно звучало тогда, в самые тяжёлые месяцы осени — зимы 1941 года. «Мы верим, что среди друзей московских ещё пройдем по площадям твоим».

Пройдем, конечно. Для меня ещё и сейчас звучат эти строчки, но какая разница в общей обстановке! Завершено освобождение Трансильвании! Вступили в Восточную Пруссию! Наши войска уже в 7 европейских странах! Чёрт знает, как всё это здорово. Чувствуешь себя очень гордо. Иногда обидно, конечно, что ты не на фронте, не в Действующей армии. Немцы у Москвы, немцы у Сталинграда, а мы в Чите, наши войска вошли в пол-Европы, а мы попрежнему, в Чите.

И мы, конечно, дождемся живого дела, войдем туда, куда собирался ехать в научную командировку, в страну, о которой писал и мечтал. Это здорово. Какое-то особое, приподнятое настроение, как в угаре...

А сейчас вот опять будет важное сообщение. Что-нибудь в Восточной Пруссии? Приятно слышать московские позывные и думать, загадывать, ждать сообщения. Норвегия! Вот что делается! Это уже 8-я страна!

11 ноября 1944 года.

Получил поздравление от Института истории Академии наук. Очень приятно всё-таки, что не забывают и пишут. Заканчивают так, что, мол, победа близка и «с терпением ждем этого часа, когда вы снова вернетесь в наш коллектив». Здорово. Приятно и неловко, вроде награду получил, а ещё и не за что.

1 декабря 1944 года.

Ноябрьское полнолуние! Здесь удивительно светлые ночи, можно почти читать, и на меня ужасно действует луна. Я, наверное, лунатик, куда-то вот тянет, особенное какое-то настроение.

Хочется делать сразу и то и другое, всё кажется интересным, глаза разбегаются. Даже языком всерьёз занялся, впервые стал готовить уроки. Вчера всю ночь просидел и приготовил большой доклад на китайском языке о современном положении в Китае.

Целый час говорил, даже сам удивился. И вообще появилось желание всерьёз заняться языком, написать учебник по китайскому языку и прочее. Но это, конечно, блажь; просто когда чем-нибудь займешься, хочется этим всерьёз заниматься. Но нельзя разбрасываться.

5 марта 1945 года.

Книжка о Маньчжурии разрослась. Вышло 4 тома, 73 печатных листа, издали их здесь хорошо и быстро и разослали по частям. Было жалко расставаться с работой, свыкся с ней, и сейчас такое впечатление, словно что-то живое оторвали. Недавно мне рассказывал один товарищ, как эти книжки в армии читаются. Распределением брошюр занимался генерал. Это целая бухгалтерия, а в итоге, несмотря на большой тираж, даже не всем частям хватило. В одной дальней дивизии, за сотни километров от железной дороги, где кругом ни жилья, ни культуры, получили один экземпляр. Говорят, что читают с интересом. Многие воспринимают просто как интересное чтение («Комиссия Литтона» и пр.), рассказывают друг другу, вдумываются в формулировки. Это особенно приятно, очень радует. Словом, читают не как китаеведы в Москве. В Москве, когда пишешь, знаешь, что это нужно студентам, учащимся. Но это другое дело. Их дело учиться, святая обязанность. А вот писать для людей, которые не обязаны читать, и знать, что они читают, интересуются, друг у друга берут, это огромное счастье. Такая наука — жизненная, влечёт, радует. Всё-таки все эти гуманитарные институты Академии наук не нашли ещё своего поля деятельности, оторваны от жизни, варятся в собственном соку. Трудно теперь мне там будет, это уж я знаю.

12 марта 1945 года.

Сегодня 20 лет со дня смерти Сун Ят-сена. Выступил с докладом. У меня написана книжка о Сун Ят-сене, его биография. Там жизнь его на фоне истории последних 40—50 лет и характеристика его как человека и руководителя. Я писал её немного, как писатель, иначе, чем «Тайпины», они проще написаны. Особенно интересен последний период жизни Сун Ят-сена, его любовь к России, к вождям русской революции.

Мечтатель и утопист, он с каждым годом всё ближе подходил к пониманию необходимости массовой борьбы, опоры на массы.

Бесчисленные поражения великого революционера заставили его многое передумать и пересмотреть.

В чём были причины его постоянных неудач и поражений? 40 лет он неустанно боролся за благо своей родины. Он организовал десятки восстаний, он работал революционное учение, он дважды избирался президентом республики, он командовал армиями и вёл их в бой, и всё же он был далёк от цели, как в первые дни своей революционной борьбы.

Только потом Сун Ят-сен стал понимать, что только опора на широкие народные массы может привести к победе революции. Сун Ят-сен всё ближе присматривался к победам Советской России.

Сун Ят-сен считал себя учеником Ленина. На траурном митинге, посвящённом памяти Ленина, Сун Ят-сен произнёс прекрасную речь, проникнутую сознанием величия Ленина, полную любви к вождю человечества и горечи об его преждевременной утрате. «За многие века мировой истории,— говорил Сун Ят-сен,— появлялись тысячи вождей и учёных с красивыми словами на устах, которые никогда не проводились в жизнь. Ты, Ленин, исключение. Ты не только говорил и учил, но претворил свои слова в действительность. Ты создал новую страну. Ты указал нам путь для совместной борьбы. Ты встречал на своём пути тысячи препятствий, которые встречаются и на моём пути. Я хочу идти твоим путём, и хотя мои враги против этого, но мой народ будет меня приветствовать за это. Ты умер, небо не продлило твоей жизни, но в памяти угнетённых народов ты будешь жить веками, великий человек...»

За несколько часов до смерти Сун Ят-сен вызвал к себе своих учеников и соратников. Он велел составить и тут же подписал своё политическое завещание и знаменитое предсмертное обращение к ЦИК СССР. Он завещал своей партии продолжать борьбу за завершение национальной революции, крепить дружбу с Советским Союзом и с китайскими коммунистами. Он просил ЦИК СССР не оставлять без помощи его несчастную родину.

«Дорогие товарищи,— писал Сун Ят-сен в своём обращении к ЦИК СССР.— В то время, как я лежу здесь в недуге, против которого бессильны люди, моя мысль обращена к вам и к судьбам моей партии и моей страны.

Вы возглавляете союз свободных республик — то осязательное наследие, которое оставил угнетённым народам мира бессмертный Ленин. С помощью этого наследия жертвы империализма неизбежно добьются воли и освобождения от того международного строя, основы которого издревле коренятся в рабовладельчестве, войнах и несправедливостях.

...Я твёрдо верю в неизменность поддержки, которую вы до сих пор оказывали моей стране.

Прощаясь с вами, дорогие товарищи, я хочу выразить надежду, что скоро настанет день, когда СССР будет приветствовать в могучем свободном Китае друга и союзника, и что в великой борьбе за освобождение угнетённых народов мира оба союзника пойдут к победе рука об руку».

Это было завещание Сун Ят-сена, оставленное им китайскому народу. Он оставил после себя своё учение, начатое им дело национального освобождения Китая. Другого он ничего не оставил. Человек, дважды бывший пре-

зидентом буржуазной республики, умирал, как честный труженик, не оставив своим близким ни капитала, ни ценностей. Ему были чужды богатства, он всю жизнь презирал роскошь и считал для себя позорным иметь что-либо лишнее сверх того, что было необходимо в его скромном быту.

Перед смертью Сун Ят-сен призвал членов своей семьи и, прощаясь с ними, сказал: «Я ничего не оставляю лично мне принадлежащего. Если бы после меня остался бы хоть один цент, я бы считал себя только негодяем, для которого революция — одна забава. Я оставляю после себя своё дело, которое является общей собственностью революции».

Последняя мысль Сун Ят-сена была обращена к великому Ленину. Уже умирая, еле слышным голосом он прошептал: «Я хочу быть похороненным так же, как похоронен Ленин, чтобы всегда быть рядом с массами...»

9 мая 1945 года.

Весенний солнечный день Победы! И встретил я его замечательно. Сначала показалось обидным, что в чужом месте, не только что не в Москве, но даже и не в Чите, но потом всё оказалось превосходно.

Я ещё спал, в 7 часов вошли и сообщили: победа, подписали акт о капитуляции. Я вскочил, охватило такое волнение, что не мог с собой совладать. Ведь я ждал этого, а всё же когда сказали, стало так радостно, что я расплакался. Слышал, что плачут от радости, но самому никогда не приходилось. И вот сижу и плачу. Входят люди, смущаясь, извиняются, а я не могу удержаться. Словом, совершенно необычное впечатление. Конец всем горестям. Вспомнил все беды, всех, кто погиб. Чёрт знает, какие чувства нахлынули. Зато дальше всё пошло хорошо.

Праздник Победы застал меня в большой воинской части под Иркутском. В 9 часов утра провели митинг. Затем был парад, перед трибуной проходили бойцы и офицеры, орденосносцы, Герои Советского Союза, оркестр играл гимн и марши. Я чувствовал себя ужасно радостно и гордо, особенно остро именно здесь, в день Победы, почувствовав, что я в Красной Армии, что я майор, что в какой-то мере это и моя победа. Об этом я говорил и на митинге — о гордости за свою принадлежность к Красной Армии. И это каждый из нас чувствовал, было тепло и радостно, среди чужих и вместе с тем очень близких людей. Разве в Москве, будучи профессором МГУ, я смог бы так встретить день Победы?

Вот и дождались, вот и победили!

Пусть я не был на фронте, не стрелял, но я был в армии, я ушёл добровольцем в первые дни войны и пробыл на своём посту до конца. Вот почему вдвойне радостно было сегодня здесь, в воинской части, среди бойцов и офицеров. И я не жалел сегодня, что я не в Москве, среди любимых и близких. Пожалуй, сегодняшнюю близость с армией ни с чем не сравнишь.

Июнь 1945 года.

Вчера делал доклад в Большом зале ДКА. Немного волновался. Как странно: чуть ли не каждый день лекции читаешь, и уже больше пятнадцати лет подряд, а всегда на большой аудитории беспокоишься. Ведь собирается целый зал солидных людей. Люди с работы шли, устали. А вдруг не оправдаются их ожидания? Вдруг всё окажется известным? И давно знаешь материал, и опыт есть, а начинаешь всегда с такого чувства неловкости.

Это двадцатая лекция со дня моего приезда из Москвы. Начинаю уже уставать. Последнее время пошло так густо, что даже не по одной, а по две лекции в день читаю, и то многим отказываю. Интерес к моей тематике сейчас огромный. За это время подготовил новый доклад о современном положении на Дальнем Востоке, включая последние известия о том, как реагируют в Японии на разгром Германии и пр. Но этого мало. Хочется писать. Написать серию книжек о Китае. Опять «в запас». Хочется быстрее. Вот и план, собственно:

1. Оккупированный Китай.
 2. Военные действия в Китае в 1944, нач. 1945 гг.
 3. Политическое положение в неоккупированном Китае.
 4. Экономическое » » » »
 5. Армия Чан Кай-ши.
 6. 8 и 4 НРА.
 7. Демократические районы Китая.
 8. Китай и союзники.
- Приступим. Материал уже собран.

Июль 1945 года.

В общем, прошедшие четыре года оказались репетицией, только «введением», а главное начнётся только сейчас.

Прощай, Чита, прощай четырёхлетнее читинское сиденье! Я ведь знал, что надо будет принять участие в ликвидации «нового порядка». С Читой расстаёмся весело. Спели на прощанье «Прощай, любимый город», но если так подумать, то мне на Читку жаловаться грешно. Работал много, всё, что писал, издавалось. Лежит на столе большая пачка книжек, за 4 года здесь сделанных, ими пользуются, их читают.

«Мне с тобой дружно»,—говорила мне раньше моя маленькая дочка. Вот и мне в армии было дружно, было хорошо, был коллектив, любимая работа, нужное дело. Было счастье. А сейчас и вовсе начинается интересный период.

Пришлось вот мне лететь в открытом одноместном самолёте и попасть в грозу. Очень сильное ощущение. Сидишь в кабине по пояс на воздухе, как в маленькой лодочке. И вот летели, летели, а здесь расстояние большое—и попали в грозу. Гром, молния, ветер, дождь. Самолёт кидало из стороны в сторону, как щепку, кругом всё темно, просвета не видно, и так минут 40 наверное, пока выбрались. Промок, прозяб (в одной рубашке летел), зато здорово, а то я всё на больших самолётах летал, закрытых, по-настоящему и не ощущал, что такое полёт.

Да. В общем, начинается какой-то новый этап жизни. Вот и нам пришло время петь: «Настал черёд, пришла пора». Пришла пора, действительно.

Я увижу страну, о которой вот уже пятнадцать лет читаю лекции, пишу книги, приму участие в освобождении народа, который люблю, талантливый, сильного, угнетённого веками народа.

И что бы со мной ни случилось—война есть война,—я счастлив, что так сложилась жизнь. Начинается новый этап. Шагнём в это новое.



ЗА МИР, ЗА ДЕМОКРАТИЮ!

НАШ ДОЛГ

ПАБЛО НЕРУДА

★

Моя страна, как вы знаете, раскинулась на краю Америки. Горная цепь, море, феодальный уклад отгораживают её от остального мира.

Великие державы, тем не менее, недавно обратили внимание на эту истощённую и израненную землю. Это случилось в июне этого года. Две великие страны в одно и то же время пригласили к себе двух чилийцев. Правительство Соединённых Штатов решило пригласить главнокомандующего чилийской армии. Я не генерал, я просто поэт, и несмотря на это в то же самое время другая великая держава пригласила меня посетить её. Эта страна — Советский Союз. И почти в те же часы, когда чилийский генерал спешил хотя бы издали понюхать, как пахнет атомная бомба, я летел на празднование юбилея поэта, чей талант и миролюбие одинаково глубоки, — классика русской поэзии Александра Пушкина.

Спустя некоторое время генерал возвратился на мою родину. Я же не смог вернуться домой между прочим и потому, что не был уверен, нет ли среди пуль, приобретённых генералом во время путешествия, той, которая предназначена для меня. Известно, что со времени возвращения генерала в Чили, там культивируется дух военщины; известно также, что генерал пишет статьи о геополитике, возможно считая, что он выполняет свой долг. В этих статьях он выражает намерение превратить мою далёкую родину в арсенал войны, которая должна вестись за пределами кон-

Речь, произнесённая известным латиноамериканским прогрессивным деятелем, выдающимся чилийским поэтом Пабло Неруда на заседании американского конгресса борющегося за мир в сентябре 1949 года. Опубликовано в мексиканском журнале «Культура Советика» № 60, 1949 г.

тинента. Мне кажется, что я не ошибусь, если скажу, что этот визит не ограничился разговорами — он принёс кое-кому военные базы. Я вижу также, что из больших северо-американских портов плывут в южные земли пароходы, груженные оружием. И ещё один факт: после этого путешествия, впервые за много лет, чилийские правители пустили в ход, конечно прежде всего против чилийского народа, пули и порох, вероятно в качестве пробы оружия. Сотни трупов и пятьсот раненых залили своей кровью улицы далёкой республики. Как видно, уроки, которые вместе с другими военными получил генерал, приглашённый из Чили, не пропали даром. Президент моей страны стал простым домоправителем, которого содержат на проценты с капиталов американских горнопромышленников, и этот послушный домоправитель не особенно заботится о здоровье чилийских детей.

Если бы я вернулся в мою страну, я привёз бы с собой другие рассказы, другой опыт и другую правду. Я привёз бы правду Пушкина, песню и знамя Пушкина, поэта-классика, величайшего поэта своего народа, который в других странах был бы забыт. Но Советский Союз не только не забыл его, но и пронёс, как знамя, по просторам всей земли. Я видел, как поднимались из руин музеи Пушкина, я видел светлое лицо поэта и в старинных царских дворцах, и на железнодорожных станциях, и на крыльях самолётов, и на гигантском восстановленном тракторном заводе тысячекратно героического города Сталинграда. Я видел стихи Пушкина на огромных щитах среди полей. И так же как Советский Союз возрождает свои города и заводы, восстанавливает народное благосостояние, он воскрешает для новой жизни творческий

дух своих гениев и делает их создания достоянием всего народа.

Быть может, эти два приглашения — ключ к пониманию того, что происходит сейчас в мире. С одной стороны, иммиграционные власти приоткрывают долларový занавес для того, чтобы генералы Латинской Америки могли увидеть вблизи (но всё же не слишком близко) средство массового истребления, которое эта великая держава демонстрирует с удивительной гордостью. С другой стороны, тот, кто проникает за занавес клеветы, которым хотят окружить новый мир, видит величественную победу духа и преклонение всего народа перед великими проявлениями человеческой культуры. И мы спрашиваем себя — разве влияние фабрикантов оружия проникает на нашу землю только с помощью нескольких генералов? Конечно, это не так, и, быть может, никогда прежде ход истории не открывался нам с такой предельной ясностью.

Дело в том, что война необходима крупным монополиям для закрепления своего могущества в нашей Латинской Америке перед лицом всё нарастающей борьбы народов за свою экономическую независимость. Эта подготовка войны — пролог к огромной драме, призванной скрыть чудовищную агонию. И самый дух творчества в этом агонизирующем организме обнаруживает тяжкие симптомы смертельной болезни.

Сейчас я хочу впервые сказать вам об одном важном решении, которое принял я лично. Я бы не говорил здесь об этом, если бы это решение не было, как мне кажется, тесно связано с общими проблемами. Недавно, после того как я побывал в Советском Союзе и Польше, я заключил контракт в Будапеште об издании на венгерском языке антологии всех моих поэм. И затем, на одном совещании с переводчиками и издателями, меня попросили, чтобы я сам — страницу за страницей — указал, что должно быть включено в эту книгу.

Я видел тысячи молодых людей, юношей и девушек, которые прибывали в Венгрию из всех точек земного шара, чтобы принять участие в Международном фестивале молодёжи; я видел среди развалин Варшавы лица молодых студентов, которые между занятиями по анатомии поднимали из руин

здание мира; я видел своими глазами огромные строения, воздвигнутые за несколько недель на развалинах Сталинграда двадцатью тысячами молодых добровольцев, приехавших из Москвы; я услышал в этих землях чистую, всеобщую, безмерную радость новой молодёжи мира, подобную трудовому жужжанию пчёл в цветущем кустарнике.

И в тот день, после того как столько лет я не перечитывал своих старых книг, я вновь прочитал их... Я перечитал те самые страницы, в которые вложил столько усилий и стараний, и вдруг увидел, что они больше не годятся, что они устарели, что на них — горькие морщины мёртвой эпохи. Одну за другой я перелистал эти страницы, я ни одна из них не показала мне достойной того, чтобы ожить вновь. Ни в одной из этих страниц не было металла, нужного для восстановления, ни в одной из моих песен не было здоровья и хлеба, в котором нуждается человек.

И я отказался от них. Я не захотел, чтобы страдания прошлого отравили ядом разочарования новые жизни. Я не захотел, чтобы книги, отражавшие тот строй, который сввергнул меня в отчаяние, были вложены в фундамент здания надежды, чтобы старый мир разрушал это здание своим гниением, которым наши враги омрачили мою собственную юность. Я не согласился на издание ни одной из этих поэм в странах новой демократии. И вот теперь, вновь находясь на американской земле, которой я — плоть от плоти, я заявляю вам, что я не хочу, чтобы они вновь издавались и здесь.

В нас, поэтах современности, заложены две противоположные силы, рождающие жизнь. И настало время, когда мы должны выбирать. Дело не только в том, чтобы избрать линию поведения, дело в том, чтобы осознать ответственность, лежащую на каждом из нас.

Гнилью умирающей системы покрылась культура, и многие из нас сами способствовали тому, что воздух, принадлежащий не нам одним, а и всем людям, которые живут и будут жить, был отравлен зловоном.

Многие из наших художников не отдают себе отчёта в том, что слова, кажущиеся им самым глубоким выражением их существа,

в большинстве случаев — яд, вложенный в их уста лютыми врагами.

Агонизирующий капитализм наполняет чашу творчества горьким напитком. Мы пили этот напиток, содержащий все сорта ядов. Книги, порождённые так называемой западной цивилизацией, в своём большинстве содержат частицы умирающего строя. И молодёжь Латинской Америки пьёт теперь опивки той эпохи, которая хотела вырвать с корнем веру в судьбы человечества и обречь его на отчаяние.

Мне кажется: сказав в своей речи во Вроцлаве, что если бы гиены умели пользоваться пером и пишущей машинкой, то они писали бы, как поэт Т. С. Эллиот или писатель Сартр, — Фадеев обидел животный мир.

Я не верю, чтобы животные, обладающие мозгом и способностью выражать свои мысли, могли бы дойти до того, чтобы сделать идею уничтожения и отвратительные пороки религией, как это сделали два так называемых «мастера» западной культуры.

Но их роль понятна. Они — апостолы большой авантюры, активные пособники уничтожения. Им приказано уничтожить людей морально до того, как упадёт атомная бомба, которую монополисты хотят сбросить, чтобы, ради защиты несправедливой экономической системы, уничтожить большую часть человечества. В хаосе умирающего капитализма они призваны открыть пути для отчаяния, заставить разум воспринимать только дурное, болезненное и искажённое в человеческом поведении. Они призваны опорочить жизнь для того, чтобы облегчить уничтожение человека на земле.

Буржуазия активно поддерживает этих героев распада. Мы видели, как за последние годы наши снобы ухватились за Кафку и Рильке, за все те лабиринты безысходности, за все те метафизические теории, которые, как пустые ящики, вываливаются из порзда истории. Они превратились в защитников «духа», в браминов американизма, в людей, чья профессия — мутить воду в луже, в которой сами они барахтаются. Они объявили законом забвение великих гуманистов нашей эпохи. В Латинской Америке эти пигмеи краснеют от стыда, когда слышат о Горьком, Ромэн Роллане, Барбюсе, Эренбурге, Драйзере. Эти господа не могут назвать имени Бальзака. Все эти живые трупы хотят заста-

вить нас поверить в умерший и похороненный сюрреализм, который только тем и хорош, что из его руин поднялись, как светлые статуи разума и веры в человека, два больших поэта Франции, борцы коммунистической партии — Луи Арагон и Поль Элюар.

Кто способствует этому предумышленному отравлению, этому интеллектуальному параличу, поразившему Америку? Только ли «Ридерс Дайджест»?¹ Только ли сознательное молчание Стейнбеков и Хемингуэев? До каких пор кровь мертвецов будет стечь в наших жилах?

За последние годы в Латинской Америке произошли значительные события: искусства, и в частности живопись и литература, достигли известных высот, обратившись к самой жизни и к условиям жизни наших народов. Живопись, прежде всего грандиозная настенная мексиканская живопись, с триумфом выполнила свою миссию историка и носителя правды. Литература, в частности роман, также приблизилась к народу; она, однако, ещё не поднялась выше пессимистического реализма, бичующего воспроизведения нашей нищеты. Только в редких случаях, как, например, в произведении Жоржи Амаду, Хосе Мансидора или Роуло Гальгоса, эта литература, своими корнями глубоко ушедшая в толщу нашего народа, показала ему дорогу к освобождению.

Мы пришли к тому, что стали создавать литературу, целиком погружённую в страдания; написано много рассказов, которые призваны как будто показывать только непреодолимую стену, стоящую на пути народов. И большие писатели, глубоко связанные с нами и уважаемые нами, как Грасиллиано Рамос в Бразилии, как Хорхе Икаса в Эквадоре, как Мигель Анхель Астуриас в Гватемале, как Никомедес Гусман или Рейнальдо Ломбой в Чили и многие другие, настойчиво показывают читателю мрачные джунгли нашей чёрной Америки, не показывая ни света, ни выхода, который всё-таки знают наши народы.

Конечно, хорошо, что в период жестокой борьбы писатели, выросшие на нашей горестной земле, показывают всю темноту ночи, опустившейся на нашу родину. Но мы сейчас живём уже в другую эпоху.

¹ Один из самых реакционных американских журналов.

Мы живём в эпоху, когда миллионы людей освобождаются от феодального гнёта, когда миллионы людей покончили с империалистическим рабством, мы живём в самый удивительный час в истории человечества, в час, когда мечты становятся действительностью, ибо своей борьбой люди сделали мечты реальностью.

Мы живём в эпоху, которая видела, как Красная Армия водрузила на вершине сталинградской крепости, превращённой гитлеровскими убийцами в груды развалин, красное знамя, олицетворяющее все давние надежды человека; мы живём в светлые дни народной демократии; нам выпала честь и радость жить в эпоху, когда поэт выиграл битву за изменение судеб сотен миллионов людей. Этого поэта зовут Мао Цзе-дун.

Мы живём в эпоху, когда поёт Поль Робсон, несмотря на то, что нацистские вандалы хотят уничтожить его песню — песню земли. Мы живём в дни, когда народ Чили — горняки, студенты, рыбаки, поэты собственной кровью смывают бесчестье, запятнавшее их родину по милости предателя. Мы видим, как в штабе торговцев войной, отравленном клеветническим ядом продажной прессы, на священной земле Гватемока, Морелоса, Сапаты и Карденаса (то есть в Мексике. — *Ред.*) собираются тысячи людей во имя того, чтобы защитить мир и сделать его вечным. Именно это и должны отобразить наши мастера.

Я не критик, я не эссеист, я — просто поэт, которому стоит больших усилий произносить речи, а не стихи. Но иногда я вынужден говорить эти речи потому, что другие молчат. И я буду продолжать говорить их, пока предательство или несознательность заставляет молчать большинство тех, кто должен был бы выполнять свой долг. И этот долг состоит в том, чтобы показать всем, до какой степени произведения нашей культуры отравлены наносными вражескими влияниями тех, кто жаждет войны.

Мы ждём на нашем континенте других произведений. Нашим американским землям мы должны дать силу, радость и юность, которых им так нехватает. Мы не будем ждать, чтобы наши сокровища были разграблены разбойниками и чтобы филистеры унесли с собою нашу радость. Мы должны преодолеть безнадежность и подняться на сокрушительную борьбу. Мы должны показать путь народам и сами пойти рядом с ними по этому пути. Мы должны сделать этот путь сверкающе ясным, чтобы завтра по нему могли идти и другие люди.

Наш долг, долг интеллигенции, в том, чтобы преодолеть болезненные течения метафизики и порнографии, которые прокрались на наш континент. Наш славный товарищ, присутствующий здесь Роже Гароди, так определил эти тенденции: «Скептицизм, отчаяние, уход от жизни — это позиция мира, который умирает. Общая черта его — панический страх перед реальностью, и в то же время цель его — оставить всё без изменения».

В другие времена подражание Европе привело местных романтиков к тому, что они стали воспевать соловьёв, которых не знает наша страна, писать о жарком мае, как о весеннем месяце. Они казались нам немного смешными. Теперь же попытка влить в вены Латинской Америки яд разложения уже не смешна, а зловредна, и мы не позволим, чтобы упадок и маразм стали частью нашей действительности.

Мы должны построить мир в нашей Америке. Мы не затерявшиеся в пучине пловцы с мрачного острова — мы борцы за разумный порядок, защитники непобедимого дела.

И поскольку ни наше творчество, ни наша борьба не изолированы, а являются составной частью общего создания, мы не допустим, чтобы на нашем молодом континенте враги мира и жизни проповедовали пассивность, индивидуализм, самоубийство и смерть.

*Перевела с испанского
В. Кутейщикова.*



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ЗАМЕТКИ О ПОЭТИКЕ МАЯКОВСКОГО

Е. УСИЕВИЧ

★

Посмертная судьба Маяковского так же насыщена политическим содержанием, как и его жизнь.

Все знают, что товарищ Сталин назвал его «лучшим, галантивейшим поэтом нашей советской эпохи». Но много реже вспоминают, что следовало за этими словами в том же отзыве. Товарищ Сталин писал: «Пренебрежение к его памяти и его произведениям — преступление».

Эти слова пресекли саботаж, организованный группой бюрократов, которые занимали когда-то видные служебные посты. Эти люди предприняли попытку вычеркнуть Маяковского из планов издательств, из учебников и, по возможности, из памяти читателей. Но доброе имя и труд поэта взял под защиту Сталин. Маяковский снова занял то место в советской жизни, которое ему по праву принадлежит. А бюрократы, о которых мы упомянули, годом-двумя позднее исчезли с общественного горизонта навсегда: выяснилось, что они уже давно были предателями, тайными врагами советской власти. Показательно, что они решили напасть именно на Маяковского, когда хотели нанести советской литературе возможный больший урон.

С тех пор прошло полтора десятка лет. Вопросы: нужен ли Маяковский растущей советской культуре? надо ли у него учиться? — давно решены. Наши читатели и писатели видят в его творчестве образец коммунистического служения народу. Его первенствующая роль в советской поэзии утверждена незыблемо. Предметом споров о Маяковском в литературных кругах является не его политическое и культурное значение, а более узкий вопрос: чему может учиться у Маяковского современный советский писатель, в особенности поэт, в смысле мастерства? Другими словами, ставится

вопрос о художественной форме и о профессиональных способах работы. Споры в этой плоскости всегда законны. Но одно условие должно быть непременно соблюдено, чтобы они были плодотворными: обсуждая Маяковского, надо исходить из самого Маяковского, и не подставлять под его фамилию произвольно выдуманную фигуру. К сожалению, это правило соблюдается редко, и спор запутывается.

Запутывают дело те, кто требует, чтобы всё написанное и сказанное когда-либо Маяковским было принято без критики за образец, чтобы всё в нашей поэзии, что не имеет прямого сходства с Маяковским, осуждалось бы, как отсталость, как сдача позиций «эстетическому старью». Самый известный представитель этой точки зрения — поэт С. Кирсанов. Читая его статьи, написанные в «защиту творческого метода Маяковского», нетрудно обнаружить, что С. Кирсанов подменяет творчество Маяковского формой, а форму — её разрозненными частностями. Такое понимание искусства, как суммы формальных «приёмов», вполне соответствует принципам формализма и его футуристической разновидности. Но влияние футуризма даже на молодого Маяковского было далеко не абсолютным; понятно, что взгляд Маяковского на искусство, как на средство коммунистической пропаганды, противоречит формализму. Лишь немногие из ранних стихотворений Маяковского представляют собой «формально-лабораторную работу над словом»; во всех остальных есть реалистическое содержание, в большей или меньшей степени побеждающее «левизну» формы, а такие вещи, как, например, «Вам!» — полностью реалистичны и по содержанию, и формально-поэтически. В советские годы футуризм всё быстрее исчезал из творче-

ства Маяковского. К середине двадцатых годов он сказывался только в некоторых частностях формы, незначительных в сравнении с её общим сильным реализмом. В целом творчество Маяковского принадлежит литературе социалистического реализма и представляет ценнейшую часть нашей поэзии. Характеризовать Маяковского посредством формалистических «приёмов», как делает С. Кирсанов, значит искажать Маяковского. Какой же спор может быть об учёбе у такого «Маяковского», которого не было и нет?

Хлопочут о том, чтобы стихотворная форма Маяковского была признана образцом для всей поэзии. Но о какой форме Маяковского идёт речь? Только глухой не слышит, какие изменения в ней произошли за двадцать лет его работы. И ведь сам Маяковский называл два самых важных момента («Облако в штанах», «Хорошо!»), которые отмечают этапы в росте его художественного реализма; третьим таким моментом несомненно является «Во весь голос». Если бы мы согласились с С. Кирсановым, нам пришлось бы к тому, что Маяковский сохранил из старого и приобрёл нового к концу своей деятельности, прибавить то, что сам Маяковский отбросил, как ложное и устарелое. Можно ли это назвать учёбой у Маяковского? Вернее было бы это назвать обучением Маяковского и других наших поэтов футуризму.

Среди писателей, высказывающихся о том, чему надо учиться у Маяковского, есть и такие (например, Н. Атаров), что советуя учиться его преданности коммунизму и политической активности, форму же его стихов признают устарелой и утратившей интерес. Однако это равносильно ответу, что у Маяковского-поэта учиться нечему, что мы ценим только Маяковского — человека и гражданина. Оспаривать это «особое мнение» мы здесь не будем. Мы о нём упомянули для того, чтобы показать, что предрассудки, пущенные в обращение яростными врагами Маяковского двадцать—двадцать пять лет тому назад и противоречащие его оценке со стороны партии, ещё продолжают существовать. В самом деле, мнение, которое мы сейчас привели, основано на том же самом представлении о Маяковском, как о поэте-футуристе. Различны только выводы. Доказательства при этом приводятся весьма странные.

Например, поэт Н. Грибачёв считает, что форма стихов Маяковского была хороша для периода революционной ломки, а для того времени, когда социализм окончательно победил, она уже не годится. Вряд ли есть надобность опровергать такое «стабилизационное» понимание общества, строящего коммунизм.

Искоренение вредного мифа о Маяковском, как о поэте устарелом, — задача, которая должна быть выполнена работой всей нашей критики. В настоящей статье мы ставим себе частичную цель: напомнить о взглядах Маяковского на поэтическое мастерство и показать, что формальные искания Маяковского были связаны с содержанием его произведений и особенностями его реализма.

* *
*

Чего требовал Маяковский от поэзии прежде всего?

В поэме «Хорошо!» рассказывается, как в залах и коридорах бывшего Смольного института, занятого Советом рабочих депутатов и ленинским штабом вооружённого восстания в Петрограде, толпятся рабочие и ждут вестей о ходе событий. И вот приходят донесения о штурме Зимнего дворца, о его взятии, о свержении буржуазного Временного правительства. В Петрограде установлена Советская власть.

А в Смольном
толпа,
распопырив груди,
покрывала
песней
фейерверк сведений.
Впервые
вместо:
— и это будет... —
псли:
— и это есть
наш последний...

Свершился Октябрь, на земле уже есть социалистическое государство, началась решающая битва с капитализмом во всём мире. И рабочие-большевики творчески обновили свой гимн, ни на час не оставили в нём слово, которое уже отстало от современности. И одно новое слово отразило новую эпоху, выразило торжество победы и сказало каждому революционеру о новой задаче революции.

Маяковский хотел, чтобы в поэзии всегда была такая новизна. Потому ему так дорого было двустушие:

Ешь ананасы,
рябчиков жуи,
день твой последний
приходит, буржуй.

Оно сложилось внезапно, при виде роскошно кутящих буржуа, в то время, когда уже назревало восстание. Бодрый, уверенный стих с его весёлой издевкой над врагом так верно выразил суть злободневных событий и революционное настроение масс, что немедленно был ими подхвачен, он стал частушкой, которую пели, идя на Зимний, революционные матросы.

Не всегда можно так поспеть за событиями, как удалось Маяковскому в этой частушке или в плакатах «Окна сатиры» РОСТА (о которых Маяковский тоже всегда вспоминал с особой любовью). Есть такие сложные темы, которые нельзя уложить в малое число строк. И есть такие большие события, значение которых становится ясным, когда пройдёт много времени. Но, говорил Маяковский, надо всегда стараться сократить, насколько возможно, время между событием и поэтическим откликом на него. Главная задача поэзии — активное вмешательство в жизнь, агитация, пропаганда; чтобы агитация была действенной, она должна быть своевременной.

«Агитация» здесь не означает только непосредственно политическую агитацию. Темой может быть производственный и любой другой труд, любовь, семейный уклад. Главное, по Маяковскому, заключается для поэта в том, чтобы его тема всегда была общественно-актуальной; в совершенно отчётливом знании цели своей работы (поэт должен знать, чего он хочет добиться от людей, которым адресованы стихи); в умении находить такие средства выражения, которые убеждают людей, изменяют в нужную сторону их сознание, побуждают к определённым поступкам.

Можно бороться против запоздания в работе, если даже оно вызвано сложностью жизненного материала. Самое важное — это подготовленность поэта к возможно быстрому и дальновидному пониманию событий. Поэт должен глядеть на мир глазами коммуниста. Он должен знать политику партии, очередные задачи, которые

решает страна, международное положение. Он должен знать по-настоящему, не понаслышке, жизнь трудовых людей на работе и в быту. Много необходимых сведений и литературных навыков даёт поэту систематическое, постоянное участие в массовой агитации (в газете, плакатах, на митингах, собраниях, уличных праздниках). Наконец, поэт может себе помочь способами специально-литературной подготовки к быстрой работе: во-первых, регулярно вести записи в памятной книжке (слова, рифмы, отдельные строчки, мысли), которые дают заготовки впрок, для случая, когда что-нибудь из них понадобится; во-вторых, постоянно, упорно трудиться над стихом, делать ежедневную черновую поэтическую работу, которая поддерживает и улучшает рабочую «форму» воображения, слуха, памяти, способности к ассоциациям.

Опираясь на все эти знания и навыки, поэт может одолеть задерживающее его медленное течение времени. «Слабосильные топчутся на месте и ждут, пока событие пройдёт, чтоб его отразить, мощные забегают настолько же вперёд, чтоб тащить принятое время».

Поэт
настоящий
вздувает
ранее
из искры неясной
ясное знание.

Итак, первые требования Маяковского к произведению поэтического искусства: новизна, современность жизненного материала (темы); актуальность темы, её необходимость для общества в данное время; определённая цель («целевой установки», «тенденции»); действительность формы. Без всяких объяснений ясно, что это — подлинно революционная программа для поэзии.

Прежде чем мы перейдём к тому новому, что Маяковский выработал, выполняя свою программу, мы должны сделать несколько замечаний.

Требование современности не исключает из поэзии исторический материал — например, в поэме Маяковского «Владимир Ильич Ленин» он занимает значительную часть произведения. Однако выбор такого материала оправдывается его живой связью с нашим временем, проведением сквозь всю ткань поэмы основной, ост-

ро-современной тенденции. Маяковский возражал против того, чтобы советские поэты тратили силы на музейную, археологическую, описательно-историческую работу — на описание исторических фактов самих по себе. Он считал, что специалисты-историки сделают это лучше. Притом нет никакой надобности делать такие описания стихами.

Впрочем, возражение Маяковского относится не только к историческим, но ко всяким описаниям вообще:

«...описанию, отображению действительности в поэзии нет самостоятельного места. Работа такая нужна, но она должна быть расцениваема как работа секретаря большого человеческого собрания. Это простое «слушали», «постановили»... Поэзия начинается там, где есть тенденция».

Проследим развитие этой мысли у Маяковского, чтобы показать, как преувеличено укоренившееся мнение, будто бы он был до революции и в период «Левф»'а (группа и журнал «Левый фронт») «абсолютным футуристом» в теории искусства.

Маяковский высказывал приведённую выше мысль неоднократно. Было время, когда он её выражал несколько иначе: поэзия — это не отображение жизни, а тенденция. Такую формулировку можно истолковать в духе футуризма, требующего «абсолютной свободы» поэта, права выражать любую «идею» без какого бы то ни было подтверждения её жизнью, отражённой в произведении. У Маяковского нет ни одного произведения в этом роде. Но теоретическая формулировка даёт повод предположить, будто он был в этом вопросе полностью согласен с футуристами.

Однако в цитате, которую мы привели выше (об описании и тенденции), та же мысль получает другой оборот. В её изложение введено только одно новое слово «самостоятельного»: «описанию, отображению действительности в поэзии нет самостоятельного места» (разрядка моя.— Е. У.)—и этого достаточно, чтобы от «футуризма» не осталось и следа. Отрицание самостоятельной роли описаний в искусстве, требование, чтобы описания были подчинены развитию идеи произведения и его сюжета, органически с ними срастаясь, — это принцип подлинного реализма, отличающий его от натурализма, возводящего описание в ранг основного художественного метода.

После сравнения двух формулировок, почти в одно и то же время высказанных Маяковским, становится ясно, что мнимая проповедь футуризма была просто неточно сформулированным теоретическим положением, суть которого — борьба за реализм против натурализма.

Всё же и здесь, в уточнённом изложении, есть теоретически ошибочный момент: «описанию, отображению действительности в поэзии нет самостоятельного места» (разрядка моя.— Е. У.) «Описание» и «отображение» действительности как бы уравниены. Между тем второе понятие гораздо шире первого; описание — только один из видов отображения действительности, наряду, скажем, с аналитическим мышлением. Каждый марксист знает, что все виды идеологии, в их числе искусство, представляют собой отображение действительности в нашем сознании. Поэтому «тенденция», с марксистской точки зрения, не есть нечто абсолютно противоположное «отображению». Между ними есть необходимая связь. Тенденция — не произвольна, она содержится в самой действительности. И выводится она человеческим умом посредством познания, то есть отображения реального мира.

Если мы скажем: Маяковский утверждал, что отображению действительности в поэзии нет самостоятельного места, и на этом остановимся, то придётся согласиться с нашими противниками, что основа его эстетических взглядов была сродни футуризму и всем другим упадочным буржуазным «школам». Но, уже наученные однажды опытом, мы поищем у Маяковского других формулировок мысли, близкой к этой. И нам не придётся далеко искать. В той же самой статье, откуда мы взяли разбираемую цитату, сказано: «...Надо выводить поэзию из материала». Стоит только сравнить эту мысль с первой: «Поэзия начинается там, где есть тенденция» — и выяснится с полной очевидностью, что Маяковский не противопоставляет тенденцию жизни, а как раз требует, чтобы поэт «вывел» тенденцию (поэзию) из «материала», из действительности. Мы снова имеем дело не с плохим принципом, а с плохой формулировкой.

Поэзию Маяковского направляли на верный путь его политические убеждения и общественный опыт. Теоретические же

ошибки требовали, кроме того, исправления теоретическим путём. Правильные в основе мысли у него иногда выливались в формулировки, засорённые терминами буржуазной эстетики и немарксистским употреблением марксистской терминологии. Такая терминологическая нечёткость не могла остаться чисто внешним недостатком; она мешала Маяковскому разглядеть коренную, неустранимую порочность «левых» теорий искусства. Это надо всегда иметь в виду, читая высказывания Маяковского по теоретическим вопросам. Из этого чтения можно извлечь много пользы и удовольствия. Но это не лёгкая работа.

Возвратимся к вопросу о том, что нового внёс Маяковский в поэтическую работу для выполнения своих общих требований к революционной поэзии. Мы знаем, что он ненавидел «романсово-критическую обывательщину» (т. е. поэтов, перепевающих старые лирические темы на старый же лад, и критиков, которые пошло хвалят непонятые или образцы классической поэзии). Он боролся против веры в то, что «только вечную поэзию не берёт никакая диалектика и что единственным производственным процессом является вдохновенное задиранье головы». Он требовал от поэзии новизны: «Новизна в поэтическом произведении обязательна».

Не значит ли это, что «новизна во что бы то ни стало», как у формалистов, выдвигается Маяковским на первый план? Нет, он поясняет: «Новизна, конечно, не предполагает постоянного изречения небывалых истин. Ямб, свободный стих, аллитерация, ассонанс создаются не каждый день. Можно работать и над их продолжением, внедрением, распространением». Речь идёт, в первую очередь, о новизне содержания. Но ради неё, ради этой новизны, которая должна создаваться постоянно, поэт должен выбирать такую форму, хотя бы из уже известных раньше форм, которая больше всего отвечает теме и цели (творческому заданию) данной вещи. Второе требование состоит в том, чтобы ни чужую, ни свою собственную форму поэты не использовали как нечто на все случаи заготовленное, от содержания не зависящее, чтобы они не подражали ни себе, ни другим, применяя готовые «приёмы», а изменяли форму всякий раз так, как потребует сам обрабатываемый

жизненный материал для своего верного выражения. Стихи должны быть действительными, — а они не могут быть такими, если «старую форму напялить на новый материал», надо «выводить поэзию из самого материала», во всяком случае стремиться к этому.

Однако в революционную эпоху материал настолько нов, что даже самое чуткое и искусное приспособление старых форм к новому материалу (жизненному содержанию) не может удовлетворительно решить задачу поэзии. В революционную эпоху жизненный материал требует выработки формы новой в точном смысле слова. Для неё можно брать, что понадобится, из составных частей старой формы, но не в прежней органической связи этих частей, а разрозненно, просто как «лом».

Первый тип работы Маяковский сравнивал с инженерно-производственным применением ранее открытых математических истин, второй тип — с изобретательством, открытием новых истин.

Маяковский взял на себя труднейшее дело изобретательства — он стал поэтом первой в мире социалистической революции.

«Мне кажется, великолепным образцом служения советскому народу является Маяковский, — сказал М. И. Калинин. — Он считал себя бойцом революции и был таковым по существу своего творчества. Он стремился слиться с революционным народом не только содержанием, но и форму своих произведений, так что будущие историки наверняка скажут, что его произведения принадлежали великой эпохе ломки человеческих отношений»¹.

В этих словах товарища Калинина — ключ к пониманию всего, что отличает Маяковского среди поэтов.

Читая стихи Маяковского, мы видим, как выросло из повседневной службы революционному народу всё разнообразие его поэтических средств. Мы видим, как вместо традиционного напевного стиха Маяковский начал писать стихи-выкрик, стихи-призыв, стихи-проклятие, которыми он клеймил капитализм и звал к восстанию. Мы видим резкие контрасты его стихов, передающих великое и низменное, радостное и трагичное, надежды и отчаяние — всё, чем насыщена жизнь революционной страны, притом не в отдельных пластах действи-

¹ М. И. Калинин. О коммунистическом воспитании. Госполитиздат, 1941, стр. 18.

тельности, а в бурных столкновениях, временами в смещении, и всегда в стремлении побороть всё чуждое социалистической революции. Мы видим, какие разнообразные и гибкие формы находит поэт, чтобы охватить возможно полнее злободневные события и задачи, чтобы по любому поводу, на всяком примере внедрять в сознание масс коммунистическое отношение к жизни и мобилизовать народ для борьбы за политические цели коммунистической партии.

В этой статье мы не можем показать, как отражался гигантский общественный процесс борьбы за коммунизм в отдельных произведениях Маяковского. Мы скажем здесь только о самых общих принципах его профессионально-поэтической работы, относящихся ко всему его творчеству.

* *
*

Почти все особенности поэтической формы Маяковского связаны с тем, что его стихи адресованы непосредственно массам. Отсюда, прежде всего, их ораторская и разговорная интонация. Разумеется, эти два названия включают, в свою очередь, много разнообразных интонационных оттенков: повествовательный, иронический, торжественный и т. д. Но любой интонационный оттенок у Маяковского вмещается в границы двух главных интонаций: ораторской и разговорной.

Устная агитация играла колоссальную роль во время подготовки революции и в годы гражданской войны. В эти годы впервые вошло в обычай чтение вслух литературных произведений не в замкнутых кружках и литературных салонах, а в больших, массовых собраниях. К середине 20-х годов роль этого нововведения стала значительно меньшей; критики, заметившие это, связывали ослабление интереса писателей к исполнению своих произведений с расширившейся возможностью издания (в первые годы она была очень невелика). Маяковский решительно против этого возражал:

«Революция не аннулировала ни одного своего завоевания, — писал он в статье «Расширение словесной базы». — Она увеличила силу завоевания материальными и техническими силами. Книга не уничтожит трибуны. Книга уже уничтожила в своё время рукопись. Рукопись — только начало книги. Трибуну, эстраду — продолжит, расширит

радио. Радио — вот дальнейшее (одно из) продвижение слова, лозунга, поэзии. Поэзия перестала быть только тем, что видимо глазами. Революция дала слышимое слово, слышимую поэзию. Счастье небольшого кружка слушавших Пушкина сегодня привалило всему миру. Это слово становится ежедневно нужнее».

В колоссальном росте «слышимого слова» Маяковский видел не просто новую технику распространения, но существенную перемену в самой поэзии. «Словесное мастерство перестроилось», — писал он в той же статье. Не трудно видеть, что расчёт на массовую аудиторию, тенденциозность и агитационность — те признаки, которые Маяковский считал главными, определяющими признаками революционной поэзии, — большой шаг к демократизации поэтической формы. Но, вместе с тем, «установка на разговорную речь» лишает стихи размерного единообразия, требует иногда пропуска слов, как в разговорной речи, где нет «книжной» законченности и плавности фраз и где значение сказанного в большей части выражено интонацией, ритмом, паузой. Другими словами, стихи становятся легче воспринимаемыми на слух, но требуют большей квалификации для чтения. В некоторой степени к чтению стихов можно отнести то, к чему привыкли и против чего никто не возражает в музыке: понятная всем в звучании, она требует специальной подготовки для чтения (знание нот) и для исполнения (некоторая техническая умелость, голосовые данные и т. д.).

Маяковскому критика постоянно ставила в вину трудность, «непонятность массам» его стиха. Кажется, ни одно другое обвинение его не сердило так, как это. Он приводил примеры, которыми доказывал, что общепонятность поэтов-классиков, в том числе Пушкина, сильно преувеличивают, не говоря уже о том, что у них встречается много слов, сравнений, мыслей, которые и в их время были понятны только узкому кругу образованнейших людей, а теперь требуют ещё больших объяснений в силу своей устарелости, — форма классического стиха тоже не так проста, как это считают по привычке, и доступна пониманию только хорошо подготовленного читателя (чтеца). Если у читателя нет нужной квалификации, он улавливает и в классическом стихе только общий, при-

близительный смысл, многое, художественно очень важное, для него пропадает. Маяковский показывал, как портит Пушкина (и ещё сильнее — современных поэтов) актёрское чтение с «классическим подвыванием» или «бытовыми ударениями», совершенно искажающими ритм. Он приводил примеры грубых смысловых ошибок, которые получаются, когда классиков декламируют по способу точного произнесения размерных групп, без учёта ритма. Он старался облегчить понимание своего стиха ступенчатой расстановкой составляющих строку слов, которая удивляла непривычностью и навлекла на Маяковского много насмешек и упреков в оригинальничанье со стороны его противников. Не хотели понять, что этот графический способ Маяковский ввёл не для первого беглого чтения с листа (этому «ступеньки» действительно мешают), а для предварительного вчитывания в стих, для лучшего усвоения всех его ритмических свойств, для выделения самых значительных слов. Стихотворение, расчленённое таким способом, будет понятнее чтецу, когда он его разучивает, — значит, оно будет понятнее и слушателям, когда чтец будет его читать. Ясно, что новый способ начертания, выработанный Маяковским, сам по себе не является художественным принципом — это вспомогательное средство для чтения стихов, написанных не классическими размерами, а более разнообразно.

Разумеется, это способ очень несовершенный. Маяковский сам это знал. Для той цели, ради которой он был придуман, Маяковский считал гораздо более действительным средством авторское чтение:

«...в каждом стихе сотни тончайших ритмических, размеренных и других действий и особенностей, никем, кроме самого мастера, и ничем, кроме голоса, не передаваемых».

Он сам не жалел ни времени, ни сил на чтение своих стихов вслух, и постоянно убеждался, что даже те читатели, которые жаловались, что «Маяковского трудно понимать», читая его глазами, легко понимали его «слышимое слово».

Критики, недружественные Маяковскому, часто объясняли успех его чтений тем, что он хорошо читает, говорили, что это успех Маяковского-актёра, а не Маяковского-поэта.

«В. И. Качалов читает лучше меня, — возражал Маяковский, — но он не может прочесть так, как я». «Я не голосую против книги, — писал он. — Но я требую 15 минут на радио. Я требую, громче чем скрипачи, права на граммофонную пластинку. Я считаю правильным, чтобы к праздникам не только помещались стихи, но и вызывались читатели, чтецы, раб-читы (чтецы из кружков рабочей самодеятельности. — Е. У.) для обучения их чтению с авторского голоса».

Было бы ошибкой думать, что Маяковский считал новый способ начертания и авторские чтения нужными для умения читать только его стихи; он ценил авторское чтение всех других поэтов и считал необходимым, чтобы читатели и чтецы знали, как читает собственные стихи каждый исполняемый поэт. Он был уверен при этом, что советская поэзия пойдёт, главным образом, по тому же пути, которым шёл он, — по пути «слышимого слова».

Многое в стихотворной форме Маяковского связано с отношением к стихам, прежде всего, как к «слышимому слову» — вплоть до заглавий, которым он придавал большое значение:

Поэмы замерли,
к жерлу прижав жерло
нацеленных
зияющих заглавий.

О них он говорил известному чтецу Г. Артоболовскому, который вспоминает: «...Он упрекнул меня за то, что я не сказал заглавия: «У меня заглавие всегда входит конструктивной частью произносимого стихотворения».

Оценивая стихотворную форму Маяковского, никогда нельзя забывать об этих особенностях: об агитационной установке во всех, даже лирических стихах, которые Маяковский тоже рассматривал, как имеющие общественную цель, определённую общественную «тенденцию»; о преобладании ораторской и разговорной интонации, связанной с агитационностью; о расчёте, прежде всего, на «слышимое слово». Если не учитывать этих особенностей, всякое суждение о поэтической форме Маяковского будет формалистическим, отвлечённым от содержания его поэзии.

Мы уже сказали, что основная установка Маяковского повлекла за собой отход от классических правил и усложнение сти-

хотворных размеров. Однако это усложнение шло не в том направлении, как у символистической и других «школ» времён буржуазного упадка, которые либо составляли новые сложные размеры из различно соединённых старых элементов, либо (футуристы) искали эффектно разорванных размеров, чтобы поразить читателя грубой угловатостью. Маяковский не пользовался и не считал возможным пользоваться классическими размерами потому, что их плавное, равномерное течение противоречило его основной интонации. Он выбирал размеры свободные, изменчивые, следующие за содержанием отдельных отрезков стихотворения. Впрочем, наиболее разнообразны размеры в его крупных вещах, а небольшие стихотворения в этом отношении более едины, и это естественно, потому что небольшие стихотворения обычно более однородны тематически, а в больших произведениях общая тема расчленяется на ряд разнородных, контрастирующих тем.

Здесь, в журнальной статье, мы можем показать только на очень ограниченном числе примеров содержательное значение стихотворной формы Маяковского.

Рассмотрим строфическое строение главы 18 из поэмы «Хорошо!»¹.

На девять
 сюда
 октябрей и маёв,
 под красными
 флагами
 праздничных шествий, —
 носил,
 с миллионами,
 сердце моё,
 уверен
 и весел,
 горд
 и торжествен.

Сюда,
 под траур
 и плеск чернофлажий.
 пока
 убитого
 кровь горяча, —
 бежал,
 от тревоги
 на выстрелы вражи.
 молчать
 и мрачнеть,
 кричать
 и рычать.

¹ Мы отделяем здесь строфы пробелами для наглядности. У Маяковского в этой поэме строфы графически не обозначены.

Я
 здесь
 бывал
 в барабанах стучащих
 и в мёртвом
 холоде
 слёз и льдин, —
 а чаще ещё —
 просто
 один.

Здесь две строфы по четыре строки в каждой, и одна — из трёх строк.

Последняя, трёхстрочная строфа не только укорочена — в ней другая система рифм; во второй и третьей строках имеют рифменное соответствие конечные слова («льдин» — «один») в первой же строке конечное слово («стучащих») находит себе отклик не в конце, а в начале третьей строки («а чаще»). Для того, чтобы связать все три строки в единую строфу, этого достаточно; но всё-таки связь конца одной строки с началом другой воспринимается слухом иначе, чем соответствие конечных рифм, потому что на те падает сильное ударение, а слово, начинающее строку, акцентируется слабее. Какое же значение имеет эта особенность в данном случае? А то, что первая строка остаётся без достаточного противовеса, и слух, естественно, тяготеет к устойчивости, требует паузы после этой трёхстрочной строфы. Нельзя не почувствовать этого, читая вслух, — это так написано, что пауза получается неволью. И она очень важна для содержания стихов: здесь заканчивается вводное построение — воспоминания, образ Красной площади, созданный переживаниями всех революционных лет.

Дальше начинается новое построение, в котором мы видим тоже своеобразную строфику:

Солдаты башен
 стражей стоят,
 подняв
 свои
 островерхие шлемы, —
 и, злобу
 в башках куполов
 тая,
 притворствуют
 церкви,
 монашья шельмы.

Ночь —
 и на головы нам
 луна.

Она
идёт
оттуда откуда-то...
оттуда,
где
Совнарком и ЦИК,
Кремля
кусок
от ночи откутав,
переползает
через зубцы.

Вползает
на гладкий
валун,
на секунду
склоняет
голозу,
и вновь
голова-луна
уносится
с камня
гололого.

Место лобное —
для голов
ужасно неудобное.

Отрывок, который мы приводили выше, оканчивался трёхстрочной строфой:

Я
здесь
бывал
в барабанах стучащих
и в мёртвом
холоде
слёз и льдин, —
а чаще ещё —
просто
один.

Этой строфой заканчивалось построение, в котором передан образ Красной площади, живущий в мыслях, в памяти. После этого начинается новое построение, приведённое нами только что, рисующее Красную площадь видимой непосредственно, в настоящем (башни, купола). Ясно, что трёхстрочная строфа и пауза после неё нарушают плавное течение четырёхстрочных строф именно потому, что здесь проходит раздел между двумя различными смысловыми отрезками.

По-другому построен второй из этих отрезков, начинающийся словами «Солдаты башен стражей стоят...» Здесь уже между первыми двумя четырёхстрочными строфами вклинивается двухстрочная:

Ночь —
и на головы нам
луна.

Эта строфа очень важна для образного поэтического содержания всей главы: она вводит тему ночи (только подготовленную раньше образом неподвижной «стражи башен»). А ночь создаёт то уединение, то углубление в свои мысли, при котором только и возможен мысленный разговор поэта с павшими героями революции, похороненными здесь, на площади. Появление этого мотива должно быть замечено слушателем, и переход к двустрочию, привлекая внимание, выполняет эту роль. Но мысль здесь не заканчивается, она продолжается в воспоминании о людях, павших некогда на лобном месте, — о жертвах бунтов и восстаний старых времён. Двустипшие, о котором мы говорим, должно выделиться, но не разделять. Его содержание вливается в содержание дальнейших построений. Поэтому строки

Ночь —
и на головы нам
луна

сгруппированы так неопределённо (неясно членение на строки), и слово «нам» связано лишь отдалённым созвучием (ассонансом) со словом «луна» — единственным словом, составляющим вторую строку. Кажется, эти строки могли бы слиться в одну:

Ночь — и на головы нам луна.

Но здесь как раз один из тех оттенков, которые имел в виду Маяковский, жалуясь, что тещы (актёры) их часто не замечают, несмотря на их важность. Недаром слово «луна» крепче связано рифмой с начальным словом следующей строфы («она»), чем с конечным словом той строфы, к которой принадлежит «луна»: развитие мотива идёт дальше; образ луны — её призрачного, мёртвого света — необходим в поэтическом восприятии древних, мёртвых каменных строений, мёртвых, убитых в древние времена людей. Слово «луна» не могло слиться с предыдущей строкой, оно по смыслу принадлежит ей не больше, чем последующим.

Потом, после двух четырёхстрочий, идёт ещё одна двухстрочная строфа, и опять преследующая другую цель:

Место лобное —
для голов
ужасно неудобное.

Рифма здесь настолько точная, что она, помещённая среди ассонансов, резко обрубаёт предыдущее построение. Тон—прозаический, трезвый, иронический; призрачная картина древности сразу отодвигается. «Рубленность» этого двустишия подчеркнута грубой неравностью первой и второй строк по длине (по числу ударяемых слогов и слогов вообще), т. е. во времени. Отсюда — необходимость длительной паузы, очень явного раздела.

Это и понятно: в следующем построении мысль обращается к могилам большевиков, погребённых на Красной площади. Эти умершие, убитые люди не ушли из нашей жизни. Здесь Ленин —

он бьётся,
как бился
в сердцах
и висках,
живой
человечьей весной.

Продолженный в этом построении мотив луны, лунной ночи, приобретает новый характер, новый смысл. Сразу же после двустишия (о «месте лобном») —

И лунным
пламенем
озарена мне
площадь
в сияньи,
в яви
в денной...

Стена.
И женщина со знаменем
склонилась
над теми,
кто лёг под стеной.

Вероятно, приведённого примера достаточно, чтобы понять, как пользуется Маяковский неравнострочными строфами. Сложно? Да, конечно, сложно. Но больше для исполнителя, чем для слушателя. Если чтец разбирается во внутреннем, смысловом значении такого расчленения строф, если он верно передаёт художественные элементы поэтической мысли — слушатель не будет их регистрировать рассудком, не отметит про себя: «там было четыре строки, здесь две, здесь опять четыре, а здесь пять», — он естественно, незатруднённо воспримет содержание, думая только о нём, переживая только его.

Разнострочные строфы, как известно, встречались и у классиков (тоже всегда для более полного и точного выражения мысли). Но никто до Маяковского не прибегал к ним так часто. Можно ли говорить здесь о «формальной усложнённости»? Сложно ведь и содержание стихов. Маяковский отразил «великую эпоху ломки человеческих отношений».

По нашему мнению, исследователи Маяковского иногда чрезмерно увлекаются поисками его «абсолютной» формальной новизны. Говорят, например, что его стих не силлабический (т. е. не основанный на определённом отношении строк друг к другу числом слогов, — как в русском стихосложении XVIII века или в классическом французском и польском стихосложении), и не силлабо-тонический (т. е. основанный на правильном чередовании определённого числа ударных и безударных слогов в строке — как в русском стихе, начиная с XIX века), — а «тонический». Последний термин введён стиховедами недавно и обозначает такую систему стиха, в которой строки соотносятся только своим равным числом ударяемых слогов, а число безударных совсем не принимается во внимание, может быть совсем различным и совсем бессистемным.

Не располагая местом для достаточного числа примеров, постараемся показать, что это, по крайней мере, не всегда так.

На девять сюда октябрей и маёв,
под красными флагами праздничных
шествий, —
носил, с миллионами, сердце моё,
уверен и весел, горд и торжествен.¹

В этом примере первая и третья строки построены метрически одинаково. Некоторого разбора требует только четвёртая строка, не равная второй, с которой она связана рифмой. Между словами «весел» и «горд» в четвёртой строке стоит пауза. Вряд ли можно спорить против того, что она здесь есть — её диктует раздел между двумя параллельными фразами, усиленный столкновением двух согласных как раз на месте раздела (весел, горд), тогда как в соответственных местах трёх других строк везде есть безударная гласная, плавный переход. Эта пауза и есть двенадцатый слог, недостающий

¹ Строфа приводится без обычной ступенчатой разбивки ради наглядности.

для полного слогового соответствия четвёртой строки со второй строкой. Расположение ударно-безударных групп (стиховых стоп) здесь так регулярно, что ни один строжайший ревнитель канонической метрики не придерётся.

Но возьмём другой случай:

Скрыла та зима, худа и строга,
всех, кто наве́к ушёл ко сну.
Где уж тут словам! И в этих стро́ках
боли волжской я не коснусь.¹

Соотношение общего числа слогов в рифмующихся строках здесь уже совершенно регулярное. Расположение ударно-безударных слоговых групп в первой и третьей рифмующихся строках совершенно одинаковое. Наибольшую трудность представляет в этом отношении четвёртая строка: ударений в ней столько же, сколько во всех других (4), но безударные слоги расположены в обратном порядке, как бы в зеркальном отражении, по отношению к рифмующейся с нею второй строке. Разберёмся в этом.

Даёт ли такая «нерегулярность» право отрицать значение безударных слогов и объявлять стих не силлабо-тоническим, а тоническим? Очевидно, нет: в группировке ударных и безударных слогов есть определённая закономерность. Речь может идти о большей, чем у старых поэтов, сложности силлабо-тонического стиха. И это «усложнение» — один из примеров огромной работы, проделанной Маяковским для обновления русского стиха.

В самом деле, так ли непогрешима логика, по которой заранее предположено, что Маяковский, раз он великий новатор, не мог не разрушить самой метрическую основу поэзии XIX века? Это мыслится по аналогии с теми русскими поэтами-новаторами, которые в конце XVIII века похоронили силлабику. Однако аналогия здесь мнимая. Силлабический стих был «книжным», он насиловал русскую речь с её подвижными, незакреплёнными ударениями в словах. В силлабо-тоническом стихе был найден стиховой принцип, который русской речи соответствует. Для нашей поэзии «свободный стих» не имел по этой причине такого большого значения, какое он имел для французов или поляков. Там он избавлял от тисков силлабики, и только он

и мог избавить. А наша силлабо-тоническая система сама по себе настолько свободнее силлабической, что для её дальнейшего приближения к разговорной речи нет надобности отменять основной принцип. Надо было только устранить опасность механической равномерности (равномерности). Крупнейшие поэты-классики умели ей сопротивляться, где им было надо, но им не везде и надо было. Эпигоны реализма в конце XIX — начале XX века подчинялись механической гладкости, в которой стиралось всякое своеобразие; «левые» декаденты вводили всякого рода нарочитые искривления и усложнения, ещё больше отдаляющие «культурную» поэзию от современной народной речи. Маяковский первый решительно реформировал силлабо-тоническую метрику, подчинив её задачам выражения современного общественного содержания, сохранения той психологической окраски, которую даёт современный разговорный язык. Придумаем ли мы для сделанного им новое название или оставим старое, его реформированный русский стих — это новшество несколько не меньшее по своему значению для развития поэзии, чем было для своего времени введение силлабо-тонической системы.

В первые годы Маяковский полемически преувеличивал свободное обращение с метрами. Правда, все подсчёты ударных и безударных слогов в его ранних стихах, предпринимаемые для того, чтобы показать равенство между строками только в числе безударных слогов, недостаточно убедительны. Если бы стиховеды были внимательнее к паузам, расхождения почти везде свелись бы на нет. Но всё-таки резко повышенная роль цезур и пауз — это показатель очень сложных равновесий. В дальнейшем Маяковский их всё более упрощает, сохраняя только там, где они диктуются содержанием, как мы показали в наших кратких примерах. И в стихах этого периода, в стихах зрелого Маяковского плодотворность и значительность его нововведения выяснилась вполне.

Возвратимся к строфе:

Скрыла та зима, худа и строга,
всех, кто наве́к ушёл ко сну.
Где уж тут словам! И в этих стро́ках
боли волжской я не коснусь.

Оправдано ли здесь усложнение размера содержанием стихов, или это одна лишь

¹ Строфа приводится без обычной ступенчатой разбивки.

«игра форм»? Мы слышим в этой строфе явственный контраст. В трёх первых строках — почти сплошь слова с мужским окончанием, т. е. с ударением на последнем слоге (зима, худа, строга, навек, ушёл, словам, строках) либо односложные, подобные мужским (всех, сну, где). В четвертой строке (в «зеркальном отражении» размера второй строки) есть два слова с женским (неударяемым) окончанием (боли, волжской), а в заключающем строку слове «коснусь» мужское окончание далеко не так ярко выражено, как в слове «сну». Контраст между размером этой строки и размером трёх первых строк имеет очевидное смысловое значение: суровая строгость повествования сменяется мерно-величавой печалью там, где сказано о трагедии Поволжья.

В связи с этой строфой надо рассмотреть ещё вопрос о неравномерности (неодинаковом размере) двух пар строк, чётной и нечётной. Нет ли хоть здесь чрезмерной «изошрённости»?

Схема, которая изображает стихотворные размеры посредством значков, обозначающих ударные и безударные слоги, очень несовершенна: ею не улавливается существеннейший элемент поэзии, как звучащего искусства — не улавливается время, членение и соотношение длительностей. Между тем ясно, что далеко не всегда равны по протяжённости во времени ни ударный слог ударному, ни безударный безударному. Разве не слышно, что в разбираемой строфе пять слогов в словах «скрыла та зима» или «где уж тут словам» длятся не дольше, чем четыре слога в словах «всех, кто навек» или «боли волжской»? Разница между этими группами не в общей длительности, а в её членении. В тех строках, где есть «лишний» слог, доли размера раздроблены мельче; слогов больше, но они быстрее произносятся. И это дробление (ускоренное произнесение безударных слогов в начале строк) оправдано содержанием; особенно ясно это слышно в фразе «где уж тут словам!», сказанной на одном дыхании, как восклицание.

Разобранные примеры показывают, что нельзя правильно понять отдельные элементы поэтической формы Маяковского, отрывая их друг от друга и от выражаемого ими содержания. Какой бы сложной ни была закономерность их связи (у ран-

него Маяковского система связей очень сложна) — закономерности есть всегда, и всегда не чисто формальные, но содержательные.

Новизна стиха Маяковского состоит не в отмене всякой правильности, а в освобождении от слишком строгой правильности, не пригодной для стиха-оратора, стиха-агитатора, стиха-полемиста и для стиха с повышенной эмоциональной насыщенностью. Маяковский не установил и не хотел устанавливать новой догмы, он сопротивлялся подчинению догме старой. Из его статьи «Как делать стихи» мы знаем, что он не хотел канонизировать не только классический, но и свободный стих. Неужели же он предпринял этот бунт, чтобы закрепить «тонический», «ударный» канон, сводящийся к тому, чтобы в каждой строке было по четыре или там, скажем, по три ударения, а до остальных элементов размера и дела нет? Это было бы неслыханным огрублением поэтической формы в части размеров, сведением их к простейшей, топорной работе. В том-то и дело, что Маяковский не отменил, а повысил значение «безударных» слогов, тонко различая относительно более слабые, учитывая их различное значение в начале и середине слова или в его окончании, в кратком (односложном) или распространённом (многосложном) женском окончании и т. д. Удаляясь от единообразного классического скандирования и от романтического подвывания, он стремился с максимальной гибкостью и разнообразием использовать возможности силлабо-тоники для непосредственно психологического воздействия на слушателей средствами метра.

То же надо сказать о способах рифмования строк.

Споры о рифме идут давно. Ещё Пушкин пророчил будущее «белому», нерифмованному стиху, считая, что число рифм, предоставляемое даже самым богатым языком, ограничено, а употребление много раз повторённых рифм вредно: они не выделяют особенный, новый поэтический характер произведения, и если даже его мысль нова, всё-таки производят впечатление, будто всё это уже известно и много раз слышано. Кроме того, привычные рифмы скользят по слуху, не обращая на себя внимания, не запоминаются.

Буржуазно-декадентские «школы» разнообразили рифму, обильно вводя старинные, вышедшие из употребления слова, редкие названия растений и драгоценных камней, редкие имена, пользовались также и приблизительным созвучием — ассонансом.

Нерифмованный стих Маяковскому не годился потому, что, при сложности и разнообразии размеров внутри каждой вещи, рифма была очень нужна для укрепления связи между строками. Он расширял возможности рифмы, широко прибегая к ассонансам. Разумеется, мысль Пушкина об ограниченности запаса рифм нельзя понимать слишком узко — поэты второй половины XIX века и наши талантливые советские современники находят новые и отличные рифмы. Но всё-таки процент старых (или подобных старым) точных рифм даже у лучших поэтов очень велик. Это не всем вредит — во всяком случае, не всем вредит в одинаковой степени. Но в метрически и ритмически свободном стихе Маяковского рифма играет исключительно большую роль; она у него не только связь и не только одно из средств общей слуховой организации стиха, придающее ему определённый тон, определённую окраску, но, главным образом, средство для выделения, подчёркивания слов, важнейших в выражаемой мысли, — тех слов, которые несут наибольший смысловой груз. Поэтому рифма должна быть у него всегда заметной и запоминаемой. А для этого она должна быть, по возможности, новой. Это заставляло Маяковского широко прибегать к ассонансам.

Не трудно заметить, что самые далёкие, самые приблизительные, неточные созвучия встречаются у Маяковского в больших произведениях, в которых большой отрезок стихотворения, в десятки строк, представляет одну общую картину, одну общую мысль. Произведения большого масштаба Маяковский строит с таким расчётом, чтобы слух, а вместе с ним и мысль, схватывали целое, не задерживаясь на составляющих его деталях. Приблизительность созвучий здесь, повидимому, преднамеренная: если бы масштаб был меньший — тогда надо было бы их «разглядывать», к ним прислушиваться; в большой вещи они затрудняли бы слух; их роль состоит как раз в том, чтобы слишком чётко выписанные детали не разбивали впечатление целого

(здесь тоже расчёт на «слышимое слово»). Каламбурная рифма связана со снижением стиля. Граница её применения — вопрос не самостоятельный, и решается вместе с вопросом о границах, в которых применимо «снижение».

Разговорно-ораторский строй стихов Маяковского требовал большого разнообразия рифм не только в смысле их точности или приблизительности. Самые важные слова Маяковский всегда старался поставить в конце строк — тогда он и рифмовал их, как обычно, концевой рифмой. Но он давал себе свободу рифмовать слова внутри строк или в начале строк, перекрещивал и комбинировал эти способы, стремясь, во-первых, сохранить порядок слов и размеры, нужные для наиболее сильного выражения мысли, во-вторых (подчинённая, второстепенная цель), разнообразить способ письма в больших вещах, чтобы не утомлять слушателя. Иногда, наряду с концевой рифмой, у него (впрочем, это не отличительная черта Маяковского) есть и рифмы внутренние, тоже играющие смысловую роль.

Можно иногда упрекнуть Маяковского в слишком большой сложности рифмы, которая либо не замечается вовсе, либо отвлекает на себя слишком много внимания. Но восприятие здесь в сильнейшей степени зависит от качества чтения, а Маяковский рассчитывал на понимающих стихи и умелых чтецов. Главное же, что мы здесь хотим подчеркнуть: у Маяковского нет «формальной новизны во что бы то ни стало», в которой его упрекали, чтобы доказать, будто в нём навсегда прочно засел футуристический формализм. На самом деле, поиски новой формы у него почти всегда бывают поисками средств для самого полного, ясного и выразительного выявления смысла, содержательной стороны поэзии.

Иногда «формализмом» называют другую сторону характерных для Маяковского размеров, рифм, звукового качества стиха: их шершавость, нарочитую затрудиённость. Однако и эта сторона имеет чисто смысловую цель, подобную той, что преследовал Лев Толстой, до тех пор передельывавший гладкую фразу, пока она не «взвьрошится». Это способ выражения грубой, неприкрытой жизненной правды, нагой истины, в «эпоху ломки человеческих отношений».

Эту сторону своего поэтического искус-

ства Маяковский всегда отстаивал. Приведём один пример: его отповедь критику, «галопщику по писателям», ответ на обвинение, «что лиру я на агит променял, перо променял на швабру». Помнит ли этот критик, — спрашивает Маяковский, — что у нас в стране десять лет назад началась революция?

Лиры
крыл
пулемёт-обормот,
и, взяв
лирические монетки,
сбежал Северянин,
сбежал Бальмонт
и прочие
фабриканты патоки.
В Европе
у них
ни агиток, ни швабр —
чиста
ажурная строчка без шва.
Одни
хорей да ямбы,
туда бы,
к ним бы,
да вам бы!
Оставшихся
жада
белая рать
и с севера,
и с юга.
Нам
требовалось переорать
и вьюги,
и пушки,
и ругань!

Это то, о чём говорит М. И. Калинин: стремление Маяковского слить не только содержание, но и форму стиха с жизнью революционного народа. Новизна и здесь связана с содержанием творчества Маяковского, с отражением в нём великой эпохи революционной ломки.

Безнадёжное и вредное дело стараться представить поэтические особенности Маяковского в виде самоцельных формальных новшеств.

Огромная заслуга Маяковского — изменение круга слов, которыми пользуется поэзия. В сущности, очень многие из других элементов стиха у него выработались именно так, чтобы быть способными воспринять «язык улицы»: политический и бытовой язык, выкрик, лозунг, призыв. Ни один талантливый советский поэт, если даже он этого сам не замечает, не прошёл мимо влияния Маяковского в этом отношении. Спор же о лексике по-настоящему должен начаться там, где Маяковский

пользуется «изобретёнными, обновлёнными, произведёнными» словами. Безусловно надо отклонить те из внесвь образованных этими способами слов, которые противоречат духу русского языка и потому плохо понимаются, не имеют ясно выраженного, общеобязательного смыслового значения (оттенка); эти «изобретения» не могут оставить следа в языке, не могут в него войти, в нём удержаться. Такие слова противоречат и стремлению Маяковского разрушить языковую условность, отделяющую поэзию от «улицы»; они просто заменяют одну условную преграду другой. У Маяковского (в особенности раннего) этот порок есть, и это — от футуризма. Но, например, «серпастый, молоткастый» в «Стихах о советском паспорте» — образование понятное и вполне законное. Какой критерий здесь применим? Общие принципы ясны: верность духу языка, общепонятность, уместность характерного оттенка в каждом данном случае. Отдельные случаи решаются практическим конкретным разбором.

Маяковский утверждал: «В поэтической работе есть только несколько общих правил для начала поэтической работы. И то эти правила — чистая условность». «Обучение поэтической работе — это не изучение изготовления определённого, ограниченного типа поэтических вещей, а изучение способов всякой поэтической работы...» Это вовсе не значит, что Маяковский не придавал должного значения мастерству. Наоборот, он постоянно напоминал о его необходимости. Тем, кто «во имя Маяковского» портит молодых поэтов расхваливанием любой неуклюжей «левой» выдумки, надо хорошенько запомнить хотя бы эти слова Маяковского:

«Бойтесь выдавать случайные искривы недоучек за новаторство, за последний крик искусства. Новаторство дилетантов — паровоз на курьих ножках. Только в мастерстве право откинуть старьё».

Он считал необходимыми для всякого поэта «навыки и приёмы обработки слов, бесконечно индивидуальные, приходящие лишь с годами ежедневной работы». Но мастерство он советовал черпать не столько из точнейшего изучения размеров, которыми писали поэты раньше, сколько из знания жизни, общей образованности, в особенности политической, из вдумчивого

чтения и разбора поэтических произведений различных авторов и, разумеется, из отличного знания родной речи, в том числе современной литературной и разговорной. Нет ничего удивительного, что Маяковский так яростно нападал на учебники стихосложения, авторы которых как раз в изучении классических (и декадентских) размеров видят главную основу мастерства. Эта полемика Маяковского полезна даже тем поэтам, что пишут каноническими размерами, потому что она помогает освободиться от школьного подхода к ним, раскрепощает поэтическое мышление и слух. Но, конечно, в мнении Маяковского насчёт ненужности изучения старых размеров есть довольно очевидное преувеличение. Маяковский писал:

«Я много раз брался за это изучение, понимал эту механику, а потом забывал опять. Эти вещи, занимающие в поэтических учебниках 90%, в практической работе моей не встречаются и в трёх».

Ну что ж, результат изучения и не должен быть другим. Можно сказать лишь одно: Маяковскому, конечно, пошло на пользу то, что он изучил старые метры, — они вошли в его мастерство, помогли выработать умелое обращение со словом. Пошло ему на пользу и то, что он «забыл» выученное, т. е. не стал механически считать стопы, а сохранил способность «выводить поэзию из материала».

Относительно процесса этого выведения у Маяковского есть в статье «Как делать стихи» драгоценные страницы. Кстати, они интересны и в том отношении, что совершенно опровергают мнение о поэтическом направлении Маяковского, как о нигилистически-рассудочном, вроде теории «кубистов» и прочих «левых» в живописи.

На примере своей работы над стихотворением «Сергею Есенину» Маяковский рассказывает, во-первых, о том, как возникли тема и тенденция (цель) будущей его работы в размышлениях о реальном общественном значении есенинского самоубийства. Затем — о своём старании «обогнать время», то есть реально представить себе общественные отклики на этот факт, отойдя от него, не подчиняясь одним лишь впечатлениям, конкретно и узко связанным непосредственно с фактом. Постепенно эти мысли вызвали во внутреннем слухе поэта ритм. «...Ритм — основа всякой поэтической вещи,

проходящая через неё гулом. Постепенно из этого гула начинаешь вытискивать отдельные слова». «Объяснить его нельзя, про него можно сказать только так, как говорится про магнетизм или электричество. Магнетизм и электричество — это вид энергии. Ритм может быть один во многих стихах, даже во всей работе поэта, и это не делает работу однообразной, так как ритм может быть до того сложен и трудно оформляем, что до него не доберёшься и несколькими большими поэмами». Размеры, «даже канонизированный свободный стих» — это частные приспособления ритма для какого-нибудь отдельного случая. «Поэт должен развивать в себе именно это чувство ритма...». «Размер получается у меня в результате покрытия этого ритмического гула словами, словами, выдвигаемыми целевой установкой (всё время спрашиваешь себя: А то ли это слово? А кому я его буду читать? А так ли оно поймётся? и т. д.), словами, контролируемые высшим тактом, способностями, талантом». «Первым чаще всего выявляется главное слово — главное слово, характеризующее смысл стиха, или слово, подлежащее рифмовке. Остальные слова приходят и вставляются в зависимости от главного».

Процесс заполнения ритма словами — это превращение первоначального замысла в развитую мысль. Она становится вполне конкретной, выясняются составляющие её части, связи и переходы между ними во всех своих оттенках, и разрабатывается концовка произведения, почти всегда заключающая в себе главный вывод. Вся эта работа, говорит Маяковский, постоянно проверяется сознанием и слухом. Маяковский требует от поэта сознательного отношения к работе, но сознательность — это совсем не то же самое, что рассудочность.

Окончательная звуковая обработка стиха очень часто бывает работой по очистке его от всего излишнего, мешающего воспринять содержание. Декаденты увлекались звуковой раскраской. Но, — пишет Маяковский, — «эта «магия слов», это — «быть может, всё в жизни лишь средство для ярко певучих стихов», эта звуковая сторона кажется так же многим самоцелью поэзии, это опять-таки низведение поэзии до технической работы». «...Сделав основную работу, о которой я говорил вначале, многие эсте-

тические места и вычурности надо сознательно притушовывать...»

Очердность этих трёх моментов работы, конечно, относительная — многое происходит одновременно; только зарождение ритма предшествует другим, потому что оно больше связано с замыслом. Но и в процессе собственно сложения стихов продолжается окончательная «шлифовка ритма».

В результате всей этой работы стихи должны быть «сделаны», то есть всё в них должно иметь смысл, назначение, быть необходимым для решения темы. Всё лишнее порождает лишь «водянистость».

Пусть бы кто-нибудь из говорящих или намекающих насчёт «устарелости» Маяковского или его «формализма» и «левачества», по причине которых у него якобы нечему учиться, нашёл бы серьёзное подтверждение такому мнению в самом Маяковском! Но этого не делают и этого сделать нельзя.

Верно, что его «антиклассицизм» в первые годы был односторонним, преувеличенным; конечное отношение, к которому он пришёл, было правильным:

«Если я выступаю против классиков, то отнюдь не за их уничтожение, а за изучение, за проработку их, за использование того, что есть в них полезного для дела рабочего класса. Но не нужно относиться к ним безоговорочно, как часто встречается у нас».

Так же решительно Маяковский возражал против попыток восторженных поклонников превратить его самого, Маяковского, в общеобязательный образец:

«Пагубнейшая ложь была бы, если бы какому-нибудь молодому рабочему, который пишет безграмотно, а будет писать в двадцать раз лучше меня, скажут — да брось, товарищ, этим делом заниматься, ничего не выйдет, у нас этим занимается Маяковский».

Всё, чему учит пример собственного развития Маяковского, всё основное, чему он учил в высказываниях о поэзии, сводится к тому, чтобы открыть дорогу бесконечному развитию поэзии социалистического реализма — к тому, чтобы у нас было «по больше поэтов хороших и разных». Маяковский расчищал им дорогу от школьно-рутинных предрассудков и учил сознательной, максимально добросовестной работе над стихом. Он помог всем поэтам твор-

чески подходить к их новым задачам, используя—без подражания—всё, что сделали русские поэты до него, и всё, что сделал он сам. И он дал в своём творчестве большое богатство образов поэтического мышления, мимо которых не пройдёт ни один советский поэт.

В заключение скажем ещё о тех сомнениях в необходимости учиться у Маяковского, которые происходят из ошибочного требования, чтобы «образцовый поэт» был поэтом универсальным, своего рода хрестоматией, где можно найти всё, рецепты на все случаи жизни. Конечно, для такой роли Маяковский не годится. Он не был поэтом всеобъемлющим. Например — и это самая его большая односторонность, — он не был поэтом песенным; он сознательно закрыл для себя эту область. В его борьбе за революционное обновление поэзии не малую роль (гораздо большую, чем у Некрасова, которого ведь тоже обвиняли в «прозаизме») играло внедрение общественно-политической точки зрения на повседневные явления жизни масс в форме резкой, прямой, включающей как можно больший конкретный материал. Песня, с её музыкально-напевным, строго-регулярным размером, была для него слишком «ласкающей ухо», она шла вразрез с его главной задачей; он целиком отдал все свои силы поэзии ораторской и разговорной. Тому, кто на протяжении одной своей короткой жизни сделал в этом направлении так много, было бы неумно бросать упрёк в том, что он не сделал всего. Но можно ли сказать, что для поэтов, работающих над песней, Маяковский остался или должен остаться «без последствий»? Это было бы в высшей степени близоруко. Авторы песен с большой пользой могут поучиться у Маяковского умению выбирать жизненную тему и разрабатывать её «тенденционно», решая задачу в соответствии с насущными потребностями нашего общества. Для них, может быть, ещё важнее, чем для поэтов склада Маяковского, развить в себе требуемое им чувство ритма — целостной основы внутреннего движения всей вещи. Маяковский даёт им также принципы отбора словесного материала, отсева всех «условно-поэтических» («условно-песенных») шаблонных, устарелых слов, не соответствующих духу нашего времени. Наконец, автор песен может широко ис-

пользовать примеры, разнообразнейших рифм Маяковского.

Разумеется, у Маяковского есть недочёты, но этот поэт жил и работал в «великую эпоху ломки человеческих отношений».

А революция не парад, а война. Каждый бой, как бы он ни был продуман и обеспечен, таит в себе неожиданности: всего предвидеть нельзя. В условиях неясных, но требующих немедленных действий, возможны два рода ошибок. Один — когда без проволочек принимается смелое, но недостаточно обоснованное, может быть ошибочное решение, которое выполняется со всей энергией. Другой — когда выжидают, пока обстановка станет ясной, и потом принимают бесполезное, уже невыполнимое, но безукоризненно правильное решение, правильное задним числом. Ценится командир, не делающий ошибок нерешительности. Первый род решений часто даёт успех. Второй — почти никогда. Маяковский не медлил вступать в бой за социалистическую поэзию и почти всегда добивался победы, даже в тех случаях, когда в его предварительном решении бывали недосмотры и ошибки.

В революционной ломке и перестройке жизни изменчивая, неясная обстановка тоже не редкость. И здесь всего заранее предвидеть нельзя. Есть люди, которые в таких условиях отдают все свои силы выполнению неотложной задачи дня; потом иногда оказывается, что не всё ими было учтено, что задача была ими понята односторонне и выполнена слишком прямолинейно; возникла ошибка, её приходится исправлять. Есть, в тех же условиях, и такие люди, которые, чтобы не ошибиться, воздерживаются от поступков, а потом гордо носят свою непогрешимость — им стыдиться нечего. Но это тоже стыд, и самый скверный из стыдов. Маяковский его никогда не испытывал.

Человек большого, трезвого ума, он не бросался очертя голову туда, куда его толкала боевой темперамент. Он старался заглянуть вперёд на столько, на сколько это

было возможно. Но потом шёл до конца, пока не убеждался, что всё хорошее из задуманного сделано, а продолжение даёт только вред. Сознание своей частичной неправоты его не останавливало до тех пор, пока он был уверен, что без одностороннего приложения всех сил к одной точке не добьёшься полезной цели.

Маяковский ошибался не раз. Не всегда ошибка замечалась во-время; то, что он делал, было революцией — войной, а не парадом. От своих ошибок больше всех страдал он сам и сам их оплачивал — в молодости трудным одиночеством, потом не раз сознанием, что попусту истрачено много сил на поддержку писателей, с которыми ему не по пути, на исправление ветхой «левой» теории, которую пора было просто выбросить. И всегда он оплачивал ошибки напряжённой работой, умерить которую, казалось, было не в его власти.

Маяковский не считал свои достижения и неудачи только своим личным делом. Он всецело отдал себя на службу большевистской партии. За каждую творческую неудачу он чувствовал ответственность, как за плохо выполненное партийное поручение. Велик был труд, который возложило на Маяковского его суровое понимание обязанностей коммунистического поэта. Маяковский не мог жить иначе. Работа была ему тем дорожке, давала ему тем большее удовлетворение, что она принадлежала не ему одному, а всей любимой им социалистической стране.

Советский народ вознаграждал преданность Маяковского. Он раскрыл перед ним свою боль и свои радости, свои тревоги и свою твёрдую веру — всю свою трудовую, героическую, счастливую жизнь, которая наполнила произведения поэта и подняла их выше всего, что написано его современниками. Советский народ отплатил Маяковскому своей любовью. И Всесоюзная Коммунистическая партия — передовой отряд народа — сказала словами своего вождя:

«Маяковский был и остаётся лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи»



РАСЦВЕТ ЛИТЕРАТУР СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ НАЦИЙ

К. ЗЕЛИНСКИЙ

★

1. ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ

Расцвет литератур народов и национальных групп СССР — больших и «малых» — есть явление беспрецедентное в истории всей мировой культуры. И явление принципиально новое. Это подчёркивал М. Горький в 1934 году на Первом Всесоюзном съезде советских писателей. Никогда ещё не бывало так, чтобы свыше 60 народов и национальных групп создавали единую в своём социалистическом содержании литературу, в формах, соответствующих национальным традициям, и на своём языке.

В этом живом, развивающемся процессе становления многонациональной советской литературы отражаются глубочайшие изменения, которые произошли в нашей стране после Великой Октябрьской революции, за годы сталинских пятилеток. В корне изменились условия — политические, экономические и культурные, определяющие развитие литератур народов, населяющих Россию. В создании многонациональной советской литературы запечатлелся процесс образования в нашей стране новых социалистических наций, их политический и культурный рост.

Самый факт возрождения на советской почве народов и национальных групп, создание ими своей литературы (причём, даже народностями, не имевшими до Октября своей письменности) имеет громадное международное значение. Товарищ Сталин неоднократно подчёркивал международное значение Великой Октябрьской социалистической революции. Он говорил, что не только с точки зрения характера, но и ти-

па своего «...наша революция является революцией интернациональной по преимуществу, дающей картину того, чем должна быть в основном пролетарская революция в любой стране...»¹.

Картина развития многонациональной и многоязычной советской литературы показывает, чем может и должна стать литература в других странах по мере победы в них социализма. Бурный подъём советской многонациональной литературы сулит в будущем — там, где социализм будет одерживать верх — подобный же расцвет культуры десятков и сотен ныне бесправных, угнетаемых империализмом народов.

Сегодня, с одной стороны, пришли в движение под знаменем Октябрьской революции и под знаменем демократического лагеря мира сотни миллионов людей разных рас и наций в Азии, Африке, Америке, Европе. С другой стороны, лагерь англо-американских поджигателей войны ведёт агрессивный поход под лозунгами космополитизма, ликвидации национальных суверенитетов, ассимиляции народов и наций под эгидой американского монополистического капитала. В этой международной обстановке правда о создании многонациональной советской литературы приобретает принципиальное политическое значение. Она, эта правда, языком цифр и фактов говорит угнетённым народностям мира, низведённым империализмом до последней степени нищеты и бесправия: посмотрите на историю создания литературы советских народов, в ней вы увидите не только жизнь советских

¹ И. В. Сталин. Сочинения, т. 11, стр. 151.

людей всех национальностей; это—прообраз будущего.

Прежде чем обратиться к рассмотрению некоторых конкретных вопросов развития литератур народов СССР, следует привести важнейшие теоретические положения учения Ленина и Сталина о нации и национальной культуре. Эти положения определили ленинско-сталинскую национальную политику в советский период и обеспечили тем самым замечательный расцвет литературы братских народов в СССР.

Как известно, национальный вопрос всегда стоял в центре внимания основоположников марксизма. В беседе с первой американской рабочей делегацией товарищ Сталин говорил, что «Маркс и Энгельс, анализируя в своё время события в Ирландии, в Индии, в Китае, в странах Центральной Европы, в Польше, в Венгрии,—дали основные, отправные идеи по национально-колониальному вопросу»¹.

Ленин и Сталин, базируясь на этих идеях, развили их дальше, собрав в стройную систему взглядов, в которой национальный вопрос был разработан, как часть общего вопроса о международной пролетарской революции, как часть революционной борьбы пролетариата в России, как часть общей борьбы советского народа за коммунизм.

Как известно, партия Ленина—Сталина ещё на заре своего существования провозгласила принцип национального самоопределения народов. В своём труде «Марксизм и национальный вопрос» (1913), который Ленин назвал лучшим в марксистской литературе по данному вопросу, товарищ Сталин дал глубокую и всестороннюю разработку национальных проблем, создав законченное большевистское учение о нации. Предметом научного анализа в этой работе являются по преимуществу буржуазные нации, как порождение поднимающегося капитализма. И поэтому лозунг развития национальной культуры и литературы в условиях буржуазных наций рассматривается, как чисто буржуазный лозунг, служащий цели объединения всех слоёв населения под знаменем буржуазии, служащий классовому миру в интересах буржуазии. До первой мировой войны, когда в порядке дня стоял вопрос о буржуазно-

мократической революции в России, русские марксисты связывали национальный вопрос в России с судьбой демократического переворота. Товарищ Сталин писал: «...свержение царизма, ликвидация остатков феодализма и полная демократизация страны — являются лучшим решением национального вопроса, возможным в рамках капитализма»¹.

Уже в результате первой мировой войны были подорваны в корне силы империализма. Начало разгораться освободительное движение в колониальных и зависимых странах. Поднялись угнетённые народы Средней Азии против русского царизма. Появилась возможность создания единого фронта рабочего класса и крестьянства угнетённых и колониальных народов. В этот период Ленин и Сталин выдвигают лозунг свержения власти капитала, борьбы за диктатуру пролетариата. Ленин и Сталин выдвигают на первый план задачу ликвидации национальной вражды и национализма, призывают к укреплению интернациональных связей между народами.

Великая Октябрьская революция открывает новую эру в жизни народностей и наций, населявших Россию. В этот период судьба наций и народностей России оказывается всецело связанной с судьбой советской власти, советского государства, социалистического строительства.

Марксистская теория нации, развитая в гениальных трудах Ленина и Сталина по национальному вопросу, получила полное подтверждение как в ходе развёртывания освободительного движения в колониях, находящихся и находившихся под гнётом империализма во всём мире, так и, в частности, в ходе борьбы рабочего класса в России. Гениальные прогнозы, высказанные в сталинском учении о нации и национальной культуре, осуществлены в практике борьбы народов Советского Союза за социалистическое строительство уже в рамках своей государственности, на базе советской власти.

Товарищ Сталин лично руководил и руководит этим, не имеющим прецедента в мировой истории, грандиозным строительством, строительством социалистической культуры, многонациональной по своим формам, в котором участвуют на основе полного идейно-политического единства и друж-

¹ И. В. Сталин. Сочинения, т. 10, стр. 98.

¹ И. В. Сталин. Сочинения, т. 11, стр. 350.

бы народов десятки наций и народностей. В обращении ЦК ВКП(б) и Совета Министров СССР к товарищу Сталину в связи с его семидесятилетием говорится:

«С твоим именем, товарищ Сталин, связано разрешение одного из важнейших вопросов революции — национального вопроса. В братской семье советских народов ранее угнетённые нации добились невиданного политического, хозяйственного и культурного расцвета. Вдохновлённая тобой дружба народов СССР явилась великим завоеванием революции, одним из источников могущества нашей социалистической Родины»¹.

Многочисленные работы товарища Сталина по национальному вопросу в послеоктябрьские годы, основанные на живой практике пролетарской борьбы за социализм, на практике советской власти, представляют собой богатейший теоретический арсенал для народов всего мира в их освободительной борьбе. В этих работах мы находим ключ к пониманию путей развития культуры, и в частности литератур народов СССР. Здесь товарищ Сталин дал разрешение основному вопросу, с которым связаны судьбы национальных литератур в СССР и во всём мире — вопросу о роли и судьбе национальной специфики, национального начала при социализме.

Ленин и Сталин не раз отмечали существующее в развитии капитализма неразрешимое для него противоречие. Это противоречие заключается в том, что с одной стороны капитализм содействует сплочиванию людей в нации, а с другой стороны капитализму свойственна тенденция к созданию единого мирового рынка, мировых торговых связей. Капитализм является одновременно рассадником и воспитателем буржуазного национализма и в то же время рассадником и воспитателем космополитизма, как оборотной стороны национализма. Об этой последней стороне писал ещё К. Маркс в своей работе «К критике политической экономии»:

«Как деньги развиваются в мировые деньги, так товаровладелец развивается в космополита. Космополитическое отношение людей друг к другу первоначально представляет собою только их отношение как товаровладельцев. Товар сам по себе стоит выше всяких религиозных, политиче-

ских, национальных и языковых границ. Его всеобщий язык, это — цена, а его общественность (Gemeinwesen) это — деньги. С развитием мировых денег, в противоположность национальной монете, развивается космополитизм товаровладельцев, как вера практического разума, в противоположность традиционным религиозным, национальным и прочим предрассудкам, которые задерживают обмен веществ среди человечества. Когда то самое золото, которое прибывает в Англию в форме американских eagles («орлов»), становится здесь sovereignом, через три дня обращается в Париже как наполеондор, а через несколько недель оказывается в Венеции в виде дуката, сохраняя, однако, всегда ту же самую стоимость, — товаровладельцу становится ясно, что национальность «is but the guinea's stamp» (есть только знак гиней). Возвышенная идея, в которой для него растворяется весь мир, это — идея рынка, мирового рынка»¹.

В социализме же две тенденции — к сплочению людей в нации и к интернациональному их сближению — получают подлинное разрешение. «Всеобщим языком» коммунизма является не цена на товар, а ленинско-сталинский язык борьбы за освобождение трудящихся во всём мире от капиталистической эксплуатации и создание такого общественного строя, при котором всё истинно человеческое получает в человеке полный расцвет. И в эту борьбу каждая национальность привносит свою печать — не гиней или доллара, а печать своих народных, исторических, национальных традиций и форм. Национальность становится не пособником и формой буржуазной культуры, как в буржуазных нациях, а пособником и формой социалистического строительства, социалистической культуры.

Если империализм в своей борьбе за единство мирового рынка ломает и скручивает нации и народности, а сегодня выдвигает откровенный лозунг ликвидации национальных суверенитетов в угоду интересам американского капитала, то коммунизм, наоборот, в борьбе за единство трудящихся всего мира, в борьбе за пролетарский интернационализм выдвигает лозунг расцвета национальных культур на базе социализма.

¹ К. Маркс. К критике политической экономии. Госполитиздат, 1949, стр. 152.

¹ «Правда» от 21 декабря 1949 года.

С гениальной ясностью и глубиной все эти вопросы были поставлены и разрешены товарищем Сталиным в ряде статей и выступлений ещё 1922—1925 годов. Разоблачая ренегата Каутского, выдвинувшего идею ликвидации национальных различий, товарищ Сталин говорил в своей знаменитой речи на собрании студентов Коммунистического университета трудящихся Востока 18 мая 1925 года: «До сих пор дело происходило так, что социалистическая революция не уменьшала, а увеличивала количество языков, ибо она, встряхивая глубочайшие низы человечества и выталкивая их на политическую сцену, пробуждает к новой жизни целый ряд новых национальностей, ранее неизвестных или мало известных. Кто мог подумать, что старая царская Россия представляет не менее 50 наций и национальных групп? Однако, Октябрьская революция, порвав старые цепи и выдвинув на сцену целый ряд забытых народов и народностей, дала им новую жизнь и новое развитие»¹.

В этих словах заключается разъяснение того замечательного факта, что литература в СССР развивается, как единая литература десятков народов и народностей, что свою литературу начинают создавать такие ранее забытые и неизвестные народности, которые в старой России существовали на самой первобытной стадии хозяйства и культуры и были обречены на вымирание.

В той же речи товарища Сталина содержалось классическое определение характера новой культуры, к строительству которой приступили все народности России под эгидой советской власти:

«Мы строим пролетарскую культуру. Это совершенно верно. Но верно также и то, что пролетарская культура, социалистическая по своему содержанию, принимает различные формы и способы выражения у различных народов, втянутых в социалистическое строительство, в зависимости от различия языка, быта и т. д. Пролетарская по своему содержанию, национальная по форме,— такова та общечеловеческая культура, к которой идёт социализм. Пролетарская культура не отменяет национальной культуры, а даёт ей содержание. И наоборот, национальная культура не отменяет пролетарской культуры, а даёт ей форму. Лозунг национальной культуры был лозун-

гом буржуазным, пока у власти стояла буржуазия, а консолидация наций происходила под эгидой буржуазных порядков. Лозунг национальной культуры стал лозунгом пролетарским, когда у власти стал пролетариат, а консолидация наций стала протекать под эгидой Советской власти. Кто не понял этого принципиального различия двух различных обстановок, тот никогда не поймёт ни ленинизма, ни существа национального вопроса»¹.

Таковы принципиальные, теоретические основы развития литератур народов СССР.

В своей работе 1929 года «Национальный вопрос и ленинизм», опубликованной впервые в 11 томе Сочинений, товарищ Сталин развивает далее своё учение о нациях буржуазных — и социалистических, образующихся на базе старых буржуазных наций.

Товарищ Сталин даёт в этой работе классическое определение духовного и социально-политического облика новых социалистических наций:

«Рабочий класс и его интернационалистическая партия являются той силой, которая скрепляет эти новые нации и руководит ими. Союз рабочего класса и трудового крестьянства внутри нации для ликвидации остатков капитализма во имя победоносного строительства социализма; уничтожение остатков национального гнёта во имя равноправия и свободного развития наций и национальных меньшинств; уничтожение остатков национализма во имя установления дружбы между народами и утверждения интернационализма; единый фронт со всеми угнетёнными и неполноправными нациями в борьбе против политики захватов и захватнических войн, в борьбе против империализма,— таков духовный и социально-политический облик этих наций»².

Создание новых литератур у этих социалистических наций явилось одним из выражений общего процесса преобразования наций. Если раньше в этих нациях господствующей социально-политической и идеологической силой была националистическая буржуазия, феодально-церковная верхушка, то после Октябрьской революции господствующей силой стал рабочий класс и его интернационалистическая партия большевиков.

¹ И. В. Сталин. Сочинения, т. 7, стр. 138.

² И. В. Сталин. Сочинения, т. 11, стр. 339.

¹ И. В. Сталин. Сочинения, т. 7, стр. 139.

Товарищ И. В. Сталин в своём труде «Национальный вопрос и ленинизм» глубоко раскрывает преобразующую роль большевистской партии в процессе создания новых социалистических наций. Ход развития многонациональной советской литературы показывает, что большевистская идеология и постоянная организующая, практическая помощь партии Ленина — Сталина явились той животворной силой, благодаря которой подымались ростки новой советской литературы. Решения ЦК ВКП(б) по вопросам литературы и искусства, начиная с письма о Пролеткультах в 1920 году до исторических постановлений последнего времени по идеологическим вопросам, неизменная забота ЦК партии и лично Ленина и Сталина о большевистском воспитании писателей — всё это определило подъём и расцвет литературы всех народов Советского Союза.

Подлинно гуманистические идеалы коммунизма, большевистской партии вдохновляют молодую советскую поэзию, драматургию и прозу братских народов СССР. Идея дружбы народов воодушевляет писателей всех наций Советского Союза. В литературных братских народов звучит признание особой исторической роли русского народа, как руководящей силы всего Советского Союза.

...О братство всех народов!
Только тот
тебя со всю глубиной поймёт,
кто, словно виноградник одинокий,
объятый
целой армией
ворон,
стоял в долине
у большой дороги,
где вьются ветры
с четырёх сторон.
И потому
с волнением таким,
услышав гром «Интернационала»,
мы сердцем повторяли этот гимн,
и радость наши плечи поднимала.
В рабочих Питера
увидя свой оплот,
за Октябрём
пошли мы грозным маршем.
Мы шли за русскими,
как младший брат идёт
за старшим.

Так писал в своей поэме «Голос Родины» армянский поэт Наири Зарьян. Этими же мыслями и чувствами проникнуты стихи киргизского поэта Кубанычбека Маликова, узбекского поэта Хаида Алимджана, украинского поэта Микола Бажана, белорус-

ского поэта Якуба Коласа. Тема братства и дружбы советских народов стала содержанием целых книг стихов. Таковы, например, книги украинского поэта Павло Тычины «Чувство семьи единой» и латышского поэта Яна Судрабална «В братской семье».

Величественная тема коммунизма, партии стала содержанием множества художественных произведений на десятках языков народов СССР. История многонациональной советской литературы полностью подтверждает слова товарища В. М. Молотова: «Нельзя считать случайностью, что ныне лучшие произведения литературы принадлежат перу писателей, которые чувствуют свою неразрывную идейную связь с коммунизмом».¹

Под знаком этой неразрывной связи с коммунизмом идёт всё развитие советских литератур.

Гениальный поэт-новатор Маяковский глубоко раскрыл волнующее поэтическое содержание дел и замыслов большевиков. Идея коммунизма вдохновляла его поэзию. В этой идее черпают сегодня свою силу лучшие творения советских писателей, получающие всенародное признание.

Идейной вершиной в литературах народов СССР является поэзия любви и благодарности Ленину и Сталину — вождям и вдохновителям победоносного движения к коммунизму. В стихах о Сталине и к Сталину с могучей силой гремит голос свободных и счастливых социалистических наций, полно выражает себя животворный советский патриотизм, соединяющий все народы в братскую семью. Просто и хорошо сказала литовская поэтесса Саломея Нерис в своей известной «Поэме о Сталине»:

Но Сталин к солнцу путь широкий
Открыл для всех земных племён,
Теперь для нас настали сроки,
И явью стал наш давний сон!

Сталин — это поэзия, это сама жизнь, это будущее «земных племён» и народов. В этом имени соединилось всё самое дорогое и передовое, что присуще духовному облику социалистических наций.

Таким образом идейное содержание, темы, образы, сюжеты, пафос литератур новых социалистических наций всецело выражают новый духовный облик этих наций, их новые социально-политические устремле-

¹ «Правда» от 7 ноября 1947 года.

ния. Можно привести бесчисленное множество примеров в подтверждение того, что новые советские литературы — русская, украинская, белорусская, татарская, башкирская, узбекская, казахская, азербайджанская, грузинская, армянская и литературы других советских наций — коренным образом отличаются от дореволюционных литератур этих народов, подобно тому, как сами новые социалистические нации коренным образом отличаются от прежних наций, населявших Россию.

На примере истории литератур народов СССР мы видим, что кадры этих литератур образовывались путём происходившего в обстановке классовой борьбы идейного перевоспитания писателей старшего поколения и, главным образом, путём выращивания новой писательской интеллигенции из рабочих и крестьян.

Зачинателями новых советских литератур у многих народов СССР, обладавших к моменту Октябрьской революции развитыми литературными традициями и своей литературной интеллигенцией, явились писатели старшего поколения. В огне классовой борьбы многие из них прошли революционную школу очищения от скверны буржуазной идеологии и приобрелись к новому миру. Нельзя недооценивать принципиального значения этого духовного обновления писателей старшего поколения под влиянием благородных идей большевизма.

Творчество таких писателей заслуженно пользуется сейчас признанием у народа. Достаточно сослаться на армянского поэта Аветика Исаакяна, грузинского — Галактиона Табидзе, украинских поэтов — Павло Тычину и Максима Рыльского. История творческого и идейного развития этих писателей — яркий пример благотворного, оздоравливающего воздействия, которое оказывает на рост литературы вся атмосфера социалистических наций.

Среди литератур народов СССР есть и такие (их свыше тридцати), подлинное рождение которых связано с Октябрем. Кадры писательской интеллигенции многих народов прошли только советскую школу. Из этого нельзя, конечно, сделать вывода, что писатели новых поколений не связаны с историческими и культурными традициями своих народов.

Создание новых, советских социалистических литератур у братских народов было

процессом, определявшимся в первую очередь борьбой за их идейное содержание, за их большевистскую идейность, борьбой против пережитков великодержавного шовинизма и буржуазного национализма, космополитизма, низкопоклонства перед иностранщиной, против всяческих проявлений буржуазной идеологии. Уничтожение остатков национализма во имя установления дружбы между народами и укрепления передовых национальных традиций, выработанных в трудовой практике народов, было необходимым условием роста советских литератур в национальных республиках и национальных областях СССР. В своей речи на Четвёртом совещании ЦК РКП(б) с ответственными работниками национальных республик и областей в 1923 году товарищ Сталин говорил: «Национализм — основное идейное препятствие по пути выращивания марксистских кадров, марксистского авангарда на окраинах и в республиках». И далее: «Борьба с этим врагом в республиках и областях представляет ту стадию, которую должны пройти наши коммунистические организации в национальных республиках, если они хотят укрепить как действительно марксистские организации»¹.

Борьба с буржуазным национализмом характеризует также и процесс формирования отрядов советских литератур в республиках и национальных областях СССР. Хамид Алимджан в своей работе «Литература узбекского народа» (1943 г.) утверждал, что если бы узбекская литература не преодолела в своём развитии проявления буржуазного национализма, советской узбекской литературы, как литературы социалистической, не существовало бы вообще.

То же самое можно сказать и в отношении казахской, якутской, бурят-монгольской, белорусской, украинской и других больших и «малых» литератур. Национальная форма литературы, её традиции, исторические обычаи, фольклор, местный словарь, этнографические особенности — всё это, как показывает история становления национальных литератур после Великой Октябрьской революции, не раз использовалось буржуазными националистами для противопоставления социалистическому содержанию.

¹ И. В. Сталин. Сочинения, т. 5, стр. 308 и 309.

На современном этапе буржуазный национализм в литературе проявляется уже не в столь открытых формах идеологической борьбы, в каких он проявлялся в двадцатых и начале тридцатых годов, то есть не в форме прямой пропаганды буржуазно-националистических теорий в литературоведении, критике, истории, и не в виде создания националистических литературных организаций (как «Ваплите» на Украине, «Узвышша» в Белоруссии и т. п.). Ныне буржуазно-националистические влияния проступают в более утонченном и завуалированном виде. Чаще всего делается попытка противопоставить национальную форму и традиции прошлого своего народа социалистическому содержанию его сегодняшней жизни. Отсюда — идеализация старины, фетишизация таких местных этнографических признаков национального бытия, которые отгораживают это бытие от жизни других народов. Возьмём, например, роман К. Гамсахурдиа «Давид-строитель», рисующий Грузию XII века в период подъёма её культуры и укрепления её государственности. В центре исторического полотна К. Гамсахурдиа — главным образом придворная жизнь. Художник — а К. Гамсахурдиа бесспорно талантливый художник — в своём романе идёт к созданию национального исторического колорита ошибочным путём, путём флюберовской «Саламбо». Вместо того, чтобы образно раскрыть содержание эпохи, К. Гамсахурдиа любовно живописует обычаи, утварь, одежду, этнографические признаки бытия аристократической верхушки древней Грузии.

Это происходит в значительной мере благодаря порочной идейной позиции, слабости художественного метода писателя, а также в силу отсутствия критического восприятия национальной формы, отсутствия отбора из неё её лучших передовых элементов, в силу тяготения художника к поэтизации всех без разбора национальных особенностей и некритического культивирования им национальной формы в окаменевшем состоянии, включая пережитки, идущие от феодально-родовой старины.

О том, насколько серьёзным может быть давление такой старой национальной формы, если её брать в «освящённом веками» статическом состоянии, что свойственно идейно отстающим писателям, свидетельствуют решения ЦК КП(б) Азербайджана по

вопросам литературы. Эти решения подчёркивают, что некритическое воспроизведение фольклорных образов и поэтики в применении к изображению советских людей нашего времени (эту ошибку совершили даже некоторые виднейшие писатели Азербайджана) приводит к искажению духовного облика советского положительного героя. И здесь уместно вспомнить общее теоретическое положение о соотношении формы и содержания, развитое в работе товарища И. В. Сталина «Анархизм или социализм?». Товарищ Сталин писал:

«Содержание без формы невозможно, но дело в том, что та или иная форма, ввиду её отставания от своего содержания, никогда полностью не соответствует этому содержанию, и, таким образом, новое содержание «вынуждено» временно облечься в старую форму, что вызывает конфликт между ними. В настоящее время, например, общественному содержанию производства не соответствует форма присвоения продуктов производства, которая имеет частный характер, и именно на этой почве происходит современный социальный «конфликт».

Товарищ Сталин, говоря о конфликте между формой и содержанием, разъясняет, что «...конфликт существует не между содержанием и формой вообще, а между старой формой и новым содержанием, которое ищет новую форму и стремится к ней»¹.

Эти теоретические положения товарища Сталина могут служить ключом к пониманию новаторского подвига Маяковского в поэзии и путей развития национальной формы в литературах народов СССР.

Народное творчество оплодотворяет литературу жизнеутверждающей традицией, созданной в трудовой практике народных масс, богатством и свежестью вечно растущего образного народного языка, но одновременно фольклор несёт в себе и устаревшие традиционные формы (традиционный эпитет или метафору, например), а также и элементы идеологии, навязанной в прошлом народному творчеству эксплуататорскими классами. Революционное содержание неизбежно приводит к ломке традиционной формы и дифференциации её элементов. Слепое использование застывших форм ста-

¹ И. В. Сталин. Сочинения, т. 1, стр. 317, 318.

рой, изжившей себя поэтики (хотя последняя и освящена национальной традицией) обуславливает создание псевдонародной, а не народной литературы. В этом случае поэтика древнего фольклора становится препятствием на пути развития социалистического реализма. Для значительного числа литератур советского Востока (Казахстана, Киргизии, Туркмении, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Якутии, Бурят-Монголии) проблема преодоления устарелых национальных форм и традиций, отражающих пережитки феодального и феодально-родового прошлого (сравнительно столь недавнего), приобретает особое значение. Это — проблема глубокого овладения методом социалистического реализма.

Товарищ Сталин идейно вооружил всю советскую многонациональную литературу, дав определение её художественного метода как метода социалистического реализма. Социалистический реализм, говорил Горький, вырастает из данных социалистического опыта. Национальная форма — есть конкретная реальность человеческого бытия. И поэтому чем глубже реализм писателя, тем больше он «ухватывает» и от этой конкретности, от национального бытия. Здесь патриотизм сливается с реализмом подлинного художника.

Михаил Шолохов — русский советский писатель. Однако национальное своеобразие творчества М. Шолохова, как русского писателя, проявляется наиболее ярко не только и не столько в языковой окраске, в местном колорите (что особенно даёт себя знать в первом томе «Тихого Дона»), а в изображении характера русского человека, в изображении того нового, что определяет духовный облик русского человека социалистической советской эпохи.

То же можно сказать и о другом известном советском писателе Мухтаре Ауэзове. М. Ауэзов — советский писатель казах-

ского народа, избравший предметом своего изображения казахскую жизнь. Однако национальное своеобразие этой жизни с большей глубиной и определённой выступает не там, где он красочно живописует ныне уже отмерший, древний похоронный обычай кочевых казахов, сопровождавшийся массовым пиром — асом (в романе «Абай»), а там, где он становится истинным реалистом в духе традиций русской классической и советской литературы, где он раскрывает классовое, человеческое содержание народной казахской жизни.

Национальная форма в литературе непосредственно связана сегодня с развитием социалистического реализма. Чем глубже, реалистичнее, правдивее будет раскрываться с точки зрения нашей советской современности характер положительного героя многонациональной советской литературы во всём многообразии национальных проявлений его бытия, тем ярче и убедительнее будет выступать в литературе её национальная форма. И наоборот, чем больше писатель будет романтизировать отжившие формы и представления прошлого, тем дальше он будет от социалистического содержания нашей литературы, тем беднее и беспомощнее будет его «национальная форма». Проблема уничтожения остатков национализма, о которой писал товарищ Сталин, сегодня переносится также и в самую глубь художественного метода литературы, становится частью борьбы за высокую художественную форму литературных произведений.

Всё в художественном произведении, и прежде всего форма, должно быть подчинено главной задаче — выразить идейный смысл произведения «Надо в каждой пылинке будить уметь большевистского пафоса медь», — говорил Маяковский («Не юбилейте!»).

2. ПУТИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Сегодня в СССР мы являемся свидетелями замечательного расцвета социалистических наций и их культуры, наций больших и «малых», многомиллионных и насчитывающих в своём составе лишь немногие тысячи людей. В результате побед сталинских пятилеток в Советской стране достигнуто не только политическое равенство наций.

В результате сталинских пятилеток произошёл решительный подъём в развитии экономики и культуры ранее отсталых в этом отношении народов и народностей. У каждой нации получили развитие её главные признаки — язык, экономическая и культурная общность. Нации Советского Союза сумели создать свою государственность,

объединить свои территории. Воссоединился в рамках своей государственности украинский народ, белорусский народ. «Никогда,— говорил тов. Г. М. Маленков в своём докладе о 32-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, — в истории нашей Родины не были столь сплочёнными, между собой народы, населяющие её необъятные просторы. Царившие до революции раздор и ненависть между нациями уже давно сменились в нашей стране дружбой и братским сотрудничеством всех народов. В великом содружестве наций в Советском Союзе нашли выход творческие силы больших и малых народов.

Никогда на протяжении всей своей истории наша Родина не имела столь справедливо и хорошо устроенных государственных границ»¹.

Создание новых социалистических наций на базе старых буржуазных наций сопровождалось пересмотром всего культурного наследия народов с позиций ленинского учения о двух культурах, отбором из этого наследия всего истинно-народного, прогрессивного, того, что может быть включено в арсенал новой, социалистической культуры. Этот процесс имел место и в развитии литературы народов СССР: их рост был связан с практическим обращением к образцам родной литературы прошлого, учёбой у классиков, у народной поэзии. Он сопровождался также острой классовой борьбой вокруг литературного наследия прошлого каждого из народов.

Одной из характерных особенностей советской литературы, как литературы многонациональной, является то, что в ней получило отражение множество самых разнообразных исторических национальных традиций советских народов. Это создало исключительное многообразие форм, в которых развиваются советские литературы: от песни ашуга до современного реалистического романа с его многоплановым построением, обрисовкой психологии действующих лиц, исторических событий, общественных отношений и т. п.

Такое многообразие объясняется в частности тем, что в строительстве социалистической культуры вовлекались народы, находившиеся к моменту Октябрьской революции на различных ступенях исторического развития. Таким образом, для харак-

тера формирования социалистического реализма в той или иной национальной литературе имело существенное значение, на какой ступени исторического развития застала Октябрьская революция каждый из народов.

Как определить закономерности и различные типы развития советской литературы у разных народов?

Ответ на это мы также находим в трудах товарища Сталина, и прежде всего в великой сталинской программе возрождения народов после Октября.

Великий сталинский план вовлечения всех без исключения народов России в социалистическое строительство исходил прежде всего из следующего положения: необходимо ликвидировать фактическую отсталость некоторых наций, помочь им сначала догнать центральную Россию. С предельной чёткостью об этом говорил товарищ Сталин на X съезде РКП(б): «Суть национального вопроса в РСФСР состоит в том, чтобы уничтожить ту фактическую отсталость (хозяйственную, политическую, культурную) некоторых наций, которую они унаследовали от прошлого, чтобы дать возможность отсталым народам догнать центральную Россию и в государственном, и в культурном, и в хозяйственном отношениях»¹. Ленинско-сталинская национальная политика исходила из установления подлинного равноправия, равноправия не только политического, но и экономического, и культурного. Речь шла о практических мерах для достижения такого равноправия, в частности о создании на окраинах, в национальных районах очагов промышленности.

«Ряд республик и народов, не прошедших или почти не прошедших капитализма, не имеющих или почти не имеющих своего пролетариата, отставших ввиду этого в хозяйственном и культурном отношении, не в состоянии полностью использовать права и возможности, предоставляемые им национальным равноправием, не в состоянии подняться на высшую ступень развития и догнать, таким образом, ушедшие вперёд национальности без действительной и длительной помощи извне»², — писал товарищ Сталин в 1923 году накануне XII съезда РКП(б).

¹ «Правда» от 7 ноября 1949 года.

¹ И. В. Сталин. Сочинения, т. 5, стр. 39.

² И. В. Сталин. Сочинения, т. 5, стр. 188.

В своём докладе по национальному вопросу на X съезде РКП(б) товарищ Сталин говорил:

«В России насчитывается двадцать две окраины, причём одни из этих окраин сильно задеты промышленным развитием и мало чем отличаются от центральной России в промышленном отношении, другие не прошли еще стадию капитализма и в корне отличаются от центральной России, третьи совершенно забыты»¹.

Далее товарищ Сталин разбивает невеликорусские нации на несколько групп, выделяя в одну из групп миллионов 25 турецкого населения, не прошедшего капитализма, выделяя также скотоводческие племена, «где родовой быт ещё жив и которые еще не перешли к земледельческому хозяйству»².

Эта классификация бросает яркий свет и на типы развития советских литератур в последующие годы, когда ликвидировалось фактическое неравенство и происходило социалистическое возрождение народов.

Со всей определённостью следует подчеркнуть, что Великая Октябрьская социалистическая революция в развитии всех литератур народов СССР представляет собой рубеж принципиального, решающего значения. То, что создано в области литературы у большинства советских народов после Октября, ни в какое сравнение не может быть поставлено с тем, что было создано в прошлые века. Нельзя рассматривать литературный процесс у большинства народов СССР, как гладкое и постепенное нарастание всё новых и новых литературных памятников, равномерное обогащение культурного фонда народа. Так в действительности не было. Были провалы, подъёмы, угасания, возобладание фольклора, новое появление письменности и т. п. Всё это отражало полную превратностей историческую жизнь народов. Была борьба классов, борьба двух культур. Нельзя проводить единую непрерывную линию развития, например, киргизской литературы от енисейских надписей до Аалы Токомбаева или литовской литературы от первого молитвенника на литовском языке, изданного 400 лет тому назад, до Саломеи Нерис.

На формирование советской литературы у народов СССР оказало и оказывает су-

щественное влияние прежде всего идейное воздействие великой воспитательной работы партии Ленина — Сталина, сама социалистическая действительность. На формирование советской многонациональной литературы оказывают воздействие и такие важные факторы, как влияние образцов русской классической и советской литературы, влияние образцов родной национальной классики, влияние устной народной поэзии, эпоса и лирики. Таковы главнейшие источники в создании национальной по форме и социалистической по содержанию советской литературы.

И здесь мы видим, что есть литературы, где крупнейшую роль сыграли образцы родного фольклора. Есть, наоборот, литературы, где фольклор не оказал почти никакого влияния на становление социалистического реализма. Мы видим, что есть литературы, где дают себя знать пережитки ещё феодального общества, есть литературы, наоборот, изживавшие в процессе своего развития декадентско-буржуазные влияния. Но есть такие советские литературы — и таких очень много, почти все десятки литератур, начинающие свою родословную лишь в советские годы, — которые в прошлом не знали, что такое декадентство, футуризм, урбанизм и прочее. Есть литературы, где художественная проза имеет давние и реалистические традиции, где художественная проза является ведущим жанром (например, в Латвии), и есть, наоборот, литературы, где ещё не создано ни одного произведения в духе современной реалистической прозы, нет романа (например, в литературе эвенков, чукчей). Есть литературы (например, марийская), где роман возник довольно рано (например, романы Шкетана), и в то же время фольклор оказывал и продолжает оказывать глубокое влияние (построение сюжета, поэтика) на формирование всей литературы.

Различия в путях формирования отдельных национальных советских литератур значительны. Мы не можем их игнорировать. Наоборот, строя сейчас историю советских литератур народов СССР, обобщая литературный опыт советских народов, мы должны проводить эту работу обязательно с учётом национального, исторического своеобразия каждой из литератур. В становлении советской литературы, как многонациональ-

¹ И. В. Сталин. Сочинения, т. 5, стр. 48.

² И. В. Сталин. Сочинения, т. 5, стр. 47.

ной литературы, есть начала, общие для всех народов. Это, прежде всего, те законы, которые управляют развитием всего советского общества, законы классовой борьбы, законы борьбы за коммунизм, критика и самокритика. Это социалистическое содержание литературы. Но в то же время в развитии социалистического реализма в каждой литературе есть свои особенности, своя национальная форма развития. Отсюда проистекает задача—при определении тенденций развития всякий раз считается с конкретными национальными условиями, с национальными традициями. То, что актуально для эстонской литературы сегодня, может оказаться несущественным для каракалпакской литературы. И наоборот.

Чем определяется национальная форма развития социалистического реализма? Не только, конечно, литературными традициями (письменности и фольклора), но и, прежде всего, культурно-экономическим уровнем развития данной народности. И в этой связи сталинская классификация двадцати двух национальных окраин должна явиться для нас руководящей. Ясно, что характер развития литератур тех народов, которые полностью или хотя бы частично (как, например, Азербайджан) оказались задетыми капитализмом, иной, чем тип развития литератур у народов ранее кочевых или бесписьменных. Но и внутри отдельных групп народов, в известной мере схожих по своим историческим судьбам, как, например, народы Средней Азии, Закавказья, Прибалтики, следует также различать свои национальные особенности в формировании социалистического реализма.

Итак, мы можем наметить три типа национальных форм развития социалистического реализма. Для первого типа, близкого к путям развития русской литературы, характерна преемственность национальных реалистических традиций прошлого, сравнительно небольшая доля влияния фольклора на развитие литературы в советские годы. Для второго типа развития характерна значительно большая доля влияния фольклора на формирование советской литературы, имеющая место наряду с использованием образцов письменности феодального общества. Для литератур третьего типа характерно, особенно на первых порах, преобладающее воздействие фольклорных традиций. Но для всех трёх типов литератур

равно значительную роль в их развитии имела и имеет традиция русского классического реализма, традиция русских революционных демократов, традиция советской литературы.

К первому типу относятся литературы народов, прошедших полностью путь промышленного капитализма или в значительной мере задетых капитализмом, а потому в жизненном укладе своих городских центров мало отличавшихся от городов центральной России. Это литературы такого типа, как, например, украинская. Это литературы народов с развитой письменностью и оформленным литературным языком. Здесь задолго до Октябрьской революции уже была печать на своём национальном языке, кадры писательской интеллигенции, издавались журналы, альманахи и т. п. Однако развитие литератур всех народов дореволюционной России тормозилось с одной стороны руссификаторской политикой царского правительства, с другой стороны — той национальной ограниченностью, которую культивировала местная буржуазия, державшая в руках почти всю печать. Устное народное творчество у этих народов играло и раньше для общего развития литературы не главную роль, хотя у некоторых народов (например, народов Закавказья) оно главенствовало в деревне, среди крестьянства, которое было почти поголовно неграмотным. Устное народное творчество играло существенную роль и у народов Прибалтики—особенно в Латвии — где оно не только было оружием в борьбе народа против немецких баронов-помещиков, но и использовалось национальной буржуазией для целей борьбы за национальную культуру и национальное освобождение под знаменем буржуазии. Это привело к такому факту, что латвийский фольклор (преимущественно лирический, трудовой, крестьянский фольклор, фольклор, отразивший освободительное движение против немецких баронов) в течение ряда десятилетий деятелями «национального возрождения» культивировался, записывался и собирался самым тщательным образом. В результате, в Латвии собраны громадные фонды лирического фольклора, приближающиеся уже к трём миллионам единиц, что превышает фонды фольклора любого из других советских народов. Это и дало, в частности, основание Латвийской Академии

наук создать в своей системе (единственный в СССР) специальный Институт фольклора.

В то же время реально латышский фольклор при всей своей исторической ценности уже давно не оказывал и не оказывает теперь существенного влияния на формирование письменной литературы, на формирование самого реализма.

Наоборот, в Киргизии, где не было до Октября своей национальной буржуазии, где не было своей развитой письменности (если не считать арабской письменности мусульманских школ), где народ был сплошь неграмотным, — фольклор играл живую, творческую роль, как главный выразитель духовной жизни народа. Никто этот фольклор не записывал и не культивировал. Однако его пытались использовать бай и мусульманская знать в своих целях. И мы видим, что целый ряд памятников устного творчества киргизов и прежде всего монументальный эпос «Манас» содержит наслоения антинародного характера.

Если латыши собрали самый большой лирический фольклор, то киргизы сохранили самый большой эпос из народных эпосов мира. Однако и то и другое раскрылось во всей полноте только теперь в своём истинном историческом содержании и только в советской стране стало достоянием социалистических наций и всего советского народа. При всём том мы видим, что латышская литература смогла развить те элементы реализма, которые содержит всякий фольклор, раньше, чем киргизская литература, которой до Октября просто не существовало. Но замечательно другое, то, что латышская и киргизская литература соединились ныне на путях социалистического реализма, потому что советская колхозная действительность помогла заговорить на общем, едином языке и Анне Саксе, и Тугельбау Садыкбекову.

Разумеется, нельзя, повторяю, игнорировать тот факт, что каждый из названных писателей и каждая из указанных литератур пришли к завоеваниям сегодняшнего дня своим путём, отразившим свои национальные формы и традиции.

Для второго типа развития советских литератур характерно было на первых порах широкое обращение не только к образам письменности своего феодального прошлого,

но и к своему родному фольклору. Этот тип развития характеризует литературы, например, народов Средней Азии, затем младописьменных народов Кавказа. Разумеется, резкой грани между первой и второй группой провести нельзя. Но во всяком случае те народы, которые не прошли пути промышленного капитализма, не успели оформить своего литературного языка, начинали строить свою советскую, социалистическую по своему содержанию литературу на иной основе. Характерно, что, например, ранняя драматургия в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, да и в Азербайджане (Джафар Джабарлы) во многом представляет собой обработку фольклорных мотивов. Таковы первые пьесы Ауэзова («Енлик-Кебек»), Мусрепова («Баян Слы и Козы Корпеш»), Хамзы Хаким Заде и многих других писателей советского Востока. Фольклор, песни, пословицы, легенды — все это входит в ткань произведений большинства поэтов Средней Азии, Дагестана, Северного Кавказа. В иных случаях мы встречаем даже прямое культивирование фольклорных форм, в которые вкладывается новое содержание (например, стихи узбекских поэтов Чусты и Сабира Абдуллы).

В то же время во всех этих литературах налицо и традиция, идущая от литературных памятников далёкого феодального прошлого (у туркмен — Махтум Кули, у таджиков — Рудаки, Фердоуси, у узбеков — Алшшер Навои и т. д.).

Для литератур третьей группы, до революции бесписьменных народностей, характерно ещё большее преобладание фольклорной традиции. Третий тип литературного развития присущ тем народностям и национальным группам, которые после Октября совершили скачок от родового быта и кочевого полупатриархального хозяйства непосредственно к социализму, как, например, народности крайнего Севера и Дальнего Востока.

Такова исходная историческая позиция развития многонациональной советской литературы.

Торжество ленинско-сталинской национальной политики заключается в том, что она показала на примере строительства СССР пути возрождения и экономического и культурного расцвета всех народов и

национальных групп, показала возможность приобщения к строительству социализма всех решительно народов, на какой бы ступени исторического развития они ранее ни стояли. Осуществление великой сталинской программы возрождения народов показало также, что все народы и национальные группы смогли приобщиться к созданию искусства социалистического реализма, используя при этом свои национальные традиции, свою национальную специфику. Все народы создают свою родную литературу, социалистическую по содержанию и национальную по форме. И в том, что народы, ранее отсталые, а ныне неизмеримо поднявшиеся в своём культурном уровне, привносят свою национальную специфику в это строительство, заключается также принципиально важная черта развития советской многонациональной литературы, её особенное богатство.

Товарищ Сталин говорил на обеде в

честь Финляндской Правительственной Делегации 7 апреля 1948 года:

«Многие не верят, что могут быть равноправными отношения между большой и малой нациями. Но мы, советские люди, считаем, что такие отношения могут и должны быть. Советские люди считают, что каждая нация,— всё равно — большая или малая, имеет свои качественные особенности, свою специфику, которая принадлежит только ей и которой нет у других наций. Эти особенности являются тем вкладом, который вносит каждая нация в общую сокровищницу мировой культуры и дополняет её, обогащает её. В этом смысле все нации — и малые, и большие,—находятся в одинаковом положении, и каждая нация равнозначна любой другой нации»¹.

Этим духом равноправия определяются все типы и национальные пути развития социалистического реализма у всех советских народов, с разных исторических этапов идущих к общей цели — коммунизму.

3. ДВА МИРА — ДВЕ ТРАДИЦИИ

В формировании всех советских литератур имела и имеет существеннейшее значение советская идеология дружбы народов, разработанная в трудах Ленина и Сталина, связанная с традициями передовой демократической русской культуры и литературы. В статье «О национальной гордости великороссов» В. И. Ленин писал: «Чуждо ли нам, великорусским сознательным пролетариям, чувство национальной гордости? Конечно, нет! Мы любим свой язык и свою родину, мы больше всего работаем над тем, чтобы её трудящиеся массы (т. е. 9/10 её населения) поднять до сознательной жизни демократов и социалистов. Нам больше всего видеть и чувствовать, каким насильям, гнету и издевательствам подвергают нашу прекрасную родину царские палачи, дворяне и капиталисты. Мы гордимся тем, что эти насилья вызывали отпор из нашей среды, из среды великороссов, что эта среда выдвинула Радищева, декабристов, революционеров-разночинцев 70-х годов, что великорусский рабочий класс создал в 1905 году могучую революционную партию масс, что великорусский мужик начал в то же время становиться демократом, начал свергать попа и помещика»¹.

¹ В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4-е, т. 21, стр. 65.

Товарищ Сталин назвал ленинизм высшим достижением русской культуры. Идеи дружбы народов были близки и передовой демократической русской культуре и литературе. В частности, этим объясняется то всемирноисторическое значение, которое приобрела русская классическая литература. Её глубокий гуманизм и народность проявились также и в величайшем интересе и сочувствии к угнетённым народностям многонационального русского государства.

Эта традиция идёт от Ломоносова, Радищева и Пушкина. Пушкин умел проникать в жизнь всех народов, которые он изображал. С воодушевлением пишет Пушкин о национально-освободительной войне южных славян против турок («Воевода Милош», «Бонапарт и черногорцы»). Известны слова Пушкина в стихотворении к Мицкевичу о тех временах, когда все народы в единую семью соединятся.

С поразительной пронизательностью Пушкин — ещё до Белинского и Герцена — критикует язвы капиталистического общества в Англии и Америке (в статье «Джон Теннер»). Характеристика положения рабочего класса в Англии, данная Пушкиным в

¹ «Правда» от 13 апреля 1948 года.

его «Путешествии из Москвы в Петербург», живёт до сего дня.

Такая сила исторической проприетарности образована у Пушкина его подлинной народностью, глубокой связью с интересами и освободительной борьбой всего русского народа. В этом отношении Пушкин — основатель той гуманистической традиции в отношении к угнетённым народам, которая характеризует развитие всей передовой русской литературы. От Лермонтова («Измаил-бей») до Толстого («Хаджи-Мурат»), от Гоголя до Чехова вся передовая русская литература проникнута глубоким сочувствием к народам, угнетаемым царизмом.

Ф. Решетников в своей повести «Подлипцы» показывает, в какой беспросветной нужде и бесправии жила в царской России мордва; Короленко в рассказе «Сон Макара» горячо защищает права якутов, в так называемом «мультанском деле» он выступает на защиту удмуртов.

Как в художественных произведениях, так и в боевой публицистике А. М. Горького, направленной против царизма, национальный вопрос, защита угнетённых народностей занимает важнейшее место.

Не будет преувеличением сказать, что множество народностей России ещё задолго до Октября, позволившего им создать свою письменность и литературу, впервые заговорили с миром со страниц произведений русских писателей. Заговорили, как люди с высоко поднятой головой, с сознанием своего права на место под солнцем.

В этом сочувствии к угнетённым, забытым народам выражался патриотизм передовых русских писателей, которые никогда не смотрели на «инородцев» сверху вниз.

В. Белинский, воспользовавшись книгой Вл. Иславина «Самоеды в домашнем и общественном быту», писал в 1847 году в своей статье, звучащей прямой издевкой над дворянским низкопоклонством перед Западом: «Я знаю: вы человек любознательный и читатель неутомимый. Сведения ваши об Германии, Франции, Италии и многих других странах, подвергавшихся описанию путешественников, поразительны и бесспорно делают вам честь. Заговори с вами об Италии, вы не запинаясь скажете, какое там небо, какое солнце, какой воз-

дух, какие страсти... Ревнивые мужья, кинжалы, макароны, бандиты, огнедышащие горы — да что и говорить! Вы так хорошо знаете итальянскую природу и всё итальянское, как будто там и родились; вы даже легко могли бы написать драматическую фантазию из жизни итальянских художников. Заговори об Англии, об Объединённых штатах — вы и тут, как дома... но при всей вашей начитанности, вы не знаете самоедов: вам не дают книг об них. А, между тем, край, занимаемый ими, интересен; сами они, и как самоеды в особенности и как люди вообще, также достойны вашего внимания и — в высшей степени — вашего участия, как достоин его всякий несчастный, до последней степени подавленный и униженный — жид ли он, самоед или ближайший ваш родственник»¹.

«Даже крепкие самоедские плечи хрустят и подламываются под невыносимым и вчуже возмутительным бременем нужд самых страшных, притеснений самых произвольных и низких, какие достались на долю бедных и грубых дикарей, заброшенных в глухую неприветливую сторону, где не светит ещё и слабый луч цивилизации, делающей вашу жизнь так полною и роскошною, и куда мог проникнуть только бдительный глаз правительства»², — так писал Белинский о самоедах, или, как они ныне правильно называются, ненцах, обитающих в восточной части Архангельской области, в тундре, к северу от Вологды.

Хочется добавить к этим словам Белинского удивительные факты из нашей истории, истории советской эпохи. Распрямились плечи ненца, живущего под солнцем Сталинской Конституции. Те ненцы, которые дожили до Октябрьской революции, включились в строительство новой, социалистической жизни на Севере, создали свои оленеводческие колхозы, свои школы, свою письменность. Электричество и другие блага цивилизации пришли в Большеземельскую тундру. В годы Великой Отечественной войны в Большеземельскую тундру протянулась железная дорога к заполярному угольному бассейну — Воркуте. О людях этого необыкновенного строительства — о ненцах, русских, карелах, коми

¹ В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, Гослитиздат, 1948, т. 13, стр. 186.

² В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, Гослитиздат, 1948, т. 13, стр. 186.

написал реалистический роман коми-зырянский писатель Василий Юхнин. Это первый большой роман в литературе народа коми.

Для великого русского революционного демократа Белинского интерес к жизни нерусских народностей далеко не исчерпывался гуманистическим сочувствием к их человеческим требованиям и освободительной борьбе. Для него тот, кто равнодушно принимал и допускал национальное угнетение, был плохим патриотом. Национальный вопрос вообще был одним из центральных вопросов в системе взглядов Белинского на будущее человеческой культуры. Глубокое понимание истории великим критиком-демократом сказалось, прежде всего, в его трактовке роли и значения отдельных наций в общечеловеческом развитии. Беспощадно громя космополитов в своей замечательной статье «Русская литература в 1846 году», Белинский писал: «Без национальностей человечество было бы мёртвым логическим абстрактом, словом без содержания, звуком без значения. В отношении к этому вопросу, я скорее готов перейти на сторону славянофилов, нежели оставаться на стороне гуманистических космополитов...»¹.

Разоблачая внутреннюю гниль и пустоту «беспачпортных бродяг» — космополитов, Белинский говорит: «Напротив, наше время есть по преимуществу время сильного развития национальностей... Великий человек всегда национален как его народ, ибо он потому и велик, что представляет собою свой народ»².

В одной из своих статей Белинский говорит, что если настоящее историческое положение ещё и далеко от того, чтобы народы могли понять друг друга и объединиться, то всё же такое время настанет, когда они «обнимутся братски при торжественном блеске солнца разума»³. Говоря о «солнце разума», Белинский имел в виду социализм, который по цензурным условиям он не мог назвать своим именем. Он ещё не видел конкретно, какими историческими путями народы придут к творческой взаимообогащающей дружбе.

¹ В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, С.-Петербург, 1914, т. 10, стр. 408.

² В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, С.-Петербург, 1914, т. 10, стр. 410.

³ В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, Государственное изд., 1926, т. 12, стр. 393.

Но в силу присущей ему исторической проницательности Белинский иногда весьма близко подходил в своих суждениях к тем принципам, которые позже были сформулированы основоположниками марксизма-ленинизма, впервые давшими научное объяснение исторических процессов. «Все народы потому только и образуют свою жизнь одну общим аккордом всемирно-исторической жизни человечества, что каждый из них представляет собою особенный звук в этом аккорде, ибо из совершенно одинаковых звуков не может выйти аккорд»¹, — говорил Белинский, и хотя он и не понимал ещё смысла классовой борьбы пролетариата, призванного на основах социализма перестроить этот нестройный «мировой аккорд» народов, он уже видел вредоносную антинародную сущность космополитизма.

Эти мысли Белинского не теряют своего значения и в наши дни. Они как бы перекликаются с замечательными словами А. А. Жданова, сказанными на совещании деятелей советской музыки в ЦК ВКП(б) в январе 1948 года. «Глубоко ошибаются те, кто считает, что расцвет национальной музыки как русской, так равно и музыки советских народов, входящих в состав Советского Союза, означает какое-то умаление интернационализма в искусстве, — сказал тогда товарищ А. А. Жданов. — Интернационализм в искусстве рождается не на основе умаления и обеднения национального искусства. Наоборот, интернационализм рождается там, где расцветает национальное искусство. Забыть эту истину — означает потерять руководящую линию, потерять своё лицо, стать безродными космополитами»².

В своём учении о реализме Белинский непосредственно сочетает проблему связи искусства и действительности с утверждением той важной роли, какую играет национальный характер искусства. Недаром, желая особенно оттенить достоинства произведений Пушкина, Лермонтова, Крылова, Белинский говорит: это писал русский поэт.

В Белинском — в его отношении к национальностям и «малым» народностям с

¹ В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений. Петроград, 1917, т. 11, стр. 366.

² «Совещание деятелей советской музыки в ЦК ВКП(б)». Издательство «Правда», 1948, стр. 139—140.

наибольшей полнотой и теоретической глубиной воплотилось то, что можно назвать национальной традицией передовой классической русской литературы и особенно традицией русских революционных демократов.

Свой народообъемлющий патриотизм Белинский почерпнул, прежде всего, в самом русском народе, затем из передовых тенденций русской литературы, вынес из той революционной атмосферы последкабристского разночинного движения, которое воспитало самого Белинского и наиболее ярким представителем которого он сам был. Духом классовой борьбы проникнута выступления Н. Чернышевского по национальному вопросу (см. его замечательные статьи «Национальная безтактность» и «Народная безтолковость» с защитой прав украинского народа и идейных позиций Шевченко) Вспомним выступления Добролюбова, Герцена в защиту угнетённых народов. Мы вправе утверждать, что для всей прогрессивной русской литературы гуманистическое отношение к другим народностям поистине стало национальной традицией. Она захватила даже писателей отнюдь не революционного направления¹.

Разумеется, и в русской литературе были писатели империалистического пафоса (например, Н. Гумилёв). Были, наконец, и поборники монархизма и т. п. Но ни один крупный русский писатель не запятнал себя подобными устремлениями. Ни один подлинно значительный литератор не причастен к политике угнетения народов, проводившейся царизмом.

¹ И. Гончаров, например, писал в одном из писем к С. А. Толстой: «У нас некоторые заглядывают очень далеко вперед — я знаю: говорят, что это не важно, что даже национальность есть задержка, что впереди где-то стоит идеал слияния народностей, религий, языков, следовательно немецкий ли элемент, русский ли возьмёт верх, лишь бы было общее благо... Я не с точки зрения шовинизма или квасного патриотизма боюсь за язык — и, конечно, буду рад через 10 тысяч лет говорить одним языком со всеми — и если буду писать, то иметь читателями весь земной шар».

Но всё же я думаю, все народы должны притти к этому общему идеалу человеческого конечного здания — через национальность, т. е. каждый народ должен положить в его закладку свои умственные и нравственные силы, свой капитал». («Литературно-критические статьи и письма», 1938, стр. 264).

Раскрытие плодотворной русской традиции дружбы народов имеет сегодня международное, мировое значение, поскольку СССР сегодня стоит во главе народов, пролагающих дорогу к коммунизму для всего человечества. Эта традиция приобретает особое значение, если её сопоставить с тем, что представляют собой традиции трактовки национального вопроса в западноевропейской и американской литературе. Разумеется, и в этих литературах существовали писатели, чуждые колониального пафоса, межнациональной вражды и даже являвшиеся поборниками дружбы между народами на почве освободительной борьбы за независимость. Таков, например, Байрон. Чужды были узкого национализма и Гёте, и Шиллер, и Гюго. Впрочем, о Гёте можно сказать, что, отталкиваясь от национализма, он выплёскивал и самоё национальность, как средство обогащения духа, как выражение народной жизни, защищая космополитическое мироощущение, столь чуждое, например, Белинскому. «Национальная ненависть,—говорил Гёте Эккерману,—своеобразная вещь; она всегда наиболее сильна и непримирима на низшей ступени культуры. Но имеется и такая ступень, на которой она совершенно исчезает, так что человек стоит некоторым образом над нациями и воспринимает удачи и огорчения соседнего народа так, как если бы они случились с его собственным. Эта ступень культуры отвечает моей натуре, и я крепко стоял на ней ещё раньше, чем достиг шестидесятилетнего возраста»¹.

Над нациями никогда не ставили себя ни Белинский, ни Герцен, хотя они оба — можно с уверенностью это доказывать — отнюдь не в меньшей степени, чем Гёте, были интернационалистами, думали и работали для трудящегося Человечества, в то же время видя, что путь к нему идёт через национальность.

Однако ни Гёте, ни тем более Байрон не определяют то, что можно назвать устойчивой традицией западноевропейских литератур в национальном вопросе.

Мы вправе назвать эту традицию именно русской, национальной, в известной мере объясняющей идейное превосходство русской литературы в целом над западноевропейской. В самом деле, Россия была

¹ И о г а н П е т е р Э к к е р м а н. Разговору с Гёте. Академия, 1934, стр. 815.

многонациональным и внутриколониальным государством. Но в то время, как европейские и американские колониальные государства (прежде всего США, Великобритания, Франция, Германия, Италия) породили даже специальную художественную литературу, которая стала оправдывать и пропагандировать империалистические захваты и колониальный гнёт, — в России мы не видим развития литературы этого рода. «Цивилизованный» Запад создал новый жанр — «колониальный роман», которого никогда не знала Россия. Певцу английского империализма Редьярду Киплингу принадлежит печально-знаменитая формула из «Баллады о Востоке и Западе», ставшая девизом и служившая моральным оправданием для тех, кто шёл покорять колонии под чёрным знаменем расистского произвола и бесчеловечного грабежа:

О, Запад есть Запад, Восток есть Восток,
и с мест
они не сойдут,
Пока не предстанет Небо с Землей
на Страшный
господень суд.¹

Не трудно доказать, как широко «идеи» колониального порабощения, расизма, подавления национальных меньшинств заразили буржуазную литературу Великобритании, США, Франции. Один лишь перечень произведений «колониальной» литературы занял бы многие десятки страниц. Кому неизвестна, например, дикая человеконенавистническая свистопляска американских реакционеров вокруг «негритянского вопроса»? За океаном изданы сотни книг, имеющих целью «доказать» неполноценность негров, индейцев, мексиканцев.

В произведениях американских современников Радищева и Пушкина проскальзывает враждебное недоверие и неуважение к другим народностям (в первую очередь, к индейцам).

Именно на отношении к национальным меньшинствам в буржуазном обществе наглядно проверяется степень подлинного демократизма и прогрессивности того или иного писателя. Возьмём пример из современной нам английской литературы. Этот пример интересен тем, что позволяет понять, сколь убого буржуазное «предвидение» в области развития различных наций и языков.

¹ Р. Киплинг. Избранные стихи. Гослитиздат, 1936, стр. 46.

На рубеже XX столетия Герберт Уэллс выпустил любопытное сочинение, которое в русском переводе, изданном в 1903 году, носит несколько бульварное название: «Предсказания о судьбах, ожидающих человечество в XX столетии». «Предсказания» Уэллса, конечно, не имеют ничего общего с гороскопами нынешних шарлатанов-предсказателей, популярных в США, в Париже и Лондоне. Это — «предвидение» художника, опирающегося на ряд работ буржуазных учёных (вроде работ Г. Спенсера или книги Гартмана «Земной шар в XX столетии»).

Интуиция талантливого писателя, автора научно-фантастических романов, позволила Уэллсу, как в своё время и Жюль-Верну, кое в чём предугадать пути технического прогресса. Так, Уэллс говорит о значении самолётов в будущих войнах, о тогда ещё не изобретённых парашютах и т. п. Писатель даже довольно сердито критикует английскую буржуазию, которую он называет «классом безответственных собственников», критикует уродства социальной жизни Великобритании.

Но поразительно, до чего становятся убоги и жалки «предсказания» Уэллса, как только он обращается к вопросам социального переустройства общества. Тут его смелой фантазии нехватило на то, чтобы выйти за рамки филистерских представлений среднего британского мещанина. Он не может представить себе ничего лучше капитализма. И поэтому судьба наций и языков рисуется Уэллсу, увы, совершенно в черчиллевском стиле. «Двадцатый век, — пишет Уэллс, — будет свидетелем того, что большая часть слабых, мало развившихся языков либо совсем вытеснится из обихода, либо отеснится на задний план, как во Фландрии, наслоением поверх него того мирового языка, со сферой распространения которого он соприкасается. Свершится это не в одной Европе, но во всём мире, конечно наталкиваясь на разнообразные преграды и стеснения от местных встречных течений»¹.

Уэллс задаётся вопросом: какие же из языков сделаются объединяющими, мировыми? И отвечает совсем в духе завязанного английского империалиста: «...Я готов до-

¹ Г. Уэллс. Предсказания о судьбах, ожидающих человечество в XX столетии. М., 1903, стр. 189.

пустить, что к 2000 г. деятельный элемент человеческого общества примется читать, а следовательно писать и говорить на нашем английском языке»¹. Уэллс допускает также, что распространение получит французский язык и, может быть, немецкий. Но ни в коем случае, ни при каких условиях британский писатель не может допустить возможности влияния русского языка и литературы на азиатские народы, не говоря уже о народах Европы и Америки. «Только французский, немецкий и английский языки представляют залог сделаться собирательными для всей совокупности человечества. Я не думаю, чтобы в будущем иные языки смогли постоять за себя»².

Прошло полвека. Постояли за себя и русская литература и русский язык. Да так постояли, что сегодня даже злейшим врагам Советского Союза необыкновенно трудно отрицать мировое значение русской литературы и русского языка, который — пусть скрепя сердце — приходится выслушивать хотя бы тем же буржуазным дипломатам на Ассамблеях Организации Объединённых Наций.

Дело в том, что русским языком заговорила новая ведущая сила мировой истории — победоносный социализм. В те годы, когда английский писатель был склонен отнести Россию, тогда отсталую, скованную царизмом страну, в разряд второстепенных стран, не имеющих будущего, именно в это самое время из её недр вышел на историческую сцену героический русский пролетариат. Этого обстоятельства «не заметил» Уэллс. Под знаменем Ленина—Сталина русский народ одержал всемирноисторическую победу, открыл новую эру в развитии человечества.

В 1927 году Маяковский писал:

Товарищи юноши,
взгляд — на Москву,
на русский вострите уши.
Да будь я
и негром преклонных годов,
и то
без унынья и лени
я русский бы выучил
только за то,
что им
разговаривал Ленин.
(«Нашему юношеству»).

¹ Г. Уэллс. Предсказания о судьбах, ожидающих человечество в XX столетии. М. 1903, стр. 189.

² Там же, стр. 197.

Центр мировой истории переместился на Восток, в Россию. Товарищ Сталин в своей работе «Международный характер Октябрьской революции» писал: «Если не было раньше всесветного открытого форума, откуда можно было бы демонстрировать и оформлять чаяния и стремления угнетённых классов, то теперь такой форум имеется в лице первой пролетарской диктатуры»¹.

И на этом всесветном, то есть для народов всего земного шара открытом, форуме первым языком, естественно, стал язык Ленина и Сталина, язык великого народа, завоевавшего социализм, — русский язык. Но замечательно при этом и другое: одновременно с русским языком на всесветном форуме зазвучали многие десятки языков оживших, ранее неизвестных и малоизвестных народов и национальных групп. Это знаменательное явление, имеющее большое принципиальное значение, никак не смогли предусмотреть все Уэллсы, вместе взятые.

Мы остановили внимание читателя на книжке Уэллса, конечно, не для того, чтобы доказывать её научную несостоятельность. С точки зрения марксистского учения об обществе книга Уэллса не имеет никакого отношения к истинной науке. Но эта книга типична для отношения англоамериканской буржуазной литературы к зависимым, угнетённым народам, для характеристики традиций великодержавной «поэтизации» английского языка и пропаганды господства «сильных» народов над слабыми.

В 1918 году товарищ Сталин сказал: «Из всех существующих ныне форм гнёта наиболее тонкая и опасная форма — это национальный гнёт. Она тонка, так как удобно прикрывает хищническое лицо буржуазии. Она опасна, так как ловко отводит гром от буржуазии, вызывая национальные столкновения»². Именно в такой тонкой форме и преподносятся в англоамериканской литературе низменные «идеи» подавления национальных меньшинств.

Белинский, как известно, не был марксистом. Но великий русский революционный демократ ещё в середине прошлого века видел и понимал необходимость выявления творческой энергии народов в националь-

¹ И. В. Сталин. Сочинения, т. 10, стр. 247.

² И. В. Сталин. Сочинения, т. 4, стр. 91.

ной форме. Белинскому и в голову не могла прийти мысль о ликвидации народностей, «не умеющих за себя постоять», которую проповедует Уэллс.

Передовая позиция русской литературы в этих вопросах объясняется тем же, чем вообще объясняется более передовой, более народный и демократический характер русского классического реализма XIX века в сравнении с реализмом западноевропейской литературы.

Иное в Западной Европе. «Англичане, французы, германцы, итальянцы и прочие сложились в нации при победоносном шествии торжествующего над феодальной раздробленностью капитализма»¹. Этот важный тезис о возникновении наций, высказанный ещё в 1913 году в работе «Марксизм и национальный вопрос», товарищ Сталин развивает в 1929 году в своей замечательной, уже цитированной нами работе «Национальный вопрос и ленинизм»: «Буржуазия и её националистические партии были и остаются в этот период главной руководящей силой таких наций. Классовый мир внутри нации ради «единства нации»; расширение территории своей нации путём захвата чужих национальных территорий; недоверие и ненависть к чужим нациям; подавление национальных меньшинств; единый фронт с империализмом, — таков идейный и социально-политический багаж этих наций.

Такие нации следует квалифицировать, как буржуазные нации. Таковы, например, французская, английская, итальянская, северо-американская и другие, подобные им, нации»².

Русская нация до утверждения диктатуры пролетариата и победы советского строя в нашей стране также была буржуазной нацией. И. В. Сталин на X съезде РКП(б) в 1921 году подчёркивал также различие в процессе формирования наций на Западе, в Европе и на Востоке. На Западе период ликвидации феодализма и формирования наций совпал с появлением централизованных государств. Там нации при своём развитии облекались в государственные формы. На Востоке, в том числе и в России, появление централизованных государств шло быстрее, чем формирование наций. Здесь образовались многонациональные государства Востока, которые стали очагом

национального гнёта, а следовательно, и национальных конфликтов. И здесь, в пределах одного государства, освободительная борьба русского народа шла рука об руку с национально-освободительной борьбой угнетённых царизмом народов.

Западноевропейская и американская буржуазная литература в своём большинстве, в отличие от русской литературы, поддержала колониальную политику правящих классов, политику угнетения зависимых народов. А ныне мы видим, как американская литература активно выступает в роли глашатая «ликвидации национальных суверенитетов» во имя утверждения бредовой идеи — мирового господства Уолл-стрита.

В своей книге «Жизненность западной культуры» американский профессор Ральф Флюеллинг, один из столпов «персонализма» — новейшей философии американской буржуазии, пишет: «Современная цивилизация не может довольствоваться нынешним узким, ограниченным националистическим базисом. Она должна либо стать космополитической либо погибнуть»¹.

Эти экспансионистские космополитические идеи уходят корнями в традиции английского и американского империализма, нашедшие своё отражение в литературе. Когда мы читаем у Флюеллинга, что «мир стал слишком тесен для Запада и слишком просторен для Востока», когда мы слышим вой нынешних поджигателей войны, готовящих свой поход под знаменем ликвидации национальных суверенитетов, под знаменем военного англо-американского союза, то мы не можем не видеть, что идея такого реакционного союза против революционного Востока содержалась уже в «Предсказаниях» Уэллса.

И наоборот, созданная Лениным и Сталиным советская идеология дружбы народов, являющаяся могучим творческим стимулом подъёма и расцвета национальных культур в СССР, одной из краеугольных своих основ имеет передовые традиции русской революционной демократии.

«Коммунизм, — справедливо пишет латышский поэт Ян Судрабалис, — это новая одежда, которую надели украинец и латыш, молдаванин и эстонец, — это совершеннейшая форма жизни, при которой расцветают все сокровенные силы каждого народа».

¹ И. В. Сталин. Сочинения, т. 2, стр. 303.

² И. В. Сталин. Сочинения, т. 11, стр. 333.

¹ Цитирую по журналу «Большевик» № 3 за 1948 год, стр. 65.

4. ЦИФРЫ И ФАКТЫ*

Не могут не волновать воображение советского человека даже одни количественные показатели издания книг в СССР — в этих замечательных цифрах явственно слышится поступь коммунизма. Уже к концу первой пятилетки издание книг на языках народов СССР, кроме русского, достигло 161,7 миллиона экземпляров, то есть по сравнению с 1913 годом увеличилось более чем в 40 раз!

За двадцатилетие — с 1928 по 1947 год — в СССР было издано 8 миллиардов книг на русском языке и 1,9 миллиарда — то есть почти одна пятая — на языках братских народов (до революции литература на языках народов, населяющих Россию, составляла лишь одну двадцатую по отношению к числу книг, выходящих на русском языке).

Книги в СССР издаются на 119 языках. Более 40 народов обрели письменность только после Великой Октябрьской социалистической революции. Среди этих народностей и национальных групп мы встречаем народности Средней Азии (белуджи и др.), Закавказья и Дагестана (курды, лезгины, табасараны, таты и др.), Северного Кавказа (погайцы, кабардинцы и др.), целый ряд народностей Азии и Сибири (тувинцы, шорцы и др.), четырнадцать основных народностей Дальнего Севера (саамы-лопари, ненцы-юраки, манси-вогулы, хантыйцы, остяки, селькупы-остяки, эвенки-тунгусы, эвены-ламуты, напайцы-гольды, удегейцы, чукчи-лауроветланы, нымылланы-коряки, нивхи-гиляки, эскимосы).

В 1929 году вышла первая книга на шорском языке. В течение последующих двадцати лет было издано свыше 200 тысяч экземпляров книг на шорском языке. На эвенкийском (тунгусском) языке вышла первая книга в 1931 году. За пятнадцать последующих лет на этом языке издано 489 тысяч экземпляров книг. На ненецком языке с 1932 года по 1947 год издано 228 тысяч экземпляров книг. Такие же разительные данные можно привести и в отношении других небольших народностей Сибири, Дальнего Востока и Дальнего Севера, названия которых не упоминались даже в энциклопедиях. Мало кто знал об их существовании.

* Цифры по печати приводятся по данным Всесоюзной Книжной палаты.

Но они существуют — эти ранее неизвестные народности. Существуют и процветают при советской власти, под солнцем Сталинской Конституции. Народности Дальнего Севера стали серьёзной хозяйственной силой в освоении некогда безжизненных берегов Ледовитого океана, безбрежных пространств тундры Сибири и Дальнего Востока. Приобщённые к социалистическому строительству, эти народности выдвигают из своей среды не только советских, партийных, хозяйственных работников, но и людей науки, писателей, музыкантов. По истине семимильными шагами, начиная со ступени полупервобытного и первобытного существования, двигались народности Дальнего Севера вперёд, к социализму.

Уже в середине двадцатых годов был создан севфак (факультет северных народностей) при Ленинградском университете. К 15-й годовщине Октябрьской революции были изданы буквари на саамском, нанайском, селькупском, мансийском, удегейском, эвенском, ительменском, нымылланском, эскимосском языках. А сегодня уже миллионы экземпляров книг на этих языках проникли в чумы и яранги.

Почти для всех народностей СССР уже изданы национально-русские словари. В 1948 году в Москве вышел русско-эвенкийский словарь, содержащий около 20 тысяч слов. Составительница этого словаря Г. Василевич совершила на оленях объезд огромных пространств тунгусской тайги, посещая самые дальние улусы. Многие слова этого первого в мире русско-эвенкийского словаря снабжены рисунками, так как вводят в обиход жителя енисейской тайги такие явления и понятия, которые раньше были ему совершенно недоступны.

Второй пример. В 1949 году вышел под редакцией академика И. И. Мещанинова ненецко-русский словарь. Автором его является ненец-учёный А. Пырерка, ставший при советской власти из кочевника-оленевода видным научным деятелем. А. Пырерка пал смертью героя в Великой Отечественной войне, защищая нашу многонациональную Родину.

Казалось бы, простая вещь — словарь. Но раскройте, например, русско-эвенкийский словарь — и вы наглядно ощутите, как

расширяются умственные и жизненные горизонты человека, который принадлежал раньше к одной из самых отсталых и забитых народностей. В его словарь раньше едва входили 1—2 тысячи обиходных слов, обнимавших всё его бытие среди первобытной природы, под дурманящим игом шаманов и тайонов. А теперь, вместе с советской властью, к нему пришёл весь мир, огромный кругозор, великая культура социализма. И его словарь увеличился в несколько десятков раз.

Подобные явления характерны не только для народов Севера. Прославленный казахский акын Джамбул говорил в своей автобиографии: «В детстве я ни разу не видел ни полей, ни садов, ни арыков. Степь была моей родиной. Все, кто окружал меня, кочевали и кормились от скота». А прочтите такие песни Джамбула, как, например, «Тебе, комсомолец Ленинграда» — послание, посвящённое молодёжи в дни ленинградской блокады, или стихи Джамбула о Москве, стихи о Сталине, о Ворошилове, — и вас поразит богатство новых представлений и понятий. Это наглядный пример той быстроты, с какой совершилось и совершается культурное и интеллектуальное обогащение и развитие ранее отсталых народностей, рождение и становление у них своей интеллигенции, создание собственной литературы.

В автобиографической повести удегейского писателя Джанси Кимонко «Зарево над лесами» рассказывается о тяжкой до-революционной жизни удегейцев-охотников. Грубо обманываемые скупщиками пушнины, преследуемые и притесняемые царскими властями, удегейцы были обречены на медленное вымирание. Но занялось «заревое над лесами» — Великая Октябрьская социалистическая революция. Русский народ протянул удегейцам руку братской помощи.

Вспомним роман А. Фадеева «Последний из удеге», в котором автор, с чувством глубокой симпатии к народу удеге, рисует его жизнь в девственной тайге Южно-Уссурийского края. Роман А. Фадеева изображает период гражданской войны на Дальнем Востоке, когда жизнь удегейцев предстала перед русскими людьми — партизанами и большевиками, пришедшими в тайгу, — во всей своей ещё не тронутой первобытности. Но начат был роман А. Фадеевым в тот период (начало тридцатых годов), когда огни первой сталинской пятилетки

уже загорались по всей стране, и на эти огни из непроходимых лесов, из необозримых степей, из глухих ущелий выходили люди навстречу новой жизни. В 1928 году из тайги в Хабаровск пришёл будущий автор «Зарева над лесами» — двадцатитрёхлетний Джанси Кимонко, чтобы учиться в техникуме народов Севера. Через шесть лет мы уже видим Кимонко в Ленинграде, в Институте народов Дальнего Севера.

В то время, когда автор «Последнего из удеге» приступил к своему роману, этот народ казался уходящим из истории. Фенимор Купер назвал свой роман из жизни вымирающего в США индейского племени «Последний из могижан». Могижане действительно в Америке исчезли. Но удегейцы в советской стране начали новую жизнь. И, может быть, одним из наиболее ярких примеров этого возрождения является история Джанси Кимонко — первого писателя из удеге.

На отношении к «малым», не имевшим своей государственности, народам проверяется всякая национальная политика.

В уже цитированной нами работе «Марксизм и национальный вопрос» товарищ Сталин писал:

«...на Кавказе имеется целый ряд народностей с примитивной культурой, с особым языком, но без родной литературы, народностей к тому же переходных, частью ассимилирующихся, частью развивающихся дальше... Как быть с мингрельцами, абхазами, аджарцами, сванами, лезгинами и пр., говорящими на разных языках, но не имеющими своей литературы? К каким нациям их отнести?.. Национальный вопрос на Кавказе может быть разрешён лишь в духе вовлечения запоздалых наций и народностей в общее русло высшей культуры»¹.

Гениальное предвидение товарища Сталина полностью оправдалось. Национальный вопрос на Кавказе (как и в других многонациональных районах России) для всех «малых» — и ранее находившихся на ступени примитивной культуры — народов оказался до конца разрешённым при советской власти на основе ленинско-сталинской национальной политики. При этом все запоздалые нации и национальные

¹ И. В. Сталин. Сочинения, т. 2, стр. 349, 350 и 351.

группы были вовлечены в русло высшей социалистической культуры, носителем которой в первую очередь явился великий русский народ. И вот ранее бесписьменные (или младописьменные) народности, которым по австро-«марксистской» или меньшевистской схеме не находилось места среди народов, строящих свою национальную культуру, сегодня создали собственные литературы — национальные по форме и социалистические по содержанию.

Адыгейский писатель Тембот Керашев был удостоен звания лауреата Сталинской премии за роман «Дорога к счастью», в котором дана эпическая картина жизни адыгейцев, составляющих лишь одну двадцатую часть процента населения СССР, но живущих стопроцентной полнокровной жизнью советских людей. В романе Т. Керашева изображена жестокая борьба адыгейского народа в период нэпа и позднее, во время образования первых колхозов, с реакционными силами старого аула — кулаками и муллами. Идея романа заключается в том, что человеческая «дорога к счастью» есть дорога борьбы с тёмным собственническим укладом прошлого во имя победы социализма. Особенно ярко воплощённой оказалась эта идея в образах новых женщин-горянок, становящихся строительницами советского колхозного аула. А кому не известно, что именно горянки, отгороженные от мира чадрой, закованные в цепи адата, низведённые на положение бессловесных рабынь, были до революции в старой Черкесии, как и в Дагестане, самой отсталой частью населения.

Роман Т. Керашева, переведённый на русский язык, поднял этих женщин на огромные вершины — повыше кавказских, — откуда они стали видны людям во всех концах Советского Союза. Тарас Шевченко писал в своей поэме «Кавказ», что в царской России «от молдаванина до финна — на всех языках все молчат». Молчал и черкесский (адыгейский) народ. Он не имел даже своей письменности. Теперь этот народ, как и все другие народы Советской России, заговорил «во весь голос».

Научному исследователю открывается замечательное многообразие развития литературных форм в творчестве народов СССР — от простой песенки странствующего бахши до современного эпического романа, реалистически рисующего психоло-

гию новых людей и новые общественные отношения.

И на всех ступенях этого открытого Великой Октябрьской революцией и ныне развивающегося на десятках разных языков процесса становления искусства социалистического реализма главным является принципиально новое содержание. В нём отражены новые интересы, дела, понятия советских людей.

В 1948 году возвращался через СССР на родину с Конгресса деятелей мира во Вроцлаве крупнейший прогрессивный писатель современной Индии Мульк Радж Ананд, автор известных романов: «Кули», «Неприкасаемый», «Два листа и почка» и др. Роман «Кули» переведён и на русский язык. В Тбилиси Ананд встретился с грузинскими писателями и был поражён размахом, который приобрела социалистическая культура и литература в Грузии. А вот «Англия стремится поддерживать невежество в индусах», — сказал Ананд.

Описывая свои впечатления от СССР, писатель заявил, что он хотел бы создать такую же правдивую «Балладу о Советском Союзе», какую написал таджикский писатель Мирзо Турсун-заде об Индии. В этой балладе он желал бы рассказать о чудесных победах, достигнутых советскими людьми в строительстве своей свободной социалистической культуры.

До революции только в немногих областях старой России, славных своей давней культурой, издавались книги на родных языках. Однако количество этих книг не достигало и половины тиража всей издававшейся на территории этих областей литературы. В дореволюционной Армении в 1913 году читатели получили около 40 тысяч экземпляров книг. А в Советской Армении в 1937 году читатели получили почти 4,1 миллиона экземпляров книг на родном языке. На территории нынешней УССР до революции лишь 4 процента издаваемых книг выходило на украинском языке. Теперь же 82,3 процента всей печатающейся на Украине литературы издаётся на украинском языке. В 1913 году вышло менее полумиллиона экземпляров украинских книг. А в 1937 году — 65,4 миллиона экземпляров украинских книг.

Несмотря на то, что полиграфия Украины и Белоруссии была почти полностью уничтожена немецкими оккупантами, только за

два с половиной года после Великой Отечественной войны на Украине выпущено больше 100 миллионов экземпляров книг, а в Белоруссии свыше 17 миллионов экземпляров.

Эти цифры говорят о могучей силе культурного творческого роста советских народов, создающих новую жизнь в единой дружной семье.

За 30 пореволюционных лет у нас вышло 889 тысяч названий книг тиражом свыше 11 миллиардов экземпляров.

Около половины книг на языках народов СССР приходится на общественно-политическую литературу, почти треть — на учебники для начальной и средней школы. Пятая часть книг — художественная литература.

Никогда нигде ещё не бывало так, чтобы хорошее художественное произведение, на каком бы языке оно ни было написано, получало такой могучий отклик, какой оно получает в советской стране. Ни в каком другом государстве мира, кроме СССР, мы не встретим такого замечательного процесса взаимного обмена культурными сокровищами между различными национальностями.

Пушкин был издан в СССР на 76 языках. Произведения Пушкина были переведены на 25 языков народностей, которые получили письменность только после Великой Октябрьской революции. Пушкина читают на родном языке шорцы, алтайцы (ойроты), абазинцы, адыгейцы, ненны, манси, нанайцы, ногаи, лезгины, таты, тувинцы, чукчи и многие, многие другие. Поистине: «я назовёт меня всяк сущий в ней язык». Пророческую мечту Пушкина осуществил социализм.

В 1910 году в некрологе о Л. Толстом Ленин писал: «Толстой-художник известен ничтожному меньшинству даже в России. Чтобы сделать его великие произведения действительно достоянием всех, нужна борьба и борьба против такого общественного строя, который осудил миллионы и десятки миллионов на темноту, забитость, каторжный труд и нищету, нужен социалистический переворот»¹.

В Советской стране произведения Л. Толстого изданы на 67 языках. Толстого читают, любят, чтут все народы многонацио-

нального Советского Союза. Реализм Толстого стал вдохновляющей традицией и для Шолохова, и для Фадеева, и для киргизского писателя Тугельбая Садыкбекова, и для латышской писательницы Анны Саксе, и для казаха Мухтара Ауэзова. Никогда не было так велико прогрессивное, формирующее значение великих русских классиков-реалистов — Пушкина, Гоголя, Тургенева, Толстого, Герцена, Чехова; великих русских революционных демократов — Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Нскрасова, Салтыкова-Щедрина.

И в то же время никогда раньше популярность классиков других народов, живших в России, классиков, о которых до революции свои народы знали ещё меньше, чем широкие массы русского народа о Толстом, — не выросла так, как сегодня. 12 июня 1949 года в столице Советского Узбекистана Ташкенте на лучшей улице города, названной именем Алишера Навои, состоялось открытие памятника великому основоположнику узбекской литературы. На открытии памятника поэт и романист М. Айбек, автор романа «Навои», выступил с вдохновенными стихами:

Ты воскрес в великое время,
Когда живут Пушкин и Руставели,
Низами и Шевченко!..

И действительно: Алишер Навои воскрес. Воскрес в великое время. Дело, конечно, не только в том, что лишь теперь, через столетия после его смерти, узбеки смогли поставить памятник гению своего народа. Навои воскрес потому, что его стали читать, как никогда не читали раньше. Он начал новую жизнь в советской стране среди её многочисленных народов. Навои уже переведён на ряд языков советских народов. Низами переведён на пятнадцать языков. На пятнадцать языков переведён и Руставели. Что касается Шевченко, то великий украинский поэт не мог и мечтать о таком времени, когда его на своих национальных языках будут заучивать наизусть в школе и киргиз, и лезгин, и каракалпак, и молодёжь народностей сибирской тайги, казахских степей и алтайских гор. Произведения Шевченко перевели на свои языки 33 советских народа.

Если бы можно было запечатлеть в какой-либо наглядной форме процесс взаимного обогащения советских литератур раз-

¹ В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4-е, т. 16, стр. 293.

ных народностей, то этот процесс можно было бы уподобить движению соков в едином живом организме. Русский писатель А. Фадеев написал об удегейцах. Удгеец Джанси Кимонко написал в своём романе о русских. Г. Гулиа на русском языке пишет об Абхазии и абхазском народе, Г. Леберехт также на русском языке — об Эстонии и эстонском народе. Грузинский писатель К. Лордкипанидзе написал книгу рассказов о советской Белоруссии. Белорусский писатель Э. Самуйленок создал роман о борьбе за советскую Грузию — «Будущность». Туркменский писатель Берды Кербабаяев в романе «Решающий шаг» вывел одним из главных героев русского человека. П. Скосырев создал роман о туркменском народном поэте Кэmine. Т. Сёмушкин пишет о чукотском народе («Чукотка», «Алитет уходит в горы»). Таких книг — сотни.

Произведения Горького изданы на 66 языках и достигли в 1947 году общего тиража в 45 миллионов. Произведения Маяковского изданы, несмотря на трудности, связанные со всяким стихотворным переводом, на 47 языках народов СССР. А если принять в расчёт стихи Маяковского, печатаемые в школьных хрестоматиях, то, пожалуй, нет советского языка, от сёл Молдавии до чукотских колхозов, от Пянджа до Новой Земли, на котором не звучали бы стихи Маяковского.

Произведения украинца А. Корнейчука переведены на 17 братских языков, казаха Джамбула на 21 язык, белоруса Янки Купалы на 9 языков, таджика А. Лахути на 7 языков, узбека Гафура Гуляма на 6 языков. Стихи украинского поэта М. Ваянана читают грузины, а грузинского поэта Герсия Леонидзе — украинцы. «Разгром» А. Фадеева полностью переведён на 28 языков советских народов.

Все четыре тома «Тихого Дона» полностью переведены на 16 языков. А если взять произведения М. Шолохова вообще, то они переведены на 53 языка народов СССР. Произведения Алексея Толстого изданы на 39 братских языках и достигли к 1 сентября 1949 года огромного тиража — свыше 21 миллиона экземпляров. «Пётр Первый» издан на всех языках Прибалтики и Закавказья.

Таковы цифры и факты, характеризующие подлинный расцвет литератур народов

СССР. М. И. Калинин следующим образом определил смысл этого гигантского процесса развития национальной по форме и социалистической по содержанию культуры и литературы народов СССР: «Октябрьская социалистическая революция пробудила народы Союза к исключительному творчеству. Кажется, что с победой рабочего класса и крестьянства веками скованная народная энергия прорвалась с гигантской силой. Можно было бы написать сотни книг о творчестве каждого народа»¹.

В самом деле: нужны сотни книг, чтобы вместить множество явлений и фактов этого могучего процесса. «Велико и многогранно творчество народов СССР», — писал далее М. И. Калинин. — В науке, технике, искусствах — всюду небывалый расцвет культуры, национальной по форме, социалистической по содержанию. Творчество народов СССР особенно ярко проявилось в народной песне... Почти все национальные республики имеют свои государственные театры... В песнях, постановках национальных театров Казахстана, Узбекистана, Армении и др., в музыке, в народном творчестве народы, как бы вырвавшиеся из тёмного каземата в лучи яркого солнца свободной страны, с огромной силой проявляют свои таланты, воспевая радость свободной жизни.

Мы считаем, что за пределами Советского Союза даже наиболее передовые люди не оценили всей глубины этого величайшего процесса — создания братства народов. А ведь это происходит впервые в мире. Мы не знаем в истории ни одного государства, где бы так, как в Советском Союзе, было развито братство и сотрудничество между национальностями»².

Расцвет культуры народов СССР, национальной по форме, социалистической по содержанию, является одним из многих свидетельств того, что «опыт образования многонационального государства, созданного на базе социализма, удался полностью. Это есть несомненная победа ленинской национальной политики»³.

¹ М. И. Калинин. Что дала советская власть трудящимся. Партиздат, 1937, стр. 21.

² М. И. Калинин. Что дала советская власть трудящимся. Партиздат, 1937, стр. 22 и 23.

³ И. Сталин. Вопросы ленинизма. Изд. 11-е, стр. 513.

5. ЛИТЕРАТУРА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ

И НАЦИОНАЛЬНАЯ ПО ФОРМЕ

Расцвет литератур социалистических наций, обусловленный победой Великой Октябрьской революции, ленинско-сталинской национальной политикой, характеризуется не только теми признаками, какие мы разобрали выше: а) огромным размахом в развитии национальных литератур всех советских народностей и национальных групп, их идейной перестройкой и ростом; б) многообразием национальных форм и путей, по которым воздействуют на единую литературу социалистического реализма исторические традиции каждого из народов; в) особой ролью, какую приобрели традиции русских революционно-демократических писателей, русских классиков в формировании литератур народов СССР наряду с национальными традициями в каждой из братских литератур.

Расцвет литератур социалистических наций характеризуется образованием нового явления, с указания на принципиальное значение которого мы начали нашу статью. Это новое явление, новое понятие — советская литература в целом. Советская литература есть не только множество литератур, но и единство литератур. Это есть единая литература социалистического общества, семьи советских народов, хотя и говорящих на разных языках, но неразрывно спаянных единством идей и борьбы за коммунизм, спаянных советским патриотизмом, великой Сталинской Конституцией.

То наполнение, какое термин «советская литература» получил сегодня в нашем сознании, он получил не сразу. Проф. П. Берков в статье «О многонациональном характере советской литературы» делает исторический обзор развития самого понятия советская литература. «Хорошо знакомый нам и привычный термин «советская литература», вошедший в широкое международное употребление, — пишет П. Берков, — имеет, как и любое другое идеологическое явление, свою историю. В первое время после Великой Октябрьской социалистической революции обычными обозначениями литературы тех лет были: «современная русская литература», «новейшая русская литература»; аналогичные названия применялись в отношении ряда лите-

ратур народов нашей страны, например, украинской, грузинской и пр.»¹. Автор включает свой обзор рядом данных, прослеживая хронологически, как вслед за термином «творчество народов СССР» (1923) постепенно (после Постановления ЦК от 23 апреля 1932 года) утвердился термин «советская литература».

В 1934 году на I-м Всесоюзном съезде писателей М. Горький в своём докладе подчёркивал: «я считаю необходимым указать, что советская литература не является только литературой русского языка, это — всесоюзная литература»². Съезд писателей, где впервые выступали в качестве равноправных участников советского литературного движения представители десятков народностей, где половину делегатов составляли писатели нерусской национальности, с очевидной наглядностью подтвердил слова Горького, впервые определившего новый характер, новое многонациональное содержание советской литературы.

В своей книге «Горький и национальные литературы», представляющей собой первую и очень нужную попытку обобщения и сведения воедино большого материала, характеризующего роль Горького как вдохновителя и организатора многонациональной литературы народов СССР, профессор Н. К. Пиксанов совершенно справедливо писал: «Так постепенно, с давних лет, и особенно энергично в советское время, Горький создал ту литературно-историческую и социально-политическую концепцию, которую определяет формула: «советская литература», — небывалая дотоле формула, новое понятие, охватывающее новое явление культуры».

Под советской литературой в наших исследованиях и в преподавании мы разумеем не только русскую литературу советского времени, но огромное, целостное явление: единство всех братских литератур Союза во главе с великой русской литературой. Советская литература многонациональна, многоязычна, но органически едина по мировоззрению, по художественному методу. Явление и понятие советской

¹ «Учёные записки ЛГУ». 1949, № 122, стр. 3.

² М. Горький. Литературно-критические статьи. Гослитиздат, 1937, стр. 653.

литературы не отменяет явления и понятия национальных литератур, но поднимается над ними и охватывает их»¹.

И сегодня мы видим, как продолжает обогащаться и развиваться понятие многонациональной советской литературы. Происходит, с одной стороны, уяснение роли и значения русской советской литературы, как ведущей литературы СССР. С другой стороны, быстро растёт престиж и значение отдельных отрядов советской литературы (украинской, казахской, грузинской, армянской, таджикской, азербайджанской и многих других), приобретающих всесоюзное, а стало быть и мировое значение. Если ещё Горький употреблял в своём докладе 1934 года такие термины, как «нацменьшинства», «племена», то ныне эти термины уже совершенно вышли из общесоветского обихода. В самом деле, ещё Горький в том же самом докладе подчёркивал: «Ценность искусства измеряется не количеством, а качеством. Если у нас в прошлом — гигант Пушкин, отсюда ещё не значит, что армяне, грузины, татары, украинцы и прочие племена не способны дать величайших мастеров литературы, музыки, живописи, зодчества»².

Но дело не только в том, что количественная характеристика народа («нацменьшинство», «нацмен» и т. п.) не имеет отношения к искусству и культуре. В советской стране произошёл в эпоху сталинских пятилеток — и завершается для некоторых народностей сейчас — процесс превращения народностей и племён в социалистические нации, произошла консолидация наций на социалистической почве. Ещё Ленин в своих дооктябрьских работах по национальному вопросу предсказывал, что объединительная мощь экономики и культуры социализма неизмеримо больше, чем консолидирующая народности в нации деятельность буржуазии, капитализма. При капитализме большие империалистические нации пожирают малые народности. Эту картину мы видим сегодня на примере всей политики США, американского монополистического капитала. При социализме, наоборот, происходит возрождение народностей и превращение их в социалистические нации, являющиеся равноправными

участниками строительства общечеловеческой коммунистической культуры. Эту картину мы видим сегодня на примере СССР.

Ещё вчера молдавский народ не представлял собой единой нации. Сегодня он воссоединился в единую социалистическую нацию. Ещё вчера туркменский народ представлял собой конгломерат враждующих между собой кочевых племён, эксплоатируемых порознь и вместе русской и среднеазиатской буржуазией. Сегодня туркменский народ сложился в социалистическую туркменскую нацию, создающую свою социалистическую культуру, национальную по форме. Вчера небольшая численно бурят-монгольская народность отставала от центральной России экономически и в области культуры на много десятилетий. Буряты были одним из наиболее угнетённых, забытых народов в старой царской России. А сегодня бурятский поэт Жамсо Тумунов с чувством гордости пишет:

Все мы братья, семья одна:
Русский, чукча, мордвин, бурят —
Это кровные братья мои.
Это чувство единой семьи.

И это чувство вызвано не только тем, что буряты политически равноправны в советской стране. Но и тем, что они выросли культурно, экономически, идейно, что у них такой же «большевицкий характер», как пишет бурятский поэт в стихотворении «Пусть сыплют снегами Саяны»¹:

Он знает: в Тунке трактористы —
Ребята горячего права!
На мёрзлой земле каменистой
Хлеба поднимают на славу...

К работе готовится трактор,
К запашке больших расстояний.
У нас большевицкий характер!
Пусть сыплют снегами Саяны.

Сегодня все нации Советского Союза вправе повторить о себе дышащие чувством патриотической гордости слова А. А. Жданова: «Мы уже не те русские, какими были до 1917 года, и Русь у нас уже не та, и характер у нас не тот. Мы изменились и выросли вместе с теми величайшими преобразованиями, которые в корне изменили облик нашей страны»². Не те

¹ Н. К. Пиксанов. Горький и национальные литературы. Гослитиздат, 1946, стр. 59.

² М. Горький. Литературно-критические статьи. Гослитиздат, 1937, стр. 653.

¹ Ж. Тумунов. Утро на Байкале. «Молодая гвардия», 1949, стр. 7 и 13.

² «За высокую идейность советского искусства». «Московский рабочий», 1946, стр. 54.

уже и грузины, и казахи, и буряты, и чукчи, и мордвы. И характер стал иной у советских народов, чуждых националистического взаимоненавистничества.

В связи с социалистическим преобразованием советских народов продолжает изменяться и терминология, специально подчёркивающая национальные моменты в развитии. Так устаревает и отходит в прошлое термин «нацлитературы», в ограниченном употреблении его для обозначения литератур народов СССР, кроме русской литературы. А разве русская советская литература — не национальная литература? Утверждается термин «литература народов СССР» или «литература братских народов».

В своих замечаниях по поводу конспекта учебника по истории товарищи Сталин, Жданов и Киров писали в 1934 году: «Нам нужен такой учебник истории СССР, где бы история Великороссии не отрывалась от истории других народов СССР...»¹.

Главный недостаток старого конспекта истории СССР товарищи Сталин, Жданов и Киров видели в том, что в этом конспекте история Руси излагалась в отрыве от истории народов Украины, Белоруссии, Финляндии и других прибалтийских народов, северокавказских и закавказских народов, народов Средней Азии и Дальнего Востока, а также волжских и северных народов — татар, башкир, мордвы, чувашей и т. д.

Указания товарищей Сталина, Жданова и Кирова полностью относятся и к изучению истории литературы СССР. Преобразование старых буржуазных наций и народностей России в советские социалистические нации, громадный рост советской многонациональной литературы, как единого явления, ставит на очередь и освоение этого нового предмета наукой и педагогией.

Процесс складывания единой советской литературы сопровождался и сопровождается развитием некоторых «жанров» и видов литературы, служащих тому, чтобы, как говорил Горький, «белорусс знал, что такое грузин, тюрк и т. д., а все другие знали, что такое украинец, белорусс, узбек, татарин и т. д.». Этому служат истории национальных литератур, а прежде всего

переводы художественных текстов. Известны те большие, не идущие ни в какое сравнение с прошлым, масштабы, какие получила в СССР переводная литература с языков народов СССР. Выше мы приводили уже несколько цифр, как переводятся на языки СССР советские писатели. Нет, пожалуй, ни одного поэта, который в той или иной мере не включился бы в этот процесс. Пушкин называл переводчиков «перекладными лошадьми просвещения». О советском переводчике можно сказать, что он является своеобразным связистом дружбы народов. Отсюда, конечно, нельзя делать того вывода, что только к этому сводится роль поэта-переводчика. Разумеется, перевод является актом художественного творчества. Но нельзя не видеть при этом, что ныне в советской стране переводчик не просто является деятелем искусства и просвещения, но и выполняет при этом благороднейшую функцию культурной связи советских народов, читателей СССР между собой. Поэтическое ощущение своей интимной связи с разными советскими народами через их язык тонко выразил П. Тычина в своём известном стихотворении «Чувство семьи единой»:

я всем языкам, всем народам
протянут радугой-дугую.
И это чувство так могуче,
так ощутимо и весомо!

Поэт Тычина, создавший целый ряд переводов произведений многонациональных советских поэтов, передаёт в своём стихотворении, как, овладевая чужою речью, где «суть-то наша остаётся», он сквозь незнакомые звуки, формы, национальные особенности другого народа вдруг прорывается к этой родной, общей для всех сути:

Ведь это не простые звуки
и не пустыня лексикона —
в них слышен труд, и пот, и муки, —
так родственно и так знакомо!..
И ты чужое это слово
в родной язык ведёшь, как брата.
А чувству этому основа, —
могущество пролетариата.¹

В процессе сближения наций и народов, цементирования единой социалистической культуры с каждым годом всё большее значение приобретает русский язык. Рус-

¹ «К изучению истории». Сборник. Партиздат ЦК ВКП(б), 1937, стр. 24.

¹ П. Тычина. Пробуждение весны. «Молодая гвардия», 1948, стр. 82.

ская культура, русская литература и язык постепенно становятся для людей всех национальностей Советского Союза такими же родными, как и собственный язык и литература.

Русское (язык, культура, реалистические традиции в литературе и т. п.) становится одним из главных каналов, через который вливается во все национальные литературы интернациональная, социалистическая культура, создаваемая всем советским народом.

Одной из принципиально важных, новых проблем, выдвинутых в процессе развития советской литературы, является проблема единства, сочетания социалистического содержания и многообразных национальных форм. Для идеологов буржуазного общества, проповедников индивидуализма («как сердцу высказать себя, другому как понять тебя». — Тютчев), проповедников буржуазно-националистической изолированности, «особости» народов, якобы непреодолимой даже при переводе понятий с одного языка на другой (таковы, например, рассуждения Б. Кроче в «Эстетике», с его утверждением, что художественное произведение непереводимое) — огромное развитие во всех советских литературах единого, социалистического содержания представляется чем-то разрушительным по отношению к национальному. Так, фашиствующий американец Кларенс Маннинг в своей написанной с голоса украинских националистов-эмигрантов «Истории Украины» восклицает: «Современная украинская литература ничем не отличается от современной русской, грузинской или казахской литературы».¹ В связи с подобными клеветническими заявлениями Я. Судрабали заметил, что «...на Западе и в Америке пустобрёхи и клеветники много наболтали о «чисто русском» характере советского строя, якобы о несовместности его с национальными особенностями других народов»². Но коммунизм, как сказано, — это не новая одежда наций, а их высшая ступень жизни.

Единство советских литератур образовано прежде всего общностью борьбы советских людей за коммунизм. Это и определило и определяет идейное содержание, материалы сюжеты, образы всех советских литератур. Отсюда и общность тех исторических этапов в развитии литератур, соот-

ветствующих общенсторическим этапам в развитии всей страны.

Все основные этапы развития советского общества получили отражение в литературах народов СССР. Большое значение для формирования советских литератур имели годы гражданской войны. Для миллионов трудящихся эти годы явились великой школой социального опыта. Вооружённая борьба за свою народную власть, за молодую республику Советов выдвинула из народных недр замечательных героев, полководцев, общественных деятелей.

Первое поколение советских писателей в своём большинстве принимало непосредственное участие в гражданской войне, и их личный опыт сливался с опытом общественным. Этот опыт стал неисчерпаемым источником для художественных обобщений. Можно утверждать, что новый советский роман создавался именно на материале гражданской войны. Сошлёмся хотя бы на ставшие уже классикой советской литературы произведения двадцатых годов: роман А. Серафимовича «Железный поток», роман Д. Фурманова «Чапаев», роман А. Фадеева «Разгром». Четырёхтомный роман Михаила Шолохова «Тихий Дон», законченный автором в 1940 году, также посвящён гражданской войне.

Как ни велика была роль темы гражданской войны в развитии советской многонациональной литературы — ещё более значительной и глубокой для неё явилась тема индустриализации и коллективизации страны, тема сталинских пятилеток. Индустриализация сама по себе явилась одним из важнейших факторов осуществления сталинской национальной политики. Индустрия двинулась на Восток, на окраины, которые раньше являлись лишь сырьевой базой для промышленности центра. Это движение заводов и строек на Восток вызвало к жизни рождение у целого ряда народов своего рабочего класса. Индустриальные предприятия и шахты пришли к таким народностям; в такие места, куда раньше, кажется, «только птица залетала да олень забегал». Очаги социалистической индустрии загорелись за полярным кругом, в тайге Дальнего Востока вырос новый город Комсомольск-на-Амуре, в пустынях Туркмении и Казахстана задымили трубы медеплавильных, чугунолитейных заводов. Вовлечение всех народностей в

¹ См. альманах «Дружба народов» № 17, стр. 195. Цитирую по статье Л. Озерова.

² Там же.

социалистическое строительство знаменовало не только их экономический, но и культурный подъём.

Раньше трудно было себе представить, чтобы содержанием романа писателя-литовца, осетина и даже украинского или белорусского литератора явилось изображение индустриального труда, как труда творческого. Вообще тема города в литературе народов дореволюционной России была мало распространённой. Писатели обращались преимущественно к деревне, которая «является хранительницей национальности»¹. Так было раньше. Произведения первых советских писателей также рисовали, главным образом, деревню, крестьянина. Национальный роман у нерусских народов был синонимом деревенского романа. Вспомним хотя бы романы литовского писателя Пятраса Цвирика.

Сталинские пятилетки преобразовали, обогатили самый жанр «национального романа». Успешно развивается жанр деревенского романа, ставшего романом колхозным. Однако в наши дни признаками новой национальной жизни в советских республиках являются и новостройки, заводы, университеты. История жизни и духовного формирования нового интеллигента, воспринявшего лучшие животворные традиции своего народа и свободного от националистических предрассудков прошлого, растущего в дружной семье братских народов, обогащённой традициями передовой русской культуры, — вот распространённая тема множества произведений писателей народов СССР. В середине двадцатых годов появился известный роман Фёдора Gladкова «Цемент», который впервые отобразил творческий труд советских рабочих. «Цемент» — это принципиально новое слово в литературе. Не случайно он привлёк всеобщее внимание и был переведён на десятки иностранных языков. Это произошло не потому, что в романе изображён город, — в русской литературе жизнь города, рабочего класса и в прошлом изображалась достаточно широко (вспомним хотя бы знаменитый роман Горького «Мать»). Дело в том, что «Цемент» показывал рабочий класс в роли хозяина страны, созидателя новых ценностей, творца новой жизни. Именно в этом смысле роман Ф. Gladкова был новаторским.

¹ И. В. Сталин. Сочинения, т. 5, стр. 49.

Теперь творческий труд советских рабочих становится излюбленной темой писателей братских республик. Борьба за нефть занимает в жизни азербайджанского народа значительное место. Показу труда нефтяников посвятил свой роман «Апшерон» молодой талантливый азербайджанский писатель Мехти Гусейн. В Белоруссии строится большой автомобильный завод. И вот появляется повесть белорусского писателя М. Последовича «Тёплое дыхание», рисующая этот завод, как национальное дело белоруссов.

Но, разумеется, и жизнь колхозов, и особенно послевоенное строительство в колхозной деревне попрежнему остаются одной из любимых тем писателей всех национальностей СССР. С. Бабаевский в романе «Кавалер Золотой Звезды» дал эпическую картину кипучего труда в колхозах на Кубани, строящих свои местные электростанции, создающих свою энергетическую базу. Украинский писатель И. Рябкляч в повести «Золототысячник» рисует вдохновенную борьбу украинцев за восстановление своего сельского хозяйства, разрушенного немецкими оккупантами; в романе казахского писателя Г. Мустафина «Миллионер» виден профиль величественного завтрашнего дня колхозной деревни.

Что составляет сегодня характерную, определяющую черту тематики художественных произведений? Великая Отечественная война, естественно, занимала и занимает умы и воображение писателей. Многие выдающиеся произведения, получившие всенародное признание («Молодая гвардия» А. Fadeeva, «Белая берёза» М. Бубеннова и др.), посвящены войне. Но в последние два—три года ведущее, решающее место заняла тема мирного труда. Творческий труд становится, по всецелому слову Горького, основным героем нашей литературы. В романах, стихах, пьесах слышишь запах хлеба нового урожая, шум станков и тракторов, видишь дым новых заводов, песни увлечённых своим вдохновенным трудом народов, голос советского труженика-творца.

Своеобразие социалистического содержания, находящегося в единстве с национальной формой, выражается в литературе в художественном изображении всего того, что связано с национальными традициями, бытом, особенностями исторического развития.

Многонациональность советской литературы вызывает поэтому невиданное разнообразие в сюжетах, в художественных приёмах, в тематике, в стиле. Это множество различных литературных особенностей раскрывает историческое многообразие, богатое содержание жизни десятков советских народов.

С познавательной точки зрения советская литература чрезвычайно богата, так как рисует жизнь всех народов на всём огромном пространстве Советского государства, от берегов Охотского моря до садов Молдавии.

Национальная форма есть категория историческая. Что определяет национальную форму художественного произведения? Прежде всего язык. А язык — это значит совокупность и словаря, и морфологии речи (то есть форм её построения), и стилистических приёмов, то есть тех приёмов, которые определяют изобразительную силу, яркость, выразительность, художественность речи. Всё это вместе взятое вырабатывается у каждого народа в результате весьма длительных процессов и зависит от особенностей его исторического бытия. Общность языка, как учит товарищ Сталин, одна из характерных черт нации.

Язык является главным, но далеко не единственным составным элементом того, что мы называем национальной формой литературы. Национальное в искусстве, как нечто составляющее исторически самый конкретный признак бытия, может выражаться в тысяче проявлений, намекать о себе даже самой манерой исполнения произведения искусства. Об этом писал ещё и Белинский. Тургенев в «Певцах» рассказывает, что в самом исполнении Яковом песни «Не одна во поле дороженька пролежала» слышалось нечто такое, что раскрывало слушателям национальную сторону русской жизни. «Я, признаюсь, редко слыхивал подобный голос... Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала в нём, и так хватала вас за сердце, хватала прямо за его русские струны».

Но ведь мы уже не те. И советская литература, изображающая дела и людей Советского Союза, призвана не столько апеллировать к отдельным «струнам» различных национальностей, сколько должна затронуть в каждом советском читателе его всеобщую советскую «струну», а точнее

сказать — призвана создавать художественные образы того нового, передового, что характеризует наши общественные отношения, труд людей, их идеалы, духовное, психологическое содержание самих советских людей, их новый большевистский характер, хотя бы и выступающий в различных национальных формах.

Безусловно, в нашей советской жизни за последние два десятилетия, — за годы сталинских пятилеток, Отечественной войны и в послевоенный период — при всей краткости этого исторического срока, уже начинает складываться свой общий для всех народов советский стиль жизни.

У А. Фадеева в «Молодой гвардии» есть сцена, где девушки, слушая свою подругу Лилию, сумевшую бежать из немецкого плена, запевают песню «На закате ходит парень возле дома моего». И совсем так, как в «Певцах» Тургенева, эта песня становится для слушателей воротами в целый мир, который остался за чертой фронта: «Вся та жизнь, в которой девушки росли, которая была для них такой же естественной жизнью, какой живут в поле жаворонки, вошла в комнату вместе с этой песней». Эта песня — можно продолжить словами Тургенева — так хватала девушек за сердце, хватала прямо за его советские струны, что вся наша Родина с её жизнью, ставшей уже для советских людей естественным воздухом, которым дышат они, открылась сквозь эту песню.

Вслед за языком к национальной форме мы, повторяю, должны отнести и то, что в более расширенном смысле слова является выражением национально-исторической жизни народа — его песни, обычаи, нравы, традиции, характер восприятия человеком родной природы, произведений труда и искусства и подобные приметы специфики национального бытия. Наконец, наиболее высокой задачей для художника является задача воссоздания национального характера народа, той психической общности, которая возникла в результате долгой исторической жизни, общей борьбы и хозяйствования на единой территории.

Могут сказать, что всё это не относится к национальной форме, а уже является содержанием национальной жизни. Совершенно верно. Но форма и содержание едины суть в своём конкретном бытии. Поэтому, говоря о роли и значении национальной

формы в литературе социалистического реализма, мы не вправе отвлекаться от всего, что составляет национально-характерную сторону жизни того или иного народа. Мы вправе рассмотреть все национальные моменты с точки зрения их пригодности для выражения главной задачи советской литературы — изображения дел и людей Советского Союза в его движении к коммунизму.

Поэтические жанры, как показывает история развития литератур народов СССР, явились первой ступенью в образовании новой литературы социалистического реализма. Со стихов начинается история каждой литературы братских народов СССР. Именно появление реалистического романа свидетельствует о зрелости и полноте развития литературы. И понятно, почему в письме бурят-монгольского народа к товарищу Сталину в 1936 году отмечалось, как крупное достижение советской бурят-монгольской культуры, рождение в бурятской литературе своей художественной прозы (рассказы Хоца Намсараева).

Создание художественной прозы в литературе народов Средней Азии, Кавказа, Сибири было шагом вперёд в их культурном развитии. Но естественно, что отпечаток национальных стихотворных традиций лежит на первых прозаических произведениях. Обилие сравнений и метафор характеризует их стиль, сюжеты нередко подчинены традиционным схемам.

Так, в романе основоположника советской таджикской прозы Садреддина Айни «Дохунда» можно отчётливо увидеть вплетённую в ткань реалистического повествования о становлении советского строя в Туркестане традиционную для поэзии Востока сюжетную схему: разлучение влюблённой пары (Йодгор и Гульнор) и соединение их после ряда приключений. Только вместо традиционных похищений разбойниками здесь фигурирует похищение басмачами, разлука в гражданской войне и т. п. В романе С. Айни «Смерть ростовщика», написанном позже, мы уже видим торжество реализма. Освободившись от устаревших сюжетных схем, С. Айни сохраняет в этом романе национальное своеобразие таджикской жизни.

Таким образом, для литератур советского Востока развитие социалистического реализма связано со становлением художественной прозы и изживанием традиционных

условностей «высокого» поэтического стиля.

Сталинская политика поощрения культуры социалистических наций превращает каждый народ, каждую национальную культуру и литературу в явление мирового масштаба. В 1930 году академик Н. Я. Марр, подводя итоги лингвистического изучения языка советских марийцев (черемисов), писал: «Ведь факт, что и марии втягиваются через СССР в круговорот мировой международной жизни. И перед ними встаёт задача — на родном языке выразить новые, из-за социальной закреплённости их творческих сил дотоле не имевшиеся в языке, да и у самого народа, понятия и представления...»¹.

На этом фоне особенно страшной выглядит картина вымирания, вопиющей темноты и нищеты сотен народов Азии, Африки, Австралии, Америки, Европы, стонущих под пятой империализма. Достаточно обратиться к их судьбе, чтобы убедиться, какой ужасной античеловеческой силой является растленная капиталистическая «культура». Когда-то К. Маркс в своей статье «Будущие результаты британского господства в Индии» писал: «Разве она (буржуазия. — К. З.) когда-либо осуществляла прогресс, не толкая как отдельных людей, так и целые народы на путь крови и грязи, бедствий и унижений?»².

Эти «будущие результаты» уже давно стали позорной и страшной явью. Можно привести тысячи и тысячи фактов, говорящих о том, что голод, болезни, нищета, поголовная неграмотность являются обычным уделом колониального населения. Это вынуждена была признать даже комиссия по информации о самоуправляющихся территориях Организации Объединённых Наций. О какой же «культуре» и литературе можно говорить, когда речь идёт о физическом вымирании сотен народностей?

Выдающийся писатель Индии — Прем-Чанд, которого на родине не без основания называют «индийским Горьким», писал в своей книге «Рангобхуми»: «Бизнес — не что иное, как убийство. Обращаться с людьми, как со скотом, — принцип современного бизнеса. Вы не можете преуспеть в этом деле,

¹ «Первая выдвигенческая яфетидологическая экспедиция по обследованию мариев». Изд. Марийского научн. общ. краевед. Л. 1930. стр. 6.

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. IX, стр. 366.

если не будете поддерживать этих принципов». А в «Кармабхуми» Прем-Чанд говорит: «Страх довлеет над индийской деревней, как демон. Запуганный террором, безответный в своих несчастьях, народ молчит, перенося тяжесть своего угнетения молча. Даже плач не нарушает этой тишины. Люди боятся плакать. Раны слишком свежи, чтобы вызвать агонию»¹. Вот правдивое свидетельство индуса об ужасах империалистического владычества.

В «цивилизованной» Америке насчитывалось в прошлом около миллиона индейцев. В США применялись самые разнообразные средства для того, чтобы преодолеть «оборонительный национализм» индейцев, которые замкнулись в отведённых им «резервациях». Единственно, чего «добились» цивилизаторы, это сокращения индейского населения, примерно, на две трети. Индейцев осталось только около 350 тысяч. Индейцы вымирают. Им не до романов и стихов².

Гневно и прекрасно сказал Маяковский:

...доллар
всех поэм родовей.
Обирая,
лапая
и хапая,

¹ Прем-Чанд—псевдоним Джанат Рай Сри-вастава. Родился в 1880 году, умер в 1936 году. Автор около 250 рассказов, 10 романов и повестей на языках урду и хинди. Первый сборник Прем-Чанда, вышедший в 1907 году, был сожжён английскими властями. Прем-Чанд был редактором прогрессивной газеты «Мадхури», переводил Толстого и Горького на язык хинди. Произведения Прем-Чанда посвящены изображению жизни индийской деревни, рабочих, борьбе крестьян против помещиков, ростовщиков и чиновничьего застоя. Повестью «Годан» Прем-Чанд завоевал громадную популярность среди народов Индии. Любопытно, что в двадцатых годах, когда слава Прем-Чанда была велика, один из магараджей предложил ему почётный титул и высокооплачиваемую должность придворного писателя. Прем-Чанд ответил отказом, он предпочёл остаться в своей деревне Ламхи.

² О Прем-Чанде, писателе у нас пока мало известно, см. также «Учёные записки Тихоокеанского института», II т., стр. 193—205, ст. В. Безкровного. Изд. АН СССР, 1949.

³ Вот признание американского журналиста Армстронга: «Сейчас в США около 400 тысяч индейцев, почти 286 тысяч из коих числятся в списках тех, кто неспособен прокормиться самостоятельно» («Ридерс дайджест», апрель 1948 года).

выступает,
порфирой надев Бродвей,
капитал —
его препозабие.

(«Вызов»).

Империалисты душат и грабят колониальные народы всё более беспощадно и жестоко. Вот меланезийская песня, которую и до сего дня поют на островах Полинезии:

«Когда белые пришли на своих больших пирогах, мы приняли их, как братьев. Они срезали большие деревья, чтобы привязать якоря своих пирог: это нам ничего не стоит. Они съели зерно в котле общины: мы были этим довольны. Но белые стали захватывать хорошую землю, которая родит без обработки; они увели молодёжь и женщин служить себе; они взяли и отняли у нас всё. Белые обещали нам небо и землю, но не дали ничего, ничего, кроме горя»¹.

★ ★
★

В июньской книжке английского журнала «Горизонт» (за 1949 год) редактор журнала Сирил Конноли, обозревая состояние современной литературы в Великобритании (и вообще на Западе), меланхолически замечает, что в настоящее время «положение литературы становится безнадежным». Конноли приходит к выводу, что современная молодёжь на Западе подвержена «скоротечной деморализации», атомной истерии. Конноли рассказывает далее, что в США сейчас прославился некий врач Суливан, автор особой системы лечения психических болезней. Каждому молодому специалисту, поступающему на работу в его больницу для душевнобольных, Суливан говорит: «Я хочу, чтобы, занимаясь лечением под моим руководством, вы всегда помнили одно: при современном состоянии общества пациент всегда нормален, а вы нет».

Этот принцип Конноли и рекомендует вниманию писателей.

Вряд ли нужны комментарии к выводам редактора английского журнала, являвшегося цитаделью эстетов и космополитов. Признание в том, что современный запад-

¹ Цитирую по книге известного французского антрополога Шарля Летурно, расиста, которого никак нельзя «обвинить» в передовых идеях, «Литературное развитие различных племён и народов». 1893, стр. 40.

ный мир является сумасшедшим домом и что писателю на Западе ничего более не остаётся, как притвориться самому сумасшедшим, красноречиво говорит само за себя: буржуазная литература действительно зашла в безысходный духовный тупик.

Многонациональная же советская литература растёт в здоровой социалистической стране, в здоровой животворной атмосфере. И её могучий рост, её необыкновенное национальное разнообразие — это результат того, что она «плоть от плоти и кость от кости нашего социалистического строительства»¹. И в этом заключается огромное международное значение создания того типа многонациональной литературы, который сложился в Советской стране.

Товарищ Сталин назвал в 1927 году Советский Союз «просбразом будущего объединения трудящихся всех стран в едином мировом хозяйстве...»². Можно сказать, что и многонациональная советская литература — это прообраз будущего развития мировой литературы.

Сегодня молчат десятки народностей Индии. Но они заговорят. У них будет и своя литература, когда судьба Индии будет в руках трудящихся. Вчера молчали многие национальности Китая. Сегодня программа, принятая Народным политическим консультативным советом Китая, пре-

¹ А. А. Жданов, Советская литература — самая идейная, самая передовая литература в мире. Партиздат, 1934.

² И. В. Сталин. Сочинения, т. 10, стр. 244.

дусматривает развитие культуры всех национальностей, населяющих китайскую территорию. «Культура и просвещение Народной республики Китая, — говорится в этой программе, — должны носить новый, демократический характер, т. е. они должны являться национальными по форме, научными по содержанию и народными по своему характеру»¹.

Так вместе с победой народа побеждает и тот тип подлинно народной культуры, точную формулу которой впервые открыл гений Сталина, — культуры, национальной по форме и социалистической по содержанию. Так вдохновенные идеи великого Сталина стимулируют развитие мировой культуры, освещая путь вперёд для национальностей всего земного шара.

По пути социализма идут страны народной демократии в Европе. Разорвал и сбросил с себя цепи империализма 475-миллионный китайский народ. А за ним поднимаются на священную борьбу новые неисчислимы миллионы. И можно не сомневаться, что одним из результатов этого великого революционного пробуждения и подъёма будет рождение новой культуры и литературы у сотен ранее молчавших народов. И созданная партией Ленина — Сталина советская литература, многонациональная по форме и социалистическая по содержанию, явится для них прообразом их собственного пути и собственной борьбы за идеалы и всечеловеческую культуру коммунизма.

¹ «Правда» от 2 октября 1949 года.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

В. Гольцев. Садриддин Айни и его воспоминания. — В. Азаров. Стихи остаются в строю. — С. Евгенов. Искатели чёрного золота. — Г. Ленобль. Слабая книга. — Н. Москвин. Щедрая схема. — Б. Галанов. Книга об американской школе. — П. Пустовойт. Две книги о Николае Островском. — В. Николаев. Очерки Ивана Рябова. — А. Могилянский. Об издании романа «Тысяча душ». — А. Дьяков. Начало прозрения. — А. Нечаев. Русские богатыри. — В. Розанов. Румынские писатели о советской литературе.

ИСТОРИЯ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Член-корреспондент Академии наук СССР **С. Бахрушин**. Новые страницы истории Сибири. — Профессор И. Галкин. Исторические корни агрессии германского империализма. — Я. Макаренко. Разоблачённый миф. — В. Матвеев. Враги прогресса. — Л. Славин. Уолл-стрит и его дела.

ГЕОГРАФИЯ

Доктор географических наук Э. Мурзаев. Самая южная советская республика.

МЕДИЦИНА

Профессор И. Кочергин. Успехи советской хирургии.

ХИМИЯ

Академик С. Вольфович и В. Охотников. Книга о великом русском учёном.

Литература и искусство

Садриддин Айни и его воспоминания

Домулло! (учитель, мастер) — так обращаются к Садриддину Айни не только в Таджикистане, но и в Узбекистане. Вся жизнь С. Айни, как писателя и общественного деятеля, полна неустанного благородного и мужественного служения народу. Поэт, прозаик, педагог, учёный, член Узбекской Академии наук, депутат Верховного Совета СССР — Айни как бы символизирует собою судьбу славного таджикского народа, вырвавшегося из оков феодализма и колониальной эксплуатации, народа, победно идущего к коммунизму в нашу Сталинскую эпоху. Только Великая Октябрьская социалистическая революция

дала возможность Садриддину Айни раскрыть по-настоящему свой замечательный талант и сделать его достоянием народа. Сам Айни сказал об этом на 1-м съезде советских писателей 29 августа 1934 года: «Я старик, который в наши дни стал юношей. Около сорока лет я работаю в литературе. Был очевидцем феодального периода Бухары, эпохи джадидизма и лично участвовал в литературе того времени. Но в ту эпоху я не смог создать скольконибудь значительного произведения. Всё, что есть заслуживающего внимания в моём творчестве, создано мною после Октября. Вот почему я говорю, что из старика стал юношей. Мне возвратила молодость диктатура пролетариата».

Садриддин Айни — выдающийся художник-реалист, создающий ясные и глубоко

Садриддин Айни. «Бухара». Воспоминания. Тома I и II. Перевод С. Бородина. Редактор Л. Климович. Таджикгосиздат, Сталинабад, 1949.

правдивые произведения. Однако путь его к реализму был долог и не прост. Если А. М. Горькому послужили «университетами» его вольные скитания по родной земле и общение с простым народом, с передовыми людьми, то Садриддин Айни свою жизненную школу начал в душных стенах мусульманского духовного училища — медресе. Если литературными источниками творческого вдохновения Максима Горького с самого начала были неисчерпаемые сокровища русского народного творчества и произведения классиков русской литературы, то Садриддин Айни в молодости не мог не отдать дани уточнённым и зачастую далёким от реальной жизни произведениям старой таджикской и таджико-персидской литературы. В ранних произведениях Айни была очень заметна традиционная «ориентальная» условность поэтического письма.

Однако Садриддину Айни вскоре стало невыносимо тесно в пределах медресе. Его потянуло на широкий жизненный простор — к простому народу, бесправному и угнетённому. Айни испытывал немало противоречий, примыкал одно время к буржуазным «просветителям» — джадидам («младобухарцам»), мечтавшим при помощи куцых реформ подновить старый феодальный строй в Средней Азии. Но Айни упорно работал над собой, развивался идейно и стал понимать, что не джадиды смогут сделать народ счастливым. Для верховного тирана «благородной Бухары» — эмира Бухарского с его приспешниками Айни вскоре стал опасен.

Пролетарская революция не сразу восторжествовала в Средней Азии. Обречённый на гибель бухарский эмират держался до осени 1920 года. Деспоты-феодалы при поддержке английского командования, находившегося в Иране, установили жесточайший террор, варварски подавляли всякое прогрессивное движение. По приказу эмира Айни был бесчеловечно наказан семьдесятю пятью палочными ударами по спине. А младший брат Айни — Сироджиддин после неудавшегося народного мятежа был казнён в марте 1918 года приспешниками эмира.

Но революция победила. Народные восстания были поддержаны частями Красной Армии с Фрунзе и Куйбышевым во

главе. 2 сентября 1920 года пал основной оплот феодальной реакции в Средней Азии — Старая Бухара. Революция дала новое содержание творчеству Садриддина Айни. В сорокалетнем возрасте Садриддин Айни, по его собственным словам, «поступил в школу Октября». Раскрепощение и свободное творческое развитие родного народа вдохнуло в Айни новые силы. Непосредственное участие в строительстве социализма духовно обогатило и открыло писателя.

Для выдающегося таджикского писателя было благотворно знакомство с русской литературой и в особенности — с произведениями Горького. Сам Айни пишет, что автобиографические повести А. М. Горького «Детство» и «В людях» произвели на него «неизгладимое впечатление» и оказали огромное влияние на всю его последующую творческую деятельность. У Горького он «изучился стараться использовать в своих произведениях народные рассказы и сказки». Упорно и успешно работая над созданием первых таджикских романов и повестей, Айни сумел преодолеть традиционную условность, вычурность и книжность восточной литературной старины. Он пошёл по верному пути критического освоения литературного наследия, оставленного такими таджикскими классиками, как Рудаки и другие.

Садриддин Айни стал создателем современного литературного таджикского языка. Ему удалось найти удачное сочетание языковых богатств, содержащихся в классической таджикской литературе с простым и ясным языком народа. В этом заключается одна из причин исключительной популярности творчества Садриддина Айни. Им созданы в прозе значительные художественные произведения — «Дохунда», «Одина», «Рабы» и целый ряд повестей и рассказов. В них Айни с большой реалистической силой изобразил неисчислимые страдания своего народа в дореволюционных условиях и радость освобождённого труда. С другой стороны, писатель дал характерные для дореволюционного прошлого типы алчных хищников. Так, например, отвратительный скряга Кору-Ишкамба из повести «Смерть ростовщика».

Недавно на русском языке вышли два тома обширных воспоминаний Садриддина

Айни. Они представляют огромный интерес и являются ценным вкладом в нашу многонациональную советскую литературу. Первый том охватывает далёкие детские годы народного писателя Таджикистана. Очень спокойно и просто, но выразительно, уверенною рукою мастера Айни создаёт запоминающиеся образы старых, нищих таджикских деревень, расположенных неподалёку от реки Зеравшан в пределах нынешнего Узбекистана. Автор живописует правдивую картину нищеты, темноты и бесправия, характерную для дореволюционной жизни таджиков, как и для всех «окраинных» народов бывшей Российской империи. Читатель ясно видит убогие глиняные домишки, нищенски одетых и забитых крестьян, вместе с этими крестьянами переживает их трагическую беспомощность и вековую незащищённость от насильников и от стихийных сил природы.

Описывая своё детство, своих родных и односельчан, автор гозорит не об отдельных людях, а о судьбе своего народа. В частности, ему удалось создать очень яркий и привлекательный образ своего отца Саид-Мурада, отличавшегося трудолюбием и свободомыслием. Этот крестьянин-таджик вместе с рядом других крестьян является характерным выразителем той мудрости, которая вечно живёт и развивается в народе. Создавая целую галерею реалистически правдивых, взятых из жизни образов, Садриддин Айни показывает благородство, природный гуманизм простых людей, высокие моральные качества таджикского народа.

И в то давнее и мрачное время среди таджиков было много одарённых людей, страстно стремившихся к свету и знанию и видевших назначение искусства и поэзии в служении народу. Но Айни показывает, что эти стремления были обречены на неудачу в тисках старого, беспощадно-жестокое, эксплуататорского строя феодальной Бухары. До Октября труженики-таджики могли только бесплодно мечтать о счастье и справедливости.

Характерна прекрасная сказка «О трудолюбивом работнике и хозяине-обманщике», которую рассказывает крестьянским детям бедная старушка Тути. В этой сказке выявлена давняя мечта таджикского

народа о достойной и радостной трудовой жизни, которая смогла осуществиться только на основе завоеваний Великой Октябрьской революции. Бессовестно обманутый хозяином батрак начинает понимать, что нельзя верить слову коварных богачей, и делает единственно правильный вывод: «пока живёт душа в моём теле, надо бороться за своё счастье».

Несколькими выразительными штрихами Садриддин Айни рисует классовое расслоение старой таджикской деревни. Писатель показывает тружеников-крестьян, готовых прийти на помощь обездоленным, выводит и мерзкие типы хищников-торгащей, заботящихся лишь о своей наживе. Вот характерный пример: когда на деревню обрушилось стихийное бедствие (песками засыпало дворы, посева, сады и виноградники), крестьяне отзывчиво поспешили на помощь пострадавшим, но торговец Алихон как ни в чём не бывало собрался ехать на базар.

«— Почему ты не останешься со всеми бороться против общей беды? — спросил у него отец. — Разве можно в такой день думать о базаре?»

— А мне ни сад, ни земля ни к чему! Был бы базар! — ответил Алихон.

Отец проворчал негромко:

— Чёрное, брат, у тебя сердце. Гнилая утроба».

Идя от частного к общему, автор даёт ясное представление о беспощадной эксплуатации крестьян, о страшной системе грабежа и насилия, господствовавшей в «благородной Бухаре». Но, к сожалению, Айни пока ещё не включил в широкую орбиту своих воспоминаний показ борьбы народа за своё счастье. Ведь даже в ту эпоху таджикский народ не ограничивался одним моральным осуждением хищников. Порою делались отдельные, неорганизованные попытки трудящихся бороться против социального угнетения.

Однако, несмотря на этот недостаток, воспоминания Садриддина Айни имеют огромное познавательное значение. Читатели с неослабным вниманием следят за внутренним ростом маленького Садриддина. Проходя нелепый и уродливый «курс» учения у местного муллы, мальчик проявлял ненасытную жажду знаний. Он изо всех сил тянулся к поэзии, жадно усваивал всё то, что ему попадалось из стихов.

Но детство, и без того суровое, кончилось рано. Внезапно став круглым сиротой, Садриддин был вынужден заботиться не только о себе, но и о младшем брате.

Второй том воспоминаний начинается описанием того, как в 1890 году двенадцатилетний Айни отправился в эмирскую столицу Бухару, где народ испытывал двойной гнёт: царского самодержавия и феодальной деспотии эмира Бухарского. Садриддина влекло непрерывно усиливающееся стремление к знанию. Однако только благодаря исключительному упорству и долготерпению ему удалось попасть в знаменитое в то время медресе Мир-Араб. Начался новый этап жизни будущего писателя, но он оказался ещё более мрачным, чем жизнь в деревне.

Соблюдая простую и спокойную реалистическую манеру повествования, Айни мастерски воссоздаёт картину жизни и учения в медресе. Там всё было мертвенным, застывшим в средневековой схоластике, совершенно оторванной от окружающей действительности. Садриддину быстро пришлось убедиться в том, что и в медресе царит грубое разделение учеников на богатых и на бедняков. Читатель узнаёт о том, что Айни окружали произвол, религиозное изуверство, невежество, вопиющая социальная несправедливость. Требовалось огромное напряжение воли, чтобы терпеть ежедневные мучения. Но будущий писатель твёрдо решил пройти через все испытания. Изредка ему приносили отраду встречи с немногими прогрессивными литераторами и учёными того времени, каким, например, был Ахмади Калла-Донише. Садриддин упивался поэзией, самостоятельно читая рукописные сборники стихов Бедили и других классиков таджикской поэзии.

Запоминается образ Пирака — товарища Айни по учёбе. В этом умном мальчике, очень ярко обрисованном автором, рано стало развиваться понимание варварской несправедливости, творившейся вокруг. И он помог Садриддину осмыслить происходившее. Конечно, в сознании мальчиков тогда ещё не могли возникнуть идеи последовательной борьбы против насилия.

Садриддин Айни даёт в своих воспоминаниях отчётливое представление о том, что ещё в дни его отрочества наиболее

пытливые и передовые умы среди таджиков тяготели к русской культуре, старались изучать хотя бы урывками русский язык и подвергались за это преследованиям со стороны изуверов. Характерный разговор происходит между Пираком и Садриддином:

«— У нас в медресе живёт мулла Тураб. Он часто ездит в Самарканд. Там живёт много русских. Там он записывает русские слова в тетрадку, а я списываю у него. Я у него спишу и дам тебе.

— Обязательно! — обрадовался я.

— Только смотри, никому не говори, что у нас есть русские слова. Иначе муллы нас со света сживут.

— Почему? — удивился я.

— Это ты их сам спроси, почему. В прошлом году они совсем замучили муллу Тураба».

Дальнейшая судьба Тураба была трагична. Вскоре его обвинили в ереси, выжили из медреса, а затем оклеветали и казнили.

Глубоко содержательные воспоминания Садриддина Айни представляют значительное явление не только таджикской, но и всей нашей многонациональной советской литературы. Их по достоинству оценит всякий, кто стремится глубоко и серьёзно изучать не только нашу светлую советскую действительность, но и дореволюционную жизнь братских народов СССР, такую, какой она была в старом мире эксплуатации и насилия, ушедшем в невозвратное прошлое. Такие книги, как воспоминания Айни, имеют громадное воспитательное значение.

В заключение хочется привести слова чешского национального героя Юлиуса Фучика, сказанные им пятнадцать лет назад в Сталинабаде во время празднования тридцатилетия литературно-общественной деятельности Садриддина Айни: «Айни это не только ваш писатель, это и наш писатель. Его книги для нас не только прекрасное искусство, но наглядное учебное пособие. Эти книги не только отражают прежние страдания и новые достижения советского народа — они сами по себе уже являются живым доказательством этих достижений. И потому они, эти книги, непосредственно помогают нам в нашей борьбе за мировую революцию».

В. ГОЛЬЦЕВ.

Стихи остаются в строю

В наших жилах —
 Мы идём
 сквозь револьверный лай,
 чтобы,
 умирая,
 воплотиться
 в пароходы,
 в строчки
 и в другие долгие дела.

В этих строках из памятного стихотворения В. В. Маяковского «Товарищу Нетте, пароходу и человеку» высказана прекрасная, глубокая мысль о бессмертии людей революционного долга, творческого служения народу.

В книге «Стихи остаются в строю» собраны произведения тринадцати советских поэтов, павших смертью храбрых на полях сражений Великой Отечественной войны.

Поэты разного таланта и возраста, широко известные читателю и только начавшие свой творческий путь, — все они были патриотами социалистической родины, жизнелюбцами, ненавидевшими смерть, уничтожение, воспевавшими мир, цветение весны, творческий труд.

Вся советская земля, благодатная и щедрая, предстаёт перед нами в книге.

Об отчизне, близкой каждому советскому человеку, надежде всех угнетённых земли, хорошо сказано в посмертном произведении одного из комсомольских поэтов первого призыва — Джека Алтаузуна:

...у нас с колыбели
 Чувство родины в сердце живёт.
 Мы его воспитали в себе.
 Нас навеки оно породило.
 Люди с Темзы, Дуная и Нила
 Слышат голос свой в нашей судьбе.

Жизнь советской страны, неповторимые страницы её героической истории, мужественные характеры её людей запечатлены в стихах. Когда мы читаем «Комсомольскую песню» Иосифа Уткина о юном патриоте, расстрелянном японскими интервентами в годы гражданской войны в Иркутске, мы отчётливо осознаём, что этот сибирский комсомолец — старший брат и товарищ героев Краснодона, что образ его близок подрастающему поколению.

«Стихи остаются в строю». Произведения поэтов, павших в боях за Родину. Редактор Мих. Матусовский. «Советский писатель», 1949.

...коммунисты
 На расстреле
 Не опускают в землю глаз!
 Недаром люди песни пели
 И детям говорят про нас.

И он погиб, судьбу приемля,
 Как подобает молодым:
 Лицом вперёд,
 Обнявши землю,
 Которой мы не отдадим!

Вадим Стрельченко, пришедший в поэзию из заводского цеха, стал известен читателю в годы первых сталинских пятилеток.

Стихи его самобытные, всегда смелые по мыслям и образам, проникнуты любовью к людям великой сталинской эпохи — и презрением к врагам советской отчизны.

Он писал о братстве людей труда, о согражданах, пусть незнакомых, но всё же родных друг другу.

Мы утром у киоска ждём газет.
 — Ну, как в Мадриде?
 Жертв сегодня нет?
 А что китайцы — подошли к Шанхаю?
 А как
 В Полтаве ясли для детей?
 (О, этот семьянин и грамотей
 На всю планету смотрит... Я-то знаю!)

Стрельченко, как поэт, выросал под несомненным влиянием Маяковского, сказавшимся и в поэтике, и в идейном существе творчества молодого поэта. Стрельченко воспринимал весь огромный мир труда, как свою семью. В его поэзии личная, отнюдь не узкая тема органически сочетается с темами большого общественного значения.

Последнее, лучшее произведение Вадима Стрельченко — поэма «Валентин», правильно включённая в рецензируемый сборник, посвящена теме преемственности поколений, воспитанию советской юности в духе коммунизма.

Подобно стихотворениям Вадима Стрельченко, чертами социалистического гуманизма отмечены и другие произведения сборника. Читая эти стихи, горько сожалеешь, что война оборвала жизнь их авторов, и в то же время радуешься тому, что поэтическое наследие товарищей не стареет. Это происходит благодаря тому, что поэты шли в своём творчестве от самой жизни, от молодой советской действительности.

Уральский поэт Владислав Занадворов был геологом. В годы войны он стал командиром миномётного подразделения. Занадворов погиб под Сталинградом в первые дни наступления наших войск.

В стихотворении В. Занадворова «В охотничьей избушке» лирически проникновенно рассказывается о советском человеке, охотнике, оказавшем помощь заблудившемуся в гундре геологу. Охотник ушёл, не дожидаясь благодарности, поделившись продуктами и оставив нарисованную углём на газете карту.

Я не запомнил ни его походки,
Ни голоса, ни взгляда, ни лица,
Не знаю — то ль мы были одноклассники,
То ль старше был он моего отца.

Но год за годом кажется всё чаще,
Что я встречаюсь постоянно с ним
В посёлках, поездах, таёжных чащах,
И каждый раз под именем другим.

Владислав Занадворов представлен в сборнике немногочисленными стихами, он находился, видимо, только на подступах к подсказанной жизненной теме, ему не удалось осуществить своих возможностей.

То же самое можно сказать и о поэтическом наследии Георгия Суворова, Бориса Кострова, Ивана Фёдорова. Они успели сделать далеко не всё, что могли бы сделать, хотя у каждого из них была сыновья любовь к родной земле, опыт трудовой творческой жизни, мир своих образов.

Георгий Суворов, погибший в возрасте двадцати пяти лет, детство и юность провёл в Хакасии. Гвардеец-артиллерист, он мужественно защищал Ленинград. На ленинградском фронте написаны лучшие из его стихов, собранные в посмертной книге «Слово солдата».

Стихи Г. Суворова коротки, они писались в недолгие минуты передышек между боями. Они одухотворены непоколебимой верой в победу.

Ещё война. Но мы упрямо верим,
Что будет день — мы выпьем боль до дна.
Широкий мир нам вновь раскроет двери,
С рассветом новым встанет тишина.

В воспоминаньях мы тужить не будем,
Зачем туманить грустью ясность дней?
Свой добрый век мы прожили, как люди —
И для людей...

Борис Костров перед войной писал стихи о соснах России, упирающихся в небо, о счастливом лице любимой, на котором та-

ют снежинки, о широких дорогах отчизны, ведущих — все, как одна — в Кремль, о труде и доблести. На войне Б. Костров стал командиром танка. Он сражался за то, что было воспето им в поэзии, и погиб смертью героя за полтора месяца до победы.

В немногочисленных стихотворениях, написанных Б. Костровым в годы войны, живёт образ Родины, благословляющей своих сыновей на подвиг, живёт зримый образ русского героя-солдата.

К сожалению, читатель книги вряд ли сможет по представленным трём, не особенно характерным, стихотворениям оценить творчество даровитого поэта Ивана Фёдорова.

Мало удачен и подбор стихотворений поэтов-балтийцев Юрия Инге и Алексея Лебедева. Первый представлен почти исключительно стихами, написанными во время войны с белофиннами и в первые месяцы Великой Отечественной войны. Между тем в предвоенных книгах Юрия Инге есть немало произведений, живущих и в наши дни, достойных оставаться в боевом строю поэзии. Таковы, например, вдохновенные его стихи о С. М. Кирове, отмеченные в предисловии к сборнику, и всё же в него не включённые. Лучшее из стихотворений Юрия Инге, из числа вошедших в сборник, — «Январь сорокового года». В нём поэт реалистически изображает жизнь на военном корабле, будничную и в то же время героическую.

Ты не легко, не шуточно, не просто,
Жестокое морское ремесло!

Этот вывод, вытекающий из всего содержания стихов, подтверждает главную мысль произведения: да, именно своей суровостью, своими трудностями привлекает к себе военно-морская служба советскую молодёжь.

Поэт-моряк Алексей Лебедев издал перед войной книги «Кронштадт» и «Лирика моря».

Любовь к морю, превосходное знание жизни советских моряков, истории русского флота сочетались в стихах А. Лебедева с высокой поэтической культурой.

Алексей Лебедев был штурманом подводной лодки, он окончил в 1940 году высшее военно-морское училище.

Поэт-воин, чуждый рисовки, требовательный к себе и другим, А. Лебедев с глубо-

ким уважением и волнением рассказывал в стихах о своих боевых товарищах.

Подборка стихотворений Алексея Лебедева, в которую можно было не включать интересный по теме, но юношески подражательный, курсантский «Походный дневник», обеднена отсутствием таких зрелых, мастерских произведений, как «Создатель флота», «Компасный зал», «Смерть Нахимова», «Вдохновение».

Интересны, но, к сожалению, скупо представлены в сборнике стихи Михаила Троицкого. Умные, одухотворённые поэтическим чувством, они дают обаятельный облик героя. Стихам М. Троицкого чужда пышность, картинность. В одном из лучших своих стихотворений «Штыковой удар» Михаил Троицкий сумел раскрыть чувства смертельно раненного бойца, твёрдо знающего, что дело, за которое он отдаёт жизнь, непобедимо.

В последних лучах, в холодеющей дали
Увижу: вперёд мои братья идут.
Несут мою волю: «Да здравствует Сталин!»,
Моею душой, моим счастьем живут.

И всем, что мне сердце живило и грело:
Моим, что несётся сквозь крики и дым;
Моим, что во мне и товарищах пело, —
Любовью и гневом и счастьем моим.

В сборнике опубликован большой цикл последних стихотворений Иосифа Уткина. Это стихи, написанные в дни боёв.

Годы Великой Отечественной войны наложили на творчество талантливого лирика Иосифа Уткина особый отпечаток. Военные стихи поэта обогащены песенным творчеством народа. Таковы его стихотворения «Послушай меня», «После боя», «Народная песня», «Сестра».

Из стихотворения в стихотворение проходит тема любви к Родине.

Тяжёлое — забудется,
Хорошее — останется,
Что с Родиною сбудется,
То и с народом станется.

С её лугами-нивами,
С её лесами-чащами,
Была б она счастливою,
А мы-то будем счастливы.

Стихи остаются в строю! Об этом справедливо говорит в предисловии поэт Евгений Долматовский. «Разбираясь в книгах, архивах и полевых книжках наших погибших товарищей, ощущаешь их живую связь с временем, убеждаешься в том, что они шли по правильному пути, отражая в своих произведениях чувства и мысли советских людей».

Разоблачая преступную клику поджигателей войны, отстаивая дружбу и мир народов, мы боремся за торжество коммунистической культуры, за счастье наших детей, боремся и за то, чтобы поэты не уходили из жизни, не допев свои лучшие песни.

Хочется заключить эти заметки словами поэта коммуниста Владимира Аврущенко, павшего смертью героя.

В тени знамён, нахохленных, как птицы,
Лежит боец, смежив свои глаза,
В которых, может быть, ещё дымится
И чуть заметно движется гроза.

Он спит. И времени текут потоки.
И в напряжённой снится тишине,
Что ты, мой друг, читаешь эти строки
Как лучший дар, как память обо мне.

В. АЗАРОВ.

★

Искатели чёрного золота

Баку и нефть — почти синонимы. Бакинские нефтяные промыслы — основной источник благосостояния и промышленного расцвета Азербайджана, колыбель его рабочего класса и революционного движения. Между тем в азербайджанской художественной литературе до сих пор об этом

было написано мало, а крупных прозаических произведений и вовсе не было.

Роман Мехти Гусейна «Апшерон», удостоенный Сталинской премии, явился одним из первых азербайджанских романов о борьбе за нефть. Почти одновременно с ним был опубликован в Баку и вскоре вышел в переводе на русский язык роман «Тайна недр». Автор романа, бакинский инженер-нефтяник Манаф Сулейманов, впервые выступает на литературном поприще.

Манаф Сулейманов. «Тайна недр». Перевод с азербайджанского А. Садовского. Редактор С. Кирьянов. «Советский писатель», 1949.

Первые страницы этого романа не привлекают ни острою фавулы, ни яркостью описаний. Перед читателем открывается картина изнывающей от зноя, избородённой песчаными дюнами и холмами, выглядящей безжизненной и бесплодной, как пустыня, долины Нефтли-дере, где идут упорные, но пока что тщетные поиски нефти. Бурильщиками пройдена уже восемнадцатая скважина, а чёрного золота нет и нет. Но люди настойчиво работают. Молодой инженер Зеки Самедов вносит предложение — бросить начатую скважину, перенести бурение в соседний район — Еникенд и заложить там скважину, какой «мир ещё не видел», — на 5 000 метров. На такой глубине, по всем расчётам Зеки, таятся богатейшие нефтяные залежи. Проникновение на столь большую глубину связано с огромным риском и большими материальными затратами. «Разведка требует риска и воли», — заявляет Зеки своим оппонентам: честному, но консервативно настроенному старому геологу Мартиросу Аветисовичу и равнодушному к интересам производства, тщеславному инженеру Селиму.

Спор, развернувшийся вокруг смелого предложения Зеки, и в дальнейшем борьба за претворение этого предложения в жизнь составляют основной конфликт в романе. Действие его начинает развиваться всё живее и напряжённее. Перед строителями сверхглубокой скважины возникают неожиданные трудности. Нефтяники преодолевают их с большевистским упорством. На помощь приходят знания инженеров, опыт старых буровых мастеров, трудовой энтузиазм масс. Секретарь ЦК КП(б) Азербайджана внимательно следит за ходом разведки, поддерживает смелых искателей чёрного золота. Секретарь парторганизации треста Полад, сразу же подметивший в проекте Самедова «ту искру новаторства, которая взрывает все устаревшие предложения», даёт правильное направление социалистическому соревнованию бурильщиков; высмеивает зазнайство и самоуспокоенность передовой бригады и требует от неё ответственности за выполнение плана промысла в целом. В результате дружной самоотверженной работы коллектива нефтяников удаётся раскрыть «тайну недр» и взять их богатства: из глубины пяти километров забил мощный нефтяной фонтан,

вознаградивший труд отважных разведчиков, разрешивший сложную проблему нефтяных залежей не только в Еникенде, но и в Нефтли-дере, открывший новые блестящие перспективы нефтедобычи.

Роман знакомит читателей с техникой нефтеразведки, но в центре романа не техника, а замечательные советские люди. Автор вводит читателя в среду бакинских геологов и бурильщиков, знакомит с их семьями, с их бытом. В большинстве это честные и цельные люди. Исключение среди них составляют упомянутый Селим да ещё демагог и склочник Алибалаев. Нефтяники влюблены в свою профессию и передают её навыки из поколения в поколение. Дочь знаменитого бурового мастера Али-Адигезал-оглы, Гюльшен, становится инженером-геологом. Приехавший из армии Айдын заявляет своему отцу, знатному бурильщику Кафар-дан: «Я вернулся бурить скважины, отец».

Герои романа гордятся приоритетом Баку в нефтяной промышленности СССР, революционными традициями бакинского пролетариата. Старые бакинцы — директор треста Газанфар и мастер Кафар-дан — учат молодых рабочих с честью носить имя бакинского нефтяника. Кафар-дан взволнованно рассказывает о встрече с товарищем Сталиным на заре революционного движения в Баку. В минуты особенного напряжения борьбы за нефть герои романа вспоминают советы и указания С. М. Кирова, руководившего в своё время восставлением и усовершенствованием нефтяного хозяйства в Баку, и черпают в этих воспоминаниях вдохновение для дальнейшей борьбы. Азербайджанцы, армяне, русские, грузины, выведенные в романе, живут и трудятся единой братской семьёй. Инженеры-азербайджанцы называют себя русскими выучениками, с благодарностью говорят о великих русских учёных и исследователях — Губкине, Голубятникове и других, считают делом своей чести дальнейшее развитие их научных идей. Герои романа — пламенные советские патриоты; они стремятся дать родине как можно больше нефти, сделать Советский Союз страной изобилия чёрного золота. Читатель, полюбивший этих скромных и самоотверженных тружеников, с волнением следит за развитием их общественных и личных отношений.

В книге М. Сулейманова правильно отображена разносторонность культурных запросов бакинских рабочих и инженеров, показаны новые социалистические элементы в их быте и отношениях. Образ чудесной девушки и талантливого инженера Гюльшен Адигезаловой и судьба других женских персонажей романа наглядно показывает успехи, каких добивается в науке, в труде и в общественной работе раскрепощённая азербайджанская женщина. Многогранно, с большим чувством любви изображён в книге рабочий класс и его новая интеллигенция. Роман как бы иллюстрирует слова товарища М. Д. Багирова: «Азербайджанская партийная организация вырастила огромную армию советской интеллигенции, беззаветно преданной великой партии Ленина—Сталина, великому и мудрому вождю товарищу Сталину»¹.

Особенно удачно изображены в романе массовые сцены на производстве, техническое совещание, на котором обсуждается проект Зеки Самедова, собрание молодых рабочих, где Кафар-даи выступает с рассказом о дореволюционном прошлом бакинских промыслов. Умело написаны пейзажи промыслов, взморья, ночного Баку. Рельефно обрисованы характеры некоторых героев. Запоминается образ бурового мастера, старого большевика Митрофана Волкова. У него Кафар-даи учился мастерству бурильщика, под его влиянием участвовал в первых стачках и, позднее, вступил в большевистскую партию. Бледнее выглядит в романе сын Митрофана Волкова, искусный строитель вышек Алексей, и особенно тускло — сестра Алексея, Елена Волкова. Эпизодически, не оставляя следа в читательской памяти, проходит в романе ряд других действующих лиц.

Автор романа ещё недостаточно овладел искусством композиции большого прозаического произведения. Иногда он увлекается подробностями, не имеющими значения для развития действия. Таково, например, описание управления треста и его отделов. Не плохо задумано, но неумело дано соревнование Кафар-даи с шахтёром Кремлёвым. Кремлёв приезжает из Подмоскovie в Баку, ходит по промыслам, произносит довольно тривиальные фразы, а чаще всего

¹ М. Д. Багиров. Из истории большевистской организации Баку и Азербайджана. Госполитиздат, 1948, стр. 221.

молчит и выглядит в романе бесцветной фигурой. Слишком часты и не всегда уместны воспоминания Кафар-даи о прошлом. Порою это вставки публицистического характера, не связанные органически с развитием действия и нарушающие ткань художественного произведения.

Желая проиллюстрировать мысль о разносторонности интересов советских инженеров, автор приводит эпизод в книжной лавке, куда заходят Зеки и Селим:

«Когда продавец подал книгу, подошёл Селим и, взглянув на обложку, сказал:

— «Кружилиха»? Не бери.

— А ты читал? — покосился на него Зеки.

— Нет, но я просматривал статью о ней в «Литературной газете». Одни хвалят, другие ругают.

— Тогда это совсем интересно, — сказал Зеки и попросил вернуть эту книгу».

В дальнейшем автор сообщает множество подробностей о Зеки, но почему-то не возвращается к «Кружилихе» и тому впечатлению, какое произвела книга на Зеки.

Встречаются в романе и некоторые противоречия, свидетельствующие о недостаточной тщательной работе автора над текстом: так «безмятежные соловьиные трели» раздаются в конце лета, когда люди уже едят арбузы; медицинская сестра вынимает объёмистую, наполненную газом кислородную подушку из «маленького чемоданчика» и т. п. Такого рода оплошности могли быть устранены редактором.

Когда создавался роман «Тайна недр», бурение скважин глубиной в 5000 метров ещё не практиковалось на нефтяных промыслах. М. Сулейманов ставил в своём романе задачу завтрашнего дня, проблему будущего, но решал её реалистически, убедительно. Читателю романа не приходило в голову, что перед ним произведение с элементами фантастики, что бурение на 5000 метров — ещё только мечта нефтяников. Нелавно в газетах появилось сообщение, что в Орджоникидзевском районе Баку заложена скважина глубиной на 5000 метров — это в два раза глубже обычных нефтяных скважин — и бурение протекает успешно. Мечта, положенная в основу художественного произведения советского инженера, приближается к осуществлению.

С. ЕВГЕНОВ.

Слабая книга

Начинается повесть В. Кочетова «Кому светит солнце» описанием чистенького деревенского домика. «Сверчок, стук будильника, тихая возня котёнка» олицетворяют в нём «мир и покой». Таково первое представление о селе Гостиницы у горожанина, профессора Майбородова. Однако — так, повидимому, задумано автором — читатель должен убедиться, что представление это является неверным. Не мир и покой, а кипучая, деятельная жизнь — вот что отличает современную колхозную деревню.

И автор знакомит нас с колхозом, восстановленным на разорённом войной и оккупацией месте, знакомит нас с людьми колхоза, с его председателем Панюковым, даёт несколько картин колхозного труда. Не забывает он и о борьбе нового и старого, которая в трудных условиях восстановления колхоза должна сказаться особенно ярко. Но при всём этом ощущения кипучей, деятельной жизни не получается. Почему же?

Анализируя повесть, мы видим, что борьба нового и старого сводится в ней главным образом к конфликту между Панюковым и Таней Красновой. Таня требует, чтобы колхоз немедленно приступил к разведению сада; Панюков не соглашается с ней, он находит, что в данный момент колхозу садоводством заниматься несвоевременно: «Не можем мы сейчас сорить деньгами, и земли нет пустопорожной. Разживёмся — тогда...» Конфликт свой с председателем колхоза девушка рассматривает, как борьбу тенденций комплексного и односторонне развитого хозяйства. И она весьма агрессивно настроена по отношению к своему «противнику».

Проблема, взятая молодым писателем, безусловно, интересна. Как показал опыт, односторонне развивающееся хозяйство менее доходно, менее выгодно, чем хозяйство комплексное. Однако художественно убедительного решения этой проблемы у В. Кочетова мы не находим. Выходит даже, пожалуй, по повести, что прав скорее Панюков, а не Таня.

По крайней мере, в райисполкоме, куда

Всеволод Кочетов. «Кому светит солнце». Редактор В. Дружин. «Советский писатель», Л., 1949.

обратилась Таня Краснова, верх берёт её «противник». Предрайисполкома сперва пытается убедить Панюкова отвести участок под сад, но потом вынужден согласиться, что в возражениях председателя колхоза много справедливого: «земли-то и в самом деле у колхоза в обрез». А потом отыскивается (при помощи Майбородова) простой выход из положения: решают сажать деревья по склородам, заняться междуурядной культурой. Все в конце концов оказываются довольны, и все оказываются правы. Ситуация, как видим, выбрана такая и конфликт разрешается таким образом, что трудно всерьёз говорить о борьбе нового со старым и о преодолении новым старого. Конфликтность произведения смягчена, приглушена, и поэтому неясно, против чего борется автор.

Действительно, какие у нас основания считать того же Панюкова псборником старого, отсталого? Напротив, он отрекомендован нам с лучшей стороны. «Солдатскую самоотверженность и командирское сознание соединял в себе Семён Семёнович», — сказано о нём в повести. На войне он был разведчиком, четыре раза проливал кровь за Родину; в колхозе он хороший хозяин, который привык «мыслить большими масштабами», которого отличает «жажда больших дел» и который знает: «За синицу держаться — журавля не поймашь». В повести есть эпизоды, рисующие Панюкова подлинным новатором. Но может быть, именно в вопросе о саде председатель «сдал», обнаружил слабые свои стороны? Нет, уверенно утверждать этого мы не можем: ведь, как говорилось уже, автор не позволил Тане вочию доказать неправоту Панюкова. Основной упрёк, который можно ему сделать, состоит в том, что стремление сберечь колхозную копейку порой перерастает у него в известную «прижимистость» и «оборотливость». Однако для того, очевидно, чтобы мы не ставили слишком высоко его героя, В. Кочетов изображает его некрасивым, конопатым, кривоногим и вдобавок делает несчастным в личной жизни.

С другой стороны, у Тани Красновой, которая бесспорно является для автора носительницей нового, есть одна особенность, невольно заставляющая нас насторожиться.

Таня училась садоводству и бредит садами. Но, кроме садов, эту сторонницу комплексного хозяйства абсолютно ничего не интересует. На заседании колхозного правления, где речь идёт о важнейших хозяйственных делах колхоза, Тане случно, она то и дело прикрывает рот ладонью, чтобы скрыть одолевающую её зевоту. О таких вещах, как клевер или овёс, она отзывается с явным пренебрежением. Всё это снижает, понятно, серьёзность позиций, отстаиваемых Таней, снижает серьёзность и значимость конфликта между ней и председателем колхоза.

Да и вообще весь спор о саде, так, как он дан писателем, воспринимается как нечто второстепенное, не имеющее большого значения для колхоза, как нечто не очень глубоко волнующее колхозную массу и не всколыхнувшее её по-настоящему. Следует прибавить, что и композиционно конфликт Панюков — Таня исчерпывает себя примерно к середине повести и дальше никакой роли в развитии действия не играет.

Другой конфликт, занимающий видное место в книге, это конфликт в душе профессора Майбородова. Он — известный учёный-орнитолог, автор двухтомной монографии о промысловых и певчих птицах, принёсшей ему звание доктора биологических наук. Но вот у него просит помощи мать Тани, Евдокия Васильевна: на колхозном птичнике почему-то дохнут индюшата. И профессор, которому никогда не приходилось отвечать на такие практические вопросы, становится в тупик. Здесь все его познания оказываются ни к чему, и он принуждён совершить поездку сперва в район, а затем в дальний колхоз, где образцово поставлено птицеводство, прежде чем дать Евдокии Васильевне дельный совет.

Случай с индюшатами, повествует автор, является в жизни Майбородова поворотным пунктом. «Самокритическая буря» охватывает профессора. В его мозгу возникает «злая мысль о порочности метода его работы». Хотя он и не специалист по домашней птице и не обязан знать, чем следует кормить индюшат, тем не менее он склонен осудить чуть ли не всю свою прежнюю деятельность: «Многолетние труды, такие ценные совсем ещё недавно... сейчас, при столкновении с требовательной практикой, лежали у его ног бесформенной грудой раз-

розненных эмпирических фактов и наблюдений».

Профессор перестраивается, причем, как пишет автор, «войдя во вкус вторжения в практику», он начинает с необычайным успехом разрешать вопросы, которые уже совсем никакого отношения к его специальности не имеют. Он составляет очень остроумный и выгодный план осушения болота, прилегающего к землям колхоза. Майбородов сам шутит в письме к другу: «если Рим спасли гуси, то меня избавили от большой беды индюшки...»

Опять-таки проблема затронута молодым писателем актуальная — отрыв некоторых наших учёных от жизни, от практики, и пути преодоления этого отрыва. Но известно, что отрыв науки от практики существует не просто сам по себе, а связан обычно с теми или иными идеологическими извращениями, с непреодоленными влияниями различных буржуазных теорий. Мы знаем также, что нужна острая критика, нужна борьба, чтобы повернуть заблуждающегося учёного на новый путь, что не так-то легко сломать сложившиеся десятилетиями навыки работы и мышления. А у В. Кочетова всё получается крайне легко и просто. Если верить автору, старому деятелю науки ничего не стоит не только усомниться во всём том, что он раньше делал, но и молниеносно перестроить свою жизнь и работу на новый лад. Впрочем, под конец выясняется, что профессор был чересчур строг к себе. Во-первых, колхозник Фёдор заявляет профессору, что его труд — это «золотая книга» для охотников. Во-вторых, и Майбородов приходит к заключению, что не к чему ему забрасывать своих дроздов и пеночек. Острота положения, таким образом, снова сглаживается, но заодно — чего, видимо, не замечает автор — проблема, взятая им, оказывается измельчённой.

В силу этого не удивительны ни вялость действия, с которой мы сталкиваемся в повести «Кому светит солнце», ни отсутствие в ней героев, которыми можно было бы увлечься, которым хотелось бы подражать. И люди в этом произведении средние, и написано оно также весьма средне. Встречаются в нём отдельные неплохие кусочки, но в целом горячего дыхания наших дней оно не передаёт.

Недостаток места не позволяет остановиться на второй повести, включённой в книгу В. Кочетова «Нево-озеро». По качеству своему она немногим отличается от повести «Кому светит солнце».

Коротко говоря, В. Кочетову нехватает

глубины и страстности — глубины проникновения в действительность и страстности из её изображении. Нехватает ему и требовательности — как к своим героям, так и к самому себе.

Г. ЛЕНОБЛЬ.

★

Щедрая схема

Случилось так, что на одной из последних художественных выставок оказалось несколько полотен на одну и ту же тему: возвращение фронтовиков. Интересно было сравнивать художественные приёмы авторов этих картин, обнаруживших как бы два «направления»: скупость и щедрость.

Среди «скупых» было, например, одно полотно, которое сразу привлекло внимание и публики, и печати. На нём изображены были четыре человека в подъезде дома. Фронтвик и его жена обнялись, лиц их не было видно. В глубине подъезда виднелось лицо пожилой женщины, чуть тронутое растеряннo-радостной улыбкой. Впереди, у отцовских ног — это, пожалуй, и был центр картины — стоял мальчик. По выражению лица, по всему его облику было видно, что значили для него эти четыре года разлуки и эта встреча... За мальчиком как бы стояла страна — и много пережившая, и победившая.

А рядом висели «щедрые» полотна, при создании которых художник будто всё время задавал себе вопрос: «а это может быть?» И ответив утвердительно, наносил очередную деталь на полотно. «Могут ли быть оркестры при встрече фронтовиков?» Конечно, могут. И появлялись оркестры. «А цветы?» Безусловно! И появлялись цветы. «А радостные улыбки, слёзы, объятия?» Ну, ещё бы! «А могли ли быть подарки, которые привёз фронтвик? А дети, прячущиеся за юбку матери? А стол, уставленный блюдами?» И всё это — в отдельности вполне реальное, вполне жизненное — наносилось на полотно...

Подобные мысли приходят, когда чита-

ешь повесть Анатолия Вахова «Сергей Сазонов».

В центре повести стоит молодой человек, бывший фронтвик, инструктор, а вскоре — секретарь райкома комсомола Сергей Сазонов. Мы с интересом прочли бы о том, как умный, деятельный воспитанник Ленинского комсомола, преодолевая трудности (действие происходит в конце войны, в разрушенном немцами городе), впервые в своей жизни работает на посту секретаря райкома. Мы ожидали бы увидеть живые черты становления характера, типичный и неизбежный в наших условиях рост молодого строителя коммунизма.

Автор именно так и пытался разрешить замысел своей повести. Но он потерял чувство меры, употребил ненужную щедрость в показе главного героя. По упомянутому методу — «а это может быть?» — автор стал награждать героя всевозможными добрыми качествами.

Качества эти незаурядны, они присущи нашей молодёжи, нашему укладу жизни, они реальны, они существуют. Однако автора интересовали не столько сами качества, сколько количество их. А это количество должно смутить читателя. В самом деле — впервые в своей жизни заняв пост секретаря райкома комсомола, молодой Сазонов вдруг обнаруживает перед читателем свой большой и зрелый опыт: он и блестящий руководитель, и сведущий докладчик, и прекрасный воспитатель, и способный пионервожатый, и искусный оратор, и безупречный организатор, и отличный лыжник, шахматист и т. д. Он преобразовывает работу райкома, отлично выступает на бесчисленных собраниях, достаёт путёвки больным, помогает учителям, организует музей, оказывает помощь колхозу, помогает достать комнату молодожёнам, с риском для жизни спасает электростанцию и т. д.

Анатолий Вахов. «Сергей Сазонов». Альманах «Советское Приморье» № 7, 1949. Отв. редактор М. Гусев.

Строго говоря, перечисление этих поступков и мероприятий Сергея Сазонова с упоминанием многочисленных качеств главного героя и является содержанием повести. Более того, эти поступки, мероприятия и качества, с бездумной механической щедростью преподнесённые автором, ведут, если так можно сказать, к двойному неправдоподобию.

Первое — вместо естественного, жизненного становления характера молодого советского человека, роста его личных и общественных качеств, мы в повести А. Вахова с первых же страниц находим весьма зрелого, многоопытного руководителя, которому, на наш взгляд, просто должно быть тесно в скромном райкоме комсомола.

И второе — нарисовав такой образ и проведя его через все крупные и мелкие, серьёзные и пустяковые события в районе, автор заставил Сергея Сазонова заслонить собою всё и всех. В том числе и руководителей района. Это произошло не потому, что образ Сергея ярок, выразителен — отнюдь нет! — а оттого, что Сазонов присутствует везде и всюду, он один делает всё. Везде и всюду автор заставляет его поднимать указующий перст. Если двадцатитрёхлетний Сазонов уедет, например, в командировку, то жизнь района просто остановится, ибо неизвестно будет, как жить и что делать.

В повести Сазонов, конечно, не один, тут есть и члены бюро райкома, и молодые рабочие, и студенты, и секретарь райкома партии Павленко, и секретарь горкома комсомола Летов и многие другие. Но это — бесплотные тени, награждённые только именем или фамилией; они безропотно следуют за Сазоновым или безотказно — как Павленко и Летов — одобряют все его начинания.

Да это и понятно: поставив героя на пьедестал, как-то неудобно, нетактично подыскивать для него руководителей.

Так щедрость в привлечении характерных для молодого героя черт привела автора к тому, что черты эти — в отдельности

вовне реальные — в пышной совокупности дали не реальность, а схему.

Изобразительность автор заменяет беглым пересказом событий, изложенных в каком-то сверхлаконическом стиле.

«Ольга бежала легко. Сергей рядом. Бег увлекал. Они всё прибавляли темп. Становилось жарко. Но вот и лес». Или: «Они рассмеялись. На концерт пришли перед самым началом. В фойе играл оркестр. Начались танцы». Или: «Раздался звонок. Оркестр смолк. К Сергею подошла Ольга и улыбнулась».

Общеизвестно, что всякое чувство и всякая мысль должны быть выражены образно, чтобы быть поэтическими.

В повести, к сожалению, этого нет. Схема, бесцветность, отсутствие живописи характеризует здесь всё: людей, события, пейзаж. Даже для чувства любви автор находит только унылые, пустые слова.

Вот Сазонов увидел Ольгу. «Сергей обрадовался, ему сразу стало весело». Вот Ольга ушла. «Сергей остался один. Стало скучно. В райкоме было тихо».

Эти «весело» и «скучно», повторяясь много раз, на многих страницах, и должны, по мнению автора, создать перипетию любви. Иногда А. Вахов для этого случая употребляет образ, но слишком уж сильно действующий, чтобы быть поэтическим: «Сергея охватило холодом, он поёжился, словно ему под сердце сунули клок крапивы» (?).

Нередки в языке штампы: снег — алмазы, луч прожектора — мысль, горячий лоб — к холодному стеклу и т. д. Или канцелярские фразы: «Она проделала большую работу по разгрому немцев», «...высвободил почти половину людей» и т. д. Встречаются и просто нелепости: «Под ногами сочно (?) хрустел снег». Или: «Он с хрустом (?) развернул плечи».

Повесть не удовлетворит читателя. Образ главного и самодовлеющего героя, к которому автор был бездумно щедр, не покажется жизненным, правдивым. Художественное же выполнение тем более не привлечёт внимания читателя.

Н. МОСКВИН.

Книга об американской школе

Советская детская литература ещё бедна книгами о жизни детей капиталистических стран. У нас нет произведений, рисующих борьбу сил прогресса с силами реакции, посвящённых разоблачению американского фашизма, рассказывающих ребёнку о наших друзьях и врагах за рубежами советской страны. Талантливые пьесы «Снежок» В. Любимовой, «Я хочу домой» С. Михалкова — вот почти всё, что появилось за последнее время на эту тему в детской литературе.

Новая книга Н. Кальмы «Дети горчичного рая» помогает восполнить существенный пробел. Создавая во многом верную картину жизни современной капиталистической Америки, эта книга воспитывает у юных читателей презрение и ненависть к американским реакционерам, поджигателям третьей мировой войны, внушает патристическую гордость за нашу страну, где трудящиеся навеки избавлены от классового и национального угнетения и являются полноправными хозяевами своей жизни.

Н. Кальма не впервые обращается к зарубежной теме. Ещё до войны вышла её повесть «Чёрная Салли». Новое произведение — свидетельство творческого роста писательницы: глубже, серьёзнее оценивает она факты и события, живо рисует она портреты людей, уверенно развёртывает острый и занимательный сюжет.

Действие книги происходит в небольшом американском городе Стон-Пойнте. Такого города нет на географических картах США. Но в книге Кальмы он существует, как типический, обобщённый образ среднего американского города. В Стон-Пойнте есть и аристократический парковый район с безвкусными, крикливыми особняками именитых «тринадцати семейств», и нижний город, населённый рабочим людом, и негритянский квартал, где выстроились однообразные, окрашенные в горчичный цвет лачуги, квартал, который бедняки метко и зло окрестили «горчичным раем». Есть в Стон-Пойнте фашиствующие громилы, тайные и явные поборники расовой дискриминации, гонители свободы, в чьих руках

сосредоточены богатства, пресса, власть, есть свой босс — фабрикант Миллард — фактический хозяин города, который при помощи подкупов и запугивания «красной опасностью» управляет жизнью Стон-Пойнта и пытается формировать так называемое «общественное мнение». Но есть и другая, подлинно демократическая Америка — белые и чёрные труженики, представители прогрессивной интеллигенции, такие, как знаменитый негритянский певец Джемс Робинсон (прототипом которого является Поль Робсон) и его племянник, негритянский мальчик Чарли, как доктор Рендаль, рабочие Цезарь Бронкс и Иван Гирич, учитель Ричардсон, школьницы — друзья Чарли и многие другие юные и взрослые герои книги, которых писательница обрисовала с искренней симпатией и любовью. Не страшась угроз и преследований, они мужественно борются против фашизма, за равенство всех людей, независимо от цвета их кожи, стремятся честно трудиться на пользу американского народа.

Важнейшие события книги, особенно в первой её половине, развёртываются в школе или связаны со школой. Маленький этот мирок не обособлен. Он подчиняется тем же незыблемым законам, которые обязательны для любого штата. Поэтому жизнь седьмого класса стон-пойнтской школы как в капле воды отражает быт и нравы послевоенной Америки. Полицейские власти проводят дактилоскопирование учащихся, вскрывают письма детей и контролируют книги, которые они читают, попечительский совет школы проверяет политическую лояльность семиклассников, учителя открыто проповедают среди молодёжи расистские идеи, и с благословения таких наставников сынки богатых родителей, мечтающие о карьере сенаторов и банкиров, возглавляют кампанию по борьбе с негритянскими детьми, нагло требуют изгнания негров из школы. Перипетии этой напряжённой борьбы, приобретающей драматический оттенок, дают движение сюжету — в ходе её всесторонне раскрываются характеры детей.

«Стопроцентный американец», сын директора школы Фэйни Мак-Магон и его друг, южанин-аристократ Рой, вербуют своих сторонников среди таких же юных состоятель-

Н. Кальма. «Дети горчичного рая». Рисунки В. Горяева. Отв. редактор Е. Взыршева. Государственное издательство детской литературы. М.—Л., 1950.

ных негодяев, как они сами. Дети простых людей объединены и сплочены вокруг честного, смелого и развитого мальчика — негра Чарльза Робинсона. Не национальные, а классовые признаки определяют общность их интересов и устремлений. Прочная дружба связывает Василя Гирича, Энн Гоу, Мери Смит, Джоя Беннета и многих других белых и чёрных подростков с Чарльзом. Их отношения проникнуты высоким чувством товарищества, в то время как отношения Фэйни Мак-Магона и Роя, построенные на корысти, лжи и взаимном обмане, мерзки и отвратительны.

В книге отчётливо проведена мысль о единстве интересов белых и чёрных тружеников, показано, как ещё на школьной скамье крепнет в борьбе против поборников расовой дискриминации дружба детей с разным цветом кожи. И когда в день концерта Джемса Робинсона в Стон-Пойнте открыто сталкиваются силы реакции с силами прогресса, когда организуется поворный процесс над обоими Робинсонами, учителем Ричардсоном и тремя другими честными гражданами Стон-Пойнта, юные друзья Чарли без колебаний принимают участие в развёртывающейся борьбе.

Мистер Мак-Магон старший называет в конце книги Фэйни и Роя надеждой Америки, её будущим. С точки зрения «отцов города» они вполне заслужили эту похвалу своими провокационными показаниями на суде, ненавистью к неграм и коммунистам, добровольным шпионажем за одноклассниками.

Но юные читатели книги хорошо знают, что не Фэйни, а Чарли и его друзья — подлинная надежда Америки, её будущее. Перевертывая последнюю страницу, они искренне убеждены, вместе с автором, что Рою Мэйсону вряд ли когда-нибудь удастся стать губернатором штата: народ Америки уже начинает разбираться в политике.

«Дети горчичного рая» — по-хорошему занимательная книга, и благодаря этому серьёзная, политически острая тема глубже, полнее воспринимается юным читателем. Такие захватывающие внимание эпизоды, как перевыборы старосты класса, гонки детских автомобилей, концерт «чёрного Карузо» и некоторые другие, органически вплетены в сюжет, служат главной и основной цели книги — разобла-

чению американского фашизма. Но в тех случаях, когда Н. Кальма отталкивается не от материала жизни, а от старых традиционных схем, когда автор стремится к занимательности ради самой занимательности, в книгу проникают штамп и литературщина.

Именно этим недостатком страдает, например, глава, называемая «На кладбище». Сцена свидания Джоя и Кэт у могилы самоубийцы, описание пережитых ими страхов, хотя и пародируют определённый круг детского чтения, сами рассчитаны на чисто внешний эффект и не имеют существенного значения в развитии сюжета.

Автору удалась образы большинства главных и второстепенных персонажей. Это сильная сторона книги. В суровых условиях американской действительности, где расовая нетерпимость объявляется чуть ли не добродетелью каждого белого человека, в постоянной борьбе с нищетой и лишениями формируется решительный и целеустремлённый характер юного Чарли Робинсона, страстно мечтающего о равенстве и счастье для всех людей.

Яркими индивидуальными качествами наделены и другие герои книги. У каждого — своя линия поведения, во внешнем облике — свои характерные особенности. Автор создаёт зрительно запоминающиеся портреты.

Важная роль отведена в книге учителю Ричардсону; он человек прогрессивных взглядов и стремится воспитать подрастающее поколение свободным от расовых предрассудков, в духе подлинного демократизма.

Очень существенно, что эти черты Ричардсона не только отмечены писательницей, но в книге показано, как они проявляются во всей его педагогической деятельности: на уроках, в беседах с детьми, при разборе школьных сочинений на вольную тему.

К сожалению, во второй половине книги образ Ричардсона теряет живые своеобразные черты, к его характеристике примешивается ненужная слащавость, даже сентиментальность.

Изгнанный из школы за «коммунистическую пропаганду» Ричардсон предстаёт в замке Милларда перед комиссией попечительского совета. Он готовится к решающей схватке со злейшими политическими

противниками, и странно, что в эту минуту Ричардсон сравнивает себя с образами старых сказок: то с храбрым рыцарем в замке дракона, то с мальчиком, попавшим к страшному людоеду... Такие сравнения плохо вяжутся с мужественным обликом молодого учителя, который уже сложился в нашем представлении по предыдущим описаниям.

Само объяснение с комиссией, защита Ричардсоном своих взглядов описаны бегло, невыразительно. В суде его голос совсем не слышен. Кальма слабо показывает Ричардсона в борьбе, в действии, не использует всех возможностей сюжета. Хорошо, что к концу книги подробно обрисован певец Джемс Робинсон, и в то же время жаль, что образ учителя, явно в ущерб повествованию, отступил на второй план.

В привлекательной личности Джемса Робинсона читатель без труда узнает некоторые черты выдающегося негритянского прогрессивного деятеля — певца Поля Робсона. Но именно потому, что за неутомимой борьбой Поля Робсона с восхищением следят миллионы людей во всём мире, что советские люди видели Робсона на своей земле, знакомы с его кипучей деятельностью, удивительно читать в книге Кальмы следующее описание внешнего облика Робинсона: «Он редко улыбался, а в его длинных, висящих вдоль тела руках и опущенных плечах чувствовалась усталость. Как будто этот знаменитый негр-певец вобрал в себя всю печаль и разочарование

своего народа». Правда, содержание книги вскоре опровергает эту неуклюжую характеристику.

Книга «Дети горчичного рая» написана живо, образно. В ней есть и юмор, и лирическая взволнованность, и гневное обличение. Автор не жалеет сатирических красок, описывая экономку Милларда миссис Причард или преподавательницу школы мисс Вендикс — живое воплощение лицемерия и ханжества, процветающих в Стоун-Поинте. Но всё же в книге встречается много неряшливости, чувствуется стремление к излишней «красивости». Вряд ли можно считать украшением такие, например, выражения: «На огромном дворе тесно сгрудились под моросящим дождём только несколько ребячьих кучек», «Толстый, лысый, как глобус, он въедался во всех своих слушателей», «Вся твоя голубая кровь встаёт дыбом при мысли, что тобой командует негритос», «Миссис МакМагон стояла подавленная, как божья коровка, которая неожиданно для самой себя породила скорпиона», «Дыхание больших событий, коренных сдвигов», «Темнопламенное лицо» и т. д.

В книге Н. Кальма ярко нарисована общая картина жизни послевоенной Америки с её возрастающими противоречиями между имущими классами и трудящимися массами, фашизацией государственного аппарата, усилением гонений на негров — и это делает новое произведение полезным и нужным для советских детей.

Б. ГАЛАНОВ.

★

Две книги о Николае Островском

Н. Островский — любимый учитель нашей молодёжи, писатель-боец, который запечатлел в своих произведениях историю «молодого революционера нашей эпохи». Хороших книг об этом писателе, подчёркивающих обобщающую силу его произведений, у нас ещё очень мало.

Л. Розова и Е. Островская. «Н. Островский в школе». Редактор К. Спаскал. Учпедгиз, 1949.

Н. Венгров и М. Эфрос. «Жизнь Николая Островского». Редактор И. Кротова. Государственное издательство детской литературы, 1949.

Новые книги Л. Розовой и Е. Островской «Островский в школе» и Н. Венгрова и М. Эфрос «Жизнь Николая Островского» в значительной мере восполняют этот пробел.

Книга Л. Розовой и Е. Островской — удачная попытка в популярной форме осветить проблематику творчества Н. Островского, а также дать советскому учителю конкретные советы, как надо изучать в школе произведения этого талантливого писателя.

Героическую жизнь Н. Островского авто-

ры книги показали как «маленькую дождевую каплю, в которой отобразилось солнце партии». Весь сложный и многогранный жизненный путь писателя рассказан в книге увлекательно и образно. Авторы привлекли яркие воспоминания Ф. Ф. Передрейчука, послужившего до некоторой степени прототипом Жухрая, И. С. Линника — заведующего музеем Н. Островского в Шенетовке, Д. Г. Чернопыжского и М. Я. Рожановской — учителей Н. Островского, доктора М. К. Павловского, берездовского колхозника И. Тарасюка, писательницы А. Караваевой и др.

Большие творческие удачи Н. Островского объясняются в книге Л. Розовой и Е. Островской влиянием на писателя великих идей партии Ленина — Сталина, выросшей «из малограмотного рабочего парня советского писателя» (Н. Островский, «Письмо Сталину»).

Используя большой документальный материал Сочинского и Московского музеев Н. Островского, а также впервые публикуемые воспоминания сестры писателя Е. А. Островской и матери О. О. Островской, авторы показывают круг умственных и нравственных интересов Н. Островского: сознательное отношение писателя к труду, который рассматривается им как творчество, его интерес к книгам о борьбе народов за свою независимость («Тарас Бульба», «Кобзарь», «Спартак» и другие), коммунистическое понимание счастья.

Тема человеческого счастья и личная трагедия писателя раскрыты авторами книги в том плане, в каком о них сказал сам писатель: «Счастье многогранно. И я глубоко счастлив. Моя личная трагедия оттеснена изумительной, неповторимой радостью творчества и сознанием, что и твои руки кладут кирпичи для создаемого нами прекрасного здания, имя которому — социализм...»

Биография Н. Островского — одна из наиболее удачных глав книги «Н. Островский в школе».

Анализу романов «Как закалялась сталь» и «Рождённые бурей» посвящены две следующие главы. Ценным в этом анализе романов Островского является конкретное рассмотрение особенностей социалистического реализма на отдельных образах, событиях, эпизодах. Авторы прослеживают формирование революционных взглядов

и характера Корчагина, Серёжи Брузжака, Вали Брузжак, Ивана Жаркого, повара Климки и других героев Н. Островского. Анализом этих художественных образов авторы объясняют важную особенность социалистического реализма: «Отбирая явления действительности и обобщая их, Островский стремился дать «типический характер в типических обстоятельствах», правдиво отразить жизнь в её революционном развитии, в её движении к коммунизму» (подчёркнуто мною. — П. П.).

Правильно определив главную особенность художественного метода Н. Островского, авторы, однако, слишком скупко, суммарно говорят о революционной романтике, как составной части этого метода. В этом важном и сложном, дискуссионном до сих пор, вопросе авторы ограничиваются простой отпиской: «Если учащиеся не знакомы с ленинской трактовкой вопроса о мечте из работы Ленина «Что делать?», необходимо этот вопрос им разъяснить, чтобы понимание романтического начала в социалистическом реализме было точным и глубоким...». Вот и надо было показать, как разъясняется этот вопрос, что говорит о мечте и о романтике Ленин, почему Ленин цитирует Д. Писарева, как Ленин толкует Писарева и, наконец, какие конкретные выводы из этого следуют. Серьёзный теоретический вопрос о романтике в социалистическом реализме, разумеется, не может и не должен быть предоставлен на самостоятельное разрешение ни школьному учителю, ни, тем более, самим учащимся, как это сделали авторы.

Удачен раздел книги «О прототипах героев романа «Как закалялась сталь». Здесь показано, что книга Островского — не «просто-напросто собственная биография», не автобиографическое повествование об индивидуальной судьбе, не сумма частных случаев из жизни писателя. Авторы подчёркивают, что Островский «отбирал из биографии своих современников то, что считал наиболее характерным для революционной эпохи», и, отбирая типичное, он, «естественно, не мог не обратиться к своей биографии», которая давала большой материал для художественных обобщений.

Островский не копирует, не фотографирует жизнь, а обобщает, используя «право

художника на вымысел», — вот основная мысль данного раздела книги. Интересный документальный материал собран в главе «Боевой путь книги «Как закалялась сталь». Это волнующие отзывы участников Великой Отечественной войны о книге, которая вела в бой и учила побеждать, была верной спутницей и политработника Марины Педенко, и молодого гвардейца Юрия Смирнова, и участника боёв за Шепетовку Николая Богданова, и моряков Черноморского флота, и многих тысяч советских молодых юношей и девушек.

Глава книги, посвящённая вопросам изучения жизни и творчества Н. Островского в VI и в X классах, может быть полезным пособием для педагогов. В этой главе даны примерные планы уроков по изучению творчества писателя, темы для сочинений, методические указания, библиография, наконец, результаты опыта лучших учителей-словесников по работе над Н. Островским в средней школе.

Одним из существенных недостатков книги является отсутствие в ней связей корчагинских традиций с современной советской литературой. Герой книги Островского «Как закалялась сталь» выглядит в освещении Л. Розовой и Е. Островской одиноким, лишённым своих литературных и жизненных собратьев. А следовало бы сказать о Гастелло, Матросове, Маресьеве, Кошевом, Зое Космодемьянской, Лизе Чайкиной и о многих других замечательных советских молодых людях и их литературных образах.

Другой существенный недостаток — неглубокий анализ художественных особенностей произведений Н. Островского. Авторы ограничились анализом художественных особенностей только одного романа «Как закалялась сталь», не сделав этого по отношению к роману «Рождённые бурей». Анализируя «Как закалялась сталь», авторы считают характерной особенностью этого романа его документальность, его связь с жизнью. Но ведь эта особенность присуща и романам Д. Фурманова, и «Молодой гвардии» А. Фадеева и целому ряду других произведений советской литературы. Желательно было бы, чтобы авторы, правильно указав на то общее, что объединяет роман Н. Островского с другими лучшими произведениями советской литературы, в то же время по-

казали, что именно отличает этот роман, в чём его специфика. Этого в книге Л. Розовой и Е. Островской, к сожалению, нет.

Языку писателя (точнее, языку только одного его романа) в книге посвящено всего около половины страницы. Авторы ограничиваются в этом вопросе следующими двумя частными наблюдениями: «Язык Островского нередко афористичен», «Профессионализмы и украинизмы разнообразят речь героев».

Это правильно, но не это главное; нельзя всё богатство языка Н. Островского свести к афористичности, к наличию в нём профессионализмов и украинизмов. Читателя интересуют прежде всего главные особенности как языка автора, так и языка его героев, то есть основной лексический состав языка, средства образности, синтаксические конструкции и фразеологические обороты, характерные именно для данного писателя.

Мало удовлетворяет читателя и глава «Николай Островский — публицист», в которой авторы ставят своей целью осветить отношение Н. Островского к гражданскому долгу писателя, к вопросам коммунистической нравственности, к труду, к задачам литературной критики, а также показать, как Н. Островский критиковал и разоблачал буржуазную мораль и вообще капиталистический строй.

Ценный архивный материал, использованный в этой главе, недостаточно глубоко проанализирован, слабо связан с вопросами современности. В отличие от других глав книги, эта глава напоминает литературный монтаж с преобладанием в нём цитат.

Недостатки книги исправимы. В целом же книга ценная, содержит богатый фактический материал, методологически построена правильно, хорошо отредактирована. Она, несомненно, заинтересует своим содержанием не только учителя, но и учащегося старших классов, и воспитанника ремесленного училища, и колхозника, и воина Советской Армии.

Несколько в ином плане написана книга Н. Венгрова и М. Эфрос «Жизнь Николая Островского». Это популярно и живо изложенная биография писателя-большевика. Книга адресована детям среднего и старшего возраста. В живой форме авторы по-

вествуют о боевом жизненном и творческом пути Н. Островского. Обстоятельно, со многими характерными деталями, рассказано в книге о семье Островского, о его родных и близких, о вступлении его в партию, о работе в деревне, о рождении Островского-писателя, о высоком творческом подвиге — его литературной деятельности, о награждении его орденом Ленина. Многие факты из жизни писателя воспроизведены в форме занимательных художественных очерков (например, главы «Шкляр», «В школе», «На фронт!»).

Н. Венгрову и М. Эфрос удалось ещё более рельефно, чем это сделано в книге Л. Розовой и Е. Островской, оттенить разницу между главным героем книги «Как закалялась сталь» и её автором и подчеркнуть обобщающую силу романа, его воспитательное значение. Во 2-й части книги «Жизнь Николая Островского» в главе «Подвиг» авторы приводят ценные высказывания самого Островского по этому вопросу. Соседке по квартире Гале Алексеевой — девушке, которой выпала честь быть первым переписчиком и помощником писателя, Николай Островский сказал:

«— Но ты не думай, Галочка, что это моя биография. Моя жизнь такая же, как у всех, кто участвовал в гражданской войне. Я и назову моё «дитя» повестью».

Н. Островский писал о том, что он видел и пережил сам, но неверно было бы с академической скрупулёзностью отыскивать отражение всех поступков Островского только в одном Корчагине, или, наоборот, возводить все качества Корчагина только к одному Островскому, как к единственному прототипу, что делали в своё время некоторые критики, которые на этом основании ставили знак равенства между Островским и Корчагиным (см. статью С. Трегуба «Нравственная сила Островского-Корчагина» в журнале «Молодой большевик», 1946 год. № 9).

Советская литература отличается от других литератур мира силой исторически-правдивого обобщения. В ряде лучших произведений советской литературы, и в том числе в книгах Н. Островского, воплотилось то наиболее ценное и типичное, что является ведущим в русском националь-

ном характере, в характере большевика — борца за коммунизм: верность делу партии, народность, патриотический пафос, пафос активной борьбы за счастье человека. Именно поэтому книги Н. Островского оказывают такое мощное воздействие на формирование новых, коммунистических характеров, на их становление и рост. Отождествлять типический художественный образ — образ Павла Корчагина — с его творцом — это значит недооценивать обобщающую силу и воспитательную роль книги «Как закалялась сталь».

Н. Венгров и М. Эфрос рядом фактов и примеров убедительно опровергают такое отождествление писателя с его героем. Так, например, авторы сообщают, что когда мать писателя прочитала в книге «Как закалялась сталь» о поступках Серёжи Бружжак, она сказала Николаю: «Это же ты так прибежал с большевиками из Горюхиенского леса, а не Серёжка!» Н. Островский ответил:

«— А я нарочно так, мамуся. Так и надо! Это будет книжка не только про меня, но про всех нас — комсомольцев».

Н. Венгров и М. Эфрос проливают свет на то, как писатель, с одной стороны, индивидуализирует, персонифицирует типическое, а с другой стороны, как он типизирует, обобщает индивидуальное. Огромная воспитательная и художественная сила образов Н. Островского — результат разрешения этих двух главных задач творческого процесса.

Н. Венгров и М. Эфрос знакомят читателя с творческой лабораторией художника, рассказывают о том, как создавались книги «Как закалялась сталь» и «Рождённые бурей», кто их редактировал и как их впервые издавали.

Книга «Жизнь Николая Островского» хорошо иллюстрирована (оформление Ю. Рейнер). Среди иллюстраций есть много малоизвестных широкому читателю: редкие снимки юноши Н. Островского, его родных, Ф. Передрейчука, комбрига Котовского, И. Феденева, А. Серафимовича, фотокопия комсомольского билета Н. Островского, первых изданий книг писателя.

В главе «Десять тысяч новых штыков» (вторая часть книги) авторы приводят такой эпизод. Когда Лев Николаевич Берсенев принёс Островскому экземпляр первого издания «Как закалялась сталь», писатель с волнением нащупал тиснёный штык на переплёте и сказал:

«— Послушай, Лев! Ведь это замечательно, ведь это тот самый штык, о котором писал наш друг Павел Корчагин брату Артёму!.. Ведь это мой штык, моё новое

оружие, с которым я вместе с вами, с партией, со всей страной буду драться в строю!»

Книга Н. Венгрова и М. Эфрос, как и книга Л. Розовой и Е. Островской легко и с интересом читаются. Они помогают воспитывать нашу молодёжь на примере серьёзно и живо рассказанной жизни и деятельности писателя-большевика.

П. ПУСТОВОИТ.

★

Очерки Ивана Рябова

Перед нами книга газетных очерков. На первый взгляд это несколько неожиданно. Среди читателей, а ещё больше среди литераторов и критиков о газетном очерке — независимо от того, хорош он или плох — существует довольно определённое мнение: это самый недолговечный жанр литературы. Газетные очерки, изданные отдельной книгой, — явление и до сих пор ещё довольно редкое.

В том, что такой взгляд на советский газетный очерк крайне несправедлив, убеждаешься, читая книгу Ивана Рябова «Годы и люди». В книге собраны очерки, печатавшиеся на страницах газеты «Правда» в течение последних шести лет. Первый очерк «Побуж» датирован ноябрём 1943 года. «Письма из Деминской МТС» датированы январём 1944 года. Уже один тот факт, что очерки, написанные семь лет назад, читаются сегодня с неослабевающим интересом и не кажутся устаревшими, свидетельствует о том, что и этому жанру свойственны такие качества, которые позволяют успешно выдерживать испытание временем.

«Годы и люди» — одна из лучших очерковых книг последнего времени.

Книге Ивана Рябова свойственно то внутреннее единство, которое заставляет читать написанные в разное время очерки, как сюжетное повествование. И это тем более кажется удивительным, что в

книге «Годы и люди» не только нет так называемого сквозного героя, но нет и строгого тематического единства. Значительная часть книги посвящена жизни колхозного крестьянства, но в неё включены и очерки о войне, и очерки, написанные в связи с восьмисотлетием Москвы. И тем не менее читатель прежде всего почувствует не то, что отличает один раздел книги от другого, а то, что объединяет всё собранное в ней. В журналистской работе Ивана Рябова проявляется умение автора видеть в малом великое, в конкретном и частном — отражение общего. И подобно тому как в мозаике из отдельных кусочков складывается законченная картина, так и в книге Рябова из отдельных очерков складывается повествование о нашем времени и народе, вполне оправдывающее название книги «Годы и люди».

Несомненны литературные достоинства книги: точность, выразительность, экономность языка, умение несколькими штрихами создать сильный образ — качества, свидетельствующие о том, что автор — писатель даровитый.

«Здесь был враг, был немец, была война; бурый, давящий душу тоской цвет — цвет пустыни, в которую обращали дикари-оккупанты весёлую, пёструю, многоголосую и живую природу нашу. Бурьян, свист ветра над полем, над костями покойников, волчий вой в осенней ночи — так, как было когда-то, во время набегов татар и половцев. О, русская земля!»

Иван Рябов. «Годы и люди». Редактор А. Гребнев. Издательство «Правда», 1949.

Верный правде жизни, Иван Рябов полагает восстановление страны, как тяжёлую, суровую в своей будничности работу, потребовавшую героизма, самоотверженности, стойкости. И не раз еще перед читателем встанут и разоренные сёла, и обездоленные сироты и вдовы, и люди, потерявшие на войне силу и здоровье. Но читатель не услышит ни одной пессимистической нотки, ибо, как и в жизни, в этой правдивой книге горе не убивает воли к труду, веры в жизнь, в лучшее будущее, трудности не заслоняют великих побед. И от этого ещё величественнее становятся дела нашего народа. В очерках Рябова читателя волнует именно это правдивое, вдумчивое описание событий. Рябов иногда отказывается от попытки живописно изобразить события (и это относится к числу его недостатков), но зато он никогда не отказывается от попытки проанализировать их, вскрыть суть описываемого явления.

«Мы поделились с читателем нашими чувствами и мыслями», — такими словами автор заканчивает один из своих очерков. И это для Рябова не случайная концовка — в этом выражена одна из характернейших особенностей его творческой манеры. В своих очерках Рябов не просто сообщает факты, не только и даже не столько рисует увиденное, нет, он взволнованно, горячо рассказывает о важности, необходимости или, наоборот, о нетерпимости, вредности того, о чём идёт речь. Читая книгу, невольно отмечаешь, что автор никогда не предстаёт перед читателем в позе спокойного наблюдателя — он или ярый защитник, ревностный пропагандист, или суровый судья. Четко, без обиняков выражает Иван Рябов свое партийное отношение к людям и явлениям.

Читая книгу, убеждаешься и в том, что вошедшие в неё очерки написаны не для того, чтобы оживить газетную полосу; причина их появления — в стремлении автора активно вмешаться в жизнь, повлиять на ход событий. Очерки Рябова очень близки публицистическим статьям, но это —

особенность творческой манеры писателя, соединяющего в себе талант очеркиста, публициста и фельетониста.

При всех неоспоримых достоинствах, которые мы отметили, отдельные очерки И. Рябова не лишены недостатков. Иногда автору изменяет вкус, и в, строгое, чёткое, образно-яркое повествование вдруг врывается цветистый абзац, наполненный искусственными, чисто буафорскими украшениями. Так например, в очерке «Бородино» пейзаж написан во вкусе сентименталистов: «Точно повинувшись идее чудесного зодчего, земля здешняя изукрасила себя зелёными холмами, долинами рек, лиственными рощами. Неизъяснимое очарование в этом пейзаже в день осени первоначальной, когда, как хрусталь, чист воздух и неяркое золото последних солнечных дней изливается на золото жниввы. Глаз не устаёт любоваться полями и рощами, сердце полно ощущения гармонии природы, слёзы восторга подступают к горлу человека, поднявшегося на высокий курган у сельской околицы, откуда открывается взору всё пространство, именуемое Бородинским полем».

Излишне часто в очерках появляются примелькавшиеся уже в литературе стилизованные деда, с их поистине удивительным знанием примет и умением безошибочно предсказывать погоду по листьям деревьев, то даже по тому, как лежит икра в щучке(!).

В своих очерках Иван Рябов обнаруживает хорошую эрудированность. Цитаты, исторические параллели, малоизвестные факты и сведения используются автором умело, ярко, почти всегда к месту. Но иногда излюбленные цитаты начинают казаться из одного очерка в другой, и это, естественно, производит неприятное впечатление. Ничем не оправдано, пожалуй, и пристрастие автора к архаическим оборотам, метафорам, словечкам.

И. Рябов — талантливый журналист и умелый мастер очерка. Его книгу хотелось бы видеть свободной от этих бросающихся в глаза недостатков.

В. НИКОЛАЕВ.



Об издании романа «Тысяча душ»

Творчество А. Ф. Писемского и отдельные его произведения до сих пор не оцениваются единодушно. Ни достоинства, ни недостатки его творчества ни разу не получили сколько-нибудь связного и удовлетворительного обоснования и разбора в советском литературоведении.

Двойственность отношения к Писемскому восходит ещё к тому времени, когда он жил и писал: голоса революционных демократов при оценке его творчества разделились; разделились и голоса либеральных критиков. Только одни славянофилы единодушно отрицали за творчеством Писемского какое бы то ни было идейное или художественное значение.

При этом в пылу споров о писателе возникла и постепенно утвердилась мысль о грубости и элементарности его произведений. Эта ошибочная мысль помешала и анализу его отдельных произведений по существу, и правильному осмыслению его творчества в целом.

Роман «Тысяча душ» (1858), одно из центральных произведений Писемского, является хорошим примером такого еще не объясненного критикой и историей литературы создания писателя. Повидимому, для редакции «Библиотеки русского романа», в число выпусков которой вошел этот роман, он также представлял какие-то неясности, и был снабжен подробным послесловием. Остановимся, прежде всего, на этом последнем.

Автор послесловия И. А. Мартынов, неоднократно выступавший со статьями о Писемском, видит в нём, прежде всего, консервативного, близкого славянофилам сторонника патриархальности. Классовая сущность консервативности Писемского определяется автором послесловия как мелкопоместно-дворянская: «Мотивы нравственного самоусовершенствования, противопоставление цельной самобытной крестьянской жизни мишурности и лживости света, тунеядству людей «образованных», цивилизованных, можно встретить во многих произведениях Писемского. Взгляды эти сочетаются у него с присущей мелкопоместному дворянству классовой (!) враждой к крупным помещикам, разоряющимся

их, а после крестьянской реформы — враждебным отношением к наступающему на мелкие и крупные поместья капитализму». Или: «Поиски нравственной правды у простого народа, у крестьянства, картины «макбетовского величия» проступков у мужиков в творчестве Писемского и противоречия в его взглядах обусловлены влиянием славянофилов». Далее автор послесловия пишет: «В обострившейся революционной ситуации Писемский со своих консервативных позиций не мог понять и не понял сущность прогрессивного движения в России»; «Правда Писемского на важнейшем общественном рубеже ему изменяла, безидейность превращала его в обывателя» и т. д.

Переходя к характеристике романа «Тысяча душ», И. Мартынов пишет: «Вывод (из романа «Тысяча душ» — А. М.), следовательно, напрашивается один: все государство нужно ломать до основания».

Нам представляется, что здесь И. Мартынов делает совершенно правильный вывод. Но читатель послесловия явно недоумевает, как может подобный вывод следовать из романа, написанного консервативным патриархально-дворянским писателем? И Мартынов тут же успокаивает читателя, разъясняя, что ни Калинович («...деятель типа Калиновича неспособен понять истинные болезни общества, истинные методы их лечения»), ни Писемский сами ни в малейшей мере не догадываются о возможности такого вывода. В этом выводе, следовательно, повинен только реалистический метод, применявшийся Писемским.

Однако нам известно, что сам Писемский основную задачу своего романа видел в доказательстве невозможности честной службы в крепостнической России. Известно также, что идеологию Калиновича писатель назвал совершенно определённым именем — социализмом (об этом И. Мартынов даже не считает нужным упомянуть). Как же можно говорить о том, что приведённый выше вывод возникает помимо сознания Калиновича и Писемского?

Боле того. Если бы И. Мартынов не был так доверчив к изданиям, выходящим до революции с разрешения царской цензуры (а цензурная история произведе-

ний Писемского весьма поучительна) и обратился к подлинной рукописи «Тысячи душ», он увидел бы, что Калинович в конце романа приходит именно к тому самому выводу, о котором говорит сам И Мартынов, то есть требует одновременной («сразу») ломки до основания всей государственной машины помещиков и купцов. Вот подлинные слова Калиновича: «...чтоб поправить машину, нечего из этого старья вынимать по одному винтику, а сразу надобно всё сломать и все части поставить новые, а пока этого нет и просвету ещё ни к чему порядочному не предвидится: какая была мерзость, такая есть и будет!»

Подобную же доверчивость, переходящую в политическую близорукость, проявляет И. Мартынов и к высказываниям либеральной дворянской критики пятидесятых годов. По И. Мартынову, «одну из удачных характеристик образа Калиновича оставил П. Анненков, общее мнение которого о романе мы уже приводили» По видимому, И. Мартынов не понял, что статья П. В. Анненкова («О деловом романе в нашей литературе», 1859) является злобным политическим выпадам против образа социалиста-разночинца Калиновича и всей социальной стороны романа Писемского. На грубость фальсификации Анненковым образа Калиновича обратила внимание даже дворянская журналистика того времени, в целом сочувственно отнесшаяся к статье Анненкова Так, например, славянофильская «Русская беседа» писала: «Но выражая своё безусловное отвращение к особе Калиновича, принятой петербургскими критиками под особенную защиту, кара и изобличая беспощадно его внутреннюю гниль и ничтожность как чиновника, — г. Анненков силится доказать с помощью разных неудачных натяжек, что такова и была цель автора, что сам г. Писемский задал себе изобразить «поддельного государственного человека и ложного исправителя нравов». В этом да позволено нам будет усомниться, ибо сочувствие автора заявлено довольно сильно, как к герою романа, так и к воплощаемой в нём «бесстрастной идее государства». По мнению редакции «Русской Беседы», «ложная мысль романа заключается именно в оправдании Калиновича, в апотеозе его как общественного деятеля, в том, что его бесчестная жизнь венчается каким-то нравственным ореолом».

Анненков был чрезвычайно напуган образом Калиновича и его «теорией возмездия», приводящей к утверждению, что «судьба общества поставлена на карту». В воображении Анненкова Калинович принимает образ стихийного бедствия («оч проходит, как землетрясение, каменный дождь, поток, разрушительная буря»).

Ясно, что характеристика Калиновича, данная Анненковым, ни в какой мере не может быть использована для изучения «Тысячи душ» и подлинного замысла писателя. Характеризует она только политическую позицию её автора.

Статья И. Мартынова отличается также поразительно лёгким отношением к фактической стороне дела. Так, например, Н. Г. Чернышевскому приписан положительный отзыв о повести Писемского «Виновата ли опа?» (1855). Где видел его И. А. Мартынов? А. П. Налимову, автору двух статей о Писемском, приписана несуществующая книга. Сведения, сообщаемые о самом Писемском, также чрезвычайно неточны. Например, И. Мартынов пишет: «В последующие (после 1863 года — А. М.) годы своего творчества Писемский уже печатался во второстепенных московских журналах. Слава его закатилась».

Приводим справку: из всего написанного Писемским после 1863 года более трех четвертей (три больших романа и ряд других произведений) было опубликовано в петербургских журналах, в том числе в «Отечественных Записках».

Одной из особенностей «Тысячи душ» является органическое соединение в ней черт романа социального с романом психологическим. Органичность этого соединения, чрезвычайно характерная для творчества Писемского на всём протяжении его развития, однако, плохо укладывалась в обычные представления литературных деятелей того времени и поэтому вызвала самые превратные толкования. Высказывалась мысль, что превращение Калиновича в гражданского деятеля тенденциозно, что оно вредит художественной стороне романа. Высказывалась и противоположная мысль, что первые три части мешают четвертой, изображающей Калиновича-гражданина. По существу своему эти точки зрения совпадают: они обе отрицают значение психологической стороны в романе Писемского. И когда И. Мартынов пы-

тается уверить читателя, что Калинович с самого начала был уже общественным деятелем, он повторяет старые ошибки критиков шестидесятых годов. Между тем в первых трёх частях романа «Тысячи душ» автор глубоко анализирует причины превращения Калиновича, первоначально чистого в помыслах и разборчивого в средствах трудолюбивого молодого человека, в законченного негодяя. Но именно потому, что моральная первооснова Калиновича была глубоко чужда его дальнейшему поведению, Калинович одно время близок к самоубийству. Позднее в Калиновиче происходит тот психический перелом, который превращает пошлого любителя комфорта в аскета и социалиста.

Цензурный пресс дореформенной, феодально-крепостнической России, однако, помешал Писемскому полностью опубликовать свой роман, что существенно затемнило его замысел и послужило ближайшей причиной тех недоумений, которые возникли, например, у Н. А. Добролюбова. Восстановление подлинного текста «Тысячи душ» и издание его в не искажённом цензурой виде следует признать ещё не выполненной задачей советских литературоведов. Интересный и содержательный роман Писемского должен быть издан в подлинном, не искажённом царской цензурой виде, с научными, марксистскими комментариями.

А. МОГИЛЯНСКИЙ.

★

Начало прозрения

В часы, когда у индуса Рахула Басу родилась дочь, он услышал по радио речь премьер-министра Англии об объявлении войны гитлеровской Германии. Это совпадение кажется Рахулу знаменательным. Он думает о том, что «в кровавом разливе войны потонет не только свастика, но и многое другое. Миллионы молодых жизней погибнут даром». Так начинается роман молодого бенгальского писателя Бхабани Бхаттачария «Голод».

Наивной вере Рахула предстоят тяжёлые, трагические испытания. Писатель поведет его через страшные годы и события. В 1942 году в Бенгалии разразился голод, унёсший до четырёх миллионов жертв. Голод не был следствием стихийных бедствий. Он пришел из Англии. Ураган уничтожил посевы только в двух округах, и это не привело бы к катастрофе, если бы не политика владевшего Индией английского правительства, если бы не пережитки феодализма, господствующие в индийской деревне, если бы не бешеная спекуляция рисом ростовщиков, помещиков и правительственных чиновников.

Еще в 1941 году в Бенгалии начались закупки риса для армии. После оккупации Бирмы Японией губернатор Бенгалии предложил закупать и вывозить рис из Бенга-

лии в ещё большем количестве под предлогом, что она может быть оккупирована японцами и рис-де достанется врагу.

В предвидении великих барышей от повышения цен на рис калькуттские торговцы, деревенские ростовщики и помещики проводили огромные заготовки зерна. Так возник голод, так началась трагедия народа.

Действие романа развертывается в городе Калькутте и в одной из деревень Бенгалии, недалеко от Калькутты.

В образе Самарендры Басу автор показывает типичного индийского спекулянта, прислужника и верного холоя англичан. Самарендра Басу — адвокат, но во время войны он бросил свою адвокатскую практику и занялся спекуляцией на бирже. Когда в Бенгалии разразился голод, Самарендра переключился на спекуляцию рисом.

Самарендра — один из тех шакалов черного рынка, которых много появилось в Индии в период второй мировой войны и которые всецело поддерживали английскую власть.

Сыновья Самарендры Рахул и Кунал — представители верхушки бенгальской интеллигенции. Рахул — астрофизик, окончивший Кембриджский университет. В Кембридже он был связан с английскими коммунистами, однако непосредственного участия в революционном движении Индии не принимал. Даже разделяя взгляды индийских коммунистов, Рахул оправдывает свою пассивность интересами науки. Его брат

Бхабани Бхаттачария. «Голод». Перевод с английского. Под редакцией М. Чечановского. Издательство иностранной литературы, 1949.

Кунал, студент Калькуттского университета, мало интересуется политикой, но, как все индусы, стихийно ненавидит англичан. Он и в армию вступает только для того, чтобы «выбиться в люди», стать «равным» англичанам.

В 1942 году Национальный Конгресс, возглавляемый Ганди, Неру и другими буржуазными националистами, постановил начать кампанию гражданского неповиновения, требуя от Англии уступок индийской буржуазии и помещикам, в форме создания временного правительства, ответственного перед законодательными органами Индии. В ответ на это требование английское правительство арестовало лидеров Конгресса. Это вызвало в стране массовое движение протеста, местами вылившееся в разгром правительственных учреждений.

Крестьянство, доведённое до отчаяния голодом, примкнуло к этому движению, руководимому индийскими мелкобуржуазными националистами, не столько из сочувствия лидерам Конгресса, сколько из-за ненависти к английским колонизаторам. Особенно активное участие в движении принимали крестьяне Бенгалии.

Большой впечатляющей силы исполнены главы романа «Голод», в которых описаны жестокость и разбойничьи повадки англичан, бедствия голодающего индийского крестьянства, массовый поход его из деревень в Калькутту. Одни эти главы вполне оправдывают перевод романа на русский язык.

Но автору ещё не хватает понимания истинной природы многих явлений и событий в жизни его народа.

Вот быт бенгальской деревни до голода. В ней уже заложены причины будущих трагедий, но автор ещё изображает её в патриархально-идиллических тонах... Он словно не видит наличия каст, тяжелого положения угнетённых бедняков. Господствующие в бенгальской деревне феодальные пережитки показаны смягчённо, завуалированно.

Бенгалия — область крупного помещичьего землевладения. Бенгальские землевладельцы не обрабатывают своих земель при помощи наёмной рабочей силы, они сдают их арендаторам, которые пересдают их более мелким субарендаторам. Те в свою очередь также пересдают землю. Таким образом, во многих районах Бенгалии иерар-

хия арендаторов и субарендаторов превышает 20—30 ступеней. Лишь на самой нижней ступени находится действительно обрабатывающий землю крестьянин. Эта чудовищная лестница паразитов, сосущая соки из бенгальских крестьян и сельскохозяйственных рабочих, в романе совсем не показана. Этот основной дефект произведения индийского писателя не отмечен, к сожалению, автором вступительной статьи Е. Паевской.

Рабочий класс Бенгалии довольно многочислен и уже давно играет выдающуюся роль в революционном движении. Но автор, описывая город, показывает только интеллигенцию, участвующую в движении.

Рассказывая о влиянии Конгресса на массы и веру масс в Конгресс, автор не грешит против истины. Но когда Бхаттачарья изображает лидеров Конгресса, как вождей индийского народа, не вскрывая их демагогии, не показывая, что они использовали своё влияние на массы лишь в интересах индийской буржуазии и помещиков, он явно приукрашивает Конгресс, замазывает его классовую сущность, антинародные цели его руководства.

Конгресс изображён в романе как выразитель интересов всех классов индийского общества, а правоверный гандист Девеш Басу — пламенным борцом за интересы трудящегося крестьянства.

В период войны Национальный Конгресс проводил политику выторговывания у английского правительства уступок в интересах индийских буржуазно-помещичьих кругов.

Нас радует, что автор понимает смысл этой политики Конгресса и не сочувствует ей. Он знает, что разгром фашизма являлся необходимой предпосылкой для грядущего освобождения Индии. Это ясно видно из целого ряда высказываний его героя Рахула. Однако автор не сумел понять своеобразной защиты Конгрессом интересов имущих классов Индии.

В результате сговора лидеров Конгресса с английским империализмом в 1947 году Индия была расчленена на два государства — Пакистан и Индийский Союз. Особенно гнусную роль играли в этом сговоре бенгальские конгрессисты, согласившиеся на расчленение Бенгалии между двумя доминионами, что причинило тяжёлый ущерб бенгальскому народу.

Заполучив власть, Национальный Конгресс стал верным вассалом англо-американского империализма. В Индийском Союзе был установлен режим жестокого террора против участников рабочего и крестьянского движения, против всех демократических прогрессивных организаций.

Индийская буржуазия и помещики, возглавляемые соратниками Ганди, с жестокостью, невиданной даже во времена прямого господства англичан, стали подавлять крестьянские восстания, забастовочное движение рабочих, движение за мир, громить прогрессивные организации.

Недавно суд княжества Хайдарабад вынес смертный приговор 108 участникам крестьянского восстания в одном из районов этого княжества — Телингане. Десятки тысяч коммунистов и других деятелей ра-

бочего и крестьянского движения брошены в тюрьмы. Правители Индии, осуществляя приказ своих английских и американских господ, стремятся превратить Индию в базу англо-американского империализма в Азии.

Однако этот террор свидетельствует о непрочности позиций буржуазно-помещичьей клики, стоящей у власти в Индии. Укрепление антиимпериалистического демократического лагеря во главе с СССР, создание Китайской народной республики оказывают огромное революционизирующее влияние на трудящиеся массы Индии.

Всего этого не может не увидеть такой вдумчивый и горячо любящий свой народ художник, каким предстал перед нами автор романа «Голод» Бхабани Бхаттачария.

Доктор исторических наук **А. ДЬЯКОВ.**

★

Русские богатыри

В былинах, ярко отразивших героические события русской истории, воспевается беззаветная и бескорыстная любовь к родине, героизм народных богатырей, защита слабых и обездоленных. Все эти черты создают духовный облик русского народа, раскрывают национальные черты русского человека.

С другой стороны, в былинах также остро запечатлены социальные противоречия нашего исторического прошлого.

Характеризуя эту особенность русских былин, Добролюбов писал:

«Возбуждалась любовь к этим песням, конечно, горьким чувством при взгляде на современный порядок вещей. При нашествии народа неведомого ожидания всех обратились, разумеется, к князьям: они, которые так часто водили свой народ на битву с своими, должны были теперь защищать родную землю от чужих. Но оказалось, что князья истощили свои силы в удельных междоусобиях и вовсе не умели оказать энергического противодействия страшным неприятелям. Они бежали от монголов, пока не узнали, что они не вмешиваются во внутреннее управление и довольствуются собиранием пода-

ти. Тогда они признали себя данниками монголов, и народ узнал, что он стал татарским улусом и что подати на нём прибавилось. Горько было настоящее положение народа, обманутого в своих ожиданиях».

Русские былины, являясь подлинно народным поэтическим творчеством, правдиво повествуют о замечательных подвигах народа в борьбе за независимость нашей Родины и одновременно отражают классовые противоречия своего времени, рисуют отношение народных масс к социальным верхам.

Былины, несомненно, могут играть немалую роль в деле патриотического воспитания наших детей.

Однако популяризация былинного творчества встречает значительные трудности, когда речь идёт об издании былин для детей младшего возраста.

Былины создавались в эпоху очень отдалённую от нашего времени. Поэтика былин трудна для восприятия современного маленького читателя, в силу своего возраста имеющего очень мало исторических ассоциаций. Ведь чем древнее произведение, тем оно больше требует для полноты своего восприятия исторических и историко-культурных связей и представлений.

«Русские богатыри». Былины. Обработка для детей И. Карнауковой. Отв. редактор Б. Лотов. Деггиз, М.—Л., 1949.

Детская писательница И. В. Карнаухова пересказала былины для детей в форме сказок.

Этот первый опыт в основном можно считать удачным, хотя сборник И. Карнауховой обладает и существенными недостатками.

Достоинством книги И. Карнауховой является то, что в сборнике достаточно полно представлены основные сюжеты и главные герои русского эпоса. И. Карнаухова также удалось правильно передать в сказках образы большинства богатырей, дать их подлинно народные характеристики. Очень хорош Илья Муромец — могучий богатырь, беззаветно преданный родине, её самоотверженный защитник. Он никого и ничего не боится, бескорыстен, обладает высокоразвитым чувством человеческого достоинства. Илья Муромец — истинное воплощение самого русского народа. Удалось И. Карнауховой характеры Добрыни, Микулы и Вольги. Хороши женские образы: Василисы Микуличны и Забавы. При переключении былины в сказку И. Карнаухова сумела сохранить и передать многие типичные черты русского эпоса, сумела передать содержание и характер поэтического стиля былин.

Однако и недостатки сборника значительны. И. Карнаухова всё своё внимание обратила на показ героических и патриотических черт русского народа. Разумеется, это является основным содержанием русского эпоса. Однако былины отразили не только героизм народа, но и классовые противоречия эпохи.

Крещение Руси было прогрессивным явлением своего времени; с именем Владимира связаны многие значительные события истории, в силу этого он и является героем русского эпоса.

Но былинный князь Владимир Красное Солнышко представляет собой собирательный образ. В нём отразились и черты исторического Владимира, и образы позднейших князей, склонявших головы перед врагами родной земли. Поэтому, в сущности, ни в одной былине Владимир не показан, как положительный образ, в ряду с народными богатырями. Иногда его роль чисто служебная: он объединяет богатырей, чаще княжеский пир является лишь зачинном, завязкой былины.

Во многих же былинах образ князя Вла-

димира дан в резко отрицательном или даже в сатирическом плане (см. «Васька-пьяница и Батыга», «Илья и Калинцарь»). Владимир способен за взятки простить преступления (былина «Молодость Чурилы»). Иногда он показан, как жестокий и коварный деспот, готовый на любое преступление. (См. былины «Данило Ловчанин», «Сухман Одохмантьевич»).

Жена Владимира княгиня Апраксия часто также изображается отрицательно. Она готова предать и мужа, и свою родину любимшемуся ей врагу.

Очень остро показано отношение народа к Апраксии в былине «Алёша и Тугарин». Алёша Попович в знак победы над Тугаринным и освобождения Киева от врага приносит его голову в Киев к князю:

А княгиня говорила Алёше Поповичу:
— «Деревенщина ты, засельщина,
Разлучил меня с другом милым,
С молодым Змеем Тугаретинным». —
Отвечает Алёша Попович млад:
— «А ты гоё еси, матушка княгиня
Апраксеевна.
Чуть не назвал я тебя сукою,
Сукою-то волочайкою...»

Такой же образ княгини дан и в былине «Сорок калик со Каликою».

Эти образы выражают народное отношение ко всему княжескому роду, в былинах это показано достаточно ясно.

В сборнике И. Карнауховой отрицательные характеристики князя и княгини ослаблены. И это неправильно, это ошибка писательницы.

Конечно, не надо было перелагать подлинник буквально, сохранять в детском издании грубые слова и натуралистические подробности. Но подлинно-народное, отрицательное отношение к правящей верхушке писательница должна была не затушёвывать, а, наоборот, подчеркнуть.

И. Карнаухова допустила ошибку, исказив образ одного из основных русских богатырей — Алёши Поповича, резко подчеркнув его отрицательные черты.

В былинах Алёша Попович показан, как человек со многими недостатками и даже пороками: он «бабий пересмешник, девичий угодник», способный порой на коварство. У Алёши иногда и «глаза завидущие и руки загребущие». Однако ему многое прощается народом за его ум и находчивость, сочетающиеся с храбростью. Он никогда не рассчитывает только на свою силу, но

всегда действует против врага обдуманно, с расчётом и учётом слабых сторон противника. На поле битвы он настоящий богатырь, младший брат Ильи Муромца. Таков Алёша Попович в русских былинах.

А как раз положительные черты Алёши И. Карнауховой показаны очень бледно. Простому детям и будет непонятно, почему же Алёша — русский богатырь, чем он славен? Обеднение образа Алёши Поповича — один из недостатков сборника И. Карнауховой.

В книге не совсем ясен и образ Святогора. В былине «Святогор богатырь» недостаточно продуман эпизод с мотивом предопределения, мотивом заранее предсказанной человеку судьбы, которую куёт какой-то мистический кузнец. Вся вторая половина былины с женитьбой Святогора вызывает сомнение, не ясна её ведущая идея.

Неудачна концовка в былине о Садко: освобождён Садко из подводного царства, спас все свои богатства и «послушался Садко жены, не стал больше ездить по морю. Прожил до смерти тихо и мирно в Новгороде».

Этот идиллический, умиротворённый конец снижает образ удалого богатыря, отважного мореплавателя, гусяра и песенника.

В сборнике заметна и некоторая небрежность стиля, хотя в целом язык книги удачен. Приведём пример: ткани «каменьями щитые», надо сказать — не «каменьями», а «каменьями»; «туда и свалились королевичи», вместо «провалились»; «садись в место почетное» (лучше сказать на место); Калин-царь «вскочил на ноги кленовые». Так нельзя сказать, да и в самой сказке кленовые ноги не воспринимаются буквально, а как образ, как метафора: «Сам царь — как столетний дуб, ноги — брёвна кленовые» и т. д. Таких мелких стилистических погрешностей можно отметить немало.

Однако, несмотря на отдельные значительные недостатки сборника, этот первый опыт переложения былин в сказки в целом интересен и удачен.

Книга имеет право на последующие издания при условии устранения допущенных промахов и недостатков.

А. НЕЧАЕВ.

★

Румынские писатели о советской литературе

Герои советской литературы уже в 1945—46 годах были встречены румынским читателем из народа примерно так же, как незадолго до этого были встречены им в Бухаресте жизненные прототипы этих героев — советские солдаты и офицеры: с восторженной любовью.

Глубокие демократические преобразования, происшедшие во всей жизни румынского народа, развёртывающаяся в стране культурная революция, приблизили к нему советскую литературу, сделали советскую книгу учебником жизни. Можно без преувеличения сказать, что наша художественная литература становится сейчас достоянием всего румынского народа: переводятся и издаются большими тиражами произведения советских писателей, издаются сборники статей советских критиков и литературове-

дов (периодические сборники под названием «Проблемы литературы и искусства»), печатаются рецензии и читаются лекции о советской литературе.

От общей оценки румынские писатели и критики переходят к раскрытию значения нашей литературы для румынского народа, приступившего к строительству социализма, и для находящейся сейчас в становлении новой румынской реалистической литературы.

В этом свете знаменателен сборник «О советской литературе и советском искусстве». Сборник невелик по объёму — всего около 70 страниц — и состоит из пяти лекций, читанных в Научном Румыно-Советском институте: «Мировое значение советской литературы» (Михаил Садовяну) «Максим Горький, основатель советской литературы» (Вера Памфил-Романеско), «Максим Горький, драматург» (М. Бреслашу), «Зарождение социалистического человека в отражении советской литературы» (А. Новиков) и

„Despre literatura si arta sovietică“. Institutul de studii Româno-sovietice. Bucureşti. («О советской литературе и советском искусстве». Румыно-Советский институт, Бухарест).

«Роль Станиславского в советском театре» (Дину Негреану).

Наибольший интерес представляет лекция известного румынского писателя Михаила Садовяну. Лекция эта подчёркивает прочность румыно-русских литературных связей. Как известно, западные империалисты и их ставленники в Румынии в течение многих десятилетий, и в особенности после установления в нашей стране советской власти, пытались воспрепятствовать проникновению русской демократической культуры в Румынию, прервать связь, существовавшую в течение веков между культурами обеих стран. Но несмотря на эти попытки, могучий голос великой русской литературы нельзя было заглушить.

«Ещё со времени моей литературной учёбы, — говорит в своей лекции Михаил Садовяну, — с первых классов гимназии, я чувствовал, что моя творческая сила питается горячей любовью к румынской природе и к моему народу. Вот почему я чувствовал себя так связанным с русскими писателями..»

Патриотизм русских писателей означал горячий призыв к борьбе за осуществление идеалов человечества. Счастье родины для них сливалось со счастьем народа, а ворота к счастью этого великого народа можно было открыть только отстраняя эксплуататорское меньшинство... Русские писатели не сторонились общества, как это произошло у других народов... В те годы ранней молодости я ненасытно читал произведения Толстого, Гоголя, Достоевского и Тургенева. Меня глубоко затронули своей скорбью «Обломов» Гончарова и «Головлёвы» Щедрина. Я был глубоко взволнован книгой «Что делать?» Чернышевского. Имена революционеров — Герцена, Белинского, Добролюбова — произносились нами, молодёжью, с восхищением и уважением».

Великая русская литература помогала румынским писателям старшего поколения понять ограниченность западноевропейской реалистической литературы XIX века. Вот что об этом говорит Садовяну: «Белинский воспитывал у писателей сочувствие к обездоленным. Западная эстетика отдавала предпочтение исключительным фигурам. Эстетика XIX века отрицала возможность литературы, которая ставила бы своей задачей правдивое изображение людей из народа — крестьян и рабочих.

Последние выводились на сцену в эпизодах романов, как элемент комического тупоумия. Даже крестьяне Балзика, Золя и Мопассана не подняты до уровня, достойного человека. Русские классические писатели с сочувствием и пониманием обращаются к обездоленным, ищут в них человеческие ценности... Горький доводит эти специфические черты до высокого потенциала». Заметим, кстати, что с произведениями Горького Садовяну ознакомился ещё в конце 90-х годов по «многочисленным переводам» в газетах и журналах.

С позиций русской демократической литературы Садовяну судит как натуралистическую прозу, отражающую «разложение пресыщенного общества, так и декадентскую поэзию», этого «...попугая с подрезанными крыльями, выдающего себя за синюю птицу».

Садовяну критически характеризует также и румынскую реалистическую литературу, отмечая, что она «прошла, не замечая восход сегодняшнего дня, где труд — основа свободы и преобразования мира». Что же касается румынской литературы периода между двумя мировыми войнами, то Садовяну рассматривает её, в преобладающем большинстве произведений, как «...импортный товар... сфабрикованный по литературной моде Запада».

Приведённые высказывания и суждения Садовяну помогают понять, сколь закономерным явился решительный переход этого старейшего деятеля румынской культуры на сторону народно-демократических сил.

Патриотизм, правдивость, высокий моральный пафос, гражданственность — вот что находит Михаил Садовяну в литературе, обновлённой большевиками России.

«... Связь между народом и писателем, — говорит он, — создаёт последнему ответственное положение... Писатель становится «инженером человеческих душ», как сказал Сталин... Эта связь придаёт вес литературным произведениям, создаёт им в массах огромное влияние».

На примере выдающихся произведений советской литературы — «Чапаева», «Железного потока», «Как закалялась сталь» и многих других Садовяну говорит о преобладающем значении советского искусства.

«Под руководством небывалых в истории мужей, Ленина и Сталина, — говорит Садовяну, — видное место, значение и роль

галантливых писателей утвердились в самых благоприятных условиях».

В творчестве советских писателей Садовяну видит прообраз новой румынской литературы:

«Этому примеру неустанной борьбы до окончательной победы должны следовать и мы, румынские писатели. Нет средних путей. Все предрассудки должны быть сожжены в очистительном пламени, все связи с прошлым порваны. Поставим всё наше оружие на службу нового века».

Садовяну счастлив, что может служить торжеству демократического лагеря, политическое, экономическое, национальное, художественное развитие которого возглавляет И. В. Сталин, «... лучший наш друг, друг всех народов».

О значении советской литературы для писателей новой Румынии говорит также М. Бреслашу — автор статьи о драматургии Горького. Следуя работам советских специалистов, знакомых ему по румынским переводам, автор указывает на место драматургии в творчестве А. М. Горького, раскрывает эстетическую основу горьковского театра, разбирает особенности стиля горьковских пьес. Горьковское драматургическое наследие, говорит М. Бреслашу, имеет направляющее значение «... не только для советского театра, но и для находящегося ещё в становлении театра народно-демократических стран, где искусство в целом и театр в особенности... должны вложить свою значительную долю в процесс преобразования сознания строителей социализма... Больше того, при настоящем положении румынского театра ряд указаний, замечаний, советов Горького сохраняют для нас жгучую актуальность...» Так, Бреслашу говорит о том, что Горький ещё в 1896 году с бичующим презрением отзывался о пьесе Сарду «Мадам Сан-Жен», возмущался лживостью, антиисторичностью этой пошлой мелодрамы. Между тем эта пьеса до последнего времени ставилась в Бухаресте, а «... некоторые подражатели Сарду ещё и по сей день осаждают литературные части наших театров с такой же собственной продукцией».

Горьковский театр ценится сейчас нашими румынскими друзьями не только потому, что он помогает им изжить декадентские традиции в искусстве. У горьковского театра, у горьковских героев, говорит

М. Бреслашу, «... мы должны учиться любви к жизни, к людям, учиться борьбе без колебания и без передышки за основание лучшего мира. Но пьесы Горького должны учить нас также, с каким трудом даётся победа над врагом, как он жесток, как он ненавистен».

В том же направлении выдержаны и остальные лекции сборника, хотя в них больше выступает слабость, присущая и другим румынским работам в этой области — ещё недостаточно глубокое освоение идейного и эстетического богатства советской литературы. Лекции Веры Памфил-Романеско о Горьком, А. Новикова о воспитательной силе творчества Николая Островского, Дину Негреану о творческом пути К. Станиславского содержат много полезных румынскому читателю сведений. Однако великие явления советской культуры здесь рассматриваются издалека, в отрыве от жизни и творчества трудящихся обновлённой Румынии. При таком подходе неизбежно остаётся в тени основа советской культуры — её вдохновенная коммунистическая идейность.

Отрадно отметить, что по мере приближения Румынии к социализму всё явственнее выступает это преобразующее начало советской литературы в жизни румынского народа. Критик С. Иосифеску писал недавно в еженедельнике «Контемпоранул»: «Советская литература служит каждому из нас в своей политической и профессиональной работе. Ведь в ней отражаются трудности и испытания, через которые прошли советские люди на своём пути строительства социализма. Все эти трудности и проблемы были разрешены, преодолены людьми страны, находящейся в самой передовой фазе общественного развития. Надобно ли повторять, что преодоление трудностей, отражающееся в советской литературе, может многому научить каждого трудящегося нашей страны, каждого борца за социализм».

В глубоком освоении советской литературы румынской интеллигенцией могли бы помочь советские литературоведы. Ещё раз подтверждается необходимость более глубокой разработки проблем советской литературы, необходимость изучения нашей критикой литератур дружественных нам стран народной демократии.

В. РОЗАНОВ.

История. Международные отношения

Новые страницы истории Сибири

Капитальная монография известного советского археолога С. Киселёва «Древняя история Южной Сибири», отмеченная в этом году Сталинской премией, представляет собою работу большой важности.

«История страны невесёлой, зимуя среди пёстрых нравов и обычаев, без мечтаний славы, без проявлений гения, без побед, без политики, история, не выдавшая у себя великих мира, кроме великих изгнанников его, наследовавшая вместо Эллорских храмов одни курганы и непрочитанные на утёсах писанцы», — так более ста лет тому назад характеризовал прошлое своей родины «сибирский Карамзин» П. Словоцов.

В сущности, до Великой Октябрьской революции почти ничего не было сделано, чтобы приоткрыть тайну, окутывавшую историю народов Сибири до прихода русских. Нельзя сказать, что досоветская историография не интересовалась доисторическими судьбами Сибири. Уже академическая экспедиция 1733—1743 годов обратила внимание на археологические памятники Сибири и вывезла несколько предметов, найденных в местных курганах. С тех пор количество археологических находок постепенно увеличивалось. Открыты были знаменитые орхонские надписи, сделались отдельные наблюдения. Но буржуазная наука не могла ни обобщить этих наблюдений, ни, тем более, создать цельную научную концепцию древней истории Сибири.

Попытки реконструировать эту историю на основании отрывочных и произвольно толкуемых показаний китайских источников, а также случайных археологических находок не давали и не могли дать серьёзных научных результатов. Только при советской власти начато было планомерное и систематическое изучение древнейшей истории Сибири.

Среди советских археологов, работающих над сибирскими проблемами, видное место принадлежит автору рецензируемой книги. Профессор С. Киселёв на основании многочисленных археологических изысканий и сопоставления археологических материалов с письменными источниками впервые дал

последовательную историю Сибири от неолита до X века нашей эры.

В течение своей двадцатилетней археологической деятельности С. Киселёв не только «удвоил», по отзыву специалистов, количество предметов южносибирских древностей, не только датировал путём очень тонких сопоставлений эти предметы, но и создал на основании детального изучения археологических данных стройную научную концепцию общественного развития народов Южной Сибири.

Не отрицая некоторой роли миграций в истории Южной Сибири, он доказал, что местная культура развивалась самостоятельно, самобытно. Этот важный вывод убедительно обоснован исследователем на самом скрупулёзном анализе собранного им громадного археологического материала.

Так например, изучая смены погребальных обрядов, С. Киселёв устанавливает этапы социально-экономического развития, через которые прошли народы Алтая и Минусинской котловины. Изучение общественного расслоения на Алтае и Енисее даёт автору возможность познакомить читателя с вопросом о «сложении государств» тюркского на Алтае и кыргызского на Енисее. Имя С. Киселёва особенно тесно связано с археологическими работами на территории кыргызского государства. Его открытия значительно расширили наши сведения о кыргызах-хакасах, показали богатство кыргызской культуры и позволили осветить ряд вопросов, которые до сих пор разрешались (часто неправильно) на основании одних китайских источников, как, например, вопрос об удельном весе земледелия в хозяйстве древних кыргызов. Убедительно рассматривает автор процесс образования господствующего класса алтайских тюрков и енисейских кыргызов. Таким образом, он устанавливает ту классовую базу, на которой строились изучаемые им государства.

Шаг за шагом прослеживает С. Киселёв изменения, происходившие в материальном быту и в общественном строе населения Южной Сибири, постепенный переход от материнского рода к отцовскому и последующий процесс «нарушения социального

единства» и расслоения внутри родовой организации. Выводы автора построены на детальном изучении могильного инвентаря и погребальных обрядов. Совокупность наблюдений доказывает основной тезис исследователя о самостоятельном развитии южносибирских народов и о преемственности изучаемых им культур. Вместе с тем он рассматривает историю края не изолированно, а в общей связи с теми явлениями, которые происходили в мировой истории. Южносибирские культуры оказываются неотделимыми от общих культурных процессов, охватывающих Центральную Азию и Восточную Европу.

Таким образом, С. Киселёв в своей книге дал последовательную историю общественного развития народов Южной Сибири до образования первых варварских государств на её территории в V—X веках нашей эры.

Наряду с установлением этапов, через которые прошёл общественный строй народов Южной Сибири, С. Киселёв изучает и этнический состав населения края в различные эпохи. И здесь он вносит много нового и ценного; в частности, очень интересны его соображения об этногенезисе тюрков.

Заслуживает внимания и его исследование происхождения орхонского алфавита.

Письменность орхонских тюрков — «первая письменность населения «Великой Монгольской степи» — известна и изучается уже давно. Несмотря на влияние китайской письменности, орхонское письмо приняло западный буквенный строй; установлено, что оно является «наиболее восточным из производных арамейского письма». Не отрицая результатов предшествующих исследований, С. Киселёв высказывает существенно новые соображения о том, что «во внешнем оформлении орхонское письмо зависит не только от западных аналогов, но и от своих местных (подчёркнуто мною. — С. Б.) предшественников — тамг, знаков-«бирок». Устанавливая местные корни орхонского алфавита, С. Киселёв ставит возникновение этого алфавита в связь с «борьбой социальных страстей, в которой рождается новое общество, разрушающее старый первобытно-общественный строй».

Исследование С. Киселёва разрушает тенденциозную буржуазную легенду о вековой отсталости сибирских народов и не-

способности их преодолеть эту отсталость. Перед нами проходит последовательная смена социально-экономических формаций, возникновение варварских государств, рост самобытной культуры, развитие на местных основах искусства, достигающего в произведениях скифо-сарматских мастеров и в шедеврах кыргызских ювелиров большой высоты и блеска. Всё это, говоря словами самого автора, «сильно изменяет представление о характере исторического процесса в Центральной Азии, рисовавшегося ещё недавно в виде стихийного потока всё новых племен и народов, на время становившихся вершителями судеб Среднего Востока».

Исследование С. Киселёва разрушает и другую буржуазную легенду об оторванности Южной Сибири от мировых культурных центров, показывая связи ее с Восточной Европой и с Китаем.

Через всю книгу проходит, в частности, мысль о тесной связи культуры Южной Сибири с культурами Восточной Европы.

«Карасукская бронзовая индустрия, — пишет автор, — столь тесно связанная с достижениями восточных металлургов, способствовала расцвету бронз на широчайших пространствах Сибири, Урала и Среднего Поволжья. При этом всюду были использованы местные традиции и среди них — древняя звериная орнаментация. Её великолепные образцы именно в это время с исключительным единством стиля одинаково блистали в стенах Ордоса, на берегах Байкала и Енисея, на Алтае и Урале и у слияния Волги и Оки.

Тогда была подготовлена почва для нового этапа историко-культурного развития древнего населения СССР. Он отличается ещё большей общностью Скифы на Западе, савроматы Поволжья и Южного Приуралья, массагето-сакский мир Средней Азии, дин-лины — майэмские и тагарские племена Саяно-Алтая, население Прибайкалья, Монголии и Ордоса пользовались одним оружием, одинаковой конской сбруей, сходными украшениями и увлекались одними образами и настроениями в искусстве... Великий пояс степей уже тогда соединил Восточную Европу и Северную Азию единственным материальной культурой и художественных идей».

И в последующее время «тюрко-кыргызские памятники Саяно-Алтая находят себе

ближайшие аналогии в Семиречье, в Средней Азии, в Восточной и Западной Сибири, на её севере и в болгаро-хазарском Поволжье, а также среди аланских памятников Кавказа и Украины и дальше на запад, вплоть до Дунайских степей».

Автор не считает возможным исключить из этого культурного комплекса восточно-европейские славянские и чудские племена. Это единство культуры особенно ярко сказалось в искусстве этой эпохи. «Растительные узоры и звериные композиции, весьма сходные по стилю и везде восходящие к скифо-сарматским прототипам, одинаково господствуют в кыргызском и в аварском орнаменте и в художественной резьбе армянских, грузинских и владими́ро-суздальских храмов».

Подведём итоги. Перед нами не просто археологическое обследование обширного района Южной Сибири. Из детальных, порой кажущихся мелочными, сопоставлений и группировок археологических находок, из сравнения их с аналогичными памятника-

ми соседних стран возникает широкое полотно до сих пор неведомой истории Южной Сибири. Это большое достижение советской археологии, базирующейся на строго научных марксистских методах работы. Аналогичные исследования ведутся сейчас советскими археологами и в других областях Сибири. Вслед за монографией С. Киселёва вышла монография А. Окладникова, посвящённая древней истории приленского и прибайкальского населения. Известность получили работы С. Руденко о берингоморской культуре, открывающие новую страницу в истории далёкого Северо-Востока Сибири. «История страны невесёлой» перестает на наших глазах быть неразрешимой и тёмной загадкой. Труды С. Киселёва и его товарищей вскрывают слои сибирской культуры, в течение ряда веков складывавшейся в северной Азии, и прослеживают происходившие в жизни сибирских народов исторические процессы.

Член-корреспондент Академии наук СССР

С. БАХРУШИН.

★

Исторические корни агрессии германского империализма

В текущем году удостоена Сталинской премии книга профессора А. Ерусалимского «Внешняя политика и дипломатия германского империализма в конце XIX века». Труд этот приобретает особенно большой интерес в наши дни, когда американские империалисты, грубо попирая решения Потсдамской конференции, вместо демократизации, демилитаризации и денацификации Германии стремятся возродить германский империализм и превратить Германию в плацдарм войны против Советского Союза и стран народной демократии.

Автор использовал большое количество неопубликованных документов и по-новому осветил ряд проблем внутренней и внешней политики германского империализма. Среди использованных им материалов большое место занимает литература так называемого «Пангерманского союза», являвшегося организацией наиболее агрес-

сивного крыла германского империализма. Известно, что идеология пангерманских империалистов оказала сильнейшее влияние на идеологию гитлеровской партии, которая, как отметил товарищ Сталин, является партией... «наиболее хищнических и разбойничьих империалистов среди всех империалистов мира»¹.

В основу своего труда А. Ерусалимский положил ленинско-сталинское учение об империализме. Он не отрывает проблемы внешней политики и дипломатии от проблем экономического развития и классовой борьбы в Германии, обострившейся в связи с переходом капитализма в последнюю, империалистическую стадию его развития. Автор развёртывает перед читателем широкую историческую панораму, дающую яркое представление о тех условиях, при которых германский империализм поставил перед собой задачу борьбы за передел мира.

А. С. Ерусалимский. «Внешняя политика и дипломатия германского империализма в конце XIX века». Редактор А. Деборин. Издательство Академии наук СССР, 1949.

¹ И. Сталин. О Великой Отечественной войне Советского Союза. Госполитиздат, 1947, стр. 27.

Основываясь на работе товарища Сталина «О статье Энгельса «Внешняя политика русского царизма», автор показал, что противоречие между английским и германским империализмом уже в конце XIX века стало главным противоречием, приведшим к первой мировой войне. Он вскрыл также предательство вождей германской социал-демократической партии, которые в конце концов привели эту партию в лагерь германской реакции и империалистической агрессии.

Работа А. Ерусалимского открывается общей характеристикой германского империализма и его дипломатии, которая «выросла из насилия, опиралась на насилие и в подготовке ещё более крупного насилия над всем миром видела смысл и главную цель своей деятельности».

Автор подробно рассказывает о первом столкновении между германским и английским империализмом, едва не приведшем к войне. Английское правительство, по выражению В. И. Ленина, «наиболее аннексионистское правительство в мире»¹, своей разбойничьей авантурой в Трансваале вызвало резкое обострение противоречий с германским империализмом, который со своей стороны готовился к установлению протектората над Трансваалем, пытаясь создать в Африке германскую колониальную империю.

Автор показывает не только рост противоречий между двумя сложившимися в Европе коалициями (Россия и Франция — с одной стороны, Германия, Австро-Венгрия и Италия — с другой), но подробно останавливается и на рассмотрении противоречий между Германией и её союзниками. Следует указать, что эта проблема до сих пор не освещалась в исторической литературе. Рассматриваемые исследователем противоречия особенно ярко обнажились в ходе и в результате авантюры итальянского империализма в Абиссинии, а с другой стороны — в ходе и в результате ближневосточного кризиса. Автор разоблачает лицемерную игру Англии, которая под видом поддержки Греции стремилась осложнить положение на Ближнем Востоке для достижения своих захватнических целей, а также вызвать военное столкновение между европейскими державами, чтобы за-

тем продиктовать им свои условия мира. В особенности англичане стремились столкнуть Германию с Россией. Под видом политики невмешательства германские империалисты в свою очередь фактически поддерживали реакционный курс политики турецкого султана, всячески пытались столкнуть с Россией Англию.

Автор подробно описывает ход экономической и политической борьбы между германским и английским империализмом.

Особый интерес для советского читателя представляют те части работы, в которых автор разоблачает попытки английской империалистической клики, возглавлявшейся Джозефом Чемберленом, натравить империалистическую Германию на Россию. Английская дипломатия вела секретные переговоры с Германией, в ходе которых выяснились и такие далеко идущие планы английского империализма, как сколачивание военно-политического союза английского, американского и германского империализма. Эти переговоры потерпели крах, ибо английские и германские империалисты, по выражению Ленина, «не сторговались!»¹. Заслугой А. Ерусалимского является то, что он осветил причины провала чемберленовских планов.

Автор показывает, как Чемберлен, «потерпев неудачу в переговорах с Германией, продолжал пропаганду «Союза англо-саксонских стран».

Последние разделы книги посвящены политике германского империализма в связи с выступлением на мировую арену хищнического американского империализма, начавшего войну против Испании. В этих же разделах автор подробно излагает германскую политику «движения на восток», политику, направленную против России, политику удушения славянских народов в Австро-Венгрии и на Балканах.

Труд А. Ерусалимского завершается теоретическими выводами. Автор разоблачает реакционные концепции немецкой буржуазной историографии, оправдывающей германский милитаризм и необходимость постоянной поддержки сильной, авторитарной власти в Германии. Он разоблачает также стремления правящих кругов Англии и США, поддерживающих реакционные и агрессивные фашистские и

¹ В. И. Ленин. Сочинения, изд. 3-е, т. XX, стр. 326.

¹ В. И. Ленин. Тетради по империализму. Госполитиздат, 1939, стр. 474.

профашистские элементы Западной Германии с целью превращения её в арсенал и плацдарм войны против Советского Союза и стран народной демократии.

А. Ерусалимский пишет: «В своей книге «Вторая мировая война», изданной в 1948 году, Черчилль скорбит по поводу того, что после поражения Германии в 1918 году «все сильные элементы, военные и феодальные, которые могли бы присоединиться к конституционной монархии... оказались на некоторое время ничем не связанными между собой». В поддержании этих реакционных и агрессивных элементов Черчилль усматривает одну из основных исторических и политических задач английского и американского империализма.

Ясно, что эта концепция имеет своей целью возрождение милитаристской и империалистической Германии. «В результате этого, — отметил В. М. Молотов, — поднимет голову идея реванша, расцветёт шовинизм... и создадутся условия для появления новых бисмарков или даже новых гитлеров»¹.

¹ В. М. Молотов. Вопросы внешней политики. Госполитиздат, 1948, стр. 399.

Поджигатели войны, однако, забывают, что прошла пора, когда империалисты в тиши готовили войну и распоряжались судьбами народа. «Демократические силы немецкого народа, — сказал Г. М. Маленков, — руководимые чувством ответственности за будущность своей родины, чувством ответственности перед всем миром, берут судьбу своей страны в свои руки. Они создали демократическую республику и ныне закладывают фундамент новой, миролюбивой Германии»¹.

Труд А. Ерусалимского является серьёзным вкладом в советскую историческую науку. Достаточно полно и глубоко изложенная история агрессии германского империализма в конце XIX столетия поможет читателям глубже понять происходящие ныне в Западной Германии события, главной движущей пружиной которых являются хищнические интересы англо-американских поджигателей войны.

Профессор И. ГАЛКИН.

¹ Г. М. Маленков. 32-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. «Правда» от 7 ноября 1949 года.

★

Разоблачённый миф

„Запад есть Запад, Восток есть Восток», — провозглашал во время оно Редьярд Киплинг. Идеологические оруженосцы воинствующей реакции нашего времени до недавних дней усердно вторили трубадуру британского империализма. Бесильные утаить величайшие преимущества, всемирноисторические победы социалистического строя на советской земле, они с упорством озлобленных маньяков твердили на всех газетных углах и перекрёстках, с парламентских трибун, у микрофонов радиостанций о якобы национальной ограниченности опыта народов СССР, дела Великого Октября. «Запад есть Запад, Восток есть Восток», — неистово вопили адвокаты империализма, пытаясь доказать, что принципы советской системы общественного и государственного устройства,

„Pięć lat Polski Ludowej“. „Książka i Wiedza“, Warszawa, 1949. («Пять лет народной Польши». Издательство «Книга и знание», Влршава, 1949).

организации экономики применимы только на нашей, советской почве, имеют силу только на Востоке.

Жизнь не оставила и камня на камне от этого последнего убежища реакции в её открытой идеологической борьбе против социализма. Реальная действительность наших дней полностью разоблачила этот убогий миф, скудоумное порождение буржуазного Запада.

Мало сказать, что народы многих стран Центральной и Юго-Восточной Европы, освобождённые Советской Армией от оков фашистского рабства и создавшие под руководством рабочего класса государства нового типа — государства Народной демократии, успешно применяют опыт народов СССР в своей борьбе за свободную и счастливую жизнь, за построение социализма. Руководствуясь марксизмом-ленинизмом, осуществляя великие социальные преобразования по примеру советского на-

рода, они за немногие годы одержали истине выдающиеся победы. Наглядное свидетельство тому — те красноречивые факты, о которых повествует книга «Пять лет народной Польши», выпущенная недавно в Варшаве.

Датой рождения новой, демократической Польши считается 22 июля 1944 года — день опубликования в городе Хелме, первом польском городе, освобождённом частями Советской Армии, исторического Манифеста Польского Комитета Национального Освобождения. С этого дня прошло не так уж много времени — мгновение на часах истории. Но как чудесно преобразилась уже Польша, на какую невиданную в её прошлом высоту поднялась она, как далеко ушла по трудному и славному пути возрождения, расцвета!

Президент Польской Республики Болеслав Берут в своём предисловии к рецензируемой книге пишет, что истекшее пятилетие явилось «периодом могучего подъёма Польши, периодом великого возрождения народа, периодом самых великих преобразований за всю тысячелетнюю историю нашего народа и государства». В Польше, той самой Польше, которая ещё недавно слыла «форпостом Запада на Востоке», оплотом европейской реакции, цитаделью воинствующего католицизма, семена новой жизни, рождённой Великим Октябрем, дали за короткий срок обильные и поистине чудесные всходы.

Чем была Польша в прошлом, под сенью так называемой европейской буржуазной цивилизации, означающей безудержный произвол, ничем не ограничиваемое всевластие золотого мешка? Жалкой марионеткой в руках мирового империализма. Цветистая великодержавная фразеология правителей старой, довоенной Польши не могла, разумеется, и в малейшей мере замаскировать их полную зависимость, угодливое пресмыкательство перед крупными империалистическими державами. Новый, народно-демократический строй впервые обеспечил Польше подлинную независимость, истинный суверенитет. Опираясь на союз и дружбу с Советским Союзом, Польша выступает ныне на международной арене, как действительно свободное, независимое и сильное государство. Союз и дружба с СССР дали возможность демократической Польше восстановить истори-

ческую справедливость, объединить в своих границах все польские земли, в том числе исконные польские края на Западе, пяти-соткилометровое побережье на Балтике.

Довоенная Польша была поставщиком эмигрантов, страной массовой безработицы, нищеты и горя народного. Её промышленность, в которой господствовал иностранный капитал, влачила жалкое существование, обрекая Польшу на полуколониальную зависимость. Её сельское хозяйство было источником обогащения для титулованной знати, каторгой для миллионов безземельных тружеников земли. Теперь всё это навеки кануло в прошлое. Осуществлённая строем народной демократии, успешно выполняющей функции диктатуры пролетариата, национализация промышленности, банков и транспорта, земельная реформа, переход к планомерному народному хозяйству открыли безбрежные горизонты для развития производительных сил страны, повышения материального благосостояния всего населения.

С братской помощью Советского Союза польский народ, возглавляемый Польской объединённой рабочей партией, за немногие годы не только возродил разорённую войной промышленность, но и поднял её на новую, высшую ступень. Удельный вес промышленности в экономике Польши вырос к пятой годовщине народно-демократической Польши до 68 процентов против 45,6 процента в предвоенном 1937 году. Уже в конце 1948 года на долю промышленности средств производства приходилось 55 процентов всей промышленной продукции республики. Досрочное завершение трёхлетнего плана окончательно утвердило путь индустриального развития Польши, которая превращается из аграрной в индустриально-аграрную. Если в 1946 году на сто трудящихся приходилось 28 рабочих, то в 1949 году — уже 38. Само собой разумеется, что Польша наших дней не знает безработицы, прежде висевшей как дамоклов меч над всеми её труженниками.

После войны в Польше были созданы совершенно новые отрасли промышленности — тракторная, судостроительная, автомобильная и др. Изменились не только масштабы развития польской индустрии — коренным образом изменился её характер. Люди из народа руководят здесь ныне

заводами и шахтами, вдохновенный труд широких народных масс, освобождённых от ига эксплуататоров, творит чудеса. «Кроме Советского Союза,— говорил Болеслав Берут на пленуме ЦК Польской объединённой рабочей партии в ноябре 1949 года,— история не знает таких темпов индустриализации и таких темпов изменения классовой структуры населения, какие наблюдаются в Польше в период после освобождения и особенно в период победоносной реализации трёхлетнего плана»¹.

Рецензируемая книга ярко отражает и большие перемены, происшедшие в польской деревне. Проведя земельную реформу, демократическая Польша наделила землёй безземельных и малоземельных крестьян и батраков, увеличила наделы многосемейных середняков. Около семи миллионов гектаров земли получило трудовое крестьянство из рук своего государства! Осенью 1949 года страна полностью завершила распашку пустующих земель, площадь которых ещё недавно составляла несколько миллионов гектаров. Освоены западные земли, превращающиеся в житницу Польши.

В польской деревне происходят глубокие социально-экономические сдвиги. В стране создано свыше двух с половиной тысяч кооперативных машинно-тракторных станций и около четырёх тысяч их отделений. Всё шире развивается сеть государственных машинно-тракторных станций. К марту текущего года в Польше насчитывалось свыше 500 земледельческих производственных кооперативов. Созданные на основах полной добровольности, они наглядно показали уже крестьянству преимущества коллективной формы хозяйства: те из них, которые хозяйствуют по-новому больше года, собрали более высокий урожай, чем единоличные крестьянские хозяйства. Укрепляются государственные земледельческие хозяйства (имения). Обобществлённая площадь обрабатываемых земель достигла в 1949 году 1 763 тысяч гектаров.

Кулачество и вся внутренняя реакция, возглавлявшаяся англо-американским агентом Миколайчиком, позорно бежавшим из страны, стремились всеми силами помешать успешному развитию сельского хо-

зяйства Польши, направить его по капиталистическому пути. Пособниками миколайчиков явились правонационалистические уклонисты, проповедовавшие «теории» мирного сожительства с кулаком, «монотности» крестьянства, «затухания» классовой борьбы, «особого польского» пути к социализму. Рабочий класс, руководимый Польской объединённой рабочей партией, не только разоблачил эти вражеские махинации, но и решительно встал на защиту интересов трудового крестьянства. В борьбе с кулачеством и его агентурой ещё более окреп союз рабочих и крестьян, являющийся прочной опорой народно-демократического строя.

Демократические преобразования в польской деревне не замедлили сказаться на результатах крестьянского труда. Уже достигнуты довоенные посевные площади и довоенные урожаи. Это позволило демократическому правительству ещё в 1948 году ликвидировать карточную систему снабжения и возобновить экспорт сельскохозяйственных продуктов.

Книга «Пять лет народной Польши» рассказывает и о серьёзных успехах польской демократии в области развития просвещения и культуры. Уже в 1948—49 учебном году начальной школой были охвачены почти все дети школьного возраста. Если до войны на 35 миллионов населения имелось 28 высших учебных заведений, в которых обучалось 48 тысяч студентов, то в 1948—49 учебном году было уже 43 высших учебных заведения со 100 тысячами студентов, в то время как население сегодняшней Польши равно 25 миллионам. В панской Польше рабоче-крестьянской молодёжи был закрыт путь к высшему образованию, а в 1948—49 учебном году на подготовительных курсах высших учебных заведений страны было 88 процентов, и на первом курсе—49,9 процента молодёжи из рабочих и крестьян.

О расцвете новой, народной культуры Польши красноречиво говорит рост тиражей книг. До войны тираж книг колебался в Польше от 1 000 до 3 000 экземпляров. Сейчас книги издаются сотнями тысяч экземпляров. Сочинения Адама Мицкевича выходят в этом году тиражом в 250 тысяч экземпляров. Миллионным тиражом издан в Польше «Краткий курс истории ВКП(б)», сотнями тысяч экземп-

¹ «Правда» от 19 ноября 1949 года.

ляров выходят произведения Ленина и Сталина.

Глубоко содержательная, хорошо оформленная книга «Пять лет народной Польши» повествует не только о прекрасной действительности сегодняшней Польши, но и о её завтрашнем дне, контуры которого

начертаны в шестилетнем плане развития народного хозяйства страны, плане строительства основ социализма. Идеи социализма, великие всепобеждающие идеи Ленина—Сталина торжествуют и на польской земле!

Я. МАКАРЕНКО.

★

Враги прогресса

Послевоенный мир явился свидетелем того, как величайшее достижение современной науки — открытие возможности использования энергии атомного распада — заправили американского империализма загнали в «чёрные лаборатории» и «фабрики смерти». Атомный шантаж стал главным «аргументом» послевоенной американской внешней политики, а ускоренное производство атомного оружия — основной частью подготовки новой мировой войны.

«Атомная энергия и общество» — так назвал прогрессивный американский публицист Джеймс Аллен свою книгу, изданную недавно в США. Автор тщательно исследовал большой фактический материал, посвящённый вопросу, который, по его словам, «имеет ближайшее отношение к основным вопросам нашей эпохи — к вопросам войны и мира, нищеты и изобилия, прогресса и застоя науки и техники, короче говоря, к вопросам реакции и общественного прогресса».

Атомная энергия, применённая в мирных целях, сулит невиданное развитие производительных сил. Именно этой цели служит в Советском Союзе атомная энергия, находящаяся в руках народа. В то же время, пишет Аллен, «атомика в том виде, в каком ею пользуются в Соединённых Штатах, стала ярким символом агрессивной войны». Выступая в сенате США, член объединённой комиссии по вопросам атомной энергии Милликин ратовал за то, что «решающие соображения повелительно диктуют необходимость рассматривать атомную энергию, как оружие войны...». Милликин потребовал «повесить замок» на дело развития атомной энергии в мирных це-

лях, обнажив этим затаённые расчёты своих хозяев.

Книга Аллена убедительно свидетельствует о том, что американский империализм замораживает применение атомной энергии в мирных целях не случайно. Ход событий целиком подтверждает известное положение марксизма-ленинизма о том, что всякий подлинный технический прогресс несовместим с монополистическим капитализмом, вступает с ним в непримиримый конфликт.

В США атомная энергия — в цепких руках кучки американских монополистов. Это они разработали пресловутый план Баруха и закон о так называемом «гражданском контроле» над атомной энергией в США. Сходство между этими двумя творениями Уолл-стрита весьма знаменательно. Как пишет Аллен, «...американский план контроля над атомной энергией воздвигает в международном масштабе те препятствия на пути созидательного использования атомной энергии, которые присущи всей промышленной системе США».

Американские атомщики, при всём автюризме их политики, не могли не догадываться о том, что наступит время, когда американская атомная монополия станет пустым звуком. Тем более лихорадочно они тщились убедить себя, а главным образом других, в своём «превосходстве». В воспалённом воображении рокфеллеров, морганов, дюпонов носились видения того, как с помощью атомной дубинки они поставят на колени весь мир. В плане Баруха, например, с серьёзным видом предусматривается право так называемого «контрольного органа», в котором американские атомщики действовали бы в качестве единовластных диктаторов, устанавливая для каждой страны пайки «мирной» атомной энергии. Выступая на четвёртой сессии Ге-

J. Allen. „Atomic energy and society“. New York, 1949. (Дж. Аллен. «Атомная энергия и общество». Нью-Йорк, 1949).

неральной Ассамблеи ООН, министр иностранных дел СССР А. Я. Вышинский охарактеризовал план Баруха, как план, который «преследует одну цель — во что бы то ни стало помешать развитию производства атомной энергии для мирных целей в других странах, и особенно в СССР».

Аллен показывает, что американские монополии бесконтрольно владеют производством атомной энергии и что ставленники крупнейших американских концернов сидят во всех органах, имеющих отношение к атомной энергии «Членов промышленной консультативной группы, — пишет Аллен, — как будто выбрали из числа лиц, значащихся в справочнике фирм, а консультативный комитет по сырью мог бы составить дирекцию всемирного картеля по производству меди и других цветных металлов». Из пяти членов комиссии по внутреннему контролю над атомной энергией в США трое являлись чистойшей воды бизнесменами.

По словам Аллена, американские монополии «влезли по уши в дело производства атомных бомб». После войны произошло некоторое перераспределение позиций в атомной промышленности. Производство исходных материалов для атомных бомб перешло от концерна «Дюпон» к «Дженерал электрик». В области научных атомных изысканий и усовершенствований первую скрипку стали играть нефтяные тресты Медные монополии безраздельно хозяйничают в промышленности атомного сырья Хищные щупальцы «фабрикантов смерти» протянулись за океан, в Бельгийское Конго, Южно-Африканский союз, Австралию, всюду, где пахнет атомным сырьём.

Аллен подытоживает три основных фактора, тормозящих развитие в США атомной энергии в мирных целях. Это — агрессивная политика американского империализма, в силу которой атомная промышленность в США остаётся милитаризованной, контроль монополий над атомной промышленностью, угроза острого экономического кризиса и возникающий отсюда страх перед «избытком» производственных мощностей. Атомное производство для военных целей рассматривается в этих условиях, как одна из «отдушин» для амери-

канской экономики, запутавшейся в тисках непримиримых противоречий.

В. И. Ленин в своей работе «Империализм, как высшая стадия капитализма» писал, что всякая монополия «порождает неизбежно стремление к застою и загниванию. Поскольку устанавливаются, хотя бы на время, монопольные цены, постольку исчезают до известной степени побудительные причины к техническому, а следовательно и ко всякому другому прогрессу, движению вперед; постольку является, далее, экономическая возможность искусственно задерживать технический прогресс».¹

Правильно отмечая, что американские короли нефти, угля, транспорта, энергетики всячески противятся внедрению в мирную промышленность атомной энергии, видя в ней нежелательного конкурента, Аллен делает ошибку, не относя это к числу факторов, играющих немалую роль в застопоривании мирного развития атомной энергии.

Несмотря на этот и некоторые другие недостатки, книга Аллена даёт яркую и верную картину того, как милитаристы надели на новую промышленность хомут своей власти, создав угрозу международному миру.

«Если народ заявит о своей воле к миру, — пишет в заключение Джеймс Аллен, — атомные бомбы, символизирующие господствующую ныне воинственную и реакционную политику, можно будет отдать на слом...».

Простые люди Америки, как и во всём мире, — против войны. По мере того, как всё более обнажается агрессивная программа империалистов, могучий фронт сторонников мира пополняется новыми и новыми рядами борцов. Только в феврале этого года объединённая комиссия конгресса США по атомной энергии получила, по сообщениям американской печати, более 6 500 писем от отдельных лиц и организаций с требованием запрещения атомной бомбы. Поток требований о прекращении гонки вооружений с каждым днём растёт. Народы не хотят войны и исполнены решимости обуздать её зачинщиков.

В. МАТВЕЕВ.

¹ В. И. Ленин. Сочинения, изд. 3-е, т. XIX, стр. 151.

Уолл-стрит и его дела

Уолл-стрит — это небольшая улица в Нью-Йорке, на стеснённом пространстве которой воздвиглись, подобно феодальным замкам, конторы и банкирские дома современных финансовых и промышленных баронов.

«Уолл-стрит» — так назвал свою книгу публицистических очерков Б. Розанов.

В своём историческом труде «Империализм, как высшая стадия капитализма» Ленин писал:

«Каких-нибудь три-пять крупнейших банков любой из самых передовых капиталистических наций осуществили «личную унию» промышленного и банковского капитала, сосредоточили в своих руках распоряжение миллиардами и миллиардами, составляющими большую часть капиталов и денежных доходов целой страны»¹.

В книге Б. Розанова собрано много фактов о хищнической деятельности властелинов Уолл-стрита. Автор часто цитирует произведения В. И. Ленина, опираясь на гениальный ленинский анализ природы и сущности империализма. Много лет назад, характеризуя Вудро Вильсона, президента США в годы первой империалистической войны, Ленин писал, что Вильсон — «... глава правительства, доведшего до бешенства вооружение Соединенных Штатов явно в целях второй великой империалистической войны...»². В другом месте Владимир Ильич указывал, что американский финансовый капитал «...очень рад отвлечь от этих вооружений внимание «своих» рабочих посредством дешевых пацифистских фраз...»³.

Замечательные определения Ленина во всецело характеризуют и сегодняшний политический момент. В наши дни мы снова видим и бешенство вооружений, и подготовку новой империалистической войны, и дымовую завесу дешёвых пацифистских фраз.

Когда кончилась война, которую Уолл-стрит всегда рассматривал, как одно из рентабельнейших предприятий, перед американскими монополиями встал вопрос:

Б. Розанов. «Уолл-стрит». Редактор П. Серебрянников. «Молодая гвардия», 1949.

¹ В. И. Ленин. Сочинения, изд. 3-е, т. XIX, стр. 171.

² Там же, стр. 374.

³ Там же, т. XXX, стр. 296.

как удержать на прежней высоте гигантские военные прибыли? И вот по приказу американской реакции начинается бешеная милитаристская пропаганда. Холодная война представляется для Уолл-стрита выгоднейший бизнес. «...правительство Трумэна, — сказал тов. М. Сулов в своём докладе на совещании Информбюро компартий, — ежегодно расходует на подготовку к войне в 26 раз больше, чем на народное просвещение и общественное здравоохранение, вместе взятые»¹.

Разумеется, эти гигантские суммы увлекаются из карманов трудящихся США и маршаллизованных стран. В отчёте совещания при президенте США за первый квартал 1948 года откровенно говорится, что повысить материальный уровень жизни в США невозможно. И, видимо в утешение, авторы отчёта прибавляют, выражаясь совершенно языком Геринга: «Это наш особый вариант старой альтернативы — пушки или масло».

Все знают, чем кончили авторы «старой альтернативы». Видимо, характеристика, данная когда-то тупому деспоту из династии Бурбонов, — «он ничего не забыл и ничему не научился» — справедлива для правящей верхушки любого эксплуататорского общества.

Отвратительная особенность империализма заключается в том, что американские промышленные и финансовые магнаты, ведя войну с Германией и Японией, как со своими экономическими конкурентами, не могли удержаться от извлечения прибылей, помогая во время той же войны своим противникам.

Книга Б. Розанова напоминает, что дом Дюпона состоял в тайном соглашении с германскими и японскими фирмами, которое продолжало действовать и во время войны.

Крупный биржевой спекулянт Форрестол, пришедший в американское правительство прямо с Уолл-стрита, финансировал немецкие стальные предприятия. На американские кредиты германские фаши-

¹ М. Сулов. Защита мира и борьба с поджигателями войны. Доклад на совещании Информационного бюро коммунистических партий в Венгрии во второй половине ноября 1949 года. Госполитиздат, 1949, стр. 12.

сты отливали пушки и снаряды, которыми убивали американских солдат. С точки зрения американских монополистов, это кровавое преступление было нормальным деловым предприятием.

Американская реакция всё больше фашизируется. Книга Б. Розанова иллюстрирует это на примере деятельности вожаков американского фашизма—Харта, Ренкина, Смита и своевременно напоминает, что нынешний министр обороны США Луис Джонсон в прошлом был председателем фашистской организации «Американский легион».

В главе «Оруженосцы Уолл-стрита» даны сжатые, но яркие характеристики ставленников Уолл-стрита в правительстве США. Здесь — государственный секретарь Дин Ачесон, который снискал благосклонность «60 семейств» своей настойчивой, энергичной и преданной защитой интересов органов, допонов и рокфелдеров. Здесь — дипломат Д. Кеннан, чей «авторитет» основан исключительно на его крайне реакционных взглядах, на твёрдой приверженности к методам и тактике «холодной войны» против страны социализма. Здесь — нынешний министр обороны Джонсон, который попросту купил этот пост: он пожертвовал полтора миллиона долларов в фонд избирательной кампании в пользу Трумэна. Здесь — особоуполномоченный по маршаллизации Европы Гарриман, который в бытность свою министром торговли призывал конгресс не скупиться на ассигнования средств для всемерного усиления авиации США. При этом немалая часть этих ассигнований попала в карман самого Гарримана, как акционера авиационных заводов. Здесь и прочие «светила» уолл-стритовского неба—Кларк, Даллес, Ванденберг, Гувер, Гофман, неутомимые поджигатели войны, инициаторы антисовет-

ских провокаций, «факельщики Уолл-стрита», «кровавое и бесчеловечное племя», по выражению М. Горького.

Многочисленными примерами автор иллюстрирует продажность реакционной американской прессы, этой «сивухи буржуазной газетной лжи»...¹.

Заключительная глава повествует о прогрессивных силах мира, об их всё растущих успехах в борьбе за демократические свободы и прочный мир.

Книга Б. Розанова невелика, в ней немногим более ста страниц. И эта краткость местами досадно отразилась на её содержании. В описании хищнических дел Уолл-стрита опущены такие существенные эпизоды, имеющие прямое отношение к теме, как возрождение Рура—этого военного арсенала новой империалистической войны. Ничего не сказано об экспансии американского капитала на другие континенты, кроме Европы, в том числе о закабалении государств Латинской Америки. Не разработана тема о подрывной работе англо-американской реакции и её сателлитов в Организации объединённых наций. Не вскрыта шпионско-террористическая деятельность поджигателей войны против стран народной демократии и переход клики титовских предателей на услужение мировой реакции, — так же как ничего не сказано о сговоре с палачом испанского народа Франко.

Меткие характеристики, яркие описания в книге Б. Розанова порой сменяются беглым стилем сухой хроникёрской заметки.

Всего этого автор, думается, сумел бы избежать в расширенном переиздании своей полезной книги, необходимость которого нам представляется бесспорной.

Л. СЛАВИН.

¹ В. И. Ленин. Сочинения, изд. 3-е, т. XXIII, стр. 442.

★

География

Самая южная советская республика

Кто хоть раз побывал в Туркмении, тот навсегда запомнит неповторимое своеобразие ландшафтов этой самой южной

И. С. Скосырев. «Туркменистан». Географическая научно-художественная серия «Наша Родина». Под общей редакцией Н. И. Михайлова. «Молодая гвардия», 1948.

советской республики. Великая песчаная пустыня Кара-кум занимает три четверти территории Туркмении, сухие скалистые горы Копет-Дага ограждают её с юга. За горами простирается каменистый Иран. В Туркмении сухо, дожди редки, солнце несомненно преследует всё живое. Но где

есть вода, где реки пересекают пустыню или с гор бежит небольшая шумливая речка, там буйная растительность раскидывается чудесным ковром.

Человеку, пришедшему с севера и привыкшему к густым лесам, приветливым полянам и полноводным рекам, Туркмения может показаться страной суровой, негостеприимной, скучной, её песчаный океан угрожающим и таинственным. Однако я знаю многих людей севера, влюблённых в Туркмению, в пустыню Кара-кум. Эти люди понимают туркменского поэта XVIII века Сеиди, который писал о пустыне:

Манят вдаль твои дороги, пустыня.
Брошу дом, распрощусь с постылой горой,
Земли все пред тобой убоги, пустыня.

Любовь к людям Туркменистана, к её древней культуре и суровой природе, к её дружному устремлённому в будущее народу пронизывает содержание книги П. Скосырева.

«Пройдём же по этой, не лёгкой для освоения, своеобразной земле неторопливым шагом, приглядываясь ко всему, что она может открыть внимательному и доброжелательному взгляду». Так автор приглашает и ведёт за собой читателя из одного района республики в другой. В книге нет общих мест, нет общих описаний страны. И всё же цель, поставленная автором и издательством — дать общее представление о Туркменистане, — достигается.

В конце января 1950 года наша Родина отмечала двадцатипятилетие Туркменской Советской Социалистической Республики. За эти четверть века туркменский народ совершил большие дела.

Осуществляя принципы ленинско-сталинской национальной политики, Туркмения, при повседневной помощи других народов СССР, превратилась в передовую социалистическую республику. Из отсталой колониальной окраины России она стала промышленной республикой, с развитым сельским хозяйством. Ныне Туркмения — край нефти, химии, нерудных ископаемых, лёгкой промышленности, длинноволокнистого хлопка, животноводства, особенно каракулеводства.

В книге удачно показано лицо советской Туркмении. Специальные главы посвящены городам республики — Красноводску, Ашхабаду, основным промышленным очагам

(«Вдоль Каспийского побережья» и «Нефтяная гора»), сельскохозяйственным оазисам («К оазису Теджена», «Оазис Мургаба», «По течению Аму-Дарьи»). Показана перделка природы, борьба с пустыней, грандиозное ирригационное строительство, осуществлённое в Туркменистане.

Основное внимание автор уделит производящим районам республики, её культуре, хозяйству. С большой теплотой пишет П. Скосырев о туркменском народе, живущем в большой дружбе со всеми народами СССР, в том числе и со своими ближайшими соседями — узбеками, каракалпаками, казахами. Эта дружба наглядно иллюстрируется автором. Вот как, например, разрешились при советской власти вековые споры о воде в Ташаузском оазисе:

«До революции весь оазис входил в Хивинское ханство. Общее пользование магистральными каналами было источником вражды между узбеками и туркменами, которую в своих интересах разжигали ханы и баи... С установлением советской власти все причины вражды между туркменами и узбеками исчезли. Борьба с оружием в руках уступила место братскому сотрудничеству, социалистическому соревнованию между туркменскими и узбекскими колхозами».

Книга «Туркменистан» написана писателем, хорошо знающим страну, но географы могли бы предъявить к труду, опубликованному в географической серии, некоторые требования. Не всегда правильно и точно характеризуется местоположение отдельных пунктов. На стр. 40 перепутаны названия иранского хребта Эльбурс (в тексте Эльбрус) На стр. 160 упоминаются четыре большие водохранилища, построенные на реке Мургаб, но пропущен большой бассейн Колхоз-бент.

Читателю может показаться странным утверждение, что на серных каракумских промыслах «строится водопровод», хотя тут же сообщается, что пресную воду привозят на заводы из Ашхабада (стр. 122). Как строить водопровод, если там нет воды? Между тем это делается для подвода технической солёной воды.

Автор уверяет, что «нет в мире другой реки, судьба которой на памяти человечества подвергалась бы стольким изменениям, как судьба Аму-Дарьи», и ещё: «На земном шаре нет другой реки, русло

которой блуждало бы по земле на столь далёкие расстояния» (стр. 196—197). Это неверно. Все, кто знает географию Азии, назовут великую китайскую реку Хуан-хэ, русло которой на глазах у человека менялось гораздо более часто и разительно, чем русло Аму-Дарьи.

Автор согласен с утверждением, что по сухому речному руслу Узбоя, пересекающему Кара-кум, столетия четыре назад текла река. Но такая точка зрения устарела. Географические работы, проведённые в Кара-куме в течение последнего двадцатилетия, показали, что река здесь текла в более далёком прошлом, во всяком случае не в историческое время. Известные археологические исследования древнего Хорезма, осуществлённые под руководством С. Толстова, окончательно подтвердили это. И в ряде других мест книги автор, характеризуя некоторые явления и факты, приводит не всегда удачно объяснения, нередко на основании устаревших источников.

В главе «В предгорьях Копет-Дага» автор, красочно описывая район сухих субтропиков — долины Сумбара и Атрека, рисует, на наш взгляд, неверную картину:

Долины Сумбара и Атрека расположены на юго-западе республики, в пограничном с Ираном районе, под защитой копетдагских гор, прикрывающих долины с севера. Здесь мягкая, солнечная зима, жаркое лето, очень длинный вегетационный период. В долине Сумбара успешно развивается субтропическое хозяйство и работает станция института растениеводства. П. Скосырев рисует будущее этих замечательных мест, когда здесь появятся большие плантации финиковых пальм, японской хурмы, маслины, гваюлы. Против этого возражать трудно. Но вот дальнейшие прогнозы заставляют нас усомниться в правильности

представлений автора: «Вы увидите рощу широколиственных пальм, к которой из глубины пустыни подходит караван. Верблюдов ведёт полуголый, коричневый от загара погонщик. Он сделал знак — и верблюды один за другим опускаются на колени. Грузчики выносят со склада финиковые гроздья. Плоды пальм перекинута́ через палку, иначе их не снести — так они тяжёлые и громоздки. Караван донесёт этот сладкий груз до Каспийского моря; там его сложат в трюмы пароходов и повезут в Баку, Астрахань и дальше на север» (стр. 73). В этой картине больше от колониальной Африки, нежели от советского района. Неужели в будущем будут перевозить грузы только на верблюдах? Думаем, что автомобиль и железная дорога займут почётное место в транспорте Юго-Западной Туркмении, а образы «полуголых» погонщиков останутся только в старых стихах.

Книга П. Скосырева «Туркменистан» долго готовилась к печати. Она прекрасно оформлена. Как автор, так и издательство с любовью делали книгу. Но жизнь у нас меняется быстро, быстрее, чем порою делаются хорошие книги. Поэтому, читая «Туркменистан», видишь, что некоторые сведения уже устарели, уже нуждаются в обновлении, в привлечении новых данных.

Например, в книге говорится: «В послевоенной пятилетке важное место на землях Атрека займёт маслина». Автор пишет так, как будто он находится на пороге пятилетки, между тем книга была подписана к печати, когда успешно были завершены три года этой пятилетки. Устарели и некоторые материалы раздела «Туркменистан в цифрах».

Доктор географических наук
Э. МУРЗАЕВ.

★

Медицина

Успехи советской хирургии

Сталинской премией в этом году удостоена монография профессора Н. Богораза «Восстановительная хирургия». Это — крупный научный труд. С большой полнотой автор описал лечение многооб-

разных хирургических заболеваний, деформаций органов человеческого тела методами так называемых восстановительных операций.

Особое место автор отводит операциям полного восстановления недостающих органов, а также утраченных ими функций. Восстановительной хирургии, этому очень

Н. А. Богораз. «Восстановительная хирургия», тома I и II. Редактор С. Л. Горелик. Медгиз, 1948—1949.

важному и трудному делу, требующему разносторонних знаний и большого искусства, Н. Богораз посвятил десятки лет своей творческой деятельности.

В рецензируемом труде обстоятельно, глубоко научно и одновременно доступно изложены основные восстановительные операции на голове, лице, верхних и нижних конечностях, при уродстве, при дефектах после травматических повреждений и огнестрельных ранений. Монография содержит описание хирургических заболеваний как мирного, так и военного времени.

В основе книги лежит личный опыт автора и его учеников. Подробно изложены разработанные Н. Богоразом и практически осуществлённые им оригинальные методы восстановительной хирургии, представляющие собой ценный вклад в отечественную медицину. Описание восстановительных операций богато иллюстрировано фотографиями и многочисленными рисунками. Всего в обоих томах их помещено свыше полутора тысяч.

Н. Богораз правильно оценил выдающуюся роль русской и советской восстановительной хирургии. «Русской хирургии, — пишет автор, — принадлежит выдающаяся заслуга в данной области. Ряд главнейших идей, легших в основу хирургической реконструкции, предложен русскими авторами. Достаточно назвать творца костно-пластической хирургии Пирогова. По насыщенности содержания и новизне идей наша отечественная хирургия не только не уступает зарубежной, но стоит выше её».

Первый том труда Н. Богораз посвящён подробному изложению заболеваний и травматических повреждений и их последствий, требующих для своего лечения восстановительных операций (пороки развития, травма, ожоги, отморожения, воспалительные заболевания, туберкулёз костей и кожи, сифилис, параличи, уродства и др.), а также описанию общей методики восстановительной хирургии.

В специальной части первого тома дано описание восстановительных операций на голове и лице. К ним относятся пересадка кожи на поверхность скальпированной головы, закрытие мозговых грыж, операции при водянке головы.

Значительное место уделено описанию

операций по исправлению уродливых носов и восстановлению их после разрушения в результате различных заболеваний или травматических повреждений. Затем следует описание операции при заячьей губе, при врождённом уродстве лица.

Заканчивается первый том описанием операции при поражении лицевого нерва и по восстановлению раковины уха оригинальным методом, предложенным автором.

В первой книге второго тома описаны восстановительные операции на шее, в большинстве основанные на личном опыте автора. Особого упоминания заслуживает предложенная Н. Богоразом операция закрытия отверстия гортани и трахеи.

Обстоятельно изложены восстановительные и пластические операции на молочной железе, при бронхиальных и лёгочных свищах, а также восстановительные операции на сердце и кровеносных сосудах.

При описании восстановительных операций на пищеводе автор широко популяризирует крупные достижения советских хирургов в этой области. Это относится, в частности, к лечению рака пищевода. Если сравнительно недавно подобные болезни считались, как правило, безнадежными, обречёнными на неминуемую мучительную смерть, то в настоящее время они с успехом подвергаются радикальной операции и после этого многие годы живут и работают. При рубцовом сужении пищевода он заменяется вновь образованным пищеводом из кожи груди или из кишки.

Наряду с замечательными успехами в хирургии пищевода профессоров В. Казанского, Б. Петровского, действительных членов Академии медицинских наук А. Бакулева, Г. Савиных и других, большая заслуга в разработке этой проблемы принадлежит и самому Н. Богоразу.

Новаторским духом проникнуты смелые операции Н. Богораз. Приведём пример.

При некоторых заболеваниях печени (цирроз) в брюшной полости скапливается большое количество жидкости (асцит). Происходит это оттого, что отработанная кровь (венозная), оттекающая из внутренних органов живота (желудок, кишки, селезёнка и др.) попадает в сердце через так называемую воротную вену, которая проходит через печень. В тех случаях, когда отток крови через печень

затруднён, кровь в венах брюшной полости застаивается, вены сильно расширяются и через их стенки жидкая часть крови выходит в брюшную полость. Иногда жидкости в животе скопляется до десяти и больше литров. Кроме воротной вены, по задней стенке брюшной полости проходит так называемая нижняя полая вена, в которую вливаются вены нижних конечностей и органов таза. Нижняя полая вена, **минуя печень**, попадает непосредственно в сердце.

Для оттока крови из органов брюшной полости Н. Богораз использовал нижнюю полую вену. С этой целью он одну из крупных вен брюшной полости, кровь которой при нормальной печени протекает через воротную вену и печень, вшивает в нижнюю полую вену, что и обеспечивает отток венозной крови из органов брюшной полости по нижней полой вене. В результате асцит исчезает. Эта операция также представляет собой крупное достижение советской хирургии.

Большой практический и научный интерес представляют операции по пересадке

желёз внутренней секреции (пересадка щитовидной железы, пересадка половой железы, пересадка мозгового придатка).

Вторая книга второго тома труда Н. Богораза посвящена описанию восстановительных и пластических операций на нижних и верхних конечностях. И в этом разделе восстановительной хирургии автор предстаёт как новатор в разработке целого ряда оригинальных операций. К ним относятся, например, приживление нижней конечности при сохранении сосудов, операция при параличе, обеспечивающая возможность больному нормально передвигаться.

Опубликование труда Н. Богораза, посвящённого одной из актуальнейших проблем хирургии, с полным основанием можно считать выдающимся явлением в нашей научной жизни.

Кроме своего большого теоретического значения, «Восстановительная хирургия» Н. Богораза является ценным практическим руководством для специалистов-хирургов.

Профессор **И. КОЧЕРГИН.**

★

Химия

Книга о великом русском учёном

Герой этой книги — великий русский химик Дмитрий Иванович Менделеев. О. Писаржевский подошёл к своей теме как исследователь и как писатель. Он кропотливо собрал, проанализировал и обобщил огромный документальный материал о Менделееве и облёк этот материал в форму увлекательного повествования.

Книга в основном посвящена величайшему делу жизни Менделеева — открытию Периодического закона химических элементов. Автор рассказывает о «великом опыте» — проверке Менделеевым открытого им закона — предсказании новых, ещё не известных элементов.

«Система элементов в нетерпеливых менделеевских руках не могла остаться архивной драгоценностью, музейной реликвией. Для него это было орудие познания».

О. Н. Писаржевский. «Дмитрий Иванович Менделеев». Редактор **А. Наркевич.** «Молодая гвардия», 1949.

Менделеев предстаёт в книге как учёный необычайной разносторонности и размаха: мы узнаём о его опытах по химизации земледелия, программа которых в полной мере могла быть осуществлена только в наше, советское время, и о его замечательных работах по воздухоплаванию, по созданию бездымного пороха, о выдвинутой им проблеме подземной газификации углей. Менделеев намечал новые пути промышленного развития Урала, Донецкого бассейна, кавказской нефти, кузнецких углей и т. д. Следуя за Менделеевым во время его поездки в Америку, мы переживаем вместе с ним чувство возмущения уродствами капитализма.

Книга О. Писаржевского представляет собой достижение в области жанра научно-художественной биографической литературы. Вот почему на её примере хотелось бы сформулировать некоторые об-

щие положения, характеризующие направления и особенности этой литературы.

У нас есть книги, посвящённые приоритету русской науки и замечательным людям науки. Многие из этих книг хорошо написаны, но в большинстве своём они не раздвигают рамок времени, не показывают преэминентности подвига великих людей прошлого и настоящего. С другой стороны, существует множество очерковых книг, раскрывающих на конкретных примерах нашей современности величайшие преимущества социалистического строя.

О. Писаржевскому удалось перебросить мост между историей и современностью. Это относится в первую очередь к научным работам Менделеева, которые освещены в органической связи с последующими завоеваниями человеческой мысли. Так, в книге большое место уделено современному развитию идей Менделеева, заложенных им в Периодическом законе химических элементов. Это позволяет читателю по достоинству оценить подвиг великого русского учёного, понять прямую зависимость основных достижений атомной физики наших дней от основоположных трудов Менделеева. То же самое можно сказать о его творческих работах по исследованию газов, о его трудах в области механики и аэродинамики, о созданной им гидратной теории растворов и т. д.

Менделеев горячо мечтал о грядущем расцвете своей родины. «Этой мечте, — пишет автор, — не хватало только одного. Этим «только» было осуществление социалистического строя». Автор доказывает и развивает эту мысль во второй части книги. Последняя её глава «Осуществлённые мечты» посвящена свершению замыслов Менделеева в наши дни. Следует пожалеть о том, что автор не рассказал о реализованной мечте Менделеева об освоении просторов Севера и создании Великого Северного морского пути, об осуществлении подземной газификации углей.

Наглядно показывая препоны, которые ставит перед учёным капиталистический строй, О. Писаржевский на конкретных примерах раскрывает антагонистические противоречия между свободным полётом мысли исследователя и хищничеством капиталистического уклада жизни.

К сожалению, многие книги, посвящённые биографиям деятелей науки, грешат тем, что показывают учёных в отрыве от среды, вне конкретной обстановки того общественного строя, в котором они жили. О. Писаржевский осознал эту опасность и во многом сумел её избежать. Им прослежен ряд научных связей Менделеева и среди них особенно замечательные — с выдающимся русским физиологом-материалистом Сеченовым, с основателем современной органической химии Бутлеровым, с творцом передового почвоведения Докучаевым и другими. Научный фон работ Менделеева выявлен достаточно отчётливо, а вот общественный намечен слишком скудными штрихами. Это обедняет книгу.

Ошибка ряда биографических книг, посвящённых деятелям науки, заключалась ещё и в том, что авторы, слишком увлекаясь личностью героя, не давали объективной картины истории. О. Писаржевский удачно избегает и этой распространённой ошибки. Давая образ великого учёного, он не скрывает ограниченности его социального и философского мышления. Характеризуя Менделеева как стихийного материалиста и диалектика, автор вскрывает противоречия в его понимании материи, в его общественно-политических взглядах. В результате перед нами встаёт правдивый образ выдающегося учёного.

Важным, хотя и не решающим моментом биографии Менделеева является трактовка его личной жизни. Нередко авторы, отдавая дань ложной традиции буржуазной биографической литературы, поддаются соблазну «олитературивания» облика учёного, нагромождают множество мелких несущественных деталей, причём чаще всего почему-то рисуют учёных чудаками. Биография Менделеева, написанная О. Писаржевским, выгодно отличается от этих субъективных и односторонних, а иногда и псевдолитературных портретов учёных. С большим тактом, точно и правдиво раскрывает он некоторые страницы личной жизни великого учёного, органически связывая их с его научной и общественной деятельностью. Вместе с тем портрет Менделеева написан живо и интересно. Читатель рецензируемой книги оценит не

только строгую логику изложения научных идей Менделеева, но и эмоциональное отношение автора к герою, к его творчеству.

Книга О. Писаржевского не лишена некоторых частных недочётов. Чрезмерно лаконичны главы, включающие элементы истории химии, беглое изложение здесь приводит подчас к упрощению характеристик (мы имеем в виду, например, изложение взглядов Берцелиуса, от которых, как показано в книге, отталкивался юный Менделеев; развитие их представляло весьма сложную картину, и в силу своей многоэтапности и противоречивости не может быть сведено всего к нескольким обобщающим положениям).

Следовало бы уточнить существо серьёзных принципиальных разногласий Менделеева с Либихом по вопросам питания растений и ещё более чётко отразить роль Менделеева, как провозвестника химизации отечественного земледелия и борца за развитие в России производства и применения минеральных и органических удобрений. Уместно здесь было бы подчеркнуть близость воззрения Менделеева на проблему

плодородия к взглядам передовых агробиологов-мичуринцев наших дней.

Имеются некоторые неточности и погрешности в формулировках: о составе почвы, о размерах производства анилина, об основных задачах физической химии и химической физики; в перечне выдающихся русских советских физико-химиков пропущены некоторые славные имена. Можно было бы ещё отметить несколько пробелов в библиографии о Менделееве и бедность иллюстраций в книге. Менделеевский кабинет при Ленинградском государственном университете располагает уникальными коллекциями фотографий, многие из которых нигде не опубликованы. Это могло быть с успехом сделано именно в этой массовой, популярной биографической книге о Менделееве.

Но все эти замечания не могут повлиять на общую оценку книги. В целом труд О. Писаржевского является серьёзным творческим вкладом в советскую научно-художественную литературу.

Академик **С. ВОЛЬФКОВИЧ,**
В. ОХОТНИКОВ.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Март 1950 года

★

ГОСПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. Империализм, как высшая стадия капитализма. 120 стр. Цена 1 р. 50 к.

В. И. Ленин. Сочинения, том 27. 582 стр. Цена 6 р. 50 к.

И. В. Сталин. Марксизм и национальный вопрос. 182 стр. Цена 6 р.

И. В. Сталин. Национальный вопрос и ленинизм. 66 стр. Цена 4 р.

И. В. Сталин. Об основах ленинизма. К вопросам ленинизма. 408 стр. Цена 8 р.

И. В. Сталин. О Великой Отечественной войне Советского Союза. 372 стр. Цена 8 р.

И. В. Сталин. О диалектическом и историческом материализме. 86 стр. Цена 4 р.

И. В. Сталин. Октябрьская революция и тактика русских коммунистов. 36 стр. Цена 50 к.

Иосиф Виссарионович Сталин. (Жизнь и деятельность). 79 таблиц. Цена 300 р.

Иосиф Виссарионович Сталин. (Художественный альбом). 432 стр. Цена 300 р.

Л. Берия. К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье. 288 стр. Цена 6 р.

А. Бирман. Борьба за дальнейший рост рентабельности социалистических предприятий. 136 стр. Цена 2 р.

ВКП(б) — руководящая и направляющая сила советского общества. 38 стр. Цена 30 к.

История СССР, том II. 870 стр. Цена 20 р.

Календарь-справочник. 1950 г. 672 стр. Цена 10 р.

В. Карпинский. Как управляется наша страна. 48 стр. Цена 50 к.

В. Лебедев и М. Яковлев. Сталинская Конституция — конституция победившего социализма. 88 стр. Цена 1 р.

С. Новязков. О формах помощи самостоятельно изучающим марксизм-ленинизм. 36 стр. Цена 40 к.

Образование Германской демократической республики. 170 стр. Цена 4 р. 50 к.

Ф. Помитяев. Пятнадцатая конференция ВКП(б). 80 стр. Цена 1 р.

Я. Уманский. Советы депутатов трудящихся — политическая основа СССР. 64 стр. Цена 70 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

С. Бабаевский. Свет над землёй. Роман. 240 стр. Цена 7 р.

Илья Бражнин. Главный конструктор. Повесть. 146 стр. Цена 5 р. 25 к.

В. Ганибесов. Старатели. Роман. 302 стр. Цена 5 р. 50 к.

С. Дрожжин. Стихотворения. Вступительная статья Л. Ильина. 290 стр. Цена 6 р.

Михаил Дудин. В степях Салавата. Стихи о Башкирии и вольные переводы стихов башкирских поэтов. 50 стр. Цена 1 р. 50 к.

М. Исаковский. Стихи и песни. 186 стр. Цена 5 р. 50 к.

Якуб Колас. Хата рыбака. Поэма. Перевод с белорусского. 244 стр. Цена 9 р.

Иосиф Колтунов. Наступающий день. Рассказы. 198 стр. Цена 4 р. 50 к.

Владимир Луговской. Избранное. Стихи. 202 стр. Цена 3 р.

Евг. Мозольков. Янка Купала. Жизнь и творчество. 182 стр. Цена 6 р.

Новые успехи советской литературы. Сборник статей. 446 стр. Цена 12 р.

Сергей Поделков. Строитель. Поэма. 78 стр. Цена 3 р. 50 к.

В. Сафонов. Земля в цвету. 454 стр. Цена 12 р.

Вадим Собко. Далёкий фронт. Повесть. Авторизованный перевод с украинского. 194 стр. Цена 5 р.

Сулейман Стальский. Избранное. Перевод с лезгинского. 232 стр. Цена 6 р.

Дмитро Ткач. Племя сильных. Повесть. Авторизованный перевод с украинского. 144 стр. Цена 3 р.

Симон Чикованц. Избранное. Стихи. Перевод с грузинского. 208 стр. Цена 5 р. 50 к.

ГОСЛИТИЗДАТ

Алпамыш, узбекский народный эпос. По варианту Фазила Юлдаша. Перевод Льва Пеньковского. 176 стр. Цена 17 р. 50 к.

Г. А. Бялый. В. Г. Короленко. 372 стр. Цена 7 р.

В. М. Гаршин. Красный цветок. Сигнал. 32 стр. Цена 50 к.

Ф. В. Гладков. Повесть о детстве. 424 стр. Цена 8 р. 75 к.

Н. В. Гоголь. Собрание сочинений в шести томах. Том III. Повести. 252 стр. Цена 9 р.

Н. В. Гоголь. Шинель. 32 стр. Цена 50 к.

Олесь Гончар. Знаменосцы. Роман-трилогия. Перевод с украинского. 420 стр. Цена 8 р. 50 к.

М. Горький. Дед Архип и Лёлька. Чепкаш. Двадцать шесть и одна. 63 стр. Цена 1 р.

М. Горький. Собрание сочинений в тридцати томах. Том II. Рассказы, стихи. 1895—1896. 588 стр. Цена 12 р.

М. Горький. Фома Гордеев. Роман. 264 стр. Цена 4 р. 50 к.

Любен Каравелов. Повести и рассказы. Перевод с болгарского. 216 стр. Цена 4 р. 25 к.

Янка Купала. Избранное. Стихи и поэмы. Перевод с белорусского. 436 стр. Цена 14 р.

А. И. Куприн. Рассказы. 112 стр. Цена 1 р. 50 к.

А. С. Новиков-Прибой. Сочинения в пяти томах. Том II. Повести и романы. 496 стр. Цена 9 р.

А. Н. Островский. Полное собрание сочинений. Том II. Пьесы. 1856—1861. 408 стр. Цена 10 р.

А. Н. Островский. Таланты и поклонники. 72 стр. Цена 1 р.

Б. Н. Полевой. Мы — советские люди. 332 стр. Цена 7 р.

Перч Прошян. Из-за хлеба. Роман. Перевод с армянского. 208 стр. Цена 4 р. 50 к.

Пушкин в воспоминаниях современников. 600 стр. Цена 11 р. 50 к.

Г. Сенкевич. Крестоносцы. Перевод с польского. 784 стр. Цена 15 р.

Стендаль. Собрание сочинений. Том XV. Дневники. 708 стр. Цена 15 р.

А. Н. Толстой. Полное собрание сочинений. Том XIII. Статьи. 1910—1941. 676 стр. Цена 18 р.

И. С. Тургенев. Накануне. 152 стр. Цена 3 р. 25 к.

Г. И. Успенский. Рассказы. 112 стр. Цена 1 р. 50 к.

Илья Чавчавадзе. Избранные произведения. Перевод с грузинского. 424 стр. Цена 8 р. 50 к.

А. П. Чехов. Полное собрание сочинений и писем. Том XIX. Письма. 1901—1902. 640 стр. Цена 15 р.

Т. Шевченко. Собрание сочинений в пяти томах. Том IV. Русские повести. Драматические произведения. 500 стр. Цена 12 р.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

П. Ипполитов. Велосипедный спорт. 40 стр. Цена 1 р.

Ф. Кандыба. Горячая земля. 368 стр. Цена 12 р.

А. Н. Костяков, Н. Д. Кременецкий, В. А. Кутергин. Орошение и строительство водоёмов. 104 стр. Цена 2 р 25 к.

Г. Леонидзе. Избранное. Перевод с грузинского 182 стр. Цена 6 р.

Молодёжная эстрада № 1. Сборник 96 стр. Цена 4 р.

Пионерское лето в городе. Сборник 166 стр. Цена 3 р

В. Поликарпов. Спортивная площадка в колхозе. 48 стр. Цена 1 р. 20 к.

В. Сафонов. Земля в цвету 352 стр. Цена 11 р.

Счастливое детство. Альбом. 40 стр. Цена 2 р 50 к.

М. Шагинян. Путешествие по Советской Армении. 304 стр. Цена 12 р.

«МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

Георгий Гулиа. Добрый город. 154 стр. Цена 3 р. 25 к.

М. Демченко. Пути повышения производительности труда в социалистической промышленности 50 стр. Цена 1 р. 25 к.

К. С. Духанин. Виноград в Московской области. 76 стр. Цена 2 р. 50 к.

А. И. Ефимов. О языке пропагандиста 138 стр. Цена 3 р. 50 к.

Исторический материализм. Сборник. 206 стр. Цена 4 р.

А. Марков. Опыт скоростного резания металлов. 64 стр. Цена 1 р. 25 к.

Ф. Париков. Сорок лет на стройках Москвы. 44 стр. Цена 75 к

И. Тургенев. Избранные произведения 930 стр. Цена 25 р.

ДЕТГИЗ

Г. Х. Андерсен. Гадкий утёнок. 16 стр. Цена 50 к

В. Бианки. Синичкин календарь. 64 стр. Цена 1 р 30 к.

И. Василенко. Звёздочка. Повесть. 94 стр. Цена 2 р 10 к.

Э. Войнич. Овод. Роман. Перевод с английского Н. Волжиной. 270 стр. Цена 6 р 20 к.

Л. Воронкова. Девочка из города 80 стр. Цена 2 р. 50 к.

Н. Г. Гарин. Детство Тёмы. 160 стр. Цена 3 р. 20 к.

Н. Г. Гарин. Тёма и Жучка. 16 стр. Цена 50 к.

Звезда. Повести. Содержание: Э. Казакевич «Звезда», Ю. Капусто «Наташа», Г. Берёзко «Красная ракета». 312 стр. Цена 6 р.

С. Зорьян. История одной жизни Роман. Авторизованный перевод с армянского С. Сукиасяна. 392 стр. Цена 12 р.

Д. Лондон. Сказание о Кише. 32 стр. Цена 40 к.

Д. Н. Мамин-Сибиряк. В горах. 112 стр. Цена 3 р 30 к.

С. Михалков. Дядя Стёпа. 24 стр. Цена 80 к.

Н. А. Некрасов. Дедушка Мазай и зайцы. 16 стр. Цена 1 р. 80 к.

Н. Попов. Бородинское сражение. 128 стр. Цена 2 р. 70 к.

Э. Распэ. Приключение Мюнхаузена. Для детей пересказал К Чуковский. 88 стр. Цена 4 р. 45 к.

В. Сафонов. Земля в цвету. 416 стр. Цена 7 р. 50 к.

А. Серафимович. Три друга 68 стр. Цена 80 к.

К. Симонов. Сын артиллериста. 16 стр. Цена 20 к.

А. Н. Студитский. Повесть о великом физиологе. 206 стр. Цена 10 р.

И. С. Тургенев. Три повести. 248 стр. Цена 11 р. 50 к.

Л. Гынянова. Повесть о русской актрисе. 138 стр. Цена 7 р.

Е. Чарушин. Что за зверь? 96 стр Цена 1 р. 55 к.

Н. Г. Чернышевский. Что делать? 480 стр. Цена 9 р 50 к.

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

К. Е. Ворошилов. Сталин и Вооружённые Силы СССР. 98 стр Цена 2 р. 50 к.

Г. В. Войшвилло. Общий курс радиотехники. 2-е переработанное издание. 456 стр. Цена 12 р. 75 к.

Действия стрелкового отделения в бою. (Боевые примеры) 102 стр Цена 1 р 30 к

За родную землю. Сборник. 168 стр Цена 2 р 60 к.

В. Монастырский. Герой Советского Союза Николай Вилков 36 стр. Цена 50 к.

Н. П. Пахомов. Охота с гончими 70 стр. Цена 1 р 25 к.

Е. Поповкин. Семья Рубанюк. Роман Книга I. 444 стр Цена 11 р.

Н. Рыбак. Зборовская битва (Главы из романа «Переяславская Рада») 52 стр Цена 65 к.

С. Смирнов. В боях за Будапешт Издание 2-е. 160 стр. Цена 4 р 50 к.

Н. П. Стороженко. Методика самостоятельной работы офицера по марксистско-ленинской подготовке. 88 стр. Цена 1 р. 35 к.

Е. В. Тарле. Русский флот и внешняя политика Петра I. 124 стр. Цена 4 р

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Антоний Бимба. Молли Магвайрс Из истории рабочего движения в США Перевод с английского 140 стр Цена 4 р. 80 к.

Майкл Брукс. Нефть и внешняя политика Перевод с английского 176 стр Цена 7 р 50 к.

Л. Оппенгейм. Международное право Перевод с английского Том II. Полутом 2. 498 стр. Цена 33 р.

ГОСКУЛЬТПРОСВЕТИЗДАТ

Н. Анциферов. Москва Пушкина 80 стр Цена 1 р

Г. А. Гурев. Есть ли разум в живой природе 96 стр Цена 1 р 50 к.

Под баян. Сборник № 2. (Библиотечка «Художественная самодеятельность»). 96 стр. Цена 3 р.

И. Н. Успенский. Маяковский о буржуазной «культуре» Запада и Америки. 56 стр Цена 1 р 50 к.

ГОСТЕХИЗДАТ

К. А. Гладков. Дальновидение. 64 стр. Цена 1 р 10 к

Ж. Даламбер. Динамика Перевод с французского и примечания В П. Егоршина. 344 стр Цена 13 р. 25 к

Г. А. Зисман. Мир атома. 64 стр Цена 1 р 10 к.

Н. С. Комаров. Искусственный холод. 48 стр. Цена 75 к.

Ж. Лагранж. Аналитическая механика. Перевод с французского В С. Гохмана. Том I. 596 стр. Цена 19 р. 25 к. Том II. 440 стр Цена 14 р 90 к.

А. А. Михайлов. Солнечные и лунные затмения. 40 стр. Цена 70 к.

Б. Ф. Ормонт. Структуры неорганических веществ 968 стр. Цена 52 р 70 к.

В. М. Чулановский. Введение в молекулярный спектральный анализ 368 стр Цена 15 р 50 к.

Э. В. Шпольский. Атомная физика. Издание третье Том первый 524 стр. Цена 14 р. 45 к.

СЕЛЬХОЗГИЗ

К. А. Борин. 15 лет за штурвалом комбайна 96 стр Цена 1 р 45 к

А. А. Климентов. Пчеловодство 254 стр. Цена 5 р 20 к.

И. Я. Ладыгин. Борьба с засухой в степных и лесостепных районах 216 стр Цена 3 р. 45 к.

Е. А. Новиков, Д. И. Старцев и Е. А. Арзуманян. Племенное дело в скотоводстве 496 стр Цена 10 р 60 к

Труды майской (1949 г.) сессии Академии сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина, 372 стр Цена 11 р 95 к.

МЕДГИЗ

Э. М. Визен. Головные боли. 60 стр
Цена 1 р 90 к.

Краткий справочник о курортах СССР.
56 стр. Цена 2 р.

А. Х. Мяньюковский. Ангина. 160 стр.
Цена 5 р. 10 к.

Н. Р. Пясецкий. Сахарная болезнь и её
лечение 36 стр. Цена 40 к.

И. И. Ревзин. Применение пластмассы
в зубном и челюстно-лицевом протезирова-
нии 148 стр. Цена 4 р.

Д. А. Шамбуров. Ишиас. 188 стр. Цена
6 р.

М. И. Якобсон. Кессонная болезнь
328 стр. Цена 14 р.



Главный редактор **А. Т. Твардовский.**
Редколлегия: **М. С. Бубениов, В. П. Катаев,**
С. С. Смирнов, А. К. Тарасенков, К. А. Федин, М. А. Шолохов.

Редакция: Москва, 6 Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
Вход с улицы Чехова, 1.

Сдано в набор 31/III-50 г.

А 01420.

Объем 19 печ. л.

Тираж 66 300.

Подписано к печати 14/IV-50 г.

Заказ № 668.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова.

Цена 9 руб.